

Анатолий Александрович Мордвинов

Из пережитого.
Воспоминания флигель-адъютанта
императора Николая II.

Том 1

Живая история (Кучково поле)

«Из пережитого: Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II: в 2 т. Т. 1 /Вступ. ст., коммент. О. И. Барковец. – М.: Кучково поле, 2014. – 978-5-9950-0414-1, 978-5-9950-0413-4»: Кучково поле; Москва; 2014

ISBN 978-5-9950-0413-4, 978-5-9950-0414-1

В книге впервые в полном объеме публикуются воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II А. А. Мордвинова. Первая часть «На военно-придворной службе охватывает период до начала Первой мировой войны и посвящена детству, обучению в кадетском корпусе, истории семьи Мордвиновых, службе в качестве личного адъютанта великого князя Михаила Александровича, а впоследствии Николая II. Особое место в мемуарах отведено его общению с членами императорской семьи в неформальной обстановке, что позволило А. А. Мордвинову искренне полюбить тех, кому он служил верой и правдой с преданностью, сохраненной в его сердце до смерти. Издание расширяет и дополняет круг источников по истории России начала XX века, Дома Романовых, последнего императора Николая II и одной из самых трагических страниц – его отречения и гибели монархии.

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы)

Издано при поддержке фонда «Связь Эпох»

Печатается по рукописи ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 512. Л. 1-498.

■ «Ваш всепреданнейший А. Мордвинов»

Ухоженное кладбище в небольшом курортном баварском городке Оберстдорф. Здесь в 1940 г. был похоронен флигель-адъютант последнего русского императора Николая II полковник Анатолий Александрович Мордвинов. Но найти его могилу уже невозможно. В документах кладбищенской конторы есть сухая запись о том, что в связи с отсутствием наследников и заброшенностью захоронения место продано другим. Сейчас там новые могилы, и ничего не осталось бы в истории от русской семьи с удивительной судьбой, если бы не сохранились до наших дней воспоминания А. А. Мордвинова, написанные в эмиграции, и живописи его жены Ольги Карловны, находящиеся в различных музеях и частных коллекциях.

Автор мемуаров принадлежал к старинному и весьма многочисленному роду, известному еще со времен Ивана Грозного. В 1546 г. предок Мордвинова Ждан был взят в аманаты (заложники, обеспечивающие точное выполнение договора) от мордвы и получил поместье в Копорье (Новгородская губерния). С тех пор и вплоть до октября 1917 г. Мордвиновы владели землями в Новгородской губернии. Именно там, в Лашино (в Среднем Селе) Тихвинского уезда, родовом имении Мордвиновых, и прошли первые годы жизни Анатолия Александровича, который родился 26 сентября 1870 г.¹ Мальчик рано стал сиротой и вместе со

1 По данным Регистрационного бюро города Оберстдорфа (Германия), где в эмиграции проживал и скончался А. А.

своим старшим братом Павлом воспитывался «горячо их любившей, но не очень ласковой бабушкой».

В возрасте восьми лет Анатолий Мордвинов вместе с братом был определен в частный немецкий пансион, который после вольготной жизни в поместье был ему явно в тягость. Несмотря на стойкую нелюбовь к пансиону, казавшемуся ему, по его собственным словам, «тюрьмой», мальчик, любивший много читать, прекрасно учился и, проявив большие способности, уже во втором классе стал лучшим учеником и даже имел честь рапортовать императору Александру III во время его посещения пансиона. Обучение в пансионе имело целью подготовить учащихся к поступлению в Училище правоведения, но Анатолий был уверен, что юриспруденция не для него. Определяясь с выбором своего дальнейшего жизненного пути, он мечтал то о поприще священнослужителя как врачевателя душ человеческих, то о карьере врача как целителя человеческих страданий. Третьим по важности призванием для себя он видел военную карьеру, что, впрочем, было вполне объяснимо, поскольку многие представители его рода были военными. Прадед – Михаил Иванович Мордвинов – был инженер-генерал-адъютантом, а дед по материнской линии – Алексей Иванович Бутаков – морским офицером, принимавшим участие в экспедиции Ивана Крузенштерна, составившего одну из первых подробных карт Аральского моря. В итоге, после трех лет обучения в пансионе, Анатолий решил поступить в Николаевский кадетский корпус, хотя из-за плохого зрения

Мордвинов, он родился в Харькове. По данным городского архива того же Оберстдорфа, А.А. Мордвинов родился в Санкт-Петербурге.

далось ему это очень нелегко. Помогла память. Во время медицинского освидетельствования предшествующих ему кандидатов на поступление Анатолий выучил проверочную таблицу в кабинете окулиста наизусть и при проверке зрения безошибочно воспроизвел ее, не вызвав подозрения врачей.

В сентябре 1881 г. Анатолий Мордвинов был принят в Николаевский кадетский корпус, в который чуть ранее, но в более низший класс, поступил его брат Павел. В октябре 1888 г. Анатолий Мордвинов окончил обучение в корпусе и, как это тогда называлось, «вступил в службу». В том же году он поступил в Николаевское кавалерийское училище, из которого был выпущен 10 августа 1890 г. в чине корнета и определен на службу в лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества полк. Полк имел давнюю и славную историю. Сформирован он был еще в 1704 г. и назывался тогда Драгунским Иоганна Данееля Портеса полком. В свое время шефами полка были великий князь и престолонаследник Петр Федорович, будущий император Петр III (с 1742 по 1762 г.), императрица Мария Федоровна (с 1796 г.). При восшествии на престол императора Александра II полк был назван лейб-кирасирским Ее Величества, а с ноября 1894 г. получил название лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полка. За подвиги, совершенные в период войны 1812 г., полк был награжден 22 георгиевскими трубами.

О раннем периоде службы Анатолия Мордвинова известно мало, и в этом нет ничего удивительного – служба шла обычным порядком, как у всех офицеров того времени: в 1894 г., то есть через четыре года после окончания училища, он был произведен в поручики. С одной стороны, служба в полку Мордвинову нравилась и вполне устраивала его, а с другой – заставляла задумываться о своем

предназначении как командира. Именно желание стать профессиональным офицером подвигло его на то, чтобы в 1896 г. подать рапорт о поступлении в Николаевскую академию Генерального штаба. Любопытно, что после окончания Академии в 1898 г. и уже по прошествии продолжительного времени Мордвинов, как он сам о том пишет, пришел к выводу, что «офицерам Генерального штаба возвеличиваться совсем не приходится». В том же 1898 г. А. А. Мордвинову было присвоено звание штабс-ротмистра.

В 1899 г. в Гатчинском дворце, неподалеку от которого был расквартирован лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полк, он познакомился со своей будущей супругой Ольгой Карловной Хис, дочерью Карла Иосифовича Хиса (Charles Neath).

Карл Иосифович (его отчество по существовавшей тогда традиции произносилось и как Осипович) был личностью легендарной. В 1877 г. уже в довольно преклонном возрасте он поступил на службу при дворе цесаревича Александра Александровича в качестве воспитателя и преподавателя английского языка августейших детей. Среди его учеников и воспитанников был и будущий император Николай II, которому в то время исполнилось 9 лет.

Карл Хис прослужил при дворе более двадцати лет. Он поступил на службу действительным тайным советником, верой и правдой служил двум императорам – Александру III и Николаю II – вплоть до своей смерти в 1900 г. По словам современников, он был абсолютно равнодушен к чинам, званиям и наградам, считая своим главным предназначением служение своим воспитанникам, которых он чрезвычайно

любил. И они отвечали своему пожилому учителю (в царской семье из-за солидного возраста его ласково звали на английский манер Old Man) взаимностью. По мнению историка и дипломата С. С. Татищева, Карл Хис оказал значительное влияние на формирование характера и мировоззрения Николая II, являясь для него «в смысле интеллектуальном и духовном» тем, «чем был швейцарец Лагарп для Александра I и известный русский поэт Жуковский для Александра II»².

30 июля 1899 г. состоялась свадьба Анатолия Мордвинова и Ольги Хис. Первые два года брака супруги провели в купленном после свадьбы доме вблизи Гатчинского дворца. Затем чета Мордвиновых переехала в одну из квартир бельэтажа Кухонного каре Гатчинского дворца. Эта квартира с разрешения императрицы Марии Федоровны сохранилась за ними до октября 1917 г. Через год после свадьбы, в 1900 г., в Аничковом дворце скончался Карл Хис, а 15 февраля 1903 г. у Мордвиновых родился первый ребенок – дочь Мария. Всего у Анатолия и Ольги было трое детей – дочь и два сына, которые были слабы здоровьем и, несмотря на все старания родителей, умерли в младенчестве (старший сын в 1906 г. в имении Мордвиновых в Лашино, младший – в 1910 г. в санатории в Базеле).

Благодаря семье жены у Анатолия Мордвинова сложились тесные и даже доверительно-дружеские отношения со многими членами императорской фамилии. Довольно часто в Гатчинском дворце чета Мордвиновых проводила вечера за ужинами и беседами с представителями правящего дома.

² The Times, 18.12.1900.

Особенно близкие отношения были у них с братом Николая II великим князем Михаилом Александровичем и его младшей сестрой великой княгиней Ольгой Александровной, которая стала крестной матерью их дочери Марии. «Я знал ее задолго до ее замужества, еще девочкой с длинными волосами, неизменной спутницей и товарищем ее любимого брата великого князя Михаила Александровича. Уже тогда во всем ее существовании было для меня столько близкого, понятного и необычайно привлекательного. С годами моя привязанность к ней еще усилилась, и я считаю ее своей близкой, родной», – писал он впоследствии в своих воспоминаниях. Очевидно, во многом благодаря этим дружественным связям в мае 1906 г. Анатолий Мордвинов получил предложение от великого князя Михаила Александровича стать его личным адъютантом.

Вполне вероятно, что, несмотря на разницу в возрасте, определенную роль в получении этого предложения сыграло сходство характеров и увлечений великого князя и Анатолия Мордвинова. Оба любили загородную жизнь и предпочитали городу нахождение на лоне природы; оба не обращали внимания на кастовые различия и привыкли делить людей, по собственному утверждению Мордвинова, только на «плохих и хороших»; оба с пониманием относились к своим подчиненным и никогда не наказывали их за проступки; оба чрезвычайно любили музыку, а великий князь даже немного играл на фортепиано и флейте; оба были не прочь провести время в хорошей компании, но при этом категорически сторонились алкоголя.

Несомненно, что этому назначению была рада и мать великого князя вдовствующая императрица Мария Федоровна, хорошо знавшая А. А. Мордвинова. Она понимала, что рядом с ее сыном, «безвольным, легко

попадающим под чужое влияние»³, который доставлял ей немало тревог за его будущее, должен быть взвешенный человек, умудренный жизненным опытом и преданный. В целом назначение личным адъютантом великого князя Михаила Александровича стало для А. А. Мордвинова не только несколько неожиданным, но и в значительной степени «было лестно и искренне его обрадовало».

Тепло попрощавшись с сослуживцами по Кирасирскому полку и получив на память «редкий полковой жетон», Анатолий Мордвинов приступил к исполнению обязанностей личного адъютанта великого князя. Любопытно, что, несмотря на высокое положение при дворе, жалование личного адъютанта составляло 200 рублей в месяц. Обстоятельства (после назначения в 1909 г. состоявшего при великом князе Михаиле Александровиче генерала Д. Я. Дашкова в свиту Его Величества) сложились так, что помимо стандартных повседневных обязанностей на Анатолия Мордвинова было возложено заведование всеми делами великого князя, как связанными с его высоким положением, так и с личным имуществом. Поскольку до совершеннолетия наследника престола цесаревича Алексея великий князь Михаил Александрович был назначен регентом, на него были возложены обязанности по представлению Российского императорского дома в многочисленных официальных зарубежных визитах. Естественно, что во время всех этих поездок рядом с великим князем находился и его личный адъютант Анатолий Мордвинов, что дало ему уникальную возможность познакомиться и пообщаться со

3 Из характеристики великого князя, данной А. А. Мордвиновым в его воспоминаниях.

многими представителями королевских дворов Европы – Норвегии, Швеции, Дании, Великобритании, Италии, Германии, – многие из которых достаточно подробно описаны в его мемуарах.

Первая такая поездка состоялась в 1906 г. для принятия участия в церемонии коронации короля Норвегии Хокона и королевы Мод. На пути в Норвегию великокняжеская яхта «Полярная звезда», на которой находилась российская делегация во главе с великим князем Михаилом Александровичем, сделала короткую остановку в Дании, что позволило Анатолию Мордвинову впервые лично познакомиться с датской королевской семьей, родственниками вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Наиболее яркие впечатления остались у Мордвинова от поездки в Великобританию и от личных встреч с королем Эдуардом VII.

Необходимо отметить, что А. А. Мордвинову как адъютанту великого князя было предписано сопровождать его не только в официальных, но и в частных поездках. Так, летом 1907 г., когда у Михаила Александровича возникли серьезные проблемы со здоровьем (сильные боли в области желудка и печени), Анатолию Мордвинову пришлось выехать вместе с ним в Карлсбад для проведения консультации с известным в то время профессором Норденом⁴.

4 В письме вдовствующей императрице Марии Федоровне А. А. Мордвинов подробно докладывал о консультациях доктора Нордена и состоянии здоровья великого князя Михаила Александровича (ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2253. Л. 5-6 об.).

В начальный период службы в качестве личного адъютанта у Анатолия Мордвинова сложились очень доверительные, почти дружеские отношения с великим князем. Еще больше эти отношения укрепились в период нахождения великого князя в Орле, куда он был направлен в 1909 г. в качестве командира 17-го Черниговского полка. Назначение в Орел было попыткой императора Николая II отослать своего брата подальше от Петербурга, где у Михаила Александровича в 1907 г. завязался роман с женой одного из его подчиненных – ротмистра Владимира Вульфберта – Натальей Сергеевной, урожденной Шереметьевской.

Против этого очередного увлечения Михаила Александровича была настроена практически вся императорская семья, считавшая, что Наталья Сергеевна ни по своему положению в обществе, ни по жизненному опыту – брак с Вульфбертом был у нее уже вторым – ни в коей мере не подходила великому князю. Именно эта любовь оказалась для Мордвинова роковой в истории его отношений с великим князем и сыграла большую роль в дальнейших взаимоотношениях между ним и Михаилом Александровичем и, более того, привела эти некогда напоминавшие братские отношения к почти полному разрыву. Еще в конце 1908 г. флигель-адъютант почувствовал, что «великий князь стал за этот год менее откровенен со мной... он чувствует, насколько я не одобряю всего того, что происходило за последние месяцы»⁵. Питая к великому князю самые теплые чувства, Мордвинов сам был категорически против этого

⁵ Там же. Л. 20 об.

романа, тем более что с течением времени это поначалу казавшееся романтическим увлечение переросло в серьезное чувство. В письме великой княгине Ольге Александровне от 17 сентября 1909 г. из Орла Анатолий Александрович с горечью писал: «Я переживаю тяжелые, довольно мучительные дни! Я здесь один, со своими сомнениями, печалью, волнениями, и мне неудержимо захотелось поделиться, хоть кратко, с Вами, человеком, желающим ему [великому князю Михаилу Александровичу. – О. Б.] столько же счастья и добра, как и я. У нас все шло до сих пор хорошо. Мы устроились прекрасно, уютно и соответственно нашего положения. Пет[р] Александрович⁶ не будет краснеть за нас, когда вы сюда приедете. Утром была ревностная служба, а вечера мы проводили очень уютно вдвоем. Но она [Н. С. Вульферт. – О. Б.] приехала в Москву, отсюда полетели телеграммы, и наш покой был нарушен. Он захотел во что бы то ни стало туда поехать, отпросился у своего начальства на три дня. Все эти дни по несколько часов я отговаривал его отказаться от этой затеи. Говорил убедительно, горячо, с волнением и так резко, как никогда ранее не говорил. Он даже сказал, что меня «ненавидит» за мои резкие отзывы, но у него золотое сердце, и мы опять искренно помирились, так как он почувствовал, что я горячо желаю ему добра. Чтобы не дать возможность ехать, я сказал, что ни за что не поеду, что не хочу служить ширмой и т. п. Но ничего не помогло. Но это не так уж скверно – ведь эта история уже тянется 2 года, и я все же крепко верю, что она, хотя и через долгое время, кончится к общему удовольствию... Но не преступление ли.

6 Принц Петр Александрович Ольденбургский – муж великой княгини Ольги Александровны.

бросить его теперь? Чувство чести, службы и офицера говорит, что нет, чувство любви к нему, привязанности, чувство высшей совести говорит, что да»⁷.

Опасения Мордвинова, как и всей императорской семьи, оправдались. Михаил Александрович вопреки желанию своего августейшего брата и всей императорской семьи, находясь за границей, в сербской православной церкви в Вене 30 октября 1912 г. тайно совершил обряд венчания с Натальей Сергеевной Вульферт⁸.

Еще в преддверии этого брака, понимая, что Мордвинов как человек, постоянно находящийся рядом с великим князем и как его давний товарищ, имеет на него серьезное влияние, Наталья Вульферт всячески настраивала Михаила Александровича против адъютанта. «Меня она ненавидит всеми силами и наговаривает на меня. В октябре я уже, говоря откровенно, решил было уйти от него, настолько мне приходилось тяжело», – делился своими переживаниями с вдовствующей императрицей Марией Федоровной Мордвинов в письме от 6 февраля 1910 г.⁹ Немалую роль в охлаждении отношений между великим князем и Мордвиновым сыграла, может быть, излишняя прямота и откровенность последнего. «Все, что было возможно

7 ГА РФ. Ф. 643. Оп. 1. Д. 98. Л. 3-4 об.

8 Об истории брака и дальнейшей судьбе великого князя Михаила Александровича и Натальи Сергеевны Вульферт (после рождения сына Георгия в 1910 г. носила фамилию Брасовой, под которой и венчалась в 1912 г.): Кроуфорд Р и Д. Михаил и Наталья. Жизнь и любовь. М., 2008.

9 ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2253. Л. 27.

высказать Михаилу Александровичу по этому поводу, я ему уже давным-давно высказал, с дружеской откровенностью и почти с братской настойчивостью, не опасаясь ни его гнева, ни нашей полной размолвки, и считал, что этим я исполнил свой долг как перед ним, перед его семьей, так отчасти и перед своей родиной, до конца», – вспоминал об этом периоде адъютантской службы Анатолий Мордвинов. Вскоре некоторая натянутость отношений между Натальей Вульферт и Анатолием Мордвиновым переросла в стойкую неприязнь.

Взбешенный известием о браке брата Николай II вызвал к себе А. А. Мордвина и приказал ему немедленно отправиться в Канны, где в то время находился Михаил Александрович. Император просил сообщить последнему о том, что он запрещает младшему брату возвращаться в Россию и требует подписать акт об отказе от всех прав на престол. Мордвинов ответил, что он готов выполнить все поручения и передать акт об отречении Михаилу Александровичу, но при этом не будет встречаться с Натальей Вульферт. Царь отнесся к этому с пониманием. Вот как описывал император Николай II свое отношение к браку Михаила Александровича в письме матери от 7 ноября 1912 г.: «К несчастью, между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил!.. Ему дела нет ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, кот[орый] это событие произведет в России... Стыдно становится и тяжело. У меня тоже была первая мысль скрыть это известие, но,

прочтя его письмо два-три раза, я понял, что теперь ему нельзя приехать в Россию...»¹⁰

Мордвинов выполнил поручение императора. Вот что об этом писал Михаил Александрович брату 16 декабря 1912 г.: «Мордвинов мне передал бумагу для подписи, а кроме того, на словах твой разговор. Я очень сожалею, что не получил от тебя письменного изложения твоих желаний и требований. Мордвинова трудно было понять, так как он волновался и ничего не мог сказать о моей дальнейшей участи. Кроме того, он мне передал несколько угроз от барона Фредерикс[а], как, например, даже о лишении меня титула. Я очень хотел бы знать, твое ли это желание или только слова барона Ф[редерикса]. Вот почему я так прошу письменно изложить все, что меня ожидает. На развод и возвращение в Россию без семьи я согласиться, конечно, не могу. Прости меня, что я еще не подписал присланную мне бумагу, но мне необходимо до того выяснить некоторые условия будущей моей жизни, и также надеюсь, что ты мне облегчишь мою судьбу и исполнишь мои просьбы, которые, мне кажется, не могут в будущем принести никаких затруднений. Я не могу об них писать в этом письме, так как не знаю, желаешь ли ты их выслушать. Если же ты пожелаешь это сделать, то обещаю тебе, что я их написал и отдал Мордвинову для передачи тебе»¹¹.

Но его встреча с великим князем в Каннах носила сугубо официальный характер: под влиянием Натальи Вульферт в отношениях между ним и Михаилом Александровичем

10 Там же. Л. 24-25 об.

11 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1301. Л. 93-94.

произошел глубокий разлом. Об этом красноречиво свидетельствовал постскрипtum из того же письма: «Очень прошу в случае надобности не присылать больше Мордвинова... С Мордвиновым мои личные отношения давно кончены, и мне очень тяжело говорить с ним о таких интимных вещах»¹².

Дальнейшая служба в качестве личного адъютанта великого князя представлялась Анатолию Мордвинову уже невозможной. Ситуация усугублялась еще и тем, что он как человек, в последние годы постоянно находившейся рядом с великим князем и хорошо осведомленный о всех его не только служебных, но и хозяйственных делах, был назначен заведовать опекой над имуществом Михаила Александровича, введенной Указом императора от 15 декабря 1915 г. В результате Мордвинов подал рапорт об отставке его с должности и написал прощальное письмо великому князю, которое было воспринято им как оскорбительное и практически поставило точку в их взаимоотношениях. «После его оскорбительного письма, которым сопровождался его рапорт об увольнении, считаю личные отношения с ним поконченными», – написал Михаил Александрович в письме Н. А. Врангелю¹³ 21 декабря 1912 г.¹⁴ Тем не менее рапорт не был удовлетворен императором. До конца 1912 г.

¹² Там же. Л. 94 об.

¹³ Барон Врангель Николай Александрович был адъютантом (с 1911 г.) и управляющим делами (1912-1913) у великого князя Михаила Александровича.

¹⁴ Цит. по: Скандал в императорской семье. Воспоминания, документы. Публ. Хрусталева В. М., Осина В. М. Журнальный зал // Октябрь. 1998. № 11.

Мордвинов еще трижды подавал прошение об отставке, прося «освободить. от этой, ставшей ненужной должности и от тяготивших. обязанностей по опеке, но Его Величество не давал на то согласия». Наконец, в начале марта 1913 г., А. А. Мордвинов подал четвертый по счету рапорт Николаю II, «указывая, что все дела великого князя [им] уже переданы высочайше над ним учрежденной опеке и что в [его] дальнейшем заведовании ими уже более не представляется надобности». На этот раз его просьба была удовлетворена, причем весьма необычным, прежде всего для самого Мордвинова, образом – Анатолий Александрович был назначен флигель-адъютантом императора.

Первое время служба флигель-адъютанта казалась полковнику А. А. Мордвинову совсем необременительной – редкие (не чаще одного раза в месяц) дежурства и эпизодические поездки с царской семьей в Крым или в финские Шхеры, что еще раз свидетельствует о близости и высоком уровне доверия со стороны императора и его семьи к Мордвинову. В то время у Николая II было более пятидесяти адъютантов, и, естественно, только избранные приглашались сопровождать августейшую семью во время частного отдыха. Весьма редко (на памяти самого Мордвинова не более 2-3 раз) император давал какие-либо особые поручения во время дежурства. Мордвинов как бывший адъютант брата царя и как человек, которого лично знали многие члены царской семьи, во время дежурств в Александровском дворце практически всегда «проводил значительную часть времени с Их Величествами, приглашался не только на прогулки и завтраки, но и к обеду Их Величеств и оставался там по вечерам». Сохранялось, правда, бремя ведения имущественными делами находившегося за границей великого князя Михаила

Александровича в рамках утвержденной над ним опеки, от которой, несмотря на многочисленные просьбы Анатолия Александровича, император как главный опекун не готов был пока его избавить.

Но скоро безмятежной службе и опекунскими обязанностями было суждено закончиться. С конца июня 1914 г. угроза войны стала вполне реальной и ощутимой. 19 июля А. А. Мордвинов находился вместе с семьей в своем имении Лашино. Уже по дороге в Петербург он узнал о начале войны. 21 июля 1914 г. по прибытии в Петергоф на дежурство А. А. Мордвинову было объявлено, что он «впредь, и во время войны, должен оставаться в числе тех 3-4 флигель-адъютантов, которые числились в личной свите государя императора». Первое дежурство в военное время стало для Мордвинова в некоторой степени историческим, потому что именно во время него он как адъютант государя 22 июля получил телефонное сообщение от посла Великобритании в России Джорджа Бьюкенена о том, что Англия объявила войну Германии и готова сражаться против нее вместе с Россией.

Наиболее значительные перемены в службе и в жизни Мордвинова произошли не столько с началом Первой мировой войны, хотя она, безусловно, увеличила его рабочую нагрузку, сколько с 1915 г., то есть с того времени, когда император взял непосредственное Верховное главнокомандование русской армией на себя и переехал в Могилев, в Ставку. Мордвинов в числе избранных флигель-адъютантов находился при нем. Служба в Ставке позволила Мордвинову в полной мере окунуться в гущу самых животрепещущих событий того времени: боевые действия на фронте и обстановка в тылу, перестановки в правительстве, взаимоотношения внутри императорской

семьи, политика союзников и, наконец, отречение государя. В 1915 г. по поручению Николая II А. А. Мордвинов дважды объехал практически все фронты и ознакомился с состоянием войск и лагерей военнопленных. В докладе флигель-адъютанта императору от 10 декабря 1915 г. говорилось: «24 ноября 1915 г. повелено мне проверить на месте жалобы военнопленных славянской национальности на скверное и обидное отношение к ним со стороны русских военных властей... Жалобы были преувеличены»¹⁵.

Как адъютант императора Мордвинов проводил гораздо больше, чем раньше, времени с монархом в часы его досуга, во время совместных прогулок, совершавшихся Николаем II практически ежедневно. Когда в Ставке был цесаревич Алексей, которого император брал с собой в Могилев осенью – зимой 1915 г. и весной – осенью 1916 г., Мордвинов часто сопровождал Николая II с сыном во время их автомобильных и пеших прогулок.

В 1916 г. в Ставку несколько раз приезжала императрица Александра Федоровна вместе с великими княжнами. В период этих визитов вся августейшая семья в сопровождении ближайшего окружения, в которое входил и Мордвинов, выезжала на отдых на Днепр, облюбовав песчаный берег, который им напоминал пляж в Евпатории в Крыму. Ни один флигель-адъютант не упоминается в дневниках Николая II наиболее часто, чем Мордвинов. Так, 26 августа 1916 г. в Ставке император записал: «...прогулка... на правый берег... дети всячески изводили, мучили и старались топить Мордвинова...; 5 октября: «Вечером приехал Мордвинов, и

его мучили!»; 6 октября: «Дочери опять возились с Мордин[овым]»¹⁶.

Беседы с Николаем II во время совместных прогулок, а также время, проведенное с членами императорской фамилии в неформальной обстановке, позволили А. А. Мордвинову не только стать для них окончательно «своим», но и искренне полюбить тех, кому он служил верой и правдой с преданностью, сохраненной в его сердце до самой смерти. Мордвинов в силу интеллигентного характера и глубокой религиозности не замечал ни Распутина, ни интриг двора. Его любили за искренность и верность, открытость и добросердечие. Может, поэтому у Анатолия Александровича сложились очень теплые отношения с царскими дочерьми, особенно с младшей из них – великой княжной Анастасией. Императрица Александра Федоровна в письмах мужу в Ставку назвала А. А. Мордвинова «славным», «блаженным», что красноречиво характеризует личность флигель-адъютанта и отношение к нему царской семьи¹⁷.

В Ставке Мордвинов стал лично знаком со многими крупными военачальниками и с постоянными представителями иностранных военных миссий союзнических государств, выезжал вместе с императором для проведения инспекций войск, осмотра техники и посещения госпиталей. Все эти многочисленные встречи и люди, многие из которых сыграли ключевую роль не только в исходе войны, но и в

16 Дневники императора Николая II. Т. II. Ч. 2. М., 2013. С. 249, 257.

17 Переписка Николая и Александры Романовых. 1914-1915 гг. М. – Пг., 1925. Т. 3. С. 355; Т. 4. С. 179.

дальнейшей судьбе России, достаточно подробно были описаны в посвященных тому периоду мемуарах.

О самом А. А. Мордвинове его сослуживцы по Ставке написали немного. Протопресвитер русской армии и флота отец Георгий Шавельский вспоминал о флигель-адъютанте так: «Полковник лейб-гвардии Кирасирского полка Мордвинов выделялся своею скромностью и застенчивостью. Это был весьма чуткий, мягкий, отзывчивый человек»¹⁸. О его глубокой религиозности писал и генерал-майор Д. Н. Дубенский¹⁹.

Судьба распорядилась так, что Анатолию Мордвинову пришлось стать свидетелем одного из самых судьбоносных событий в жизни Российской империи – отречения от престола Николая II. В тот день, 2 марта 1917 г., будучи дежурным адъютантом, Мордвинов с болью в сердце наблюдал за нравственными, душевными переживаниями императора, за действиями некоторых лиц из его окружения, которые, по мнению адъютанта императора, в значительной мере подтолкнули его к принятию решения. «Это решение было принято им, как всегда, единолично, в борьбе лишь с самим собою, и посвящать в свою душевную драму других, даже близких людей, он по складу своей застенчивой, но и самолюбивой натуры, вероятно, не только

18 Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1954.

19 Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в России // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Л., 1927. С. 65.

не хотел, но и не смог», – писал в воспоминаниях Мордвинов.

Для самого адъютанта царя, убежденного монархиста, собственные душевные муки усугублялись еще и тем, что после отречения Николая II от престола его отказался занять и великий князь Михаил Александрович. По мнению Мордвинова, «выбор государя действительно остановился на человеке, не только менее всех подготовленного для управления государством, но и менее всех желавшего возведения на трон, а по обстоятельствам его личной жизни уже заранее призвавшего себя к такому возвеличению не подходящим». «Никогда во всю мою жизнь, даже находясь впоследствии подолгу в застенках большевиков и ожидая ежедневно и ежечасно кровавой расправы, я не испытал такого давящего ощущения и столько не перечувствовал мелочей, в ущерб, конечно, главному, как в ту пору», – вспоминал он в эмиграции.

После отречения Николая II и его отъезда в Царское Село полковник Мордвинов по совету генерала Вильямса, главы английской военной миссии в Ставке, и получив разрешение императора, летом и осенью 1917 г. продолжал оставаться в Могилеве, при союзных военных представителях, одновременно заведую наградным отделением для иностранцев. Так Мордвинов вспоминал свою последнюю встречу с императором в Ставке после отречения: «Государь был один, стоял в глубине комнаты... «Что, Мордвинов?» – спросил государь. «Ваше Величество, – очень волнуясь и сбивчиво заговорил я, – я только что был у генерала Вильямса. он мне настойчиво советует оставаться здесь. говорит даже, что это почему-то будет полезнее для вас. Как вы думаете, что будет лучше для вас. быть может, вам действительно будут нужны когда-нибудь преданные люди,

находящиеся здесь...» «Конечно, оставайтесь без колебаний...» – сказал государь, порывисто приблизился ко мне, обнял и крепко, крепко поцеловал...»

Находясь в Ставке в 1917 г., Мордвинов пытался поддерживать связь с великими князьями и неоднократно писал им, но последнее письмо от них, сохранившееся в его рабочих бумагах после возвращения из отпуска, он получил лишь в конце июня 1917 г. Письмо было вскрыто и измято – его явно кто-то читал. Потом случайно, из газет, в конце лета он узнал об этапировании царской семьи в Сибирь.

После октября 1917 г. А. А. Мордвинов покинул Ставку, далее арест и счастливое избавление от расстрела, дорога в родовое имение Лашино. И снова – арест местными органами власти уже по прибытии домой, затем отправка для дальнейшего разбирательства в Петроград, заключение в Трубецкой бастион и встречи в нем со многими знакомыми, перевод в лазарет при Выборгской тюрьме в Петрограде и, наконец, долгожданное и несколько неожиданное освобождение. Неожиданное оттого, что А. А. Мордвинова как флигель-адъютанта императора могла ожидать совсем другая, куда более суровая участь, в суете и неразберихе того времени его тюремщики так и не разобрались, кем он являлся на самом деле.

После освобождения, понимая, что дальнейшее пребывание в России ни для него, ни для его семьи невозможно, Мордвинов предпринял попытку выехать с семьей в Финляндию. На самом деле эта попытка представляла собой совершеннейшую авантюру, за счастливый исход которой несли ответственность люди, едва знакомые. В результате перед самой границей Мордвиновы были арестованы и заключены в тюрьму, выжить в которой в немалой степени

помог художественный талант жены Мордвинова Ольги Карловны, которая рисовала портреты охранников и однажды – даже коменданта тюрьмы. Вскоре семейство Мордвиновых предстало перед дивизионным революционным трибуналом, который, «признав Мордвиновых Анатолия, Ольгу и Марию виновными в предумышленном и тайном переходе через финляндскую границу, постановил: все их имущество конфисковать, а самих «за болезнь жены и малолетством дочери от наказания освободить».

Наконец, спустя год, семье удалось покинуть советскую Россию и выехать в Прибалтику, где они нашли приют в виленском имении Павла Мордвинова, старшего брата Анатолия Александровича. Сведения о первых годах пребывания Мордвиновых в эмиграции весьма запутанны и противоречивы. Из виленского имения брата семья переехала в Германию, в Берлин-Ванзее, где в то время обосновался хорошо знакомый Мордвинову последний гетман Украины Павел Петрович Скоропадский. Ольга Мордвинова по заказу Скоропадского сделала несколько копий со старых портретов членов его семьи, в том числе и портрет самого гетмана²⁰. Далее семья Мордвиновых с 1921 по 1923 г.²¹ жила в небольшом городке Браунлаг в горах Гарц,

20 В 2004 г. в Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке Елена Отт-Скоропадская, дочь гетмана П. П. Скоропадского, передала в дар Украине 7 портретов, выполненных в свое время Ольгой Мордвиновой: Богдана Хмельницкого, Павла Полуботка, Петра Дорошенко, Данило Апостола, Ивана Самойловича и два портрета известных женщин XXVII-XVIII веков – Насти Скоропадской и Розумихи (матери гетмана Кирилла Разумовского).

21 По данным Регистрационного бюро г. Оберстдорф.

а в ноябре 1923 г. переехала в Обер-стдорф (в 175 километрах от Мюнхена), где голландским дворянином Ламан Трипом де Бофором (Laman Trip de Beaufort), поклонником творчества Ольги Карловны, был подарен дом²².

Любопытно, что спустя более 20 лет, весной 1945 г., когда советские войска были уже на подступах к Берлину, и гетмана Скоропадского, оказись он в руках СМЕРШа, ждала совсем незавидная судьба, Ольга Мордвинова (Анатолий Александрович к тому времени уже умер) предложила семье Скоропадских переехать в более безопасное место – в свой дом в Оберстдорфе. В апреле 1945 г. 71-летний Павел Петрович Скоропадский и его дочь Елизавета в сопровождении старушки няни и адъютанта гетмана Дмитрия Грищинского выехали из Берлина в Оберстдорф. По дороге, на железнодорожной станции Платтлинг, они попали под бомбежку авиации союзников. Павел Петрович был серьезно ранен и через десять дней, 26 апреля 1945 г., скончался в госпитале городка Маттен. Там же он был и похоронен. Лишь через год состоялось его перезахоронение на кладбище города Оберстдорф, где позднее были погребены и многие другие члены его семьи²³.

22 По данным Регистрационного бюро г. Оберстдорф, голландский дворянин и создатель детского дома «Hohes Licht» Ламан Трип де Бофор подарил семье Мордвиновых дом, находящийся по адресу Lorettstasse 40 1 /23 (в настоящее время Hammerspitzweg, 7). Дом получил прозвище «Hetthaus», что, вероятно, связано с девичьей фамилией Ольги – Хит (Heath).

23 Могила гетмана с казацким крестом сохранилась на кладбище г. Оберстдорфа.

В Оберстдорфе семья Мордвиновых жила небогато и обеспечивала свое существование в основном за счет заказов на портреты, получаемых Ольгой Карловной, которая стала пользоваться довольно широкой популярностью. Она писала портреты не только представителей знатных семей, которые проживали в Оберстдорфе или приезжали туда провести отпуск, но и много путешествовала с этой целью, посетив добрую половину стран Европы. Во время одной из таких поездок, оказавшись в Англии, Ольга Карловна попыталась обратиться за помощью по получению заказов к Бойду Карпентеру, дальнему родственнику семьи, с которым Мордвинов случайно познакомился во время своей поездки в Англию, сопровождая великого князя Михаила Александровича. Тогда Мордвинов, впервые узнавший о его существовании, по приглашению Карпентера, утверждавшего, что фамилия Мордвиновых глубоко почитается в их доме, побывал у него в гостях, познакомился с его женой и расстался «если и не горячо, по-родственному, то почти друзьями». После обмена несколькими письмами и фотографиями родственников связь с ними Мордвиновы не поддерживали. Теперь же, стремясь найти работу в качестве художницы, Ольга Карловна предприняла попытку обратиться к Бойду Карпентеру с письмом через Карлтон-клуб, членом которого он состоял. Однако письмо так и осталось без ответа, а Бойд Карпентер, по словам Мордвинова, оказался «единственным из наших знакомых, кто счел лишним откликнуться на наше русское горе». Анатолий Александрович предлагал жене обратиться за художественными заказами к представителям английского королевского дома, со многими из которых он был неплохо знаком, однако она «из-за своей хорошей гордости ни за что не хотела обратиться за приисканием художественной

работы ни к королеве Александре, ни к принцессе Виктории.... И все же Ольга Карловна, являвшаяся, несомненно, талантливой художницей-портретисткой, сумела найти работу и обеспечить себя заказами. О популярности Ольги как художницы свидетельствует тот факт, что в 1932 г. шестьдесят одна ее картина была выставлена в галерее Jean Charpentierin в Париже. Помимо живописных работ Ольга Карловна иногда делала карандашные портреты: так, до наших дней сохранился портрет великой княгини Елизаветы Маврикиевны²⁴.

Сохраняя любовь к воинской службе и преданность родному полку, Анатолий Мордвинов, в свое время написавший его историю²⁵, в 1921 г. вступил в объединение

24 Портрет хранится в фондах музея Свято-Троицкой духовной семинарии РПЦЗ в г. Джорданвилль (США), передан дочерью великой княгини Елизаветы Маврикиевны княжной императорской крови Верой Константиновной в 1960-е гг. в составе личной коллекции. В ГА РФ хранится еще один портрет, выполненный в похожей художественной технике (карандаш, пастель), – великой княгини Веры Константиновны, сестры мужа великой княгини Елизаветы Маврикиевны (Ф. 686. Оп. 1. Д. 450. Л. 1). На портрете есть авторский автограф «О^а. 15.III.1897». Специалист по живописи членов Дома Романовых М. В. Сидорова предполагает, что данный портрет написан О. К. Мордвиновой.

25 История лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полка. Составитель – полковник М. И. Марков. Том 2. 1880-1904. Исторический очерк. Составитель – полковой адъютант штабс-ротмистр А. А. Мордвинов. Иллюстрации академика Н. С. Самокиша. Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. СПб., 1904.

лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка²⁶ и являлся одним из первых его членов. Находясь в эмиграции, Мордвинов продолжал поддерживать контакты со многими представителями великокняжеских семей, с которыми он был ранее хорошо знаком во время службы в полку и проживанию с семьей в Гатчинском дворце.

В годы эмиграции особенно активную переписку он вел с великой княгиней Ольгой Александровной, которая была крестной матерью его дочери Марии. «...Прошло уже более 15 лет, как я видел ее в последний раз. Но мы находимся с ней в постоянной переписке. Это был и остался для меня и моей семьи друг, в полном объеме этого слова, который действительно никогда не забудет и никогда не изменит», – писал он. Сохранил Анатолий Мордвинов дружескую связь и с герцогом Георгием Николаевичем Лейхтенбергским, который проживал тогда в своем родовом замке Зеон в Баварии. Именно Георгий Лейхтенбергский в 1927 г. пригласил к себе Мордвина, чтобы тот мог встретиться и высказать свое мнение о находившейся у него в замке девушке, называвшей себя великой княжной Анастасией Николаевной, избежавшей смерти при убийстве императорской семьи в Екатеринбурге.

Остаток жизни Анатолий Александрович провел в Баварии, в небольшом городке Оберстдорф в окружении родных – жены Ольги и дочери Марии. В 1925 г. она

26 Устав «Объединения кирасир Ее Величества» был утвержден шефом полка Марией Федоровной в Копенгагене в августе 1922 г. Членами Объединения являлись бывшие командиры и офицеры полка, служившие в нем до 17 декабря 1917 г., и офицеры, принятые в полк в период Гражданской войны.

приехала к ним из Англии, где несколько лет проработала швеей, зарабатывая на скромную жизнь. 19 января 1940 г. полковник Мордвинов скончался на руках у близких и был похоронен на кладбище Вальдфредхоф (Waldfriedhof) в Оберстдорфе. Ольга Карловна, оставшись одна, жила в доме вместе с подругой Маргаритой Буш, также в свое время эмигрировавшей из Петербурга и находящейся в Германии по нансеновскому паспорту, и дочерью, которая работала воспитательницей в детском доме. В 1952 г. Ольга Карловна, стремясь обеспечить старость подруге, завещала одну треть дома ей и одну треть – дочери Марии. 17 декабря 1953 г., пережив мужа на 13 лет, она тихо скончалась в местной больнице и была похоронена рядом с А. А. Мордвиновым.

В 1955 г., после того как Маргарита Буш выехала из дома, Мария продала его, а вырученные средства потратила на строительство детского санатория. Мария Мордвинова так и не вышла замуж и не оставила потомства. Она умерла 18 июля 1971 г. и была похоронена рядом с родителями. Поскольку в течение многих лет могила Мордвиновых оставалась без ухода и оплаты, в 1986 г. на ее месте было сделано новое захоронение.

А. А. Мордвинов оставил после себя большие по объему мемуары. Писать их он начал в начале 1920-х годов. Вести дневник, по утверждению автора, он начал после его разговора с императрицей Александрой Федоровной. «Нет, вы должны писать непременно дневник, – говорила государыня, – всякий человек обязан это делать, и делать искренне, помня, что это полезно и необходимо не только для себя, но и для других, и помогает не только памяти, но и правде». Значительная часть этих дневников пропала в Гатчине осенью 1917 г., когда революционные солдаты проводили обыск в царском дворце. Поэтому при написании

мемуаров автору приходилось опираться на собственную память. По всей видимости, именно этим объясняются некоторые неточности, допущенные автором в датировке и последовательности отдельных событий, фамилиях и т. д.

Впервые отрывки из той части мемуаров, которая посвящена отречению царя, были опубликованы в эмиграции в 1923 г. в журнале «Русская летопись». Отдельным изданием эта часть записок вышла в Париже в 1925 г., затем издана в СССР в 1927 г. и переиздана вновь в 1990 г.²⁷

В конце 1930-х гг. автор передал полный экземпляр мемуаров, озаглавленный им «На военно-придворной службе», в Русский Заграничный Исторический архив в Праге. Этот архив в 1945 г. был передан в дар правительством Чехословакии Академии наук СССР, до конца 1980-х гг. находился на секретном хранении в бывшем ЦГАОР СССР (Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и управления СССР). После рассекретивания фондов журнал «Отечественный архив» в 1993 г. опубликовал небольшую часть мемуаров А. А. Мордвинова, посвященную Николаю II и его отречению²⁸. Далее, в 1990-2000-х гг., фрагменты

27 Русская летопись. 1923. Кн. 5. С. 65-177; 1924. Кн. 6. С. 119-140; Мордвинов А. А. Из воспоминаний. Париж, 1925. Он же. Последние дни императора // Отречение Николая II. Л., 1927. С. 79-135.

28 Отечественные архивы. 1993. № 3. С. 48-85. Публикация Шаврова А. В., Федорова Ф. Л.

воспоминаний входили в различные издания, посвященные последнему императору России и его семье²⁹.

К сожалению, мало кто из русской эмиграции 1920-1930-х гг. оставил письменные оценки воспоминаниям А. А. Мордвинова. Следует упомянуть о весьма критичном взгляде на мемуары флигель-адъютанта великой княгини Ксении Александровны. В письме от 1 декабря 1938 г. близкой подруге графине А. А. Апраксиной она написала: «Я вспомнила, что не ответила тебе насчет Мордвинова. Он живет в Швейцарии – нет, вру, в Баварии. Жена (дочь Mr. Heath) делает портреты пастелью – она замечательно талантлива – и тем зарабатывает на жизнь. Он хороший человек, но очень бесцветный, и его мемуары так же бесцветны, как он сам!»³⁰ Отметим, что великая княгиня Ксения Александровна мало знала А. А. Мордвинова лично. Она лишь эпизодически встречала Анатолия Александровича у матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, в Гатчинском дворце и вряд ли могла быть объективна в оценке его личности.

Сохранившиеся мемуары А. А. Мордвинова под общим названием «Из пережитого» состоят из трех основных

29 Барковец О., Крылов А. Цесаревич. М., 1997. С. 95; Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных. М., 1999. С. 58-95; Император Александр III и императрица Мария Федоровна. Материалы IV научной конференции «Императорская Гатчина» // Гафифуллин Р. Р. Отрывки из семейных воспоминаний. СПб., 2006. С. 239-258.

³⁰ Императрица Мария Федоровна. Великая княгиня Ксения Александровна. Великая княгиня Ольга Александровна. Письма (1918-1940) к княгине А. А. Оболенской. М., 2013. С. 385.

частей: «На военно-придворной службе», «Отречение государя. Жизнь в царской Ставке без царя», «Мои тюрьмы», а также короткого фрагмента «Мои встречи с девушкой, именующей себя спасенной великой княжной Анастасией Николаевной». При этом необходимо заметить, что в сохранившейся версии записок, несмотря на логическую и хронологическую последовательность упомянутых выше трех основных частей, сам автор производит несколько другое деление. Так, хронологически и повествовательно следующая за первой частью мемуаров часть вторая – «Отречение государя. Жизнь в царской Ставке без царя» – обозначена им как часть третья, а «Мои тюрьмы» – как пятая. Конечно, нельзя исключить, что какие-то фрагменты воспоминаний были утрачены. Однако в начале пятой части «Мои тюрьмы» автор приводит следующее деление мемуаров: 1. Моя придворная служба; 2. Отречение государя; 3. Жизнь без царя; 4. Воспоминание об императоре Николае II; 5. Мои тюрьмы; 6. На чужой стороне. Такое деление на разделы, сделанное самим автором, практически исключает это допущение, поскольку и с точки зрения логики, и с точки зрения хронологии, и с точки зрения цельности повествования полностью укладывается в содержание и наименования трех более крупных частей воспоминаний. Скорее всего это кажущееся несоответствие свидетельствует лишь о том, что автор с течением времени неоднократно возвращался к своим мемуарам, дополнял, перерабатывал и систематизировал их. Возможно лишь допустить, что до нас не дошли какие-то фрагменты из раздела «На чужой стороне», поскольку жизнь в эмиграции описана автором весьма скудно. С другой стороны, вполне вероятен и тот вариант, что автор прекратил работу над мемуарами в конце 1920-х годов после встречи с Лже-Анастасией, а дальнейшая жизнь

в эмиграции не отличалась обилием событий, которые заслуживали бы, по его мнению, особого внимания.

Мемуары, наполненные чувствами, размышлениями, переживаниями и оценками различных людей и событий, носят весьма личный характер и в первую очередь предназначались автором дочери Марии. Вот как он сам писал об этом: «...Я не хотел бы, чтобы, кроме тебя, мама, моего брата и великой княгини Ольги Александровны – моих единственных друзей, мнением которых я особенно дорожу, – кто-нибудь другой прочел бы страницы моих записей за то время». Мордвинов хотел, чтобы дочь из первых рук узнала об истории семьи, своих предках, многих исторических личностях, с кем его сводила служба при дворе, и, конечно, о тех эпохальных событиях, в гуще которых волею судеб в свое время оказался ее отец. «Не для современников тогдашних событий и были написаны, в свое время, эти записки. Мои свидетельства я посвящал поэтому не им, а в лице моей дочери тому молодому русскому поколению, что идет нам на смену», – писал он в декабре 1921 г.

Воспоминания А. А. Мордвинова обилуют личными обращениями к дочери и представляют собой нечто среднее между беседой и повествованием. Автор стремится рассказать дочери не только историю жизни их семьи, о своей службе при великом князе Михаиле Александровиче и дворе императора, встречах со многими историческими личностями, но и раскрыть свой внутренний мир через призму личных переживаний и эмоций. Поэтому в воспоминаниях так много лирических отступлений, очень ярко характеризующих А. А. Мордвинова как человека неравнодушного и искреннего, иногда по-детски наивного, по словам императрицы Александры Федоровны – немного

«блаженного», но преданного России и царской семье. В отличие от других представителей окружения императора Николая II, оставивших свои воспоминания о последнем царе и его семье³¹, он с чрезвычайной деликатностью пишет о великом князе Михаиле Александровиче и его романе с Н. С. Брасовой, императоре Николае II и его семье, аккуратно обходя щепетильные темы, как, например, влияние Г. Распутина на императрицу Александру Федоровну. Он был в курсе многих внутренних семейных проблем Романовых, но не опустился в воспоминаниях до уровня слухов и сплетен, которые всегда были вокруг двора. Он и в эмиграции, после падения монархии, остался навсегда, как он подписывал письма императрице Марии Федоровне, «вашим всепреданнейшим А. Мордвиновым».

Автор, видимо, несколько лукавит, утверждая, что его записки были предназначены лишь для узкого семейного круга, поскольку по ходу повествования он неоднократно вступает в полемику с другими очевидцами событий, опубликовавшими свои мемуары. Еще одно подтверждение тому – публикация А. А. Мордвиновым части мемуаров, посвященной отречению царя, в 1923 г., то есть менее чем через год после их написания (июнь 1922 г.).

Первая часть «На военно-придворной службе» была начата, по утверждению автора, примерно в 1906 г. Она охватывает период до начала Первой мировой войны и посвящена детству, обучению в пансионе и кадетском корпусе, истории семьи Мордвиновых, началу службы,

³¹ Николай II, последний император России. Сборник биографических и библиографических материалов. М., 2008. С. 308-325.

знакомству с женой, семейным событиям и, конечно, службе в качестве личного адъютанта великого князя Михаила Александровича.

Особого внимания заслуживают разделы, посвященные великому князю Михаилу Александровичу, а также Николаю II и его семье. На протяжении многих лет Мордвинов, за исключением членов семьи, ближе всех находился к великому князю и был не просто его личным адъютантом, а практически другом, который знал все особенности его характера, привычки, занятия, увлечения, отношение к жизни и обществу, наблюдал его поведение в различных ситуациях. Комментарии автора касательно особенностей мироощущения и жизненных установок великого князя Михаила Александровича помогают лучше понять побудительные причины и мотивы многих его поступков, а следовательно, составить и более цельную и правильную картину о нем как личности. Мордвинов как человек, хорошо знавший Михаила Александровича и, несмотря на размовку, сохранивший к нему самые теплые чувства, проводит целый анализ (может быть, не совсем объективный!) причин, объясняющих как его отношение к престолонаследию в целом, так и мотивов, побудивших его отказаться от престола в марте 1917 г.

Вторая часть мемуаров «Отречение государя. Жизнь в царской Ставке без царя» была начата в конце февраля 1917 г., в дни, предшествовавшие отречению Николая II, и представляет собой собранные воедино сделанные в тот период заметки и дневниковые записи. «Сколько несчастий, – целая эпоха несчастий, всегда где-то, около каждого народа таящихся, но – настойчиво опять повторяю – вызванных у нас непосредственно к жизни лишь одним отречением! С этого страшного события я и начал свои

записки», – писал автор. По словам А. А. Мордвинова, он и еще несколько человек из ближайшего окружения императора, находившиеся рядом с ним в эти дни и бывшие непосредственными свидетелями и участниками событий, связанных с отречением Николая II, приняли решение по свежим следам записать все сохранившиеся в их памяти подробности. Составление записок началось в царском поезде на пути между Псковом и Могилевом в первых числах марта 1917 г. Записи под диктовку участников событий вел на разрозненных листах карандашом начальник походной канцелярии императора генерал К. А. Нарышкин. При этом было договорено, что в дальнейшем он передаст копию этих записок каждому из их составителей. Тем не менее во время нахождения в поезде сделать это он не успел, а в дальнейшем в суматохе того времени был безвозвратно утерян и оригинал записи. Таким образом, дошедшая до нас вторая часть мемуаров была составлена Мордвиновым в период с декабря 1921 г. по июнь 1922 г. на основе собственных воспоминаний и впечатлений. Наибольший интерес в этой части мемуаров представляет не столько достаточно подробная хронология событий, которая была многократно представлена другими очевидцами, сколько описание внутренних переживаний императора, его реакции на происходящее, а также личностные оценки, которые дает автор Николаю II и его ближайшему окружению. Несмотря на некоторый субъективизм оценки происходившего, объясняющийся личным отношением автора к императору, его описания поведения и эмоционального состояния царя, бесспорно, являются уникальным источником информации. «Я имел радость стоять все же ближе к царской семье... В тот ужасный день, 2 марта, мне пришлось быть последним дежурным флигель-адъютантом не только при русском

императоре, но и при моем относившемся ко мне с такой добротой государе. Я писал то, что видел, что чувствовал, хотел быть искренним и совершенно беспристрастным», – вспоминал он.

Третья часть мемуаров «Мои тюрьмы» написана в 1922 г. в Гарце (Бавария) и представляет собой подробный рассказ о нескольких арестах, пребывании в тюрьмах и неудачной попытке покинуть Россию. Иными словами, о тех испытаниях, которые, по утверждению автора, оказались для него «наиболее жестокими, но зато и более поучительными». Мордвинов детально описывает тюремный быт, существовавшие в тюрьмах порядки, поведение тюремщиков и взаимоотношения между людьми, многие из которых были некогда хорошо знакомы, другие относились к разным общественным слоям, но теперь волею судьбы оказались в заключении, объединенные общим несчастьем, человеческими интересами и горячим желанием оказаться на свободе. Любопытно, что, несмотря на явно глубочайшие переживания и потрясения, автор не пышет злобой к своим тюремщикам и описывает их скорее в несколько пренебрежительной манере как людей очень недалеких, не знающих счета дальше «шашнадцати», которые «пришли ко власти не бунтом и захватом, а каким-то хотя и непонятным, но законным путем, преемственно от прежнего Временного правительства» и которые «с таким тупым старанием караулили бы и самого Кольцова с Лениным, если бы они оказались на нашем месте и если бы об этом пришло откуда-нибудь «приказание». Периодически упоминая о том, что большевики творили зверства, Мордвинов не приводит ни одного конкретного примера, что, видимо, объясняется тем, что он, безусловно, о неких зверствах и издевательствах слышал, но сам, к счастью, не испытал ни того, ни другого.

Попав в первую волну арестов сразу же после октябрьских событий, когда многих расстреливали без суда и следствия, Мордвинов оказался в числе тех «счастливичков», которым удалось избежать скорой расправы и достаточно быстро выйти на свободу только благодаря тому, что из-за царившего в то время общего хаоса его тюремщики посчитали его обычным офицером, так и не разобравшись, кем он был на самом деле. Знай они, что им руки попался флигель-адъютант императора, человек из ближайшего окружения царской семьи, расправа не заставила бы себя ждать.

С огромной любовью и глубочайшей признательностью пишет Мордвинов о своей жене Ольге. По его словам, только ее настойчивость, самоотверженность и даже отчасти самопожертвование позволили ему достаточно быстро выйти из застенков. Опять-таки ее стараниями был найден первый, правда, как оказалось, неудачный вариант выезда из страны. Супругов вообще связывали очень сильные и прочные чувства. На протяжении всех мемуаров Мордвинов постоянно возвращается к описанию их взаимоотношений, стремлению быть вместе даже в период его служебных поездок. Ольга и Анатолий были счастливы, прожив в браке более 40 лет, и, несмотря на смерть двоих сыновей, все трудности, лишения и страдания, выпавшие на их долю, до конца жизни сохранили любовь друг к другу.

Несколько особняком от основных трех частей мемуаров находится небольшой фрагмент воспоминаний, озаглавленный «Мои встречи с девушкой, именующей себя спасенной великой княжной Анастасией Николаевной». Написан он в августе 1928 г., можно сказать, по свежим следам встреч, состоявшихся весной 1927 г. в замке герцога Георгия Лейхтенбергского Зеон, в Баварии. Это был период накала

страстей вокруг Анастасии Чайковской (более известной как Анна Андерсон), именовавшей себя чудом уцелевшей при казни царской семьи великой княжной Анастасией. К тому времени как Георгий Лейхтенбергский пригласил ее к себе в замок и попросил Анатолия Мордвинова приехать, чтобы провести несколько встреч с ней и высказать свое мнение о ней, с ней уже встречались хорошо знавшие Анастасию многие представители царского двора и семьи, включая великую княгиню Ольгу Александровну и воспитателей царских детей Сиднея Гиббса и Пьера Жильяра. Несмотря на то что большинство из встречавшихся с женщиной, выдавшей себя за великую княжну, не признали ее, точка в этой истории еще не была поставлена. В этой ситуации Мордвинов должен был, по мысли Георгия Лейхтенбергского, внести свою лепту в попытки установить истину. Его мнение как человека, прекрасно знавшего великую княжну Анастасию Николаевну и много общавшегося с ней, было чрезвычайно важно не только для все еще сомневавшегося в ее идентичности герцога Лейхтенбергского, но и для уже видевшихся с ней людей из ближайшего окружения царя. Именно поэтому в вводной части к этому фрагменту воспоминаний Мордвинов писал: «Дневник этот, ввиду их убедительной просьбы, я давал для ознакомления великой княгине Ольге Александровне, великому князю Александру Михайловичу и г-ну Пьеру Жильяру, бывшему воспитателю маленького наследника». Мордвинов не стал заранее извещать о своей поездке в Зеон великую княгиню Ольгу Александровну «из желания оградить великую княгиню от обычных в таких случаях сплетен и недоразумений, будто она нарочно меня подслала, чтобы подкрепить ее «предвзятое» мнение». В этом фрагменте воспоминаний Анатолий Мордвинов очень подробно описывал дни,

проведенные в Зеоне, его встречи с Анной Андерсон и причины, заставившие его прийти к однозначному выводу о том, что г-жа Чайковская или, как ее еще называли, Шанцковская³², отнюдь не великая княжна Анастасия Николаевна»³³.

В целом мемуары Анатолия Мордвинова написаны хорошим литературным языком. Необходимо отметить, что в ходе повествования автор приводит множество цитат писателей, политиков и историков различных эпох, великолепно ориентируется в воспоминаниях современников, опубликованных к моменту создания мемуаров, и аргументированно полемизирует с ними, стремясь отчасти восстановить историческую правду, отчасти – обосновать свою собственную точку зрения. Мемуары изобилуют описанием многих исторических личностей, как в России, так и за рубежом, с которыми Мордвинову пришлось встречаться в период службы.

Первая полная публикация всех частей воспоминаний А. А. Мордвинова расширяет и дополняет круг источников по

³² По одной из версий, Анна Андерсон в действительности являлась Франциской Шанцковской, рабочей берлинского завода, производившего взрывчатые вещества. После ее смерти были произведены два независимых друг от друга теста ДНК, которые подтвердили ее генетическую близость к семье Шанцковских.

³³ Наиболее значительные работы по истории Анны Андресон: *G. King, P. Wilson. The Resurrection of the Romanovs: Anastasia, Anna Anderson, and the World's Greatest Royal Mystery.* – John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey. 2011; *Kurth, Peter (1983). Anastasia: The Riddle of Anna Anderson.* Back Bay Books. (На русском языке: *Курт, Питер. Анастасия. Загадка великой княжны.* М., 2005.

истории России начала XX века, Дома Романовых, последнего императора Николая II и одной из самых трагических страниц – его отречения и гибели монархии.

Публикуемые воспоминания представляют собой подлинник – машинописный экземпляр, отпечатанный на разных пишущих машинках и исправленный автором. Оригинал хранится в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 5881. Оп. 2. Д. 512 (116 л.); Д. 513 (210 л.); Д. 514 (548 л.). Текст публикуется по правилам современной орфографии и пунктуации.

Составитель выражает глубокую благодарность сотрудникам городского музея и Регистрационного бюро г. Оберstdорф (Германия) за их помощь и сотрудничество в поиске материалов. Отдельные слова благодарности исследователю и журналисту Александру Рёсле (Roessle) (г. Оберstdорф) за его профессиональную поддержку, дружеское участие и искренний интерес к истории русской эмиграции. Спасибо также коллегам из ГА РФ за помощь в работе по фондам архива – начальнику отдела Елене Чирковой, заведующей архивохранилищем Ирине Засыпкиной и ее сотруднику Софье Хорошевой, а Александре Барковец – за перевод с немецкого языка.

Ольга Барковец

■ Часть I. На военно-придворной службе

Моей дочери – вместо предисловия

Вдумывалась ли ты когда-нибудь о том: какая удивительная вещь наша память. Где остаются, сохраняясь, бесчисленные впечатления, которые нас постоянно наполняют с детства до глубокой старости и которые через десятки лет снова могут быть вызваны к жизни со всеми своими, почти прежними, тонкими ощущениями.

Ведь все мельчайшие частицы нашего тела от костей до мозга включительно, как говорит наука, находятся в непрерывном движении, а весь состав его сменяется чуть ли не каждые 7 лет, и от прежнего физического в нас не остается и следа...

В материальном мозгу они, следовательно, не могли бы запечатлеться так долго!

Не является ли и это одним из лишних бесчисленных доказательств, что все материальное «исчезает», меняясь до неузнаваемости, и что лишь духовное может оставаться постоянным...

Но как бы ни силиться постичь такое явление, я горячо благодарю Бога за этот чудный дар.

С ним нечего отчаиваться, что наше существование проходит бесследно, уносясь с каждым мигмом в какое-то неизведанное пространство, откуда, как уверяют, ничему не бывает возврата...

Нет, наша прошлая жизнь не уходит от нас навсегда – она всегда с нами, хотя и следует порою на очень почтительном расстоянии, но подозвать ее к себе может ведь

всякий и по собственному желанию вновь испытать то, что было когда-то в детстве, из старика превратиться порою вновь в молодого, ощущать почти с не меньшей силой прежнее хорошее и дорогое, одним словом, найти то, что казалось навсегда исчезнувшим.

Не в этом ли, конечно, лишь отчасти, смысле и сказал Ибсен: «что обладать вечно мы можем только потерянным».

Но ведь отраднo находить только милое и ценное, «обладать же вечно» тяжелым и ужасным, ничего, кроме постоянных страданий, нам не принесет!

И тут человеку наряду с памятью дана не менее чудесная возможность забвения – забвения тяжелых дней не только при помощи времени, но и по своей собственной воле, но опять-таки благодаря вдумчивым, настойчивым воспоминаниям о еще более ярком, всегда пересиливающем, хорошем, что приходилось каждому из нас переживать на своем веку.

Да и испытания нам даны лишь «отчасти», чтобы еще ярче выделить все то прекрасное, что нас всегда окружает, но что в нашем благополучии мы привыкли почти не замечать.

Не было бы ночи – не видели бы мы, конечно, и звезд. Забыть все несчастья и помнить только о счастье, когда-то давно бывшем, – способность заманчивая, которая, конечно, дается нелегко, и не всякий сможет одержать эту победу над самим собой; но без нее нельзя и искренно следовать проникновенному завету апостола: «будьте всегда радостны и за все благодарите Бога»!

* * *

Память и забвение! Понятия, казалось бы, уничтожающие взаимно друг друга, но только при чудесном совместном наличии их обоих наша жизнь, о которой так приходится задумываться под старость, получает другую, настоящую оценку: она уже не полна «несправедливых» и «ненужных» страданий и не является «даром напрасным и случайным», который так раздражал поэта...

С ней не только начинаешь мириться, но и крепче чувствуешь, что ее надо лишь благословлять...

Есть и у меня о чем вспомнить, о чем задуматься, о чем помечтать, а главное, есть за что благодарить...

Если «всякое переживание душою», по словам Гете, «есть выигрыш», то много было мне даровано самых неожиданных выигрышей на моем веку...

С изумительной прихотливостью бросала меня судьба от одного «изведывания» к другому, как бы торопясь возможно красочнее показать, что есть наиболее прекрасного и отвратительного на свете...

Да! Много, много всего было намешано в этом объемистом тяжелом кубке, из которого мне пришлось пить свой напиток жизни, но жажда моя все еще не утолена, и так грустно сознавать, что мое земное будущее становится уже совсем коротким – столько мечталось сделать, увидеть, узнать, и вот, к изумлению, уже приходится с упреком говорить самому себе: «все откладывал!», «намеревался!», «забавлялся!», «готовился!» – «а время вот и ушло»...

«Прежних порывов и сил не вернешь»!..

Да, почти как один день пронеслись эти долгие года, а сколько вмещал в себя этот действительно только лишь миг нашего существования на земле.

Я знаю, что ему полагается так быстро промчаться, но мне до боли порою жаль, что я как Фауст, не мог, когда хотел, воскликнуть: «Остановись, мгновенье! Как ты прекрасно!»³⁴

Их было так много, этих прекрасных мгновений!

Но стоит ли грустить о приближающейся старости?

Завидовать ли мне вот этому дереву, которому, наверно, больше 300 лет, а оно все еще свежо и зелено?

Или, глядя на эту беззаботную бабочку, не любоваться ею, а лишь тоскливо думать, что часы ее уже сочтены?..

Не будет ли лучше, как ребенок, не задумываясь о будущем, которое тогда представлялось бесконечным, вбирать в себя по-прежнему из красоты мироздания все новые и новые впечатления, продолжать удивляться как ей, так и стройности и необходимости существующего, и, полный мирного благодарного доверия к Высшей Воле, почти не замечать мелькающих мимо дней?

А страдания?! А несчастья?.. И они только ведь миг, а вечных страданий беспредельная любовь Бога, нам, конечно, не даст...

Нет, пока есть глаза, возможность слышать, осязать, радоваться и думать, а вместе с этим верить, надеяться и

³⁴ «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!». Из трагедии Гете «Фауст» (1808) (ч. I, сцена 4 «Кабинет Фауста»).

прощать, не стоит страшиться и надвигающейся старости, как не страшится ее ребенок.

Детство и старость! Так различны эти состояния, но все же в одном главном они одинаковы – оба находятся при вступлении в неизвестность.

Пронесшиеся 54 года отодвинули слишком мало меня от начала моего существования, иначе впечатления далекого детства мне не представлялись бы такими близкими, как вчерашний день, и я не чувствовал бы эти долгие годы лишь мгновением – а от мгновенья разве может ребенок состариться? Да и где начало моей жизни?

Началась ли она действительно всего лишь 54 года назад, а быть может, не «живу» ли я значительно дольше?

Не связаны ли мы все, ясно ощутимыми нитями с прошлым даже отдаленных веков? Быть может, наша жизнь лишь потому и представляется нам короткой, что мы не считаем всего прошлого своим.

Разве не сборными мыслями этих веков я, в конце концов, думаю, не их ли начальные звуки в музыке слышат до сих пор мои уши, не на их ли хотя и измененные образы продолжают еще смотреть мои глаза?

Благодаря не словам ли, записанным евангелистами еще 2000 лет назад, но запавшими в мою душу столь недавно, я так, а не иначе, смотрю на Божий свет...

Я, конечно, не мог бы быть даже физически таким, каким я есть, если бы все мое духовное и даже материальное существо не получило преемственного начала в те далекие времена, при мысли о которых меркнет всякое представление о молодости или старости...

Да, человеческая жизнь это действительно мгновение; недаром уверяют, что в минуты смертельной опасности люди могут всю ее, без остатка, окинуть духовным взором лишь в несколько земных секунд, но она вместе с тем и вечность, не имеющая начала; а что не имеет начала, не может иметь и конца...

Не будем поэтому с тобою особенно грустить, что наши годы проносятся так стремительно быстро...

Чем еще новым, более сильно захватывающим, сказалось бы на нас их замедление?..

Мы все ждем от жизни самых радостных, волнующих или удовлетворяющих впечатлений, а они уже вошли в нас давным-давно, еще в наши детские дни, и более восторженных и удивительных уж нам не найти.

Мы растем, а с нашим ростом все в нас мельчает, и чудеса окружающего нам уже не кажутся по-прежнему поразительными.

Счастлив тот, кто смог накопить впечатлений именно из этих прекрасных годов и удержать их в полной силе до седых волос, потому что ими, пожалуй, только одними ими, сможет согреться и успокоиться наша холодная рассуждающая старость...

Все остальное, последующее, столь разнообразное, волнующее «величавое», «мудрое», «научное», «политическое», притягательное, все, что кажется в юношеские годы таким заманчивым и необходимым и что успевает вносить жизнь в этот мгновенный промежуток между детством и старостью, уже не дает таких восторженных воспоминаний...

Да и краски этих годов, несмотря на большую их к нам близость, почему-то становятся блеклыми, и мысль об этих событиях зрелой жизни как будто опасается забираться в их

глубину – действительно, какая уж там глубина, в этой постоянной «суете сует», которая сначала непрошено забирается в наше существование и от которой мы затем и сами не желаем или не можем отделаться...

«Будьте как дети!»³⁵ – вот евангельские слова, которые начинаешь понимать по-настоящему, только пройдя долгий жизненный путь, которым, несмотря на всю трудность исполнения и «смешное безумие», хотелось бы все-таки следовать...

«Для великих вещей, – говорил и мудрец древности, – необходимы сердце и глаза ребенка».

Было и у меня мое памятное дорогое детство: детство, правда, довольно одинокое, сиротливое, без отца и матери³⁶, проведенное в доме горячо нас любившей, но не очень ласковой бабушки³⁷, и все же детство в деревне, полное очарований и от природы, и от всего уклада тогдашней помещицкой жизни.

Все в этом начале было так волнующе-радостно, так не похоже на то, что было потом!

А потом появились каменные громады города, тротуары, выложенные плитами, незнакомая, движущаяся непрерыв-

³⁵ Строки из Св. Евангелия от Матфея (гл. 18:3) «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».

³⁶ Отец автора Александр Мордвинов умер через год после рождения сына, в 1871 г. Дата смерти матери, Марии Мордвиновой, рожденной Кочновой, не установлена; в 1871 г. она родила второго сына – Павла.

³⁷ Не установлено, о какой бабушке пишет автор.

ным потоком толпа, непрерывный треск экипажей и, наконец, тюрьма иностранного пансиона³⁸ с чуждым мне языком, с невыносимыми для выросшего на деревенской свободе мальчика требованиями.

Зато какой восторг, бывало, раз в году, весной, вырваться из этого ада, пройтись по деревенской песчаной дорожке, чувствовать снова наконец настоящую землю под собой, выскакивать из почтового тарантаса и валяться, взвизгивая от радости, на первой же по дороге лужайке.

Все, что было не город, было одно наслаждение.

Даже запахи от нагретой солнцем кожи тарантаса, дегтя его колес и махорки от «цигарки» ямщика, тучи слепней и комаров – и те были необычайно приятны, и те запомнились до сих пор...

О восторгах при приближении к родной усадьбе я уж не говорю, да о них и нельзя рассказать на языке человеческом.

Впоследствии, уже в юношескую пору, мне много, много раз приходилось покидать нелюбимый город и приезжать на короткое время в мою родную деревню. Было и тогда особенно отрадно, и опять легко становилось на душе.

³⁸ Автор далее пишет о Немецком пансионе в Петербурге. Возможно, что это немецкий пансион Петершуле, основанный в 1710 г. В эту школу отдавали своих детей и многие православные жители города, так как здесь их дети получали прекрасное знание европейских языков, отечественной и европейской истории, литературы, культуры. Известные ученые преподавали математику, физику, химию и биологию. В начале XX века в Петершуле училось до 1700 учащихся.

Но прежней восторженности детства, как я ее к себе ни призывал, – уже не было. Она ушла куда-то с годами начала моей жизни и уже более ко мне не возвращалась...

Нет, вероятно, только ребенок может хвастаться настоящей тонкостью ощущений и радоваться тем бесчисленным радостям, которые нас постоянно окружают, но которые мы так быстро привыкаем не замечать.

В эстетических переживаниях зрелого возраста, правда, бывает порою много изощренной тонкости, но к ним всегда примешивается и небольшая частица рассуждающего ума и обыкновенно собою все портит. Когда говорит душа, ум обязан молчать, но как отделаться от его назойливого нашептывания?!

Разве лишь старость – благодарная старость, спокойная, без болезни, без угрызений совести, быть может, придет тут на помощь и превратит нас, по закону природы, снова в прежних малых детей.

Понемногу затихнет ум, ослабнет память, отодвинутся вдаль все житейские заботы, и, быть может, снова заговорит лишь одна душа...

Но заговорит ли она действительно по-детски, радуясь, как раньше, всему окружающему и не страшась нисколько неизвестного будущего?

Если да, то какое счастье наша наивно-детская, глубокая и беспомощная старость!..

Но до нее тебе еще далеко, моя милая девочка, – жизнь, заманчивая в твои годы своими обещаниями, еще только начинает открываться тебе.

Я знаю, она влечет тебя, и тебе не хочется оглядываться назад.

Ты действительно много увидишь замечательного – того, чего, вероятно, не увижу уже я, но еще больше испытаешь обыденного, всегда и везде, до скуки, повторяющегося...

Но многое все же ушло навсегда, и пережить его живо можно только в воспоминаниях очевидцев.

Познать это неизведанное прошлое через других, но при неперменном свете своих собственных размышлений, не менее заманчиво, чем думать, по-своему же, и о неизвестном завлекающем будущем – ведь они оба таинственны, и из них обоих складывается наша жизнь.

Но помни всегда, что только прошлое это – наш самый верный, надежный и привязанный друг. Его советы подчас неприятны, но зато доброжелательны и правдивы, его рассказы интересны, потому что они искренни, и они – быль. Правда, много ужасного было совершено этим прошлым, но зато и много предостерегающего опыта накопилось у него.

А в призывах прекрасного будущего, как бы им ни верилось, всегда чувствуется немного сказки или обольщения...

Впрочем, и сказка нередко превращается в действительность, да и благородное обольщение пока длится – прекрасно, и не мне охлаждать твои юношеские мечты...

Сам дожив до седых волос, я слишком часто прислушиваюсь к этим заманчивым посулам грядущего – потому что только ведь в будущее зовет нас наша надежда, а без нее как нам подняться до веры, живущей уж очень высоко!..

Ну, довольно непрошенных рассуждений о воспоминаниях!

Ты ведь ждешь давно самих воспоминаний, и притом из моей более благополучной поры, непосредственно прилежавшей к нашему позорному Петербургскому бунту или к так называемой революции русского народа.

Эти годы, связанные и с началом великой европейской войны, застали меня на военно-придворной службе, а описать ее как следует нелегко.

Лишь выдающимся по таланту писателям-художникам, и притом не только связанным тесно с придворным бытом, но и умеющим вдумчиво наблюдать со стороны, по плечу такая задача.

Из всех наших авторов, которых мне приходилось читать, только гр. Л. Толстой да Маркевич смогли, а гр. Алексей Толстой, да из моих современников гр. Ар. Ар. Голенищев-Кутузов, по моему мнению, пожалуй, могли бы передать с художественной правдой и необходимыми оттенками картины этой, более чем другие, прихотливой жизни. Все потуги остальных мне всегда казались напрасными.

Не жди поэтому от меня ни особой последовательности в рассказе, ни красочных описаний, ни особенно интимных подробностей той дворцовой обстановки, среди которой протекала моя тогдашняя служба.

Менее всего мне хотелось быть при этом нескромным; в жизни императорской семьи, как и в жизни всякого частного человека, есть стороны, которые, несмотря на всю их безобидность, имеют право не подлежать всеобщему любопытству, даже самому благожелательному и любовному. Имеют право, но, как известно, не имеют к тому возможности.

За последнее время в особенности все вытащено из дворцов на улицу, все перемешано грязью уличной злобы и страстями партий.

Будущим поколениям трудно будет отличить, что в этом общем комке принадлежит действительности и что вымыслу.

Помня всегда сказанные когда-то молодой императрицей слова о необходимости для каждого ежедневных записей, чтобы помочь впоследствии истине, я все же касаюсь в своих воспоминаниях лишь того истинного, что задолго до меня попало в печать и вызвало неправильные толкования.

Да не покажутся другим, даже и тебе, мои записки слишком предвзятыми, вызванными желанием обелить необелимое или чем-либо тому подобным. Это было бы несправедливо по отношению ко мне. Никогда не интересуясь самим собою, а лишь меня окружавшими, я писал то, что видел, что чувствовал, хотел быть искренним и совершенно беспристрастным.

Смотрел ли я хорошо и зорко? Не знаю – судить, конечно, не мне. Говорят, что посторонним, издали, виднее. Может быть. Но это только тогда, когда кругом все ясно.

В надвинувшихся густо на нашу страну сумерках смуты такое отдаление только мешало.

Я имел радость стоять все же ближе к царской семье, и мне, как казалось, было легче других разобраться в тогдашней придворной обстановке.

Да и раньше, когда я не был еще «при дворе», меня притягивала не столько сама эта обстановка, сколько те главные люди, около которых благодаря их положению кипела причудливая придворная жизнь; а они смотрели на

эту жизнь почти с тоскливым безучастием, нередко с раздражением и очень часто с небольшой усмешкой, так не чувствовавшиеся многими...

Как и прежние русские императоры, государь и в те предреволюционные годы все же оставался центром тогдашней жизни России.

Несмотря на существование Думы и на нападки так называемой общественности, он продолжал, по убеждению большинства населения, обладать всей силой неограниченной самодержавной власти, врученной ему столько же Богом, как и желанием народным.

К нему одному поэтому среди других чаяний неслись со всех сторон чаяния о высшей справедливости, но как к нему самому, как я уже сказал в другом месте, редко кто, помимо простого народа, относился справедливо...

Справедливость и сила – вот понятия, сопоставляя которые невольно вспоминаются слова, сказанные когда-то Паскалем:

«Справедливость бессильна без силы, а сила это тирания без справедливости»³⁹.

Никому, я думаю, с такой горечью не пришлось испытать эти слова на самом себе, как моему ушедшему, на несчастье России, государю.

Некоторые его действительно не стыдились называть даже «тираном, подлежащим свержению», а другие в противоположность считали слабым и безвольным.

³⁹ Точная цитата Б. Паскаля: «Справедливость без силы – одна немощь, сила без справедливости – тиранична».

А он был только полный любви, скромности и доброжелательства человек, постоянно чувствовавший свои обязанности, еще больше свое человеческое бессилие.

И все же у него было неизмеримо больше совести, доверия и искренних стремлений к Богу, а с этим и к высшей Правде, чем у людей, клеветавших на него, захвативших вскоре власть, и силою, действительно уже без всякой справедливости, предавших как его, так и всю Россию на мучения...

«С порфирой ушло все красивое из нашей жизни», – сказала как-то в разговоре одна наша земская деятельница, женщина-врач.

Это неожиданное суждение о революции, «красотой» которой в те дни еще не переставали восхищаться, высказанное притом человеком далеко монархически не настроенным, меня удивило и заставило лишний раз призадуматься.

«Да, она, безусловно, права», – думал я тогда и продолжаю думать теперь. Но ушло не только красивое – ушло более высокое и самое необходимое для моей родины – исчезло столь ясное в глазах народа воплощение народной совести, а с ним ушла, быть может, надолго, и сама наша милая, родная, всегда совестливая Россия.

Для меня лично вместе с порфирой ушло тогда из жизни и другое, еще более близкое. В тот ужасный день, 2 марта (1917 г. – О. Б.) мне пришлось быть последним дежурным флигель-адъютантом не только при русском императоре, но и при моем, относившемся ко мне с такой добротой государе.

Будущего, того хорошего будущего, как для себя так и для других, о котором столько мечталось, во мне уже не было.

Помню, я уткнулся в те часы в угол моего вагонного купе, ни о чем не думая, а лишь повторял: «Теперь конец... Конец всему...

Но довольно... Вот тебе те отрывки моих воспоминаний из последних годов императорской России, которых ты от меня так давно ждешь.

Прочти их, думая не только о минувших годах, но иногда и обо мне лично. Это прошлое я бережно храню в своей памяти – оно, быть может, повторится для моей родины, но уже не будет таким прежним для меня...

II

В один из наших полковых праздников⁴⁰, когда ты была еще совсем крошкой, ко мне подошел после обеда великий князь Михаил Александрович и еще более смущенно и застенчиво, чем всегда, сказал:

– Анатолий Александрович, мне давно хотелось переговорить с вами по одному вопросу, очень близко касающемуся нас обоих... да все было как-то неловко... вот и сейчас не знаю, как бы лучше у вас спросить...

– В чем дело, – ответил я, – спрашивайте, ваше высочество, совершенно откровенно. Вы ведь знаете, как я рад всегда и во всем вам помочь... Не стесняйтесь, если и будет что-либо неприятное для меня.

– Видите ли, – с милой и еще более смущенной улыбкой продолжал Михаил Александрович, – государь уже давно хотел вас сделать своим флигель-адъютантом, а я его все просил оставить вас мне... вот и сегодня шел об этом разговор... Скажите, вы не очень сердитесь на меня за такое непрошеное вмешательство?..

– Что вы, ваше высочество, – воскликнул я. – Разве можно на это сердиться... наоборот, я не знаю, как вас и благодарить за такое доброе желание по отношению ко мне.

– Нет, правда вы не сердитесь?! И согласились бы, несмотря на это, быть моим личным адъютантом? Я так бы радовался, если бы вы согласились... Я давно об этом мечтал.

⁴⁰ 9 мая, в день святителя Николая Чудотворца – полковой праздник лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества императрицы Марии Федоровны. Событие, о котором пишет автор, произошло в 1906 г.

– Ваше высочество... еще раз горячо благодарю... разве можно отказываться от такого милого предложения... но подумали ли вы, насколько я подхожу к вам – ведь я гораздо старше вас по годам, да и, по правде говоря, довольно скучный и не занимательный господин?..

– Ну уж позвольте мне об этом самому судить, – живо возразил Михаил Александрович. – Я много об этом думал, и мне предлагали и других, а многие и сами напрашивались – так было несносно – а я не хотел... Вы совершенно ко мне подходите... нет, правда, более подходящего для меня я никого другого не знаю.

– Когда так, – отвечал я, – то я и согласен, и счастлив быть при вас – спасибо вам сердечное за дорогие слова... Только дайте мне, ваше высочество, сейчас же одно обещание, без которого мне было бы очень трудно служить при вас... обещайте мне, как только вы хоть немного почувствуете, что я совсем не то, чем вам кажусь теперь, и приношу вам не пользу, а вред, или вам мешаю, то сейчас же, не стесняясь, откровенно сказать мне об этом, чтобы мы могли расстаться, оставаясь друзьями...

Ведь в личной службе хуже нет для подчиненного, когда его лишь терпят из-за излишней деликатности.

– Что вы, что вы, Анатолий Александрович! – заговорил, искренно волнуясь, добрый Михаил Александрович. – И обещать не хочу, потому что того, о чем вы говорите, никогда не будет.

– Ваше высочество! Иначе...

– Ну хорошо! Хорошо! Обещаю, если уж вам так хочется... только знаю, что напрасно... Значит, вы теперь «мой»?!

– Да, всею душою ваш, ваше высочество – как был им и раньше, – еще раз спасибо, что подумали обо мне...

– Нет, это я вас должен благодарить... для меня это такая радость – наконец иметь своего собственного, по собственному выбору адъютанта... Только, пожалуйста, не говорите еще пока об этом никому. Вы знаете, что всегда происходит при таких случаях. Я буду у государя и попрошу отдать об вас в приказе... тогда будет уж прочно.

– А жене сказать можно? – спросил я. – Она будет так довольна. У меня от нее секретов нет.

– Конечно, скажите, хоть сейчас, – отвечал он. – Ольга Карловна и вы – это одно и то же. – И, пожав мне еще раз руку, великий князь отошел.

Таково было вступление мое в тогдашнюю дворцовую службу.

Назначение адъютантом к великому князю Михаилу Александровичу, тогда единственному брату государя, которого благодаря семье моей жены я успел давно узнать и полюбить, было очень лестно и меня искренно обрадовало.

Радость моя была бы совсем громадна, если бы не приходилось менять свой гвардейский кирасирский мундир и расставаться уже навсегда с полковой жизнью.

Из всех счастливых служебных годов моей юности, да, пожалуй, и всей моей жизни, годы службы в моем родном кирасирском Ее Величества полку были счастливейшими из всех. С ними у меня связывается столько непередаваемо хороших переживаний, что коротко рассказать о них, конечно, нельзя... Скажу только, что все то, чего ждешь в жизни от человеческих взаимоотношений, я нашел с избытком в нашей тесно сплоченной кирасирской семье.

И должен оказать, нашел далеко не по заслугам. Но тем дороже они были и остались для меня и тем яснее показывают, насколько в искренно любовной, почти

одинаковой по привычкам и воспитанию товарищеской среде могут настойчиво не замечаться человеческие недостатки.

Многие не понимают корпоративных особенностей полковой жизни, да и саму военную службу считают пустой, ничего не говорящей ни уму, ни сердцу...

Эти люди, конечно, заблуждаются. Пищу для ума и сердца можно найти всюду, даже в пустыне или тюрьме, надо только уметь найти ее; тем более она изобильна там, где большое количество людей соединено не механически, а духовно, и не только для «красивой и беспечной жизни», но и для целей, высоту которых, из благодарности, не должен был бы никто оспаривать.

Но эти духовные преимущества являются главным образом принадлежностью лишь жизни в полку. Ни в гражданской службе, ни в службе по выборам, ни тем более службе в штабах, непривлекательные особенности которых мне приходилось подолгу наблюдать, – их уж не найти.

Девиз каждой хорошей воинской части: «Все за одного – один за всех» – там не только не находит сердечного отклика, но, как и в придворной службе, представляется совсем непонятным для расчетливого ума...

Тебе поэтому, мой дорогой полк, и мои самые восторженные воспоминания, и моя неизъяснимая благодарность. Ты дал мне незаслуженно то, чего в последующей совместной жизни с другими людьми я уж больше не имел.

Впрочем, и там, в этой новой служебной жизни, бывали порою и дружба и искренность, но они первоначально рождались лишь от внимания ко мне высших, а не от простого влечения ко мне самому...

Как отнеслись к моему назначению окружающие?

Полковые товарищи, все без исключения, были искренно довольны и без малейшего чувства зависти, сердечно меня поздравляли; для остальных это событие, конечно, прошло незаметным, хотя смена мундира гвардейского кавалерийского полка на ничего не объясняющий глазу скромный общеадъютантский сказалась и на мне, при встречах с некоторыми, своеобразным пренебрежением.

В особенности удивил меня своею неожиданною холодностью один мой старый товарищ по академии, офицер одного из блестящих полков, моей же I гвардейской кавалерийской дивизии, с которым у меня и после академической скамьи сохранялись прежние дружеские отношения.

Он был уже давно в генеральном штабе и делал хорошую военную полудипломатическую карьеру. Встретив меня тогда как-то на улице Петербурга в адъютантском уже мундире, он прошел мимо, совершенно как будто меня не замечая, и лишь небрежно отмахнув рукой мое обычное в военной среде к нему приветствие.

Но через несколько дней, когда приказ о моем назначении был уже опубликован, я с ним случайно встретился снова в вагоне поезда, отправлявшегося за границу.

Он бурно бросился тогда меня обнимать и поздравлять, непрестанно повторяя: «Милый Толюша, как я рад, как я рад за тебя! Такое назначение!.. Вот не ожидал!.. Пойдем скорей ко мне в купе... я недавно женился и хочу сейчас же представить тебя своей жене!.....»

Через несколько долгих лет я опять увидел его в Могилеве, когда отречение государя уже совершилось, все было для меня кончено и когда поддержка друзей для меня была так нужна.

Он был тогда уже видным генералом и приехал в Ставку из Петрограда, чтобы устроить свое назначение на фронт.

Но его встреча со мной была еще более небрежна и холодна, чем в тогдашние дни моего назначения...

О подобном, столь житейском и в таком бесчисленном разнообразии повторяющемся, конечно, не стоило бы и упоминать. Но я был молод, был сильно избалован дружеской искренностью моей прежней школьной и полковой товарищеской семьи, и все испытанное мне было еще ново и чрезвычайно больно.

Впоследствии я довольно скоро привык к таким переменам и старался как мог не придавать им никакой цены, хотя это и было трудно по моей натуре.

Но все же этот первый укол моему самолюбию был нанесен, к счастью, не из придворной среды. Он последовал со стороны довольно многочисленных людей, еще только старавшихся проникнуть в этот узкий круг, где подобные переходы от «приязни» к безразличию и к «неприязни» или наоборот бывают менее откровенны, а порою совершаются под такой очаровательной внешностью, что в них не скоро и разберешься.

Они там, как и большинство чувствительных излияний, по меткому выражению Тургенева, очень часто бывают «словно солодковый корень – попробуешь, как будто сначала и сладко, а потом очень скверно станет во рту»⁴¹...

⁴¹ Точная цитата И. С. Тургенева: «Чувствительные излияния – словно солодковый корень: сперва пососешь – как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту» («Дневник лишнего человека»).

Но и придворная жизнь, как наша, так и иностранная, несмотря на всю забавную тонкость ее оттенков, есть та же человеческая жизнь, совершенно с теми же достоинствами и недостатками, как и везде.

И там, не лучше чем в уездном городке, существуют свои местные, маленькие интересы, свое обывательское любопытство, и своеобразная мелкая борьба честолюбий.

Все это чувствуешь в ней, лишь в более утонченной, даже изысканной форме, и в этом ее главное превосходство, пожалуй, даже достоинство, – уж если житейская накипь всюду не вкусна, то пусть она будет хоть подана по крайней мере красиво...

Общность формы одежды адъютантов великих князей с адъютантами всевозможных штабов и управлений вызывала со стороны первых понятное по человеческим слабостям неудовольствие, особенно усилившееся после убийства Сипягина.

Тогда убийца, одетый в форму штабного офицера, выдал себя за адъютанта одного из великих князей и под покровом не только этого звания, но и одежды легко нашел доступ к министру⁴².

⁴² Министр внутренних дел Российской империи Дмитрий Сипягин был убит эсером Степаном Балмашевым, бывшим студентом Киевского университета, отчисленным за участие в студенческом движении. 2 апреля 1902 г. Балмашев, одетый в форму офицера-фельдъегеря, вооруженный револьвером, зашел в Мариинский дворец Санкт-Петербурга, где в тот день проходило заседание кабинета министров. Когда Сипягин вошел в комнату, Балмашев сказал, что у него важное письмо от генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, и

Насколько помню, именно тогда и возникло предположение присвоить этим адъютантам, с целью отличия от остальных, вензеля соответствующих великих князей на погоны, по примеру уже имевшихся таких же в их шефских частях, но ходатайство это не встретило ни малейшего одобрения у государя, и все осталось по-прежнему...

Через неделю состоялся высочайший приказ о моем назначении, мой новый мундир был уже готов, и я поехал в Петергоф представляться Его Величеству.

В тот день представлявшихся было особенно много, и прием происходил не как обыкновенно в Александрии⁴³, каждого по отдельности, а общий в одной из зал большого Петергофского дворца.

Я встал, согласно списку, в общую очередь вместе с остальными, но ко мне подошел дежурный тогда флигель-адъютант, конногренадер Стефанович, впоследствии убитый большевиками, и предупредил:

произвел в него два выстрела из револьвера. Пули смертельно ранили Сипягина, через час он скончался в Максимили-ановской больнице. Балмашев был схвачен на месте, через несколько дней осужден военным судом и приговорен к смертной казни через повешение.

⁴³ Парк «Александрия» – одна из резиденций императорской семьи, названная так в честь жены Николая I Александры Федоровны. Находится в Петергофе и примыкает к Нижнему парку. Эта местность была подарена Николаем I в 1826 г. жене Александре Федоровне, после чего получила название «Собственная Ее Величества дача Александрия». Вскоре был построен дворец, получивший название Коттедж, а вокруг него был разбит пейзажный парк.

– Мордвинов, станьте немного поодаль от представляющихся, государь желает вас принять последним, отдельно от других.

Когда последний из представлявшихся вышел из зала, государь приблизился ко мне.

– Я очень рад, Мордвинов, – с приветливой улыбкой сказал он, – что выбор моего брата остановился на вас... Он меня уже давно просил... Признаться, я думал сделать для вас другое...

– Ваше Величество, – отвечал я, – я давно знаю Михаила Александровича и успел искренно полюбить его – быть у него личным адъютантом для меня и для моей семьи такая радость... сердечно благодарю и вас, и его.

Государь перестал улыбаться и пытливо и долго посмотрел на меня.

– Ну, не только радость, – как-то особенно серьезно сказал он, – но и большая, нелегкая ответственность ложится на вас. Помните всегда это... мой брат так еще молод...

– Ваше Величество! – чуть не воскликнул я, смущенный таким, как мне казалось, ненужным напоминанием об ответственности. – Всеми силами буду стараться, чем могу быть полезным моему великому князю.

– Надеюсь и даже уверен, что это так и будет, Мордвинов, – снова приветливо улыбаясь, сказал государь и после незначительных вопросов о моей семье и службе в полку подал мне, прощаясь, руку и вышел из зала.

Я отправился в другое, соседнее помещение дворца, где принимала отдельно молодая императрица.

Ее Величество в те годы еще не особенно свободно говорила по-русски, и разговор происходил на французском языке⁴⁴.

Государыня со своей, как всегда, немного стесняющейся, при разговоре с еще не знакомыми людьми, улыбкой встретила меня и сразу же в очень сердечных выражениях заговорила о Михаиле Александровиче.

– Я так люблю нашего Мишу... он такой простой, добрый, а главное, искренний... с ним всегда чувствуешь себя свободной... не так, как с другими, – тихо добавила она. – Я уверена, что вы с ним еще ближе сойдетесь, когда будете все время при нем... Впрочем, вы ведь успели его узнать еще мальчиком в семье вашей жены... Он мне рассказывал, как бывал у вас со своей неразлучной милой сестрой Ольгой... Она очень радуется вашему назначению, я тоже очень довольна, что эта прежняя связь еще больше упрочивается... Они так любили вашего *beau pere*. (Речь идет о тесте Мордвинова – К. Хисе. – О. Б.)

Разговор затем перешел на предстоящую нам вскоре поездку морем на коронацию в Норвегию, и моя аудиенция кончилась.

Мое представление императрице-матери произошло совершенно неофициальным и оригинальным образом.

На другой день после Петергофа мы возвращались с Михаилом Александровичем с прогулки в окрестностях Гатчины, как нам повстречался автомобиль императрицы, в

⁴⁴ Речь идет об императрице Александре Федоровне. Основным языком ее общения с мужем был английский, но она хорошо владела французским, на котором говорила с придворными.

котором, кроме Ее Величества, находилась и великая княгиня Ксения Александровна.

Завидев его, Михаил Александрович сделал знак, чтобы он остановился, и, подведя меня к автомобилю, торжественно-шутливо заявил:

– Мама, вот мой новый адъютант, который желает тебе сейчас же, на сем самом месте, представиться.

– К чему это, – сказала улыбаясь, но немного недовольная остановкой императрица, – я его и так давно знаю, – и, пригласив нас к себе в автомобиль, довезла до дворца.

Представление всем остальным членам императорской фамилии и визиты к многочисленной свите государя, так и заведующим дворами великих князей и великих княгинь, заняло очень много времени и прошло обычным порядком.

Более других расспрашивала меня о Михаиле Александрович великая княгиня Мария Павловна.

Затем последовал волнующий день моего расставания с полком.

Дорогие друзья устроили мне в собрании торжественный обед, поднесли на память замечательную по художественной работе вещь, а главное, вручили редкий полковой жетон, обладая которым я становился на всю жизнь, несмотря на дальнейшие перемены службы, постоянным и равноправным членом нашей кирасирской семьи.

Добрые слова, сказанные как-то по этому случаю, так и отданные отдельно обо мне в полковом приказе, до сих пор наполняют меня самым волнующим чувством.

Прощание с нижними чинами, как трубачей, так и эскадрона Ее Величества, которыми я раньше командовал, также было сердечным.

Все они благословили меня иконами и напутствовали самыми трогательными пожеланиями.

Не без чувства затаенной грусти снял я на другой день после товарищеских проводов свой красивый кирасирский мундир и надел скромный адъютантский.

Как бы лестно и заманчиво ни было мое новое назначение, я все же уходил от привычной среды, с которой давно сроднился, где меня любили, где я любил и где, наконец, я чувствовал себя свободно, просто и уверенно.

В будущем я мог, конечно, ничего этого и не найти. Новая среда не состояла лишь из одного Михаила Александровича и его сестер, в присутствии которых я чувствовал себя совершенно непринужденно, – там были и другие люди, которых я, положим, немного знал, но не мог ручаться за их полную искренность и доброжелательство ко мне, новичку; там предстояли, вероятно, и скучные особенности, которых совершенно не знала наша откровенная и дружная полковая семья.

В этом отношении мое пожалование флигель-адъютантом, как об этом говорил моему великому князю государь, не давало бы мне таких затаенных опасений.

Получая это почетнейшее для всякого военного звание, я оставался бы по-прежнему на привычной службе в своем полку, лишь крайне редко, не более раза в месяц, неся свое суточное дежурство при Его Величестве.

Свита государя за последние годы была крайне многочисленна, и частые пожалования в нее очень напоминали блестящие царствования императоров Александра I, Александра II и Николая Павловича в полную противоположность времени Александра III.

Сам государь Николай Александрович сначала следовал необыкновенно скупому обычаю отца, а вступая на престол, взял к себе флигель-адъютантами всего лишь 2-3 из своих ближайших сверстников и очень долго не жаловал этим званием никого.

Но целый ряд совпавших с последними годами царствования годовщин различных исторических военных событий и юбилеев как гвардейских, так и армейских частей и желание оказать полкам по этому случаю особое внимание и еще более сблизить их с собою (пожалование кого-либо из офицеров в свиту Его Величества всегда с давних пор воспринималось полками как милость им всем) побудили государя, к общей для всех военных радости и одобрению, изменить установившийся порядок.

Генерал-адъютант, генерал свиты и флигель-адъютант Его Величества – это были, собственно говоря, лишь почетные военные звания, тогда как заведующие дворами и адъютанты великих князей – это были уже должности, благодаря которым им приходилось намного чаще, если не постоянно, соприкасаться с придворным бытом, чем лицам свиты государя, в громадном большинстве случаев остававшихся на местах своей обычной полковой службы.

Впрочем, со своим полком мне все равно рано или поздно пришлось бы расстаться, да и благодаря счастливым обстоятельствам мое общение с полковыми друзьями и полковой жизнью почти не прерывалось – мой великий князь сам служил в то время в полку, командуя моим бывшим эскадром Ее Величества, а полковые казармы находились в тесном соседстве с Гатчинским дворцом, где мне было отведено помещение...

III

С этим дворцом, в котором началась моя новая жизнь, у меня было раньше связано много самых счастливых переживаний.

В нем я познакомился впервые, в 1899 году, с твоей матерью, в нем сделался женихом, там же, в помещении твоего дедушки, в обычной семейной обстановке, я проводил много вечеров в обществе моего великого князя и его младшей сестры, твоей крестной матери, Ольги Александровны.

В этом же дворце обычно справлялись в торжественной обстановке в присутствии государя и наши полковые праздники.

Громадное здание дворца – самого большого после Зимнего и Кремлевского, не было таким изящным с внешней стороны, как у большинства остальных, но зато чрезвычайно удобным и, по-моему, очень уютным внутри.

Построенный еще в начале царствования Екатерины Великой, дворец этот в последующие годы дополнился двумя большими квадратными пристройками – арсенальным каре, заключавшим в себе помещения для царской семьи, и кухонным каре, где жили лица мужской свиты и некоторые дворцовые служащие.

Исторической частью являлось центральное здание, оставшееся, как и вся его обстановка, неприкосновенным со дня вступления на престол императора Павла I.

Все прошлое гатчинского «дворцового городка» неразрывно связано с именем этого несчастного императора-мистика, несмотря на свою вспыльчивость, обладавшего

благородной душой, и его супруги императрицы Марии Федоровны.

Тот, кто желал бы возможно больше и ближе непредвзято изучить тогдашнюю павловскую эпоху, должен непременно познакомиться подробно с этой половиной Гатчинского дворца, хранящей много как для глубокой мысли, так и для воображения⁴⁵.

Здесь цесаревич Павел Петрович провел долгие годы отшельником, совершенно отстранившись от блестящего дворца Екатерины, занимаясь не одними только военными экзекуциями со своими гатчинцами, но и настойчиво готовясь к своему ответственному назначению.

⁴⁵ http://www.on-line.spb.ru/images/gatchina_palace2.jpg. В 1766 г. граф Г. Г. Орлов на пожалованной ему Екатериной II земле в Гатчине начал строительство своей новой резиденции – большого дворца и паркового ансамбля по проекту А. Ринальди. Строительство замка закончилось в 1781 г. http://www.on-line.spb.ru/images/gatchina_palace1.jpg При Павле I дворец был перестроен, в нем появились новые парадные и личные интерьеры императорской семьи. С этого времени Гатчина стала собственностью российских императоров, их личной резиденцией. http://www.on-line.spb.ru/images/gatchina_pavel.jpg. При Николае I проводились наиболее существенные работы по перестройке дворца и города. В 1844 г. архитектор Р. И. Кузьмин начал перестройку Кухонного и Арсенального каре дворца, Бастионной стены; ремонт центрального корпуса и меблирование новых помещений императора на первом этаже Арсенального каре. Александр III не менял облика дворца, но внедрял в жизнь своей резиденции все достижения технического прогресса: электрическое освещение, водопровод, канализацию, телефонную сеть.

Из Гатчины же, получив неожиданное известие о кончине своей матери, он поскакал, не возвращаясь уже больше в этот дворец, в нелюбимый всегда его сердцу Петербург, вскоре сделавшийся действительно его могилой.

Гробница этого императора, погибшего от заговора высших лиц⁴⁶, до сих пор свято чтится простыми русскими людьми, крепко верящими в его непрекращающуюся защиту от всякой судебной неправды и обиды.

В нашем роду с именем императора Павла также связано немало воспоминаний.

Один из Мордвиновых, Николай Семенович, впоследствии известный адмирал и граф, некоторое, очень короткое время воспитывался вместе с маленьким цесаревичем Павлом Петровичем, а другой Мордвин, Михаил Иванович, мой прапрадед, был женат на Саблуковой, сестре того конногвардейца Саблукова, который был с верными конногвардейцами в последнем карауле в Михайловском

⁴⁶ Убийство Павла I произошло в ночь с 11 (23) марта 1801 на 12 (24) марта 1801 г. в результате заговора с участием гвардейских офицеров в Михайловском замке. 12 офицеров ворвались в спальню императора, он был избит, получив удар в висок тяжелой золотой табакеркой, и задушен шарфом. Вдохновителями заговора были Никита Панин и Петр Пален, а группу непосредственных исполнителей возглавляли Николай Зубов и Леонтий Беннингсен. Есть версия, что в подстрекательстве и финансировании убийства принимала участие Великобритания, недовольная разрывом отношений с Россией и ее союзом с Францией. Сын Павла I цесаревич Александр был осведомлен о готовящемся покушении на жизнь отца (*Мироненко С. В. Александр I. «Сфинкс, не разгаданный до гроба.... Каталог выставки. СПб., 2005. С. 25-26).*

дворце в роковую мартовскую ночь, и сменен был благодаря интригам заговорщиков всего лишь за несколько часов до преступления.

В нашем сгоревшем перед самой революцией средне-сельском доме еще сохранялись большие, во весь рост, прекрасные портреты императора Павла и его супруги, по всем данным, работы Боровиковского, а также и два его портрета в детстве.

Копии с этих портретов, несмотря на мои розыски, я нигде более не встречал; они, вероятно, были единственными, и я до сих пор не могу успокоиться, что они погибли навсегда.

После кончины Павла I Гатчина и ее дворец заглохли и опустели надолго. Последующие императоры, посещая Гатчину лишь изредка на время охоты, оставались там не более двух-трех дней.

С воцарением императора Александра III Гатчина снова оживилась. Государь, ища уединения для своей работы, а также желая удалиться, как он писал в одном из своих писем, «от мерзостей городской жизни, а в особенности петербургской»⁴⁷, избрал Гатчинский дворец своим постоянным местопребыванием и немедленно после похорон отца переехал туда.

Он и раньше часто бывал в Гатчине, и ему всегда были по душе и тихие деревенские окрестности, и тамошний

⁴⁷ Из письма императора Александра III императрице Марии Федоровне: «Вот опять я в нашей милой Гатчине, и ты не можешь представить, до чего я рад и как наслаждаюсь вырваться из этого кошмарного Петербурга» (ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 710. Л. 52).

прекрасный парк с целым рядом прекрасных озер, и огромные, окружавшие со всех сторон этот дворцовый городок, леса. И все это в каком-нибудь часе расстояния от столицы.

Об этих окрестностях упоминала с большой гордостью и Екатерина II в своей переписке с Вольтером.

* * *

Государя Александра Александровича я увидал впервые на второй год его царствования, будучи еще мальчиком. Он тогда приезжал в наш корпус, и я, как лучший ученик моего 2-го класса, имел счастье рапортовать Его Величеству⁴⁸.

Государь был так велик и грузен, а я так мал, что, помню, мне пришлось глубоко запрокинуть голову назад, чтобы иметь возможность, как полагалось, смотреть ему прямо в глаза.

Помню и то, что от такой неудобной позы и смущения я мог тогда произнести лишь первые слова моего ученического рапорта – «Ваше Величество»... а остальные забыл. Государь терпеливо выждал некоторое время, а затем добродушно рассмеялся и задал мне несколько одобряющих вопросов, на которые я кое-как все же ответил.

⁴⁸ Речь идет о посещении в конце 1882 г. императором Александром III Николаевского кадетского корпуса, в котором с 1881 по 1888 г. учился А. Мордвинов. В 1864 г. был открыт приготовительный пансион при Николаевском кавалерийском училище в составе 100 воспитанников, в 1878 г. он был преобразован в самостоятельное заведение с правами военной гимназии, в 1882 г. – в Николаевский кадетский корпус.

Но в конце царского посещения мы совсем осмелели; при отъезде хватали государя за руки, залезали ему в карман, старались оторвать «на память» пуговицы и завладели его платком и перчатками.

Некоторые из нас уцепились за его сани, а остальные долго бежали рядом по улице и кричали во все наши детские голоса громкое «ура»...

Вечером нас повезли в театр «Фантошей»⁴⁹, где присутствовал государь, и в антрактах нам разносили обильное «угощение от двора»...

Эти царские посещения повторялись затем каждый год, обыкновенно в великом посту, когда государь на некоторое время покидал Гатчину и переселялся в Аничков дворец.

* * *

Неожиданный переезд царствующего императора в заброшенный Гатчинский дворец, несмотря на всю его обширность, все же из-за недостатка побочных служб мало подготовленный для жизни Большого двора, отразился и на нашем полку.

⁴⁹ Театр марионеток (от фр. *Fantoches*) Томаса Ольдена появился в Петербурге в конце 1882 г. Первое выступление проходило 5 декабря 1882 г. в театре «Ренессанс» на Офицерской улице недалеко от Николаевского кадетского корпуса. Томас Ольден принадлежал к обширному семейству кукольников, несколько поколений которых увеселяло английскую публику на ярмарках и народных гуляньях.

Один из полковых манежей был тогда занят под экипажи придворно-конюшенной части, а казармы двух эскадронов были отданы под помещение части конвоя Его Величества и дворцовой полиции.

4-й эскадрон для этого был даже выведен в Царское Село, где жил с лейб-гусарами, а людям остальных приходилось довольно долго спать на тесно сдвинутых двух кроватях втроем. Несмотря на такую первоначальную тесноту и усиленную службу по охране – на наряды выходило $\frac{2}{3}$ полка ежедневно, – в полку царило тогда радостное возбуждение, понятное только русской простой душе – ведь приходилось служить почти в непосредственной близости к русскому царю и нести перед всей родиной часть ответственности по его охране.

Государь и его семья выбрали для своего помещения самые неудобные маленькие комнаты, предназначавшиеся ранее для прислуги.

Они находились в антресолях арсенального каре и были так низки, что высокий рост государя позволял свободно дотрагиваться рукой до потолка.

Из всей семьи лучше всего была помещена по настоянию своей няни, англичанки Mrs Franklin, маленькая великая княжна Ольга Александровна.

Она занимала громадную комнату в верхнем этаже этого же каре и две небольшие комнаты по соседству с первой.

Я живо помню последние годы этого уже в далеком прошлом царствования, вспоминаю и много случаев из моего тогдашнего служебного и внеслужебного общения с нижними чинами, собранными со всех концов обширной России, – и уже тогда вынес твердое убеждение, что

«навязанной святыней» русский царь в народном сознании никогда не являлся.

Он был для народа действительно святыней, но святыней ему не навязанной, а лишь им самим, для себя вымученной, как об этом говорят и все вдумчивые историки...

* * *

Моя жизнь началась при императоре Александре II. Его я увидел лишь в гробу, в Петропавловской крепости, куда водили с ним прощаться весь наш пансион⁵⁰.

Для 8-летнего мальчика, только что прибывшего из деревни и находившегося в частном, притом иностранном немецком пансионе, и не имевшего, кроме редких рассказов няни и гувернантки, почти никакого представления о русском царе, кровавое событие 1 марта, казалось бы, не могло иметь особенно волнующего значения⁵¹.

А между тем уже тогда под влиянием ли всеобщего негодования и горя, или чего-то другого, уже собственного, полученного, вероятно, мною от моих русских предков, чувство какой-то страшно тяжелой утраты овладело тогда мною, ребенком, наравне со взрослыми и сознательными.

⁵⁰ Александр II был смертельно ранен 1 марта 1881 г. террористом-народовольцем И. И. Гриневецким и скончался через час в Зимнем дворце. 7 марта состоялись похороны императора Александра II в фамильной усыпальнице русских самодержцев в Петропавловском соборе.

⁵¹ Автор поступил в немецкий пансион в 1878 г. В марте 1881 г. ему было 10,5 лет.

Такое же ощущение, но благодаря зрелому возрасту, с еще большею силою испытал я, находясь уже в военной академии, при получении известия о кончине императора Александра III⁵², которого я, в сущности, лично совсем мало знал.

И странно – ведь с кончиной этих государей сама идея царской власти, которой я был предан и которую мне могло «навязать» военное воспитание, не умирала.

Я хорошо знал, что Россия ни на одну минуту не останется и впредь без своего царя, и все-таки...

Ничего подобного я, любивший с малых лет чтение, не переживал, когда умирали наши известные писатели или другие выдающиеся русские, которых не мог уже заменить никто; но их значение для Родины, видимо, не было таким всеобъемлющим как для меня, так и для других.

Кончина императоров захватывала всех; о ней говорили и самые захудалые крестьяне в деревне, и рабочие на улицах.

О смерти Тургенева, Достоевского, Некрасова, гр. Толстого, Владимира Соловьева, Менделеева, Ключевского и многих других упоминалось с волнением лишь в просвещенных кругах.

Для $\frac{3}{4}$ русского народа эти печальные события проходили совсем незаметно, и такое равнодушие невольно, вероятно, сказывалось и на мне.

Это было уже влияние не узкой среды – на мне отражались, вероятно, влияние и чувства всей моей родины.

⁵² Император Александр III скончался в Ливадии 20 октября 1894 г. от болезни почек.

* * *

С моим вступлением в кирасирский Ее Величества полк связывается и мое первое знакомство с моим будущим государем Николаем Александровичем.

Впервые я его увидел еще совсем молодым, по-моему, очень красивым, немного застенчивым юношей осенью 1890 года, на Балтийском вокзале в Гатчине, когда он отправлялся в свое дальнейшее путешествие на Восток⁵³, а мы, офицеры нашего полка, в котором он числился, провожали его при отъезде.

⁵³ По укоренившейся традиции все русские наследники престола, начиная с Павла I, завершив обучение, отправлялись в путешествие. Чаще всего путешествий было два: большое – по России, поменьше – по Европе. Но для цесаревича Николая Александровича планировалось морское и сухопутное турне, которое объединило оба путешествия. Причем обе части путешествия должны были проходить по территории, где раньше не бывал ни один цесаревич, исключая только последнюю часть пути. Событию этому придавалось огромное государственное значение. Александр III решил основать Великую Сибирскую железную дорогу, и наследник Николай Александрович должен был лично присутствовать при начале строительства во Владивостоке. План маршрута пролегал через Варшаву, Вену, Триест, Грецию, Средиземное море, Египет, Красное море, Аден, Индийский океан, Индию, Цейлон, Сиам, Яву, Сингапур, Китай, Японию и Восточную Россию. Путешествие началось 23 октября 1890 г. и окончилось 4 августа 1891 г.

Став более взрослым, государь стал носить небольшую бородку, немного старившую его лицо. В те дни, когда я помню его еще юным цесаревичем, он был еще без бороды и казался мне удивительно миловидным.

В некоторых чертах его лица тогда еще можно было найти отдаленное сходство с его отцом, когда Александр III был еще совсем молод, был более строен и не носил бороды.

Вторичное свидание с ним было уже более продолжительным и произошло при моем представлении в Зимнем дворце в качестве офицера, командированного Особым комитетом на борьбу с голодом или, как тогда официально писали, на борьбу с недородом⁵⁴.

Председателем этого Комитета был назначен наследник цесаревич, сейчас же после своего возвращения с Дальнего Востока.

В этот раз он довольно долго говорил со мной, расспрашивая подробности и, видимо, принимая близко к сердцу это дело, и уже тогда отзывался с особенной теплотой о простом русском народе.

⁵⁴ Летняя засуха 1891 г. уничтожила во многих губерниях практически весь урожай. Особенно пострадали губернии центральной земледельческой и нижневолжской полосы. 18 ноября 1891 г. для борьбы с голодом были учреждены «Особый комитет наследника цесаревича Николая Александровича» (официально именовавшийся «Особый комитет по оказанию помощи населению губерний, пострадавших от неурожая») и особое совещание из трех министров, под председательством А. А. Абазы, для организации общественных работ.

Я был в то время совсем молодым офицером, и эта совершенно неожиданная и ответственная командировка, выпавшая по инициативе, кажется, министра двора, гр. Воронцова-Дашкова в числе офицеров других гвардейских полков и на мою долю, меня не только радовала, но и заставляла гордиться и опешить.

Железной дороги до Казани, где находился главноуполномоченный Комитета гофмейстер Ю. С. Нечаев-Мальцев, в помощь которому я назначался, тогда еще не было.

Все эти, кажется, шестьсот с лишком верст, в суровую зиму и по невозможным ухабам, я проделал тогда, не вылезая с саней и не давая себе ни часа отдыха.

Но моя молодость и мой малый чин, видимо, внушали тогдашнему казанскому начальству и некоторым тамошним жителям совсем другие чувства, чем мне самому.

Помню, с каким глубоким огорчением я нашел в гостинице на своем письменном столе, на другой день по приезде в Казань, изящный конверт, адресованный на мое имя, вскрыв который я прочел:

«Мордвинов! Нам кажешься ты слишком молод, чтоб прекращать крестьянский голод!»

Подобное же удивление с не меньшей категоричностью высказал мне при моем представлении и тогдашний командуемый Казанским военным округом генерал-адъютант Мещеринов:

– Неужели не нашли там у вас в Петербурге никого постарше, чтоб послать сюда?!

Повторяю, я был молод, проникнут самыми горячими намерениями, был уже огорчен шутливым стихотворением, и потому слова старого генерала задели меня за живое.

Мне стоило невероятных усилий, чтоб не ответить на них еще более решительными словами одного средневекового посла, сказанными однажды при подобном же случае и которые мне тогда пришли внезапно в голову:

«Если бы мой повелитель видел достоинство лишь в большой бороде, он послал бы к вам отнюдь не меня, а козла».

Но я все же был военный, чинопочитание и старческий возраст собеседника взяли свое, я сдержался и лишь ответил:

– Мое начальство, которое меня, вероятно, ближе знает, чем ваше высокопревосходительство, нашло меня подходящим для этой командировки, а отказаться от такого живого дела было нельзя, – я повернулся и вышел из комнаты.

Я до сих пор не знаю, чем руководствовался мой тогдашний командир полка генерал Хрулев, остановив свой выбор именно на мне.

Думаю, что ему были известна, не только из разговоров, моя особенная привязанность к русской деревне, но и из моего послужного списка он мог прочесть, что я числился уже и тогда выборным гласным от моего Тихвинского уезда.

Эта же молодость и красивый кирасирский мундир превратили меня в одном из самых глухих уездов – Мамыдышском – даже в невольного самозванца.

Я вспоминаю, как при моем посещении и обследовании там многих деревень большие толпы деревенского люда всегда собирались и долго стояли, не расходясь, около того дома, где мне приходилось останавливаться на ночлег.

Они мне оказывали, к моему сначала удивлению, самый неподобающий «царский» прием, становились на колени и

обращались с просьбами, ничего общего ни с голодом, ни с помощью не имевшими.

Вскоре все это разъяснилось: в помощь мне по медицинской части был придан тогда доктор В. Верховский, уже пожилой человек, впоследствии известный профессор и директор Женского медицинского института, которого эти наивные люди считал, ввиду его возраста и мундира, за «дядьку или пестуна» наследника, а меня за самого «цесаревича», приехавшего собственной персоною узнать, как они живут и отчего голодают; прочности этих деревенских слухов, вероятно, способствовало только недавно окончившееся путешествие наследника по Сибири наряду с прошедшим уже всюду слухом, что «сам цесаревич» стал во главе Особого комитета по борьбе с неурожаем.

Как бы то ни было, разубедить их в противоположном, несмотря на все мои старания и старания сопровождавшего меня станового, было почти невыполнимо.

Мне самому пришлось после одного такого увещания случайно услышать такие разговоры среди крестьян, продолжавших заглядывать в окна моей избы.

– Вишь, батюшка, кормилец-то наш – вон тот-то молодой... сам приехал... а вот не хочет, знать, выявиться народу... от нас хоронится... Думает, так ему способнее до всего дойти, да мы-то хорошо понимаем... Патрет та ево в моей избе висит, так знаю...

В чем они нашли мое сходство с наследником-цесаревичем, кроме моей молодости и мундира, для меня всегда остается полнейшей загадкой, но эти толки доставили мне тогда много неприятных ощущений.

К счастью, в остальных уездах они уже не повторялись.

В думах русского крестьянина, каким бы прозаичным он ни казался, всегда имеется известная доля воображения и сказки.

Он и верит крепко только в то, во что сам желает верить, а желания его всегда немного фантастичны, в особенности когда они связаны с представлением о царской семье...

В этом отношении, в смутные времена, дорога для самозванцев всякого рода вывала и, вероятно, еще долго будет широко открыта.

Тогдашняя командировка офицеров на борьбу с голодом вызывалась соображениями внести поменьше медлительства и рутины в то живое, требующее не бумаг, а энергии дело.

Многие видные чиновники с усмешкой возражали против подобных командировок, находя все доводы, которые обыкновенно принято высказывать в таких случаях против военных.

Но их предсказания все же не оправдались. Все уполномоченные отзывались с большой похвалой о деятельности назначенных им на помощь офицеров и настойчиво просили о присылке еще новых.

Но все же присутствие военных ничем не сказалось на уменьшении тогдашней канцелярской переписки.

Я вспоминаю, как однажды, возвратясь с дальнего утомительного обследования, я попросил заведующего канцелярией, нашего уполномоченного, очень милого статского советника и бывшего лицеиста Г., находившегося в соседней комнате, зайти на минутку ко мне, лежавшему в то время, от усталости, на диване.

– Никак не могу, – крикнул он мне в открытую дверь. – Пишу срочную бумагу.

– Какую бумагу? – поинтересовался я.

– Тебе предписание, чтоб ты немедленно выехал в такой-то уезд.

– Да ведь я рядом с тобой, – рассмеялся я. – Чего же ты еще пишешь... крикни мне, я и выеду...

– Что ты, юный корнет, понимаешь в делах! – возразил с искренним неудовольствием он. – А какой у нас останется след, что ты выехал?! Без бумаги тебе там и содействия не окажут.

– Да я и не нуждаюсь в их содействии!..

– Какой приткий!.. Вот посидишь на первой же станции без лошадей, так и узнаешь, как учить опытных людей, – наставительно заключил он.

Надо сознаться, что в таких случаях бумага действительно не замедляла, а упрощала дело.

* * *

Из других событий этого царствования мне помнится чудесное спасение царской семьи во время железнодорожного крушения в Борках⁵⁵, и торжественная встреча Их

⁵⁵ Крушение императорского поезда произошло 17 октября 1888 г. у станции Борки под Харьковом. Несмотря на многочисленные человеческие жертвы – 21 человек погибли, более 30 получили серьезные травмы и ранения – и сильные повреждения подвижного состава, в том числе царского вагона, сам император Александр III и члены его семьи не пострадали. У места крушения вскоре был устроен скит, названный Спасо-Святогорским, в дальнейшем был сооружен храм во имя Христа Спасителя

Величеств по этому случаю в Петрограде. В тот день я был впервые в строю, на коне.

Твой дедушка (*Карл Хис. – О. Б.*) был в числе лиц, сопровождавших тогда государя, и успел почти мгновенно – как только он один, кажется, это и умел – набросать на клочке бумаги всю картину разрушения вместе с людскими фигурами сейчас же после катастрофы.

Глядя на этот рисунок, нельзя не признать чудом все то, что тогда совершилось. Действительно, только лишь Богу, а не случаю вся царская семья была обязана своим спасением.

Теперь на этом месте выстроен красивый храм, и государь Николай Александрович, проезжая во время своих путешествий мимо этого места, всегда приказывал останавливать поезд и служил благодарственный молебен. Последний раз он был там в 1916 году, возвращаясь из одной из своих поездок по фронту⁵⁶.

Преславного Преображения. Торжественная закладка храма на месте катастрофы в Борках произошла 21 мая 1891 г. в присутствии императрицы Марии Федоровны.

⁵⁶ Речь идет о поездке императора Николая II в мае 1916 г. на юг, где он посетил Винницу, Одессу, Евпаторию. 17 мая, возвращаясь в Могилев, в Ставку верховного главнокомандования, императорский поезд прошел место крушения. Император Николай II каждый год вспоминал день крушения царского поезда под Борками в своем дневнике. Последнюю запись об этом событии он сделал в заключении в Тобольске 17 октября 1917 г.: «29 лет прошло со дня нашего спасения при крушении поезда; кроме меня, никого здесь нет из бывших при этом!» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 266. С. 12-13).

В числе многих легенд, связанных с этим событием, существовала одна, передававшая, что твоя крестная мать, великая княжна Ольга Александровна, настолько сильно во время крушения повредила себе спину, что осталась на всю жизнь горбатой.

Несмотря на то что изумительно стройная фигура великой княгини была у всех на виду, легенда эта держалась очень долго, и мне лично приходилось о ней слышать еще в 1900 году. Кому понадобилось пустить такой слух, это, конечно, остается загадкой – источник сплетни всегда неуловим, – но этот случай в числе бесчисленных других ясно показывал, насколько никакое приближение к «народу» и обществу – великая княгиня жила совершенно не замкнуто, как частный человек, – не спасает членов царской семьи от самых неожиданных измышлений.

Маленькие Ольга Александровна и Михаил Александрович знали об этих толках, их порядочно забавлявших. Чтобы положить конец подобным рассказам, они даже придумали тогда шутку. Михаил Александрович заставил Ольгу Александровну сделать себе из подушки очень искусно горб и в присутствии удивленного лейб-хирурга Гирша одним энергичным ударом кулака по спине своей сестры «вылечил ее раз навсегда от ее отвратительного уродства».

IV

Император Александр III скончался в Крыму, когда я был уже в Академии Генерального Штаба. Начало его недомогания-болезни⁵⁷ также связывалось в рассказах с крушением в Борках. Я тогда был выбран новгородским дворянством в числе его представителей для встречи поезда с телом государя на границе губернии, в Любани.

Печаль всех была искренна и глубока. Помню, что, несмотря на глухую холодную дождливую ночь, громадная толпа народа всех званий и состояний заполнила не только

⁵⁷ «Клинический диагноз, поставленный профессорами Лейденом, Захарьиным, Поповым, лейб-хирургами Гиршем и Вельяминовым, был опубликован в прессе: «Хронический интерстициальный нефрит с последовательным поражением сердца и сосудов, геморрагический инфаркт в левом легком, с последовательным воспалением» (Нива. 1894. № 45). Клиническая картина болезни императора Александра III позволяет предположить у него хронический гломерулонефрит – заболевание почек инфекционно-аллергической природы, приводящее к серьезным изменениям почечной ткани. При неправильном лечении быстро нарастают явления почечной недостаточности, угрожающей жизни больного. Конечно, если бы в распоряжении докторов, лечивших Александра III, были аппараты искусственной почки, мощные антибактериальные и гормональные средства, возможности инфузионной терапии, исход болезни императора мог быть иным. Но нельзя не согласиться и с мнением профессора С. Чирьева, что в тактике лечения Александра III были допущены очевидные врачебные просчеты, которые могли усугубить состояние больного» (*Барковец О., Крылов-Толстикович А. Александр III – царь-миротворец. СПб., 2007. С. 387*).

все большие платформы станции, но и расположилась на большом расстоянии на железнодорожных путях. Все стали на колени еще при приближении траурного поезда и в таком положении оставались во время всей панихиды.

В многочисленных рассказах твоих дедушки и бабушки (Карл и Вильгельмина Хис. – О. Б.) и в основанных на личных встречах воспоминаниях мама сохранилось много подробностей о характере этого с сильной волей, но добродушнейшего, с чисто русской народной душой императора.

Притягательные особенности его натуры больше других детей унаследовала великая княгиня Ольга Александровна, напоминающая даже во внешнем облике во многом своего отца.

Представителем от новгородского же дворянства я был выбран присутствовать и на торжествах коронования моего государя Николая Александровича и участвовать в процессии верхом во время его въезда в Москву.

Жил я тогда в Хамовниках вместе со своими товарищами кирасирами Ее Величества.

Никогда не забуду ни тогдашних проявлений народных чувств, ни той сказочной картины иллюминаций Москвы, которые мне пришлось увидеть. В особенности чарующее впечатление оставил ласкающий весенний вечер в день так называемого «куртага» в Кремлевском дворце, когда все веранды дворца были настезь открыты, и с них открывался чисто волшебный вид на всю горящую ослепительными

разноцветными огнями Москву, запруженную моремдвигающегося народа⁵⁸.

⁵⁸ Коронация Николая II состоялась в Москве 14 (26) мая 1896 г. В Москву приехали представители всех царствовавших династий, главы государств, высокопоставленные чиновники из провинции, депутации от различных городов и губерний. Коронация началась ранним утром 14 мая. В десять часов утра на дворцовую площадь Кремля вышел взвод кавалергардов в сияющих касках с орлами, белых мундирах и красных супервестах, с серебряными Андреевскими звездами на кирасах. Два церемониймейстера с жезлами направились в Успенский собор, открыв нескончаемую процессию представителей русских волостей, городов, земств и дворянства, «в лице которых государю предшествовала на пути к месту священного коронования вся Россия». За представителями земств и Москвы шли чины министерства императорского двора; за ними – депутаты казачьих войск в мундирах и черкесках; губернские предводители дворянства, высшие гражданские чины, сенаторы в красных, расшитых золотом мундирах; министры, члены Государственного совета. «Государь был в преображенском мундире и лакированных сапогах, чего он обыкновенно не делал, а носил всегда простые, шагреновые. Государыня была в парчовом серебряном русском платье, – вспоминал в эмиграции великий князь Гавриил Константинович. – Начался чин коронования. Он проходил с исключительной торжественностью. Красота была во всем и затмевала все, что мне когда-нибудь приходилось видеть. Успенский собор, свидетель нескольких веков русской истории, в котором венчались на царство все цари из дома Романовых; сонм духовенства в великолепных облачениях, с митрополитами во главе; чудное пение – все это придавало торжеству глубоко мистический характер. Великие княгини и иностранные принцессы в роскошных платьях и драгоценностях; великие князья и иностранные принцы в самых разнообразных мундирах,

Ничего подобного я затем не испытывал при других коронациях за границей.

придворные дамы и кавалеры – живописная толпа, окружавшая царя и цариц, – все было красиво и величественно. Государь сам, как Самодержец Всероссийский, возложил на себя корону и короновал императрицу, вставшую перед ним на колени. Государь прочел Символ Веры громким и ясным голосом. Было очень трогательно, когда государь читал молитвы, которые читают государи по чину коронования. При этом одну молитву государь читал стоя, а все присутствующие стояли на коленях, а другую государь читал коленопреклоненно, а присутствующие стояли... (*Гавриил Константинович*. В Мраморном дворце. М., 2000. С. 27). Император Николай II записал в этот день в дневнике: «Великий, торжественный, но тяжкий, в нравственном смысле, для Аликс, Мама и меня день. С 8 часов утра были на ногах, а наше шествие тронулось только в 10. Погода стояла, к счастью, дивная; Красное крыльцо представляло сияющий вид. Все это произошло в Успенском соборе, хотя и кажется настоящим сном, но не забывается во всю жизнь!!!» (Дневники императора Николая II. 1894-1918. Т. 1. М., 2013. С. 273). 15 мая в Андреевском тронном зале Николай и Александра принимали поздравления от deputаций со всей России. Утром 16 мая куртаг (устар. – прием в царском дворце. – О. Б.) в Кремлевском дворце явился первым балом, открывшим ряд коронационных торжеств. Автор не упоминает события 18 мая, когда в день «народного праздника» на Ходынском поле в честь коронации из-за давки погибли люди: по официальным данным, погибли 1389 человек и 1300 получили тяжелые увечья, по неофициальным: от 4000 до 6000 тысяч погибли и столько же получили ранения и увечья.

Государь Николай Александрович вступил на престол холостым⁵⁹.

Бракосочетание его произошло месяц спустя, 14 ноября 1894 года в Зимнем дворце, в день рождения императрицы-матери⁶⁰.

Я присутствовал в числе других офицеров полка также и на этом редком событии и тогда впервые увидал вблизи свою будущую государыню. Молодая царица была замечательно тогда красива, стройна, но чрезвычайно смущена и очень бледна. Даже обычного румянца от застенчивости на ее лице тогда видно не было. Видимо, ее новое положение, торжественность минуты, вся величаявая обстановка русского двора и всеобщее любопытство присутствующих ее особенно волновали...

С переменой царствования и переездом Большого двора сначала в Зимний, а затем в Царскосельский дворцы⁶¹

⁵⁹ Автор имеет в виду, что цесаревич Николай Александрович не был женат на момент кончины императора Александра III.

⁶⁰ После смерти Александра III, по традиции, был объявлен годичный траур, свадьбу отложили на год. Однако Александра Федоровна «надавила» на Николая, и тот, в свою очередь, имел тяжелый разговор с матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной. В результате этих очень непростых семейных разговоров было принято решение прервать траур на один день. Это был день рождения императрицы Марии Федоровны – 14 ноября 1894 г. Похороны Александра III в Петропавловском соборе состоялись 7 ноября, то есть свадьба состоялась ровно через неделю после похорон императора.

⁶¹ Николай II и императрица Александра Федоровна после свадьбы жили в Аничковом дворце, часто посещая Царское Село и

Гатчина не опустела окончательно. В ее дворце ко дню моего назначения продолжала жить императрица-мать вместе с моим великим князем Михаилом Александровичем. Его сестры к тому времени вышли уже замуж, жили отдельно в своих петроградских дворцах, но очень часто и подолгу, в особенности летом, приезжали гостить к матери⁶².

Кроме них, также подолгу гостили в Гатчинском дворце королева эллинов Ольга Константиновна, сестра императора Александра III Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская, великий князь Михаил Николаевич, великий князь Георгий Михайлович со своей супругой великой княгиней Марией Георгиевной, принц Христофор Греческий и много других членов царской семьи, как русских, так и иностранцев.

Помещение, которое мне отвела в этом дворце гофмаршальская часть, находилось в очень близком соседстве с бывшей квартирой твоих покойных дедушки и бабушки, где

останавливаясь в полюбившемся им Александровском дворце, с декабря 1895 г. – в Зимнем дворце, а с 1904 г. Александровский дворец стал постоянной резиденцией семьи последнего императора.

⁶² Речь идет о 1906 г., когда автор был назначен адъютантом великого князя Михаила Александровича. Его сестра великая княгиня Ксения Александровна вышла замуж в 1894 г. за великого князя Александра Михайловича, их семья жила в своем дворце на набережной Мойки, который был подарен к их свадьбе императором Александром III; великая княгиня Ольга Александровна вышла замуж в 1901 г. за принца Петра Ольденбургского, они проживали во дворце в Петербурге в бывшем особняке Барятинских, который был выкуплен министерством императорского двора в 1896 г.

провела свою молодость твоя мама. Оно состояло из красивой, уютной, очень большой комнаты, увешанной громадными, во всю стену, картинами Анжелики Кауфман и вмещавшей в себе как спальню, так и кабинет.

Мебель в ней старинная, светлая, частью из карельской березы, вся бронза и хрусталь были также очень старые, стиля ампир.

Кроме этой комнаты, у меня была еще небольшая прихожая, ванна и комната для прислуги.

Твоя мать первые два года оставалась в нашем, купленном после свадьбы гатчинском доме⁶³, но затем переехали и все вы, уже в более обширное отведенное нам дворцовое помещение, которое ты, наверное, хорошо помнишь. Это помещение осталось за мной с разрешения императрицы Марии Федоровны и после моего назначения флигель-адъютантом к государю. В нем застала нас и революция.

В мое распоряжение был назначен также придворный экипаж, что было особенно приятно для Гатчины, окрестности которой восхитительны. Дворцовым лакеем, приставленным к моей персональной квартире, был старик Владимир Андреевич Лукзен, служивший еще отцу моей жены. Он же находился все время и при мне вплоть революции и даже некоторое время после нее, когда заведующим дворцовым ведомством был назначен вместо министра двора ставленник Временного правительства некий г[осподин] Головин.

⁶³ В 1901 г. на имя Ольги Мордвиновой был куплен дом в Гатчине на проспекте Павла I.

Не только я, но и ты, и мама сохраним, наверное, самое задушевное воспоминание о нашем милом Лукзене, в котором вместе с трогательными особенностями уже исчезнувшего типа старого, добродушного слуги-ворчуна соединялись качества редкого по сердцу и заботливости человека.

Он происходил из крещенных в православие эстонцев, был чрезвычайно религиозен, «скопидомец» и необычайно нам предан.

В. А. Лукзен и было то первое лицо, которое в парадной, затканной гербами ливрее, вероятно, нарочито надетой для такого случая, особенно почтительно встретило мое появление во дворце.

Радость давно знавшего меня старика была все же ясно написана на его лице. С низким поклоном он растворил настежь двери моего «покоя», отступил церемонно назад и торжественно произнес:

– Добро пожаловать к нам, Анатолий Александрович... Служил долго его превосходительству, а вот теперь, под старость, привелось послужить и вам... Бог вам в помощь на новом месте.

* * *

Свита вдовствующей государыни, с которой пришлось жить тогда под одной дворцовой кровлей, была очень немногочисленна.

Она состояла из фрейлин (впоследствии камер-фрейлин) графинь Марьи Васильевны и Аглаиды Васильевны Голенищевых-Кутузовых, Екатерины Сергеевны Озеровой и гофмейстера князя Георгия Шервашидзе.

Вскоре к ним присоединилась новая «свитная» фрейлина графиня Ольга Федоровна Гейден, а затем, незадолго до начала войны, еще и графиня Зинаида Менгден – сестра кавалергардов.

Ввиду довольно частых недомоганий князя Шервашидзе в последние годы его иногда заменял, переселясь для этого во дворец, секретарь Ее Величества, писатель и поэт граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов.

Кроме этих лиц, нередко гостили в Гатчине бывшая фрейлина государыни, княгиня Александра Александровна Оболенская, рожденная графиня Апраксина, бывшая воспитательница Ее Величества *m-elle de Lescailles (de Лескаль. – О. Б.)* и сын (или внук) поэта Павел Васильевич Жуковский, очень недурной художник. Он пользовался большим расположением покойного императора Александра III и по старой памяти любил приезжать в Гатчину.

Состоящим при моем великом князе, должность которого я вскоре затем занял, был генерал Димитрий Яковлевич Дашков (умер в Петербурге в 1928 году), бывший лицеист и кавалергард, брат известного собирателя гравюр Павла Яковлевича Дашкова.

До князя Шервашидзе, бывшего раньше тифлисским губернатором, с которым государыня познакомилась в Абас-Туман у больного цесаревича Георгия Александровича⁶⁴, состоящими при Ее Величестве были князь Михаил

⁶⁴ Второй сын Александра III великий князь Георгий Александрович был болен туберкулезом легких. Признаки болезни появились в 1890 г. во время кругосветного путешествия вместе с цесаревичем Николаем I Александровичем. Врачами ему

Михайлович (автор ошибается, имеется в виду Иван Михайлович Голицын. – О. Б.) Голицын и генерал-адъютант князь Анатолий Владимирович Барятинский. (Автор имеет в виду Владимира Анатольевича Барятинского. – О. Б.).

Князь Шервашидзе долгое время являлся единственным лицом мужской свиты государыни. Впоследствии одновременно с ним на такую же должность был назначен генерал свиты Николай Дмитриевич Оболенский («Котик»), управлявший раньше кабинетом Его Величества. Князь Оболенский оставался недолго – он скончался внезапно на одном из петербургских благотворительных базаров, и его неожиданная кончина очень огорчила государыню.

Из лиц свиты, принадлежавших к прежним царствованиям, я еще застал обер-гофмейстерину княгиню Марью Михайловну Голицыну, бывшую фрейлину императрицы Марии Александровны, графиню Александру Андреевну Толстую, тетку поэта графа Алексея Толстого, бывшую воспитательницу единственной дочери Александра II великой княгини Марии Александровны.

У нее мне приходилось бывать лишь в ее квартире в Зимнем дворце, так как в Гатчину при мне она никогда не приезжала. Я вспоминаю с особенно теплым чувством эту милую старушку, с такой готовностью переносившую меня своими рассказами в далекую жизнь минувших царствований. Она была живым и лучшим воплощением той эпохи, со всеми ее привлекательными особенностями в манерах,

рекомендовано проживание в Аббас-Тумане (Абастумани) – горноклиматическом курорте недалеко от Боржоми. Цесаревич находился там до своей внезапной смерти, изредка совершая морские путешествия.

радушии и оттенках речи, которые – увы! – уже неповторимы в наше стремящееся к упрощению и уже совсем не изящное время.

Я не знаю, будут ли когда-либо напечатаны ее воспоминания, которые она так упорно писала вплоть до самой своей кончины⁶⁵. Ее наблюдательность, вдумчивость и ясность ума заставляют горячо желать, чтобы эти страницы прошлого сделались известными широкому кругу читателей...

Нередко бывали в Гатчине, приезжая со своими дворами, фрейлина великой княгини Ксении Александровны София Димитриевна Евреинова, адъютант великого князя Александра Михайловича моряк Н. Ф. Фогель, фрейлина великой княгини Марии Александровны Эдинбургской... и фрейлина королевы греческой г-жа Сапунзаки.

По старому немецкому обычаю были и при нашем дворе у каждой императрицы по своей камер-фрау. Несмотря на такое придворное «звание», сравнивавшее их как будто с дворцовой прислугой, это были дамы из хороших дворянских семей, очень развитые, обладавшие знанием общества и хорошим домашним воспитанием. На их ответственности было хранение драгоценностей императрицы и исполнение поручений по разным личным заказам и покупкам. Положение их – между дворцовой прислугой к «свитой», – несмотря на весь их такт, было все же, вероятно, не особенно приятно для самолюбия. Они

⁶⁵ После смерти графини А. А. Толстой рукопись ее мемуаров «Печальный эпизод из моей жизни при дворе» (три тетради) были переданы в отдел рукописей библиотеки Зимнего дворца (ГА РФ. Ф. 728). Впервые изданы в Москве в 1996 г.

имели и особый придворный экипаж, но с кучером и лакеем, одетыми не в придворную ливрею.

У императрицы Марии Федоровны камер-фрау долгое время была премилая старушка Фон-Флотова – мать витебского губернатора, а после ее кончины г-жа Фон-Стрезова, вдова преображенца. У императрицы Александры Федоровны эту должность все время занимала г-жа Герингер.

Вот все те лица, с которыми мне очень часто приходилось встречаться в Гатчинском дворце и о которых я сохраняю самое лучшее воспоминание. Все они относились ко мне очень радушно; со многими из них я сошелся очень близко, и не только благодаря сближавшим нас невольно своеобразным мелочам совместной дворцовой жизни, но и по другим также общим нам интересам.

Ближайшими моими соседями по помещению были князь Шервашидзе, генерал Дашков и очень часто граф А. А. Голенищев-Кутузов; редкий день в свободное время мы не собирались друг у друга, чтобы поговорить о том, что нас особенно занимало.

Все они были далеко не заурядные люди, с большим жизненным опытом, очень начитанные и большие ценители старинного искусства во всех его проявлениях. У князя Шервашидзе было большое собрание исторических портретов и миниатюр, а у графа Голенищева-Кутузова несколько прекрасных картин старинных мастеров.

Я с удовольствием вспоминаю эти наши тогдашние беседы и споры на всевозможные темы, в числе которых исторические как то невольно преобладали – все мы недолюбливали наше текущее время, и сравнение с более красивым и менее материальным прошлым всегда было не в

пользу первого, несмотря на очень большую разницу как в возрасте, так и в характере собеседников.

Граф Кутузов был один из тех немногих современных писателей-поэтов, с которыми мне приходилось довольно часто встречаться. В то время он закончил свой роман «Даль зовет» и замыслил его продолжение «Бог зовет»⁶⁶. В его присутствии история и политические злобы дня отступали большей частью на задний план, к проблемам человеческого духа мы тогда отводили и наше посильное понимание, и порою наши горячие споры...

У брата Дмитрия Яковлевича Дашкова – Павла Яковлевича, я также бывал довольно часто во время моей работы по писанию истории полка, порученной мне моими полковыми товарищами⁶⁷. Бывать у него для меня всегда являлось большим удовольствием. Павел Яковлевич был не только непревзойденный знаток в той области, которой он себя посвятил, но и являлся теперь уже вряд ли повторимым типом настоящего, просвещенного русского барина, полного радушного гостеприимства и той доброжелательной

⁶⁶ В 1904-1905 гг. граф А. А. Голенищев-Кутузов работал над трилогией, которая осталась неоконченной. Первая книга «Даль зовет. Из воспоминаний скитальца» была издана в Санкт-Петербурге в 1907 г. Другие две имели названия «Жизнь зовет» и «Бог зовет».

⁶⁷ Речь идет о книге «История лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полка: Том второй: 1880-1904: Исторический очерк. Составил полковой адъютант штабс-ротмистр Мордвинов 1-й. Иллюстрировал академик Н. С. Самокиш». Книга была издана в Санкт-Петербурге в 1904 г.

простоты обращения, с которыми он относился даже к мало ему известным людям. Двери его дома всегда были широко открыты для всякого, кто хоть немного интересовался искусством, историей или литературой. Переступая порог его кабинета, каждый вновь прибывший сразу начинал себя чувствовать «как дома» и почти независимым от хозяина.

Когда я пришел к нему в первый раз, Павел Яковлевич встретил меня лежа на полу в одном жилете, пристально рассматривающий в лупу какую-то громадную гравюру, которая, видимо, не умещалась на его письменном столе.

В комнате уже ходили и сидели несколько человек, с которыми он обменивался короткими фразами. Мое появление заставило хозяина лишь повернуть голову в мою сторону, приветливо осведомиться о цели моего посещения и затем добродушно сказать: «Шагайте смело через меня... вот на той полке, в большой папке, вы найдете пока то, что, вероятно, заинтересует вас на сегодня, а в следующий раз я вам подготовлю и еще что-нибудь более подходящее...

Кой-что могу вам дать и на дом, только обещайте не затерять... а теперь располагайтесь возможно удобнее, как у себя...

Своих утренних посетителей, а их бывало немало, Павел Яковлевич никогда не отпускал без отличного завтрака. Этот завтрак за разговорами и какими-то особенными, действовавшими не на голову, а на ноги наливками всегда длился очень долго.

Во время его приходили новые люди, садились на свободные места за столом или, отказываясь от предложенной еды, придвигали свои стулья ближе к месту хозяина, образуя около него порою большую группу.

Павел Яковлевич был очень общителен и не только охотно давал ценные указания, но и любил делиться рассказами об удачной находке какой-либо особенно редкой гравюры или рукописи. Его доступность и большая известность в широких кругах людей, даже далеких от искусства, очень часто помогали таким неожиданным открытиям.

Мне вспомнился его рассказ о том, как в одно утро к нему явился неизвестный человек с большим мешком, заключавшим в себе мелкие клочки разорванной рукописи «какого-то писателя», которые посетитель предлагал Дашкову у него купить. Откуда они попали к продавцу, я уже теперь забыл. Случай был довольно сложный и счастливый. По некоторым отдельным словам и почерку Павел Яковлевич сразу догадался, что эта рукопись принадлежала Гоголю и являлась, насколько я помню, одним из уничтоженных самим писателем вариантов или продолжения его «Мертвых душ».

За небольшую сравнительно сумму – кажется, 300 рублей, – Дашков купил эту кучу изорванных, перемешанных и загрязненных лоскутков исписанной бумаги.

Чтобы восстановить целостность рукописи в прежнем виде, он прибег к весьма находчивому и оказавшемуся очень удачным способу.

Захватив мешок с ценными клочками, он поехал к себе в имение, расставил в комнатах усадьбы большое количество столов, призвал неграмотных деревенских ребятишек и заставил их соединять отдельные обрывки рукописи, подбирая их, как в известной игре, лишь по форме один к другому.

«Это заняло много времени, – говорил Павел Яковлевич, – но зато удалось восстановить рукопись скорее и точнее, чем это сделали бы, наверное, мы, люди грамотные и читавшие или изучавшие Гоголя – у ребят не было того искушения составлять фразы по отдельным словам, которые казались бы знатокам самыми подходящими и совсем, быть может, и не соответствовали бы намерениям Гоголя...

Говоря об оригинальных личностях того времени, мне невольно хочется упомянуть и о моем знакомстве с известным издателем «Русского Архива» – Петром Бартеневым.

Знакомство это было, впрочем, весьма кратким, но произошло довольно неожиданным образом.

В те дни я с особенным старанием изучал в московских архивах время 6-месячного царствования Петра III, и для этой работы мне понадобилась одна из самых старых книжек «Русского Архива», которую можно было достать только в конторе самого журнала, так как ни у одного из букинистов ее не находилось.

Поднявшись по лестнице типичного московского дома и найдя двери конторы не запертыми, я вошел в небольшую комнату, в которой всюду были навалены кучи запыленных книг, но никого из людей не было. Выждав некоторое время, я постучал в запертую дверь какого-то соседнего помещения... Никто не отозвался... Я постучал второй раз, посильнее...

Послышалось шлепанье туфель, дверь слегка приотворилась, и у ее порога показался старичок в сером халате, довольно недружелюбно и пристально в меня вглядывавшийся.

В образовавшийся узкий просвет двери за старичком виднелась небольшая, обставленная простой старинной мебелью комнатка, со столом посередине, на котором кипел большой самовар.

У самовара сидела старушка в большом чепце и, не обращая внимания на мое появление, продолжала пить чай с той серьезностью и неторопливым достоинством в движениях, с какими могут делать это важное домашнее дело только очень старые, одинокие и очень уж русские люди.

Непередаваемым спокойствием и особым уютом далекой старины веяло от всей этой милой живой картины.

Я сразу почувствовал, что неприветливость старичка я хотя и невольно, но вполне заслужил и начал извиняться.

– Что вам угодно? – промолвил он наконец, прерывая мои извинения.

Я объяснил. Старичок помолчал, снова пристально посмотрел на меня и, не отвечая на мою просьбу, сурово спросил:

– А позвольте узнать, как ваша фамилия?

Я назвал себя.

– Вот как! – оживляясь, заговорил он, приоткрыв немного шире дверь. – Мордвинов! А знаете ли вы, молодой человек, как следует все то, что касается ваших Мордвиновых и что о них говорит история?.. Наверное, не знаете – так я вам сейчас объясню... Я знал лично многих, да за долгую жизнь приходилось много читать о них и слышать... – И, не давая мне возможности вставить ни одного слова и не выходя из-за приотворенной двери, он прочел мне целую долгую лекцию о Мордвиновых, как игравших какую-нибудь

историческую роль, так и в большинстве случаев никакой роли не игравших.

Память этого глубокого старца и образная манера, с какой он передавал события далеких царствований, меня поразили...

С удивительными подробностями, не путая ни имен, ни отчеств отдельных лиц, он мне рассказал действительно много нового и интересного о моих предках.

Одних он милостиво хвалил, других снисходительно, но метко порицал.

– Так вот какие были в действительности Мордвиновы, – уже совсем добродушно и назидательно закончил он... – Все-таки кое-что сделали для России, а могли бы, как и все мы, сделать и больше... До свидания, приходите еще... В следующий раз поговорим подольше, а книжку поищите тут сами. – И, не подавая мне руки, а лишь кивнув головой, он захлопнул свою дверь.

Приглашением оригинального старичка, имевшего много врагов, но делавшего без шума большое русское дело, мне так и не удалось воспользоваться. Москву тогдашних годов с ее бурно либеральствующей интеллигенцией и ее еще более оторванными от родной почвы либеральствующими купцами я совсем уже перестал любить, да и раньше ее не любил, бывал в ней редко, только проездом, а вскоре прочел, что и самого П. Бартенева не стало.

Да простят мне эти невольные отступления от моего рассказа.

Они действительно могут показаться слишком излишними. Ведь своеобразных людей на свете много, вернее, мы все, не исключая и близнецов, не похожи друг на друга, и

всякий «другой» нам всегда представляется более или менее оригинальным.

Равенства, о котором особенно горячо продолжают проповедовать и которого так желают в наши дни, среди природы, куда входит и все человечество, к нашему счастью, не существует.

С этим равенством не было бы ни полной красоты мироздания, ни смысла нашего существования. Не было бы и движения вперед.

Распространенное насильно, оно никогда не помогало подъему масс и, разрушая высшие классы, лишь ускорило процесс одичания и варварства...

Но среди неравных существ встречаются люди, внутренний облик которых особенно духовный и с которыми, несмотря на всю невозможность, хотелось бы все же сравняться... Для многих такие личные встречи бывают нередкими. У меня, к сожалению, в моей жизни их было слишком мало. Вот почему они во мне запечатлевались особенно резко и почему, к слову или не к слову, я с такой настойчивостью люблю вспоминать о них.

Ведь эти люди своим общением помогали мне хоть на минуты становится чуть лучше, чем я есть...

* * *

Из следующих событий этих годов наиболее резкими по впечатлениям были для меня месяцы нашей исподволь подготавливавшейся смуты 1905-1906 годов.

Когда теперь, более 20 лет спустя, я хочу вновь пережить тогдашние дни, в моем представлении возникает все же довольно неясная картина.

Припоминаются довольно ярко лишь отдельные, быть может, малоинтересные для других мелочи, но мелочи почему-то запечатлевшиеся во мне довольно отчетливо.

Эти, в общем, не смутные – смута тогда еще не охватывала весь народ, – а скорей разнузданные агитацией на некоторое время и в некоторых местах дни почему-то привыкли теперь называть 1-й русской революцией – быть может, из-за известной исторической давности, когда все становится действительно виднее.

Но тогда это громкое слово не повторялось с такой настойчивостью, хотя в попытках и слухах приблизить эти беспорядки к «Великой французской», вплоть до объявления крохотных смехотворных республик, и в те дни недостатка не было.

Из особенно пугавших обывателя слухов мне запомнился один, утверждавший, что во дворе Петербургского университета давно уже привезена студентами гильотина, которую «непременно завтра» установят на дворцовой площади, чтобы рубить головы «всем господам, министрам и богатым, укравшим счастье у народа»...

Наиболее тяжело сказалась тогда на населении раздражавшая его железнодорожная, а с нею и почтовая забастовки.

В Великую французскую ни железных дорог, ни телеграфа не было, и благодаря этому обстоятельству ее размах не был так внезапен и «величественен» по своей широте, каким он явился впоследствии в ближайшие к нам дни уже действительного крушения Родины.

Все эти современные технические «ускорители и упростили жизни» действительно тогда ускорили и

упростили до легкости все задания участников «Петербургского действия».

Не будь их, пожалуй, не было бы и отречения от престола, как не было бы и того, что за этим отречением неминуемо последовало.

Быть может, скажут многие, что эти же самые технические средства в руках смелого и действенного правительства могли бы сыграть еще более решительную роль и дать ему полную победу над «взбунтовавшимися рабами» для их собственного блага.

Пожалуй, и так – спорить не буду, а предоставляю об этом судить более вдумчивым и знающим людям, чем я.

Когда-нибудь история этих дней будет исследована во всех подробностях, и тогда будет больше оснований для таких пока не нужных суждений.

Мне хочется лишь сказать, что 1905 год, когда поезда не ходили, а телеграф бездействовал⁶⁸, не был так ужасен по своим последствиям, как 1917-й, когда телеграф и железные дороги разносили по всей стране торжествующие известия «о совершившемся окончательном падении власти», которая еще не падала, кое-как все-таки боролась и могла еще стать на ноги по примеру 1905 года.

В этом отношении «революционеры» 1905 года, подстрекавшие к железнодорожной и почтовой забастовке, как это ни кажется странным, действовали себе во вред, были более шаблонны и менее находчивы, чем их предусмотрительные товарищи 1917 года, не только захватившие дороги и

⁶⁸ Речь идет о Всероссийской стачке в октябре 1905 г. В ней приняли участие более 2 млн человек.

телеграф в свое ведение, но и взывавшие к их усиленной деятельности.

Эти «товарищи» более понимали обывательскую психологию.

Правда, на стороне бунтовщиков 1917 года было больше самоуверенности, почерпнутой якобы «из всеобщего сочувствия», и они с весьма небольшой решимостью вырвали это вспомогательное оружие из рук растерявшегося правительства.

Первые, до такой, основанной на ложном представлении самоуверенности еще не доросли и поневоле ограничились лишь вредной для самих себя полумерой.

Но как в том, так и в другом случае, то есть говоря о правительстве или революционерах, хочется заметить, что с обеих сторон, в особенности в дни смуты, когда все понятия извращены до смешного, придается слишком много веры в силу и значение этих современных средств сообщения.

Достаточно вспомнить радость революционеров временного правительства 1917 года, когда, желая не допустить страшный для них Георгиевский батальон генерала Иванова на соединение с верными войсками в Гатчине, они повалили на железнодорожный путь около Семрина (всего 2-3 версты от Гатчины) два товарных поезда и были крепко убеждены, что теперь Иванов уже не прорвется через такое заграждение.

Как ни странно, но и такой военный человек, как генерал Иванов, пошел навстречу этому ребяческому убеждению и спокойно повернул вспять к станции Дно. А между тем стоило ему не думать о железной дороге, поваленных поездах и снятых стрелках, а просто, высадившись у Семрина, пройти на своих ногах эти короткие 2-3 версты,

как через 45 минут он был бы уже в Гатчине. Впрочем, не одни поваленные поезда помешали генералу Иванову исполнить поручение, возложенное на него государем. Подобную задачу мог бы выполнить с полнейшим успехом и всякий решительный, воодушевленный человек с военными знаниями даже самого простого рядового солдата⁶⁹.

Невольно вспоминается и другой случай в те же позорные дни, когда даже главнокомандующий Северным фронтом и его начальник штаба были убеждены, что

⁶⁹ В конце февраля 1917 г., получив известия о волнениях в Петрограде, Николай II, находившийся в Ставке верховного главнокомандующего в Могилеве, отдал приказ о направлении в Петербург фронтовых частей под командованием генерала Н. И. Иванова. В распоряжение Иванова, кроме войск, были отданы Георгиевский батальон, охранявший Ставку, пятая рота Сводного полка и полурота Железнодорожного полка (всего 800 человек). Планировалось, что в Царском Селе Н. И. Иванов примет под свое командование войсковую группировку до 40 тысяч человек. 1 марта 1917 г. его составы прибыли в Вырицу. Оттуда генерал Иванов выехал в Царское Село, чтобы дать инструкции вызванному туда командованию гарнизона. На этой встрече Н. И. Иванов пришел к выводу, что помощи Георгиевского батальона для охраны царской семьи не требуется. От императрицы Александры Федоровны он получил приказ отвести свои войска в Вырицу, чтобы избежать столкновения Георгиевского батальона с частями революционного гарнизона. Требовалось еще около суток для подтягивания всех частей к Царскому Селу, но уже в ночь на 2 марта их движение было остановлено. 2 марта генерал Иванов выехал из Вырицы в расположение Тарутинского полка, но на станции Семрино (по другим источникам – Сусанино) его вместе с батальоном георгиевских кавалеров блокировали революционные железнодорожники.

взбунтовавшийся в Луге ничтожный гарнизон (кажется, одна рота и автомобильные части) не пропустит по рельсам через эту станцию ни императорский поезд, ни многочисленные эшелоны полевых войск, двинутые тогда по приказанию государя на усмирение бунтовавшего Петрограда. Это обстоятельство – или, вернее, предлог – заставило приостановить начавшееся уже тогда движение войск, сулившее несомненный успех⁷⁰.

⁷⁰ Речь идет о командующем Северным фронтом генерале Н. В. Рузском и начальнике его штаба генерале Ю. Н. Данилове. 27 февраля 1917 г. начальник Ставки верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев приказал Ю. Н. Данилову выделить для генерала Иванова два пехотных полка, два кавалерийские и одну пулеметную команду. По состоянию на вечер 1 марта дошел до места назначения, станции Александровская, только головной эшелон сил Северного фронта, содержащий Тарутинский полк. В Луге 1 марта 1917 г. на митинге солдат автомобильной роты был сформирован Военный комитет. Вскоре к солдатам присоединилось и гражданское население. Днем в Петроград на имя М. В. Родзянко из Луги была направлена телеграмма, сообщавшая, что вся власть находится в руках Лужского гарнизона, который ждет распоряжений Государственной думы. 2 марта 1917 г. солдатами Лужского гарнизона был задержан направленный с фронта эшелон 68-го лейб-гвардии Бородинского полка для подавления революции в столице. Переговоры с офицерами и солдатами привели к быстрому и мирному разоружению «бородинцев», которые в большинстве своем были вскоре отправлены обратно в Псков. По согласованию с Николаем II приказом командования Северного фронта войска тогда же, в ночь с 1 на 2 марта, были отправлены из Луги и Александровской обратно на фронт в распоряжение командующего 5-й армией.

Объяснить подобные случаи возможно действительно только лишь смутой, то есть полным потемнением в умах, а с этим и забвением долга.

Беспорядки 1905 года начались в виде какого-то тяжело-го предзнаменования, до сих пор недостаточно разъясни-мым выстрелом из салютационного орудия картечью по водосвятию на крещенском параде, на котором присутство-вал государь⁷¹.

В то время я был полковым адъютантом и, вынеся свой кирасирский штандарт из зал дворца, находился в числе адъютантов остальных воинских частей в самой середине сквозной беседки-часовни, устраиваемой ежегодно со времен Екатерины II, как всегда, на льду у проруби Невы против Иорданского подъезда Зимнего дворца.

Его Величество и великие князья стояли во время молебствия немного поодаль, налево от знамен и штандартов, довольно заметной издали отдельной группой.

Государыни императрицы, великие княгини и все остальные собравшиеся на высочайший выход, смотрели на эту красивую церемонию из окон дворца.

⁷¹ 6 января 1905 г. (праздник Крещения), во время водосвятия на иордани (на льду Невы) перед Зимнем дворцом, в присутствии императора и членов его семьи, в самом начале пения тропаря раздался выстрел из орудия, в котором случайно (согласно официальной версии) остался заряд картечи после учений 4 января. Большая часть пуль попала в лед рядом с царским павильоном и в фасад дворца, в 4 окнах которого были разбиты стекла.

В то время как митрополит погружал святой крест в воду, раздался обычный салют с верхов Петропавловской крепости и из полевых орудий батареи гвардейской конной артиллерии, находившейся около Биржи. Одновременно со звуком салюта мне послышалось какое-то шуршание по льду, небольшой треск сверху, и я почувствовал, как что-то пронеслось около меня.

Я поднял невольно глаза вверх, думая, что это, вероятно, падают обломки от неудачно пущенной ракеты. Но никаких обломков я не заметил, как не заметил никакого смущения и среди остальных – молебствие продолжало совершаться в прежнем торжественном порядке.

Государь спокойно приложился к кресту и неторопливо, своей обычной походкой, обошел вместе с митрополитом окропленные знамена и штандарты.

Лишь по окончании всей церемонии, когда мы возвращались обратно во дворец, я заметил, к моему изумлению, несколько окон в нем разбитых, а поднимаясь по дворцовой лестнице вместе с другими, услышал как кто-то, волнуясь, говорил:

– Какое чудо, что мы все остались живы... ведь по нас стреляли самой настоящей боевой картечью, а поранили только глаз одного городского да, говорят, пробили знамя морского корпуса... Воображаю, какой переполох должен был быть в залах у дам...

Действительно, это было чудо, так как иначе назвать его нельзя. Возвращаясь с выхода домой, я прошел осмотреть беседку на Иордани. Весь низ ее около льда был густо изрешечен картечными пулями. Очень много из них попало и в верхнее строение часовни, в купол, а также и в средние окна дворца.

Как при таком густом и широком разлете картечи не оказалось ни одного попадания ни в находившегося внизу ульда духовенства, ни в стоявших в середине беседки людей, ни в образах около купола, приходится объяснить лишь одним промыслом Божиим⁷².

В дворцовых залах, полных народа, также никто не пострадал, и особого смятения благодаря звуку салюта, заглушившего звон раз битых стекол, не произошло.

Картечные пули, достигнув дворца, видимо, были уже на излете и, пробив стекла, упали у самых окон; лишь немногие из них докатились до середины Николаевского зала.

В тот вечер, возвратившись с выхода, Михаил Александрович находился совершенно один в Гатчинском дворце. Одиночество в связи с этим событием его, видимо, тяготило; он позвал меня обедать к себе и показывал мне одну из таких пуль, которую он подобрал во время обратного выхода с Иордани в одной из зал дворца.

Пробив только стекло, она сохранила свою прежнюю форму.

Великий князь, рассказывая мне о полном спокойствии, проявленном государем, сам был, видимо, очень удручен. Ведь стреляла в нас благодаря какому-то, если не несчастному, то, во всяком случае, совсем непонятному случаю боевым снарядом одна из батарей той гвардейской

⁷² «Во время салюта неожиданно для всех упали – как на павильон, так и на фасад Зимнего дворца – круглые картечные пули. В беседке было насчитано около 5 пуль, из коих одна упала совсем рядом с государем» (Мосолов А. А. При дворе последнего российского императора. М., 1993. С. 193).

конно-артиллерийской бригады, где государь и сам великий князь проходили свою учебную службу, и этот выстрел не только мог сказаться громадным несчастьем на многих присутствовавших на молебне, но, несмотря на благополучный исход, сулил, конечно, и очень суровую кару хорошо знакомым ему офицерам.

Но мысль о каком-либо заранее задуманном, злоумышленном покушении ни мне, ни ему, ни, судя по его словам, государю не приходила тогда в голову – настолько она казалась чудовищной по отношению к этой преданной, избранной части гвардейских войск, куда поступали офицеры, лишь отлично окончившие Пажеский корпус.

Командиром батареи был тогда полковник Давыдов, а офицерами – Карцев, Колзаков и, кажется, братья Рот. В чем-либо предумышленном этих офицеров, конечно, нельзя было подозревать, а лишь прислугу из нижних чинов, непосредственно соприкасавшихся с орудиями.

Я вспоминаю, что мы строили в тот вечер всевозможные догадки, перебирали разные несчастные случаи, которые нередко случаются в артиллерии, и... объяснили все случившееся лишь халатной неосмотрительностью...

Так, судя, конечно, лишь по официальным сведениям, оказалось и в действительности. Было назначено следствие, установившее, что во время происходивших накануне учебных занятий в одном из орудий, якобы по небрежности, был забыт боевой снаряд с картечью, и это же орудие, не осмотренное предварительно, как и все остальные, офицерами, было отправлено на салютационную стрельбу в день Крещения. Для меня непонятным осталось все-таки то, что орудие это было наведено совершенно точно именно на часовню Иордани, но, не будучи артиллеристом, я не знаю, в

каком направлении обыкновенно устанавливают орудия в подобных случаях для салюта. Еще более преступным и уже совершенно неправдоподобным представляется мне то обстоятельство: как можно было заряжать орудие для салютационной стрельбы и не заметить, что в нем уже находилась картечь.

Командира и офицеров батареи судили, всех разжаловали в рядовые, но вскоре они были прощены и переведены теми же чинами в армию, что вызвало большое неудовольствие в полевой (армейской) артиллерии.

Понесла ли какое-нибудь наказание прислуга орудия – я не знаю, а в ее поступках, по-видимому, и заключалась вся тайна.

Об этом случае много и оживленно толковали в военной среде, указывали на недоговоренность и промахи следствия, на работу в войсках революционеров, но наступившие вскоре новые волнующие события заставили забыть и о нем.

В связи с этим возмутительным событием весьма показательным является рассказ Н. А. Павлова, сообщенный мне уже за границей одним хорошо мне знакомым генералом. Н. А. Павлов незадолго до своей кончины рассказывал ему, что 23 декабря 1904 года во время своей поездки из Москвы в Петербург он случайно, стоя на площадке вагона, до отхода поезда из Москвы, слышал следующий разговор между двумя молодыми людьми (проводжающим и отъезжающим):

- Для чего ты все же едешь в Петербург?
- Покончить 6 января.
- Да все ли у вас подготовлено?

– Разумеется, все до малейшей подробности, если не будет отмены парада...

В дороге Павлов заболел и, приехав в Петербург слег на две недели в кровать. Но все же сообщил письмом Орлову об этом разговоре и своем беспокойстве. Затем на словах передал о том же навестившему его двоюродному брату Ив. Карл. Багговуту, полковнику гвар. конной артиллерии, обещавшему сообщить обо всем кому следует. 7 января утром к Павлову приехал Орлов и, сильно волнуясь, признался, что он ограничился только посещением кн. Святополк-Мирского, тогдашнего министра внутренних дел, и передал ему письмо Павлова. На что кн. Святополк-Мирский ему только сказал «вздор» и бросил письмо в свой стол!

9-го января случилось под предводительством Гапона и революционера Рутенберга известное мне во всех подробностях шествие рабочих к Зимнему дворцу.

Об этом событии также много говорилось; особенно возмущались всем происшедшим либеральные круги, но почему-то все забывали, что Зимний дворец и в те дни стоял совершенно пустой: государь давно, уже несколько лет подряд, жил в Царском Селе, что было известно каждому, а вожакам рабочих в особенности. О том, что Его Величество не приедет в Петербург и в воскресенье 9 января, градоначальник генерал Фуллон предупреждал заранее и самого Гапона⁷³.

⁷³ Георгий Гапон пользовался поддержкой нового градоначальника Санкт-Петербурга генерала И. А. Фуллона, который полностью доверял Гапону как человеку с хорошими рекоменда-

Таким образом, грандиозное, рассчитанное на большое впечатление шествие уже заранее было направлено в пустое пространство и становилось порядочно смешным.

Принять, как тогда говорилось, «народную петицию» за исключением разве караульного офицера или обычного плац-адъютанта было бы во дворце некому.

Самый первый залп по надвигавшейся толпе был произведен сначала не дворцовым караулом, как рассказывали, и не на площади Зимнего дворца, а за несколько верст оттуда, небольшой военной командой,

циями. С Фуллоном Гапону даже удалось установить дружеские отношения, что помогало ему в дальнейшей работе. Накануне выступления 9 января 1905 г. Гапон, зная, что императора нет в городе, направил письма министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому и Николаю II с призывом избежать кровопролития. В своем письме царю Гапон писал: «Государь, боюсь, что твои министры не сказали тебе всей правды о настоящем положении вещей в столице. Знай, что рабочие и жители г. Петербурга, веря в тебя, бесповоротно решили явиться завтра в 2 часа пополудни к Зимнему дворцу, чтобы представить тебе свои нужды и нужды всего русского народа. Если ты, колеблясь душой, не покажешься народу и если прольется неповинная кровь, то порвется та нравственная связь, которая до сих пор еще существует между тобой и твоим народом. Доверие, которое он питает к тебе, навсегда исчезнет. Явись же завтра с мужественным сердцем пред твоим народом и прими с открытой душой нашу смиренную петицию. Я, представитель рабочих, и мои мужественные товарищи ценой своей собственной жизни гарантируем неприкосновенность твоей особы» (*Гапон Г. А. Письмо к царю Николаю II // священника Георгия Гапона ко всему крестьянскому люду воззвание. 1905. С. 13*).

охранявшей тогда мост на Таракановке – речке, отделявший тамашнее петербургское предместье от внутренней части города. По словам очевидцев с обеих сторон, эти выстрелы в те минуты не вызывались никакой необходимостью. Они раздались после короткого предупредительного сигнала, совершенно неожиданно и внезапно, вероятно, благодаря лишь нервности и напряженности войск, так как никакой команды об открытии огня никто из очевидцев не слышал⁷⁴.

⁷⁴ Из рапорта командира лейб-гвардии Преображенского полка генерал-майора В. С. Гадона видно, как развивались события 9 января: «Из толпы стали выходить люди с дерзкими заявлениями, обращенными к роте, главным предметом которых было нахождение войск здесь, а не на войне. Толпа все увеличивалась людьми, приходившими через Александровский сад, куда они перелезали через забор и влезали на деревья. В это время полковник Дельсаль получил от генерал-майора Щербачева приказание его сиятельства командира корпуса (графа С. И. Васильчикова. – *Прим. сост.*) открыть огонь. После этого конная гвардия сделала еще одну попытку оттеснить толпу, а вслед за тем была произведена атака лейб-казаками с обнаженными шашками; эти атаки не привели ни к чему, толпа оставалась на месте и громко кричала и свистела. Тогда полковник Дельсаль выехал к толпе и несколько раз предупреждал толпу о том, что после 3 сигналов в нее будут стрелять. На что из толпы махали шапками, кричали: «Кого же вы пошлете в Японию?» И раздались возгласы: «Стреляйте!» После поданных на горне трех сигналов, с промежутками между ними, полковник Дельсаль приказал командиру 3-й сводной роты капитану Мансурову стрелять» (Начало Первой русской революции. Документы и материалы. Январь – март 1905 года. М., 1955. С. 59). По официальным оценкам, при разгоне демонстрации погибло девяносто два человека и было ранено более двух сотен человек.

Хотя большая часть участников шествия были мирной, а многие даже верноподданнически настроены, то совершенно не таким было намерение ее вожаков. Как свидетельствуют записки генерала Герасимова, начальника тогдашней петербургской охраны, на заданный им впоследствии Гапону вопрос: «Верно ли то, что у главных вожаков был составлен на 9 января план застрелить царя в то время, когда он выйдет к собравшимся около дворца рабочим?» – тот отвечал: «Да, это правда. Это было бы ужасно, если бы это случилось... Я об этом узнал намного позже. Это был план Рутенберга, а не мой. Но господь спас царя... Об этом же намерении убить государя, Гапон говорил впоследствии и одной знакомой ему даме, у которой он бывал запросто.

Что касается до событий на Дворцовой площади, то разрозненные выстрелы раздались там от роты Преображенского полка, оттесненной наступавшей толпой к самому дворцу. Выстрелы были вызваны лишь необходимой самообороной от напора, а также и низкими оскорблениями войск, далеко не мирно настроенной в то время толпы.

Сама «народная петиция» была революционно-политическая и составлена в резких вызывающих выражениях, о чем было известно заранее, конечно, Департаменту полиции, таким образом, бездейственная роль этого высшего полицейского учреждения, заведомо знавшего в подробности о подготовлявшемся шествии, не только весьма загадочна, но и особенно преступна и жалка...

Крестьяне нашей деревни отнеслись к этому событию с полным равнодушием. Они еще не были тогда затуманены политикой и обладали большим здравым смыслом, чем рабочие. Они также любили по разным случаям посылать от

себя ходоков, и их ходоки, повторяя вместе с другими, что «до Бога высоко, а до царя далеко», все же умели доходить со своими нуждами самым простым способом и до самого государя, не прибегая для этого, на русской почве, к примерам из революций иностранных стран...

Но в самом Петербурге было уже беспокойно, и в конце января или начале февраля 1905 года императрица-мать даже переехала из Аничковского дворца к государю в Царское Село, где поселилась у него в Александровском дворце⁷⁵.

Время было действительно тревожное, полное разных слухов. Я вспоминаю, как однажды мой кирасирский Ее Величества полк был приказанием по телефону из Петербурга поднят ночью по тревоге и направлен на рысях из Гатчины в Царское Село, куда, по слухам, намеревалась направиться из Петербурга громадная толпа каких-то вооруженных фабричных.

Помню, что большую часть 22-верстного пути мы сделали даже не рысью, а галопом, рисуя в своем воображении дворец, уже окруженный бунтующей толпой. Каково же было наше удивление, когда, прибыв в Царское, мы нашли там полный мир и порядок.

Полк все же оставался в Царском Селе около месяца, высылая наблюдательные разъезды по всем дорогам, и так

⁷⁵ Императрица Мария Федоровна приехала из Петербурга в Царское Село днем 9 января 1905 г. и оставалась в Александровском дворце вместе с семьей сына больше месяца, потом переехала в Гатчину.

как спокойствие и потом не нарушалось, вернулся в свои казармы в Гатчину.

Как я уже сказал, все эти события запечатлелись в моей памяти, в общем, довольно смутно, так как своего дневника я тогда еще не вел. Помню только, что почти перед самой железнодорожной забастовкой мои дети уехали с бабушкой в Англию, к нашей английской тете, и мы остались с женой вдвоем, не получая от уехавших никаких известий.

В эти месяцы Михаил Александрович, остававшийся также совершенно один в Гатчине, очень часто посещал наш дом и проводил у нас вечера.

Даже на тихом дворцовом городке Гатчины тогда уже отразилась петербургская агитация.

На обычно пустынных по вечерам улицах стали появляться изредка разнузданные солдаты-артиллеристы, воспитанники Сиротского института и Учительской семинарии, и какие-то темные личности, как в рабочем, так и в неуклюже сидевшем солдатском одеянии, и ходить одному в те часы было небезопасно.

Я всегда поэтому провожал великого князя от нас обратно во дворец и вспоминаю, как в один из таких вечеров нам грубо преградили дорогу трое солдат с каким-то «вольным» и стали неистово ругаться и грозить.

Оружия, по гатчинскому обыкновению, ни у меня, ни у Михаила Александровича не было. Великий князь вспылil и уже поднял руку, чтобы отшвырнуть с дороги нахалов.

– Как вы смеете, – закричал и я, – разве не видите, что это брат государя?..

«Штатский» и один из солдат бросились бежать, а двое других упали на колени, стали кланяться в землю и молить великого князя о прощении.

– Ну что с таких дураков спрашивать? – сказал презрительно Михаил Александрович, и мы, невольно рассмеявшись, пошли дальше.

Гатчинские учебные заведения, в особенности Сиротский институт⁷⁶, в подражание петербургским тогда начали также волноваться.

Чем эта жажда подражания выразилась в стенах зданий, я уже забыл; помню только, что эта молодежь, в числе которой были какие-то подозрительные пожилые личности, делала несколько раз несмелые попытки, и то лишь по вечерам, в темноте, выходить нестройной толпой на пустынную улицу, силясь изобразить что-то вроде демонстрации. Для большей внушительности в этих шествиях принимали всегда участие и юные гимназистки,

⁷⁶ Сиротский институт (1803-1917) – учебное заведение в Гатчине, основанное в 1803 г. по инициативе императрицы Марии Федоровны. Первоначально был учрежден как Сельский воспитательный дом в здании бывшего Скотного двора. В него принимали детей с 7 лет, всего могло обучаться до 600 детей обоего пола. В 1834 г. Воспитательный дом был преобразован в восьмиклассную мужскую гимназию для детей-сирот, а в 1837-м – в гатчинский Сиротский институт. В него принимали только сирот из дворянских семей с 10-12 лет, готовили домашних учителей. В 1848 г. он получил юридическое направление, готовил канцелярских чиновников. В 1855 г. Гатчинский сиротский институт назван Николаевским в память основателя, императора Николая I.

обычно с красными флагами, прятавшимися до поры до времени у них на груди.

Кирасир моего эскадрона, в то время иногда объезжавших по наряду конными патрулями улицы городка, встреча с этими действительно комичными пугливыми шествиями, с визгливыми голосами гимназисток и каких-то наезжих курсисток приводила всегда в самое искреннее веселое настроение.

Завидя еще издалека патруль, которому, как они хорошо знали, было запрещено в подобных случаях употреблять какое-либо оружие, вся толпа бросалась врассыпную во все стороны, сбивая друг друга с ног и перелезая через соседние заборы.

На этих заборах обыкновенно застревали несколько гимназисток, видимо, недостаточно ловких для подобной гимнастики, и это больше всего веселило солдат, ограничивавшихся лишь одними меткими насмешками.

Но вообще тогдашние нижние чины строевой службы относились не только с искренним неодобрением, а порою, когда наряды на разъезды участвовали, и с сильной злобой к «этим самым негодным смутьянам».

Вахмистру и взводным унтер-офицерам стоило, по их словам, громадных усилий, чтобы отобрать от нижних чинов самодельные плетки, которые были строго запрещены, но которые вновь делались и тщательно прятались кирасирами даже от глаз их родственного непосредственного начальства.

Возмущало рядовых кирасир и то, что солдатам, заходившим в некоторые (2 или 3) мелочные лавки, раздавались брошюры с громким оглавлением на обложке «За Веру, Царя и Отечество», но заключавшие в себе воззвания к бунту. Ни

один из полка не утаил у себя книжки и немедленно отдавал ее взводным.

В безобидных для Гатчины столкновениях «народа» с «народом» – их нельзя назвать более определенно, хотя бы столкновениями «города» с «деревней», потому что среди кирасир было много городских рабочих, а среди учительской семинарии немало крестьян, – действительно нельзя не видеть начала борьбы «красных» с «белыми», которой полны и совсем близкие к нам дни.

Начатая не по хотенью русского народа, а зародившаяся лишь благодаря идеям и домогательствам людей совершенно чуждых нашей народной душе и нашему народному укладу, эта борьба еще продолжается и сейчас...

Ею затронуто столько дорогого и священного, чем жило громадное большинство моей родины, что в конечном успехе стремлений белых я не сомневаюсь.

Мне только до боли жаль, и моя русская гордость страдает, что этого успеха так долго ждем.

Но он придет, в этом порукой не только порядок вещей, законы истории, но и Высшая Правда и наши страдания...

Страдания – ведь это тоже молитва, только наиболее настойчивая и доходчивая до Бога из всех...

Особенно тяжелое впечатление оставляло по себе в те дни поведение воспитанников гатчинского Сиротского института, почетным попечителем которого был мой великий князь.

Круглые сироты, сыновья бывших бедных офицеров и таких же гражданских чиновников, в большинстве не имевшие никакой поддержки извне и обязанные своему благополучному существованию и хорошему образованию

лишь вдруг сделавшемуся им ненавистным правительству, они своим вызывающим задором старались сломать тот сук, на котором так беззаботно и прочно сидели.

Впрочем, тогда этот сук заставляли с упорством рубить и других, кого за бессознательность лъстиво называли «сознательным», а за непродуманность политической мысли – «передовыми людьми».

«Сознательность» питомцев Сиротского института все же выражалась, в общем, довольно безобидно и не менее пугливо, чем во время их «революционных шествий».

Они любили отворять в разное время дня форточки, высовывали из них отдельные инструменты своего ученического оркестра и неверными звуками «Марсельезы» призывали прогуливавшихся обывателей к борьбе с тиранами; или, завидя в Гатчинском дворцовом парке, куда частью выходили окна их здания, прогуливавшегося великого князя Михаила Александровича, они кричали ему издали «в знак братства» – «Милый Миша», «Братец», «Мишенька» и т. п.

В чем выражались тогда их оригинальные передовые идеи, я уже забыл. О них мне много рассказывал, то печалась, то смеясь, директор института генерал Гейштор, которому все же удалось в конце концов заставить борцов за свободу учиться и перестать раздражать жителей своими выходками...

В те дни Михаил Александрович и я с женой особенно часто ездили в Царское Село, к великой княгине Ольге Александровне – любимой сестре и другу моего великого князя.

Ее муж, принц Петр Александрович Ольденбургский, командовал тогда стрелками императорской фамилии.

Великая княгиня жила там частным человеком, в казенном полковом доме, занимая очень просто, но красиво обставленную небольшую квартиру.

Я вспоминаю с особенным удовольствием эти милые вечера, казавшиеся еще более уютными и мирными из-за взбудораженного моря вокруг.

Великую княгиню Ольгу Александровну очень любили, да и не любить ее было нельзя. К ней часто собирались запросто как офицеры батальона, так и ее прежние друзья. Иногда к ней приезжали обедать и Их Величества.

Я помню один такой обед, когда петроградские рабочие особенно бушевали, и собравшиеся приглашенные, в ожидании приезда государя, обменивались впечатлениями о создавшемся положении, которое всех тревожило.

В особенности оживленный обмен мыслей вызвало сделавшееся тогда известным требование рабочих и интеллигентных кругов о выводе всех без исключения войск из пределов Петрограда.

Почти все присутствовавшие отнеслись к этому требованию – столь памятному из примера Французской революции – резко отрицательно, и лишь один, не близкий к хозяевам дома, особенно горячо доказывал, что такому требованию «надо пойти во всяком случае навстречу», так как, по его глубокому убеждению, «только этой мерой являлась единственная возможность успокоить рабочих и восстановить порядок в столице, к которой присматривались и другие города».

Но каково было мое изумление, когда после обеда государь в общем разговоре коснулся этой темы, и тот же самый господин еще горячее других стал говорить Его

Величеству о необходимости не только оставить войска в Петербурге, но еще и усилить их присылкой со стороны.

Такая быстрая смена убеждений, которой в отсутствие государя, конечно, не было бы, меня тогда особенно поразила. Я был еще молод, и такие превращения были для меня вновь.

Если истина и не основывается на людском убеждении, то все же ближе подойти к правде без человеческой искренности никак нельзя.

Именно искренности, как бы она ни противоречила убеждению «всех», всегда желал и даже требовал государь, и она всегда вызывала отклик и от него самого.

К сожалению, к нему подходило большинство слишком часто лишь с искренностью показной. Ни в одной житейской обстановке не увидишь такого количества не исторических сцен, а лишь сценок, рисующих людское лицемерие как в жизни людей, еще только домогающихся проникнуть в заманчивую для них придворную среду. Здесь лицемерие еще более бывало заметно, а потому и редко, несмотря на все старания, вело к успеху.

* * *

Объявление манифеста 17 октября о так называемых «свободах» (точно свобод много!) ничем не сказалось на улицах уже давно успокоившейся Гатчины, в полную противоположность Петербургу, где торжественные шествия и столкновения народа с народом, то с иконами и портретами государя, а то и с красными флагами, опять наглядно показывали, что примирить духовно непримиримое никакой манифест и самое мудрое распоряжение

правительства никогда не бывали в состоянии. Это под силу лишь долгому времени и горькому опыту.

Деревня – по крайней мере моя – отнеслась к объявлению манифеста с полнейшим равнодушием.

Она его просто не заметила, а для тех, кому этот манифест читался в церкви, его слова были настолько непонятны, что порою вызывали самые неожиданные толкования.

Наше гатчинское городское начальство тоже не знало, радоваться или печалиться его появлению, и только предварительно и осторожно осведомившись о распоряжениях городского управления Петергофа, где имел пребывание государь, отдало приказ об украшении и нашего дворцового городка флагами.

Настроение в моей деревне в тот год было самое мирное, отнюдь не «революционное», а скорее самое «охранительное».

Я вспоминаю, как в одной из волостей нашей губернии крестьяне в самое горячее летнее время бросили по собственному почину полевые работы и отправились «всем миром» искать прятавшегося в соседних лесах какого-то скрывавшегося от них «орателя».

После долгих поисков найдя его, они представили его «по начальству» и были очень раздражены, что «становой не скрутил смутьяну даже рук, а повез его как обнаковенного, в телеге в город».

Не был ли это, судя по воспоминаниям других, Войтинский, впоследствии комиссар Временного правительства?

Ко мне и моей семье сельское население продолжало относиться с прежним доброжелательством и доверием. Когда однажды во время поездки наемный пастух из дальней

деревни бросил из-за кустов в экипаж моей жены полено, местные крестьяне были очень смущены, пришли ко мне во дворец и, оправдываясь, говорили:

– Пастушонка... фулиган-то евтот... ён вить не тутошный... не наш... сдалеча объявивши... прогнать давно бы надоть... терпели... да вон и дотерпелись!.. Ты уж, барыня, нас прости.

Это был единственный случай злобы по отношению к нам в те смутные дни, но злобы, занесенной действительно издалека.

* * *

Из остальных событий того времени я довольно живо помню торжественное открытие Государственной Думы в Тронном зале Зимнего дворца⁷⁷.

В тот день был назначен в этом дворце Высочайший выход, и я ехал на него с ранним поездом Варшавской железной дороги.

Утро было какое-то серое, тусклое, и под стеклянным навесом вокзала царила полутьма. Около одного соседнего со мною вагона столпилась кучка воспитанников Николаевского Гатчинского Сиротского института, несколько гимназисток и двое или трое из любопытных

⁷⁷ Торжественное открытие заседания Думы состоялось 27 апреля 1905 г. в Георгиевском (Большом тронном) зале Зимнего дворца в Петербурге. Николай II обратился к народным представителям с тронной речью, в которой назвал депутатов «лучшими людьми земли русской».

зрителей. Остальные пассажиры безучастно сновали по платформе, не обращая на эту группу никакого внимания.

На площадке вагона стоял какой-то взлохмаченный человек и хриплым голосом кричал к провожавшим:

– Товарищи... братья... я еду завоевывать вам свободу... Спасибо, что пришли... Будьте спокойны, без свободы к вам не вернусь...

Что он дальше выкрикивал, я уже забыл... Помню только, что эта кучка воспитанников и гимназисток крикнули при отходе поезда негромкое «ура».

Я понял, что этот дикого вида подвыпивший господин был земский врач Колпаков, известный пьяница, избранный окрестным населением Гатчины депутатом в Думу и отправлявшийся одновременно со мною на ее открытие.

Впечатление от этого «завоевателя» дарованных уже «свобод» и «мудрого толкователя всенародных нужд», который, вероятно, считался и моим представителем, у меня сохранилось самое отталкивающее.

Да и не у меня одного, судя по разговорам в моем вагоне, и у всех тех, кто видел эту сцену и слышал дикие возгласы не проспавшегося и идущего на штурм власти народного избранника.

Но надо сказать, что во дворце многие подобные ему по виду депутаты все же держали себя очень скромно – вернее, с робкой застенчивостью, и лишь двое или трое из них, желая что-то показать своей позой, оставили небрежно ногу и во время речи государя держали руки не опущенными, как у других, а скрестили их независимо на своей груди... Дальше этой вызывавшей улыбку позы эти люди и не пошли в их краткой, к счастью, деятельности.

Эта «деятельность», принеся только вред, вероятно, стоила немалых денег нашей стране. В наше материальное время, когда все меряется на золото и указывается на «безумные траты двора», не лишне вспомнить, что парламентское управление является самым дорогим из всех существующих, а смета нашего министерства двора всегда являлась самой ничтожной среди смет других министерств.

Так, согласно немецкой статистике, опубликованной в газетах, каждое слово, сказанное депутатом в 1921 году (или 1922-м) в Рейхстаге, обошлось Германии около 6 марок. Цена, в общем, не дорогая, если бы было сказано какое-нибудь новое слово, ведущее ко благу всех, или, вернее, высказана старая забытая мысль, но подкрепленная совершенно непреложными, новыми для данного времени основаниями, заставившая бы невольно уверовать ей и «тупоголовое, необразованное» правительство.

Но вряд ли кто будет оспаривать, что все те бесчисленные слова, которые говорились в Первой Думе, начиная с профессора Муромцева, ее председателя, и кончая Аладыными и Аникиными, совершенно не соответствовали той щедрой плате, которой их оплатил народ из своих трудовых грошей.

Впрочем, иллюзии всегда оплачиваются дорого, и «замки, построенные в Испании», всегда обходятся народу дороже, чем возведенные действительностью самые роскошные дворцы в своей собственной стране...

Из остальных событий этого периода моей жизни особенно тягостным впечатлением сказалось на мне зверское убийство великого князя Сергея Александровича⁷⁸.

Великий князь числился в списках нашего полка, и я был командирован в числе полковой депутации в Москву присутствовать на его погребении.

Вспоминаю, с каким общим теплым чувством относилась вся Москва к великой княгине Елизавете Федоровне, провожавшей бесстрашно до самой могилы гроб убитого кучера и с изумительной незлобивостью первых христиан посетившей в тюрьме убийцу ее собственного мужа⁷⁹.

⁷⁸ В три часа дня 4 февраля 1905 г. в Московском Кремле, недалеко от Никольских ворот, от взрыва самодельной бомбы, брошенной боевиком И. Каляевым, погиб великий князь Сергей Александрович. «...На месте казни лежала бесформенная куча, вышиной вершков в десять, состоящая из мелких частей кареты, одежды и изуродованного тела. Публика, человек тридцать, сбежавшиеся первыми, осматривали следы разрушения, некоторые пробовали высвободить из-под обломков труп. Зрелище было подавляющее. Головы не оказалось; из других частей можно было разобрать только руку и часть ноги» (*Савинков Б.* Воспоминания террориста. М., 1990. С. 98).

⁷⁹ Великая княгиня Елизавета Федоровна несколько раз справлялась о состоянии раненого кучера Сергея Александровича Андрея Алексеевича Рудинкина. Ей сказали, что положение кучера безнадежно, и он может скоро умереть. Чтобы не огорчать умирающего, Елизавета Федоровна сняла с себя траурное платье и поехала в госпиталь. Успокоенный ее словами, думая, что Сергей Александрович жив, кучер скончался в ту же ночь. За его гробом рядом с его вдовой Елизавета Федоровна шла по Москве пешком до Павелецкого вокзала, откуда гроб увезли в родное село умершего –

Запомнились мне и правдивые задушевные слова московского митрополита Владимира, сказанные в конце отпевания.

– Прости нас, дорогой великий князь, – говорил он прерывающимся от слез голосом. – Прости нас всех, мы все виноваты в твоей ужасной безвременной кончине... Прости твою родину, что тебя не уберегла...

«Да, мы все действительно во всем виноваты», – откликлось тогда и во мне, да, вероятно, и у большинства.

Но что мы сделали потом, чтобы хоть немного заслужить себе прощение?!

В непрекращающихся невыносимых страданиях Родины слышится на это не только ясный ответ, но и чувствуется вечное осуждение.

Виноваты, конечно, не разрушители – они всегда и везде будут, – виноваты лишь мы, бесчисленно многие русские, с такой изумительной легкостью давшие ничтожной кучке разрушить наше великое государство.

Да и теперь угар смуты уже давно прошел в наших головах, а мы все спорим, яростно обвиняем друг друга и ждем!!! Ждем, что время нам поможет!!!

Московской губернии Серпуховского уезда Хатунской волости деревню Сумароково. Впоследствии по ее просьбе на панихидах вместе с именем великого князя поминали и его кучера. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в Бутырскую тюрьму к И. Каляеву. Она хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении, но он отказался. Несмотря на это, великая княгиня просила Николая II о помиловании Каляева, но прошение было отклонено.

Но оно помогает лишь тем, кто что-нибудь делает, кто помогает себе и другим, а не только говорит...

В нашем бездействии время стало давно помощником лишь мучителей нашей Родины, а наше выжидание ее и совсем добьет.

Правда, нас мало, и мы еще пока на чужбине.

Но тесно сплоченное, увлеченное одной идеей меньшинство всегда главенствовало над массами и играло решающую роль, в особенности в революционное время.

Даже пример наших большевиков ярко подтверждает такое положение.

Великий князь Михаил Александрович уже насчитывал в ту пору более 27 лет, но, несмотря на этот возраст, казался еще совершенным юношей.

Высокий, стройный, сильный, с правильными чертами лица, с удивительно красивыми, лучистыми, немного задумчивыми большими глазами, он сразу останавливал на себе внимание, а его застенчивая добрая улыбка, простота обращения и чувствуемая во всем его существе юношеская искренность и прямота невольно привлекали к нему всех тех, кому приходилось с ним соприкасаться.

Он был один из немногих людей нашего времени, кому удалось сохранить до зрелых лет в полной неприкосновенности всю целомудренную чистоту как своего тела, так и своих помыслов – обстоятельство тем более удивительное и меня восхищавшее, что ко дню моего назначения великий князь уже не был тесно прикован к замкнутой дворцовой жизни матери, а успел отбыть с учебной целью свою, правда, недолгую, офицерскую службу как в Преображенском полку, так и в гвардейской конной артиллерии.

Но ни обычные в молодой офицерской среде разговоры, шутки и намеки, ни невольные собственные наблюдения над притягательными излишествами жизни не сказались на моем Михаиле Александровиче какими-либо соблазнами или желанием «быть в этом отношении как все».

Его суждения оставались по-прежнему и детски чистыми и юношески благородными. Он также совершенно не пил вина и не курил, находя и то, и другое отвратительным.

Его особенно притягивала к себе наша русская природа – к иностранной он оставался более равнодушным – и спорт во всех его проявлениях.

Он очень любил охоту, главным образом на медведей и лосей, и верховую езду, в которой он был удивительно смел и неутомим.

Все эти занятия выработали у него ловкость, отвагу, находчивость, некоторую наблюдательность и то всегда меня удивлявшее присутствие духа, которое является не прирожденным, а требует постоянных и настойчивых упражнений над самим собой.

В моих глазах все эти качества, как физические, так и душевные, делали бы Михаила Александровича в те суровые и несложные времена, когда люди выбирали из своей среды себе предводителей и князей, одним из лучших и наиболее достойных носителей власти.

В его «княжение» никто, наверное, не был бы обижен, каждый нашел бы у него доступ, защиту и помощь, и для всякого он был бы примером воздержания, простоты, здравого смысла, сметливости и отваги.

Но того бурливого, коварного моря человеческих взаимоотношений, что зовется современной общественной и государственной жизнью, Михаил Александрович не знал, да и никогда не стремился до тонкости узнать.

Правда, он нередко участвовал благодаря своему прежнему положению наследника в занятиях Государственного совета, ему читались в свое время и продолжали читаться пространные лекции по государственным наукам; он легко схватывал сущность всякого вопроса или теории, метко отмечал всегдашнее расхождение последней с

практикой, но не чувствуя в себе никакой любви к власти, его никогда не влекло и к настойчивой к ней подготовке.

А подготовка ему все же была нужна, в особенности в наше коварное, полное неожиданностей время. Хотя наша Родина уже имела наследника⁸⁰, но на Михаила Александровича была все же возложена тогда обязанность быть правителем государства в случае смерти императора Николая II до совершеннолетия наследника цесаревича Алексея Николаевича.

⁸⁰ Поскольку у Николая II до 1904 г. детей мужского пола не было, наследником престола с титулом цесаревича вплоть до своей кончины в 1899 г. был великий князь Георгий Александрович. Его титул унаследовал младший брат – великий князь Михаил. Однако цесаревичем он не стал. «Факт этот очень комментировался при дворе Марии Федоровны, но он легко объясняется надеждою молодой императрицы [супруги Николая II], что у нее скоро родится сын» (*Мосолов А. А.* При дворе последнего императора. Записки начальника канцелярии министра двора. СПб., 1992. С. 148). Вплоть до рождения у Николая II и Александры Федоровны сына цесаревича Алексея наследником престола считался Михаил Александрович. Великий князь Михаил Александрович и после рождения Алексея Николаевича оставался, с формальной точки зрения, политической фигурой: на случай своей преждевременной кончины император Николай II выпустил специальный манифест. Согласно манифесту, до достижения наследником совершеннолетия правителем государства должен был оставаться великий князь Михаил Александрович, хотя опека «во всей той силе и пространстве, кои определены законом», и переходила бы к Александре Федоровне (*Правительственный вестник.* 1904. 3 августа. № 176. С. 1).

Еще меньше, пожалуй, Михаил Александрович знал обыденную жизнь, ту жизнь, которой живут люди, не находящиеся во дворцах, о которой не читается никаких лекций и которую даже вне дворцовых стен всегда лишь поздно узнают только на собственном горьком опыте, не доверяя упорно опыту других.

Эта жизнь благодаря кажущейся простоте и своей неизведанности особенно влекла великого князя к себе, и он, насколько мог, старался подойти к ней ближе.

Но узнать ее как следует, хотя бы часть ее наиболее опасных подводных скал, ему, еще более чем каждому из нас, было, конечно, не под силу.

Эти скалы прячутся обычно глубоко, под обманчивой ласкающей поверхностью. Да и слишком сам он был доверчив, слишком близко стоял к русскому престолу, и слишком заманчиво, поэтому было общение с ним остальных, чтобы эти другие не менялись в его присутствии, порою до неузнаваемости, а с этим становилась неузнаваемой и вносимая ими действительность.

В этом отношении сначала великий князь, а впоследствии и государь являлись для меня лично своего рода волшебными пробными камнями, невольными, но точными определителями человеческой натуры.

Сколько раз, наблюдая прикосновение к ним различных людей, мне приходилось делать существенные поправки, как в хорошую, так и в дурную сторону, к моим интимным суждениям об этих людях, которых, как мне казалось до этого, я совсем хорошо знал.

Того относительного знания жизни, которое иногда дается некоторым людям из книг, Михаил Александрович к тому времени также не мог еще достаточно получить. К

чтению, в противоположность своему старшему брату и обеим сестрам, его, к сожалению, сначала совсем не влекло, да и день его был распределен настолько полно, что для книги почти не оставалось времени.

Но необходимость чтения он сознавал сильно – и это высказывал мне неоднократно, сетуя в особенности, что ему почти не удалось ознакомиться с современной литературой, как русской, так и иностранной. Он отлично знал разговорный английский и французский языки и почти совсем не знал немецкого.

Впоследствии, главным образом во время болезни, он старался пополнить этот пробел, и я нередко заставлял его за книгою, а иногда по его просьбе и читал ему, в особенности Тургенева, который ему очень нравился...

Любить Михаила Александровича и привязываться к нему я начал давно. С моим назначением к нему адъютантом и более частым, почти непрерывным общением эти чувства только усилились.

Меня притягивало к нему не столько его давнишнее, изумительно милое отношение ко всей моей семье, сколько вся прелесть его свежей, ничем еще житейским не испорченной натуры.

В нем, уже очень взрослом юноше, сохранились те особенности, из-за которых нам всегда кажутся такими привлекательными дети и которые почти никому не удастся донести до зрелого возраста.

И в том, что это ему удалось донести совершенно естественно и просто, без излишней, всегда в эти годы, смешной наивности и было самое притягательное в его натуре.

Да и в дальнейшей своей жизни он следовал бессознательно, из-за какой-то внутренней потребности, проникновенному завету апостола – «Будьте как дети!», – и, вероятно, несмотря на все позднейшие выпавшие на его долю испытания, он в этих основных чертах своего характера остался бы таким же, дожив и до седых волос.

Будучи во многих поступках уже совсем возмужалым человеком, он и радовался, и негодовал, и делился своими впечатлениями с чисто детской искренностью и откровенностью.

Насколько я себя знаю, в наших натурах и привычках было много разного. Я был старше его на 8 лет, был женат, успел пройти довольно тяжелый жизненный путь, любил очень, до порчи глаз, чтение, часто не к месту «философствовал», и, по меткому выражению недовольного Михаила Александровича, в моих суждениях о его обязанностях и призвании нередко «становился при этом на ходули».

Зная немного больше жизнь, я был менее доверчив, чем он, не так высоко ценил «простых людей» и часто не видел никакой заманчивости там, где он ее находил.

Я очень любил старину и ее искусство, иногда увлекался посильными историческими исследованиями, к чему Михаил Александрович относился совсем равнодушно. В полную противоположность ему я не обращал никакого внимания на свою одежду и внешность, не любил вставать рано, предпочитал теплые комнаты холодным, «ненавидел зиму», даже нашу красивую русскую, курил не переставая, из-за близорукости был совсем плохим охотником, утомлялся от чрезвычайно долгой верховой езды и в физических упражнениях был порядочным увальнем.

Но в нас было, как я теперь думаю, много и общего. Мы оба могли радоваться мелочам, которым не радовались другие, быстро приходило в раздражение из-за «пустяков», казавшихся нам обоим важными, но скоро и остывать.

Мы до увлечения любили природу, горячее солнце, купанье, и жизнь в городе для нас обоих всегда являлась «несносной».

И я, и он, мы мало обращали внимания на общественные перегородки или кастовые различия и, убежденно считая Россию самой лучшей страной в мире, все же делили всех людей – как русских, так и иностранных – только лишь на «хороших» и «дурных».

В наших одинаковых чувствованиях по этому поводу, благодаря ли известной мечтательности, или чему-либо другому, более высокому, в особенности Михаил Александрович, – не были требовательными, считали, что хороших людей на свете больше, чем «плохих», и от разочарований мы не делали, к сожалению, более подозрительными.

В нашей совместной полковой службе мы оба были крайне нетребовательными начальниками, своими послаблениями «баловали» и «портили» подчиненных нижних чинов и за проступки почти никогда не наказывали.

Жалости к страдающим, обиженным или притворяющимся таковыми в нас обоих было порядочно, а Михаил Александрович даже не знал в этом пределов.

Мы оба чрезвычайно любили музыку, а великий князь даже играл немного на фортепьяно и на флейте.

Товарищеский веселый круг нас к себе притягивал довольно сильно, но веселье, связанное главным образом

лишь с вином, нам обоим было чрезвычайно противно, и мы всегда от него упорно сторонились...

Быть может, было во мне и еще что-нибудь иное, худое или хорошее, что сочувственно отзывалось в Михаиле Александровиче и заставило его тогда обратить на меня внимание. Судить об этом, его более интимном, я, конечно, не могу. Что касается лично меня, то, как уже сказано, я почувствовал в нем то, что я более всего ценил и так редко встречал в знакомых людях и даже моих друзьях его возраста: совершенную неиспорченность его физической и духовной природы, изумительное доброжелательство к людям, простоту обхождения и полное прямотушие в высказываемых суждениях.

В особенности меня поражала его доброта, доходившая, как казалось порою, до явной несправедливости. Я тогда не понимал, что быть добрым и одновременно, в житейском смысле, справедливым – вещь чрезвычайно трудная, в особенности для таких религиозных натур, как государь, Михаил Александрович и его сестры. Если бы им предложили на выбор одно из этих качеств, они и тогда бы непременно выбрали бы доброту, и, конечно, не ошиблись, ибо в доброте – сестре любви – и заключается высшая справедливость.

Многим Михаил Александрович казался безвольным, легко поддающимся под чужое влияние, недостаточно развитым для своих лет.

Я не стал бы судить об этих сторонах его характера с такой убедительностью. По натуре он действительно был очень мягкий, хотя и вспыльчивый, но умел сдерживаться и быстро остывать. Как большинство, он был также равнодушен к ласке и излияниям, которые ему всегда

казались искренними. Он действительно не любил – главным образом из-за деликатности – настаивать на своем мнении, которое у него всегда все же было, и из-за этого же чувства стеснялся и противоречить. Но в некоторых поступках, которые он считал – правильно или нет – исполнением своего нравственного долга, он проявлял обычно настойчивость, меня поражавшую.

Только один раз за все мое долгое знакомство с ним он не сдержал, и то лишь в угаре сердечного увлечения, данного им обещания, как он говорил, «вынужденного».

Благодаря своему продолжительному обособленному положению он был, как я уже сказал, действительно слишком неопытен в тонкостях и изощрениях как частной, так и общественной жизни, и его суждения по этим вопросам зачастую могли казаться очень наивными для его возраста.

Но что может назваться «достаточным развитием»? И в чем его главная цена и цель?

В моих глазах «достаточного» развития нет ни у кого – оно у всякого всегда недостаточно; всю жизнь необходимо стремиться его улучшить и расширить – самый глубокий ученый не перестает всю жизнь учиться. И если уж мерить развитие, то следует мерить его не принятой меркой полученного образования, проявленного интереса к дальнейшему знанию или тонкого умения разбираться в окружающей обстановке. Все это помогает развитию, но не есть еще само развитие. Более точно оно определяется лишь внутренним мирозерцанием, то есть тем, насколько данный человек смог близко подойти к усвоению не только сердцем, но и всегда сомневающимся умом самой высшей философии жизни – евангельской истины и насколько эта

истина, укоренясь в его сознании, сказала на окружающих людях.

Человек, не сумевший выработать в себе удовлетворяющего его религиозного мировоззрения, не должен считать себя и достаточно развитым, несмотря на всю «ученость», которой он обладает.

Тут важно, как и почти во всем, не количество, но качество воспринятых из учения идей.

На пути любви к ближним и доверчивого отношения к жизни, нерассуждающей доброте сердца и по всему направлению своего не затуманенного предрассудками ума Михаил Александрович дошел достаточно далеко – быть может, дальше многих тех, кто в настойчивых поисках новых истин потерял хотя и очень старую, но главную: веру в христианского Бога. Такая вера всегда была и будет сильнее, благороднее и выше всякого знания.

Никакого влияния на эту интимную сторону его религиозного сознания Михаил Александрович не допускал. Он чутко понимал всю несостоятельность, а главное, ненужность разнообразных современных религиозных течений и толков и всегда резко менял разговор, когда заходила о них или о спиритизме и теософии речь.

А попытки в этом направлении, хотя и редко, но среди некоторых офицеров, его полковых товарищей, все же бывали. Искание чего-то нового проникло и в эту, казалось бы, совсем не восприимчивую для таких вопросов среду.

Если говорить о влияниях, то на него вообще влияла не превосходная над ним по силе или просвещению воля других – он умел в таких случаях очень ловко выйти из-под неприятных ему настояний, – его скорее всего заставляло прислушиваться к суждениям и указаниям тех близких его

сердцу людей, которые были, по его мнению, несправедливо кем-то обижены или страдали, именно от избытка чужой гнетущей воли, и в нем стремились найти защиту и поддержку.

Очень часто эти «гонимые» люди бывали обижены по заслугам, но уже в одном факте, что они из-за чего-то страдали, он чувствовал какую-то к ним «несправедливость».

– Да ведь это тоже влияние, – воскликнут многие, – только, быть может, еще более тонкое, а потому и более действительное.

Пожалуй, и так – судить не берусь, да и сущность не в том.

Без влияний со стороны ли людей или обстоятельств не живет ни один человек, даже с сильной волей.

Важны, конечно, не сами влияния – они всегда были и будут, – важно то, как их воспринимают и куда они влекут – в сторону ли добра или зла, к счастью или несчастью как для себя, так и для других.

В этом отношении как в исторической, так и обеденной жизни влияние женщин всегда бывало наиболее сильным, но и наиболее опасным.

Не избежал этих обычных влияний и мой Михаил Александрович.

Стремясь давно, целомудренно, к семейной жизни, к «отдельному собственному очагу», он, как и все громадное большинство людей его возраста, находил большое удовольствие в том весьма ограниченном по числу молодом женском обществе, с которым ему хотя и крайне редко, но приходилось все же встречаться.

По природе легко платонически увлекающийся, но и легко менявший свои быстрые увлечения, застенчивый, порядочно мечтательный, он подходил к этому обществу робко и неумело, с самыми чистыми мыслями, с присущими юношеству возвышенными намерениями.

Уже самый этот несмелый подход, наивность, молодость и чистосердечность ясно указывали тем, кто хотел к нему приблизиться, с какою легкостью можно было одно его случайное увлечение повернуть на другое, а при известной женской настойчивости – довести и до брака⁸¹...

Две-три встречи с прелестными девушками-иностранками его круга могли, казалось, наверное, сулить ему, а по связи с дальнейшими событиями, быть может, и его родине, – то ничем не омраченное счастье в будущем, которого он, по своей чистоте, был так достоин и о котором я для него так настойчиво мечтал.

⁸¹ Первой избранницей великого князя Михаила Александровича была фрейлина великой княгини Ольги Александровны Александра Владимировна Коссиковская («Дина»). Комментируя развивающийся в 1905-1906 гг. роман, генерал Киреев писал: «Великий князь Михаил Александрович настаивает на том, чтобы жениться на Коссиковской, хотя она уже некрасива и старше его. Это опасно, потому что ведь наследник еще очень мал, доживет ли он до царства или нет? Это очень сомнительно. Стало быть, рисковать опасно, а если Михаил Александрович женится на Коссиковской, то ведь ему придется отказаться от престола... (Киреев А. А. Дневник. 1905-1910. М., 2010. С. 234). Несмотря на просьбу великого князя Михаила Александровича в 1906 г. разрешить ему брак с Коссиковской, император Николай II при полной поддержке вдовствующей императрицы Марии Федоровны категорически отказал брату.

Судьбе было угодно и тут решить по-своему: другой неравный во всех отношениях брак сказался не только на участи самого Михаила Александровича, но и на моих дружеских с ним отношениях⁸².

Мне не раз вспоминался потом тот разговор с великим князем, который предшествовал моему назначению и о котором я упомянул в самом начале моих записок. Записал я его почти дословно, конечно, не для того, чтобы подчеркнуть для своего восхваления столь лестное по искренности тогдашнее убеждение Михаила Александровича в моих нужных ему и полезных для него качествах.

Но совместная жизнь двух разных по положению людей, как бы искренно и сердечно она ни складывалась, имеет в действительности почти всегда свои удивительные причуды. Я это постоянно чувствовал, даже в молодых годах, и этим объяснялись мои тогдашние, правда, небольшие опасения, которые я и высказал великому князю⁸³.

Последовавшая через 9 лет размолвка, к сожалению, показала, что я не ошибался. Но как бы ни обидна и мучительна она ни была, я навсегда сохраню самое любовное

⁸² Речь идет о браке великого князя Михаила Александровича с Натальей Сергеевной Шереметьевской-Мамоновой-Вульферт.

⁸³ Размолвка великого князя Михаила Александровича с А. А. Мордвиновым состоялась в 1912 г. в связи с резкой оценкой последнего морганатического брака великого князя. 16 ноября 1912 г. Михаил Александрович написал письмо Николаю II из Франции, в котором просил в дальнейшем «не присылать больше Мордвинова. «С Мордвиновым мои личные отношения давно кончены, и мне очень тяжело говорить с ним о таких интимных вещах» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1301).

и благодарное чувство к очень долгим хорошим годам, проведенным совместно с великим князем.

Многим покажется такое чувство слишком благодушным и неискренним. Но это все-таки так. Я даже не сержусь на Михаила Александровича, «*Tout connaitre cest tout pardonner*»⁸⁴, а я слишком хорошо знал все обстоятельства, приведшие к такому для меня печальному концу.

Конечно, этой размолвки с моей стороны легко могло бы и не быть. Но для этого надо было бы быть более «приспосабливающимся» к новым обстоятельствам, совсем мало желать добра Михаилу Александровичу и совершенно забыть, что он носил мой кирасирский мундир и был моим русским великим князем, и притом столь близко стоящим к престолу...

⁸⁴ С фр.: все знать – значит все прощать.

VI

Арсенальное каре, где помещался великий князь, находилось очень далеко от так называемого кухонного каре, где жила свита.

Чтобы добраться до него, мне приходилось пройти длинные коридоры, целую анфиладу разных зал и галерей, спускаться и подниматься по многочисленным лестницам – целое путешествие, занимавшее не менее 10-15 минут.

Жил Михаил Александрович в тех же самых комнатах антресолей, выходивших небольшими окнами в дворцовый парк, в которых протекало и его детство при покойном отце.

Это помещение соприкасалось непосредственно с комнатами его старшей сестры великой княгини Ксении Александровны.

Далее шло такое же низенькое, совсем скромное помещение императрицы-матери. Комнаты Михаила Александровича были не только чрезвычайно низки, но и очень малы и состояли из похожего скорей на вагонное купе крохотного кабинета, такой же спальни и небольшой уборной.

Письменный стол, небольшой столик для занятий у квадратного окна, пианино, кушетка, две низких шкафа для книг и различных безделушек и орденов да 2-3 стула составляли все убранство кабинета. Несмотря на эту малочисленность мебели, она настолько наполняла комнатку, что в ней действительно было трудно повернуться.

Спальня с металлической, очень жесткой кроватью была еще более проста, но была немного свободнее. Крошечная

передняя, шириною не больше двух шагов, которая вела с площадки в кабинет, совсем не имела дневного света и должна была все время освещаться электричеством. В одном из углов ее стояло чучело действительно гигантского медведя, убитого великим князем на одной из охот в окрестностях Гатчины. Было так узко, что проходить приходилось почти что боком. У наружных дверей этой передней, выходящих в длинный низкий коридор антресолей и далее на широкую площадку лестницы, украшенную всевозможными чучелами убитых в разные царствования зверей, всегда стоял на часах конвойный казак. Такой же часовой стоял немного подальше в коридоре, у личных комнат императрицы-матери.

Присутствие этого почетного часового, который появился со дня объявления великого князя наследником цесаревичем, обыкновенно очень смущало скромного Михаила Александровича, и после рождения у государя сына он делал не раз попытки, чтобы этот караульный пост был от него «наконец» снят.

Но начальство конвоя, в котором числился и сам великий князь, всегда просило Михаила Александровича оставить все по-прежнему, в том числе и урядника-ординарца, который полагался только наследнику, указывая на полное отчаяние казаков-конвойцев, если бы они были лишены возможности нести службу при единственном брате государя.

Их желание было отчасти понятно и из-за других причин – Михаил Александрович отличался большим добродушием, любовью к солдатам, памятью на лица и необычайной отзывчивостью. Случалось не раз, что такой часовой, стоя на посту у дверей и забыв все строгости караульного устава, при проходе великого князя молчаливо совал ему какую-нибудь

записку от себя или даже прошение от своих знакомых и близких.

Он знал или, вернее, чувствовал, что поступок этот, караемый чрезвычайно строго военными законами и который он не посмел бы совершить в присутствии даже кого-либо из своих сотоварищей, простых казаков, – совершенный с глазу на глаз, оставался не только безнаказанным, но и никогда не выданным со стороны великого князя.

Как бы резко ни осуждать такое преступное нарушение дисциплины – что я и старался делать в подобных случаях, – я все же должен был сознавать, что а глазах этого сколка с простого народа, «брат самого государя», являлся не таким человеком, как все.

Он был для него не страшный и требовательный начальник, а прежде всего был заботливый и всемогущий отец, который по своему положению не только принимал, но и обязан был близко принимать к сердцу нужды всякого.

В этом отношении я убежден, что столь излюбленные прежде в нашем крестьянстве разному начальству и господам фразы: «Вы наши отцы, а мы ваши дети» – лишь сказанные государю или царской семье единственно бывали искренними, т. е. выражали правдиво то, что не только действительно думалось, но и глубоко чувствовалось.

Это понимал и сам Михаил Александрович.

– Что поделаешь, – говорил он мне, как бы извиняясь сам и извиняя других, в таких случаях. – Мы ведь для этого и созданы... конечно, и время, и место выбраны им неудачно – но как не помочь, если можешь!..

Ему, все же очень нравилась самому, такая неподходящая таинственность, сближавшая его с простыми людьми.

Первоначально мои официальные обязанности при Михаиле Александровиче были несложны – мне было поручено вести всеми представляющимися великому князю, сопровождать его во всех поездках как в России, так и за границей и присутствовать вместе с ним на всевозможных парадах, открытиях и других торжествах, где требовалось его представительство.

«Заведовать представляющимися» не было трудным. Ко мне обращались письменно и словесно имеющие право представляться лично великому князю, я составлял им список, докладывал Михаилу Александровичу, он назначал день и час приема, о чем я и сообщал телеграммами, указывая всегда и тот поезд, с которым должно было выехать в Гатчину.

Так как Гатчинский дворец был загородный, то, согласно установившемуся обычаю, за каждым представляющимся высылался придворный экипаж, а по окончании представления всем предлагался гофмаршальской частью завтрак от двора.

Ввиду этого списки представляющихся препровождались заранее и в придворно-конюшенную, и в гофмаршальскую части, так как великий князь в то время не имел собственно-го придворного штата, и его обслуживали соответствующие службы Большого двора.

Список приезжающих к великому князю представлялся и императрице-матери, на случай если бы государыня пожелала видеть кого-либо из них, а также нам доставлялся список лиц, которым был назначен прием у вдовствующей императрицы и которые одновременно желали бы представиться и великому князю.

Во время самого «представления» оставалось лишь занимать разговором да иногда выслушивать подробности просьб собравшихся, которые еще ожидали своей очереди, чтобы войти в кабинет великого князя.

Немного более церемоний бывало при представлении послов. Их принимали обыкновенно не в маленьких комнатах Михаила Александровича, а в каком-нибудь более просторном и роскошном помещении дворца, у которого ставились в парадной livree лакеи, раскрывавшие широко («а doux battants») двери.

Послы не сами входили, а их «вводили» к великому князю, надевавшему всегда в таких случаях высший орден той страны, представителем которой являлся прибывший посол.

У государя вновь назначенные послы принимались с гораздо большей торжественностью. Их везли во дворец и отвозили оттуда целым кортежем, в парадных запряжках с вершниками, в сопровождении церемониймейстеров и заведовавшего церемониальной частью.

Во дворце, кроме обычного дежурного флигель-адъютанта, их встречал всегда и гофмаршал.

Иногда, большей частью в царствование императора Александра III, выставлялся в таких случаях внутренний почетный караул, от гвардейских частей по наряду.

Этими особенностями, в общем, все ограничивалось. Той красочной и величественной картины, какой дарила своих современников жизнь средних веков, да и намного позднейшая, уже давно не сохранилось, как ее сохранилось, к сожалению, и много обычаев, казавшихся «смешными», но которые имели бы смысл и в нынешнем народном сознании,

а не представлялись бы лишь одним «забавным историческим пережитком».

Народ любил, чтобы его глава подходил возможно ближе к нему, но его всегда обижают, если монарх сам низводит себя при этом до обыкновенного человека. В народной душе от такой простоты теряется вся ценность обстановки и одеяния. Тем более он ожидает этого от своего царя.

По блеску мундиров, роскоши туалетов, богатству ливрей, особой величественности наш двор являл собою блеск, изящество и роскошь, действительно несравнимые ни с одним из дворов Европы, даже самых блестящих, где мне приходилось бывать.

И на все это небывалое великолепие тратилось совершенно мало так называемых народных денег. Из всех государственных расходов суммы, отпускавшиеся на Министерство двора, были самыми незначительными и, вероятно, никогда не доходили до размеров расходов на содержание «дворов» президентов республик и на их выборы.

Недаром у нас утверждали, что наследственные самодержавные монархии обходились народу дешевле, чем президенты республик, парламенты и т. д.

Сопровождать великого князя в путешествиях, в особенности за границей, было уже сложнее. Надо было не только выработать удобный маршрут, снестись по поводу путешествия с целой массой учреждений, как наших, так и иностранных, но и ведать всей сложной денежной частью и распределением бесчисленных подарков, раздаваемых всевозможным служащим при иностранных дворах.

Для заграничных поездок великому князю и всем тем, кто с ним ехал, выдавался так называемый дипломатический

паспорт из министерства иностранных дел. Выдавался он моментально, без обычной в таких случаях волокиты, но, в сущности, в таких паспортах и не было особенной надобности, так как почти никогда их не просматривали на пограничных станциях.

Только лишь в случаях, когда великий князь ездил инкогнито, под видом «Г-на Брасова», приходилось их предъявлять иностранному станционному начальству.

Эту фамилию великий князь выбрал по моему предложению по имени своего главного имения «Брасова», находившегося в Орловской губернии. Впоследствии этим же именем называлась его морганатическая супруга – Наталья Сергеевна, рожденная Шереметьевская, по своим первым двум мужьям Мамонтова и Вульферт⁸⁵.

Никакого титула после выхода замуж за великого князя сначала, да, кажется, очень долго и впоследствии ей даровано от государя не было. Я вспоминаю, с каким резким неудовольствием и упреком обратилось ко мне Министерство двора, прочитав случайно в «Готском альманахе»⁸⁶ титулование г-жи Брасовой «графиней».

⁸⁵ 13 ноября 1910 г. Николай II секретным указом даровал сыну великого князя Михаила Александровича и Натальи Шереметьевской-Мамоновой-Вульферт Георгию дворянство, отчество Михайлович и фамилию – Брасов, от орловского села Брасово. 26 марта 1915 г. Георгий был возведен в титул графа Российской империи. Мать пятилетнего графа, Наталья Сергеевна, стала именовать себя графиней Брасовой, но никаким императорским указом ни титула, ни фамилии Брасовой ей дано не было.

⁸⁶ Готский альманах (Almanach de Gotha) – авторитетнейший европейский генеалогический сборник, издававшийся ежегодно с

Обычно издательство «Альманаха» ежегодно посылает на предварительную цензуру управляющих дворами великих князей все те сведения, которые они желают поместить в своем издании, с просьбой об исправлении могущих быть неточностей.

Так было и на этот раз, причем в присланной «Альманахом» корректуре г-жа Брасова была почему-то наименована графией.

Я помню, что тогда же управляющим делами великого князя было сообщено редакции о замеченной неточности с просьбой исправить ошибку, и, таким образом, «никакой небрежности в исполнении служебных обязанностей» ни со стороны меня лично, ни со стороны Управления делами великого князя не было. Тем не менее, несмотря на официальное разъяснение, г-жа Брасова как в том году, так и в последующих продолжала именоваться в «Альманахе» без всяких оговорок «графией». Кто и что было причиной такой странной настойчивости обыкновенно весьма точного геральдического ежегодника, я судить не берусь.

* * *

В официальных поездках всегда нас сопровождал и фельдъегерский офицер, обязанность которого главным образом заключалась в надсмотре и перегружении великокняжеского багажа, который обыкновенно бывал довольно значительный и порядочно ценный.

1763 г. до конца Второй мировой войны в немецком городе Гота. Альманах включал родословные росписи правящих домов и наиболее значительных родов титулованного дворянства Европы.

Путешествовал Михаил Александрович обыкновенно в своем вагоне, так называемом «наследничьем», который входил в состав императорского поезда императрицы-матери и был предоставлен великому князю для его отдельных поездок. Вагон этот внутри был очень красив и чрезвычайно удобен.

В середине его был большой салон-столовая, а по бокам два обширных отделения (кабинет-спальня) для великого князя и его адъютанта и два отделения для прислуги. Вагон этот, как и вагон императорских поездов, был приспособлен, перестановкою осей, для следования и по более узким заграничным путям.

Перестановка эта занимала много времени, и ею почти никогда не пользовались, так как в Вержболово всегда находился другой, «заграничный», императорский поезд. Куда он делся после революции, я не знаю – кажется, исчез бесследно, или им теперь пользуются иностранцы, всегда восхищавшиеся устройством императорских поездов технически «отсталой» страны⁸⁷.

⁸⁷ К 1903 г. парк императорских поездов состоял из пяти составов. Первый – Императорский поезд Николаевской железной дороги для путешествий вдовствующей императрицы Марии Федоровны с вагонами на четырехосных тележках. Состав включал 10 вагонов. Второй – «Собственный Его Императорского Величества» для дальних путешествий по России, сданный в эксплуатацию в 1897 г., на четырехосных тележках. Третий – Императорский поезд «для заграничной колеи», вошедший в строй в 1894 г., состоял из 11 вагонов на четырехосных тележках. Четвертый – «пригородный Императорский поезд» с трехосными вагонами для путешествий в окрестностях Санкт-Петербурга,

Великий князь очень любил Россию, и выезжать из нее было для него всегда очень тяжело. Особенно ему неприятны были официальные встречи, которые устраивались во многих местах.

Дабы их избежать, обыкновенно посылались заблаговременно телеграммы, в которых указывалось, что его высочество просит не беспокоиться приездом на вокзал из-за такой-то и такой-то причины. Эти телеграммы все же помогали мало. Начальствующие и другие лица все-таки зачастую приезжали, говоря, что они именно потому и приехали, что было сказано «не беспокоиться», и они хотели показать Михаилу Александровичу, что видеть брата государя отнюдь не является для них беспокойством, а искренним влечением и большой радостью.

Что эти слова действительно бывали искренними в устах очень многих, мне все же редко приходилось сомневаться.

включавший 13 вагонов. Пятый – Императорский поезд Курской железной дороги «для путешествий иностранной и местной знати» из 16 трехосных вагонов. После отречения Николая II в марте 1917 г. его поезда в течение полугода использовались министрами Временного правительства. После прихода к власти большевиков из императорских вагонов сформировали знаменитый поезд председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого. Он пользовался удобствами императорского поезда, в том числе гаражом-вагоном, построенным в 1915 г. для состава Николая II. Большая часть императорских поездов была утрачена в годы Гражданской войны. Уцелевшие вагоны погибли в 1941 г., и сегодня на территории России не сохранилось ни одного из подлинных императорских поездов.

Жизнь вдовствующей императрицы в Гатчине была очень однообразна, даже монотонна.

Государыня, Михаил Александрович и его сестры вставали очень рано, не позднее 8 часов. В час бывал завтрак, в 8 вечера обед, на которые приглашались все лица свиты, находившиеся во дворце.

Приглашения эти ежедневно передавались каждому дежурным скороходом, появлявшимся по утрам в своем живописном головном уборе из страусовых черных, желтых и белых перьев.

Дневной чай императрица и ее семья пили большей частью отдельно от других.

Промежутки между этими основными делениями дня были наполнены приемами представляющихся, докладами начальствующих лиц разных учреждений, во главе которых стояла императрица и великий князь, небольшими прогулками в дворцовых парках и выездами по разным случаям в Петербург или Царское Село.

В парадные и воскресные дни, когда бывало более приглашенных, завтракали или в белом зале наверху, приходившимся рядом с малым тронным залом императора Павла I, или внизу, в обширном помещении арсенального каре, увешанного охотничьими трофеями и прекрасными акварелями Зичи, живо передававшими различные случаи из охотничьей жизни Александра II.

Там же находился огромный заводной орган, и была устроена деревянная гора и гимнастика, служившая в свое время для игр царских детей.

В обыкновенные дни государыня завтракала и обедала в так называемой ванной комнате императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I. Самой старинной мраморной

ванны в ней не было заметно. Она вся бала наполнена цветами и скрыта в кустах зелени.

Обед, всегда очень вкусный и тонкий, приготовленный Максимовым, лучшим из всех придворных поваров, славившимся своим мастерством, а главное, изобретательностью, длился довольно долго.

После него переходили в другое помещение, где императрица или играла в карты, или беседовала с присутствующими.

Около 12 часов ночи все расходились по своим помещениям.

В воскресные дни бывали так называемые малые выходы императрицы в дворцовую церковь, на которые, кроме лиц ближайшей свиты, приглашались и различные начальствующие лица Гатчины. Дворцовая церковь, очень небольшая, но красивая, была вся увешана образами, поднесенными Их Величествам по разным случаям. Все иконы были распределены по местам по личному указанию императора Александра III. В числе их было очень много самых простых, деревянных, закоптелых, по всем данным, украшавших ранее красный угол какой-нибудь бедной крестьянской избы.

Если по какому-либо крайне редкому случаю приглашений не получалось, свита обедала или отдельно по своим комнатам, или собиралась для этого в общем помещении за так называемым гофмаршалским столом.

Отпускаемые с дворцовой кухни обеды и завтраки делились на три или четыре разряда, различавшиеся по количеству и качеству блюд, вин, фруктов и закусок.

На I разряд имели право лишь лица свиты и высшие чины двора; II разрядом пользовались офицеры,

находившиеся в наряде, и разные служащие придворного ведомства, III и IV – прислуга различных наименований.

Эта прислуга Большого двора была очень многочисленна и своим количеством превосходила все известные мне иностранные дворы.

Кроме камердинеров и личной комнатной прислуги Их Величеств и низшего персонала, она состояла из официантов, лакеев I и II разрядов, скороходов, придворных арапов и т. п.

Было много служителей так называемого подвижного состава, в отличие от местных командиремых для службы в места пребывания государя. Все они находились в непосредственном ведении своих гоффурьеров.

Несмотря на составившееся предвзятое мнение о завидном ничегонеделании дворцовой прислуги, у нее всегда было много дела, и служба из-за громадных помещений порою бывала очень нелегкая.

Вся прислуга была одета в ливреи, своим образцом не разнившиеся от прежних царствований.

Наиболее красочными из них по одеянию и действительно имевшими не сложные обязанности – стоять лишь у дверей покоев Их Величеств или находиться за их креслами во время торжественных обедов – были придворные арапы. Их было немного – 5 или 6 человек, большей частью уроженцев православной Абиссинии. Один из них, арап Апти, был даже крестником великого князя Михаила Александровича. Я не знаю, что случилось с ними после революции, но о первых шагах одного из них в «освобожденной» России мне пришлось неожиданно узнать во время моих бесчисленных скитаний и скрываний в послереволюционное время.

Я ехал как-то в телеге, по левому берегу Невы, в 40 или 50 верстах от Петербурга. Среди встречавшихся одиноких домов и поселков одна довольно обширная и красивая дача являла совсем нежилой вид. Некоторые окна были заколочены, другие разбиты, двери сорваны с петель и валялись на улице.

Я спросил о причине такого запустения у своего возницы, местного крестьянина.

– А евто, – отвечал он на своем образном языке, – дача самого придворного арапа... важный такой был... толстый – а сам черный-пречерный... говорят, что штатуй обязан был у самих царевых дверей завсегда стоять... да вон у новой власти ноне проштрафился.

В доме-то евоном ноне всяк жить и опасается... Ты не смотри на ево, што черный, а накость каку штуку выкинул! Кумунистой поделался да в тутошний совет али членом, али там приседателем каким поступил. Ну деньги-то ихны, советски, всеи и захватил.

– Что ж большевики-то его судили?

– Поди ищи его теперь, в ендокой-то смуте, да и с деньгами еще. Свисти его, так и то не вернется... Оно и правильно – куда кумунистам деньги?!. Каки они наи кумы?!. Ране-то народу все обещались давать, а ноне от народа, што волки с голодухи, рвут... Да погодите, проклятушие...

Он опасливо огляделся и замолчал...

* * *

На некоторые зимние месяцы императрица обыкновенно переезжала в Аничковский дворец в Петербург, где для Ее

Величества являлась большая возможность принимать у себя тех многих людей, которых она желала видеть.

Государыня любила общество и не вела такую вынужденную замкнутую жизнь, какая выпала невольно на долю молодой императрицы.

Завтракали в Аничковском дворце в столовой, а оттуда переходили обыкновенно в скромный кабинет покойного государя, выходивший окнами на Невский.

Каждую осень императрица уезжала в Данию, которую, как и море, чрезвычайно и нежно любила, а на лето переезжала в свой коттедж в Александрии, около Петергофа, выстроенный еще государем Николаем I.

Но начало лета и весну обыкновенно проводила в Гатчине.

В это время года гатчинские парки и окрестности действительно бывали очаровательны.

Редкий день государыня и ее окружающие не выезжали куда-нибудь дальним пикником до самого вечера.

Я вспоминаю с особенным удовольствием эти действительно еще беззаботные и полные непринуждения дни из моей тогдашней дворцовой жизни.

Выйдя где-нибудь в глуши, далеко от Гатчины, из автомобиля, все отправлялись группами в какую-нибудь далекую оживленную прогулку. Императрица также много гуляла, собирала цветы, ягоды, грибы.

Особенное оживление всегда вносила молодежь – великий князь Михаил Александрович, великая княгиня Ольга Александровна и принц Христофор Греческий.

Кроме них, в этих пикниках принимали участие и гостившие в Гатчине; королева Греческая, великий князь

Александр Михайлович и великая княгиня Ксения Александровна с детьми, великий князь Георгий Михайлович и великая княгиня Мария Георгиевна, принц Петр Александрович Ольденбургский, лица самой ближайшей свиты и двое или трое из приглашенных.

Один раз приезжали невзначай и великий князь Владимир Александрович и принц Андрей Греческий с супругой.

После прогулки все опять собирались к условленному часу и ехали к какому-нибудь ближайшему «чайному домику», где нас ждал уже завтрак, чай и обед. Иногда складные столы просто расставлялись где-нибудь на живописной поляне в лесу, рядом разжигались костры или устанавливалась переносная кухонная печь.

Государыня и великие княгини очень любили в таких случаях сами изготовить какое-нибудь замысловатое блюдо, изжарить особым образом собранные грибы и т. п. Возвращались домой всегда очень поздно, в темноте, веселые и довольные. Иногда ездили далеко в Заречье⁸⁸, где было очень много форелей, так как императрица, как и ее сестра королева Александра Английская, очень любила рыбную ловлю.

Изредка выпадали для меня такие хорошие дни, полные общения с природой и зимой. Тогда мы, в том числе и твоя мама, ездили на тройках в небольшой, заброшенный, но очень уютный старинный усадебный домик около станции

⁸⁸ Заречье – недалеко от Гатчины на реке Оредеж охотничьи угодья царской фамилии. Особенно любил сюда приезжать император Александр III. Императорский охотничий дом в деревне Малое Заречье не сохранился.

Гервиц, или отправлялись с Михаилом Александровичем, а иногда и с его младшей сестрой и ее мужем в далекую охоту на медведей и лосей.

Из таких поездок совместно с мама мне вспоминается пребывание в Лисине, большом красивом охотничьем доме времен начала царствования императора Александра II⁸⁹.

Там мы провели несколько незабвенных по радостным впечатлениям дней начала весны. Охотились, беседовали, веселились, лепили из неожиданно выпавшего густого снега громадную статую императрицы Екатерины II и т. п.

Кроме Михаила Александровича, великой княгини Ольги Александровны, принца Петра Александровича, с нами тогда ездила и гостившая у великой княгини премилая внучка принца Николая Петровича Ольденбургского «Парижанка» Мари Клер Верола, вышедшая впоследствии замуж за графа А. А. Мордвинова.

Вспоминается мне за это время и несколько чрезвычайных уютных зимних дней, проведенных нами с мама в

⁸⁹ Лисино (Лисинская дача, Лисинский Корпус) – местность, которая административно относилась к Лисинской волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. В 1805 г. из управления уделов (императорские земли) была передана в ведение лесного департамента министерства финансов, было образовано казенное лесничество, учреждена местная администрация. В 1838 г. была создана специальная лесная школа. Лисино стало излюбленным местом царской охоты, а также важной учебно-опытной базой для подготовки специалистов по лесному хозяйству. В 1860 г. выдающийся архитектор Н. Л. Бенуа построил здание императорского охотничьего дворца.

радушном доме Домовичей – небольшом имении великой княгини Ольги Александровны в Новгородской губернии⁹⁰.

В те годы обычные придворные торжества сезона, к великому неудовольствию петербургского общества, уже замерли. Последний придворный бал или спектакль в Эрмитаже был почти накануне Японской войны, затем пошли беспорядки, да и нездоровье молодой императрицы не позволяло ей принимать участие в этих бывших ранее обязательными развлечениях.

Императрица-мать, дабы повеселить своих внушек, все же устраивала иногда танцы для молодежи в Аничковском дворце и одно детское утро с играми в дни Пасхи.

Сам Гатчинский дворец за эти годы за исключением ежегодных праздников кирасирского Ее Величества полка да свадьбы великой княжны Ольги Александровны с принцем П. А. Ольденбургским не видал никаких торжественных собраний, столь частых и великолепных в прошлые,

⁹⁰ Усадьба Домовичи в Новгородской губернии принадлежала принцу П. А. Ольденбургскому, мужу великой княгини Ольги Александровны. В имении были рыцарский замок с башенками, живописные дома для прислуги. «Домовичи – другое загородное имение Ольденбургских в Новгородской губернии – было типично русским по стилю. Дом был построен из сосновых бревен, и потому в нем всегда чувствовался освежающий и ароматный запах дерева. Все было очень по-простому и забавно контрастировало со слугами в их парадных ливреях», – вспоминала фрейлина императрицы Марии Александровны баронесса Мейендорф (*Оболенский И.* Мемуары фрейлины императрицы. Царская семья, Сталин, Берия, Черчилль и другие в семейных дневниках трех поколений. М., 2012. Опубл.: <http://lib.rus>).

отдаленные царствования. Но мне нравилась та тихая, размеренная жизнь, которая установилась в нем за последнее время, столь не похожая на наше пребывание в городах.

Я и любил этот дворец больше остальных – в нем получила начало моя счастливая жизнь с твоей мамой, и я лично всегда чувствовал в нем что-то для себя родное и близкое. Меня привлекала к нему и его строгая, красивая своей простотой старина, не подмешанная ничем наносным, позднейшим, всегда или немного вычурным или чересчур уж «современным», что нередко встречалось в жилых комнатах дворцов той же екатерининской эпохи, испорченных для большого уюта этими последовавшими «улучшениями».

В его залах не видно было почти никакой позолоты, и жилые помещения своей мебелью, огромными картинами, мелочами своей обстановки, блеклыми красками и даже своим особенным запахом, не поддававшимся столетиям, напоминали те редкие богатые русские усадьбы, которые с такой широтой и искусством строил иногда и на нашей родине XVIII век.

Да это и был старинный замок-усадьба того времени с толстыми из местного серого камня стенами, с низкими башнями, окруженный со стороны проезжей дороги сухим рвом, с маленькими пушками, а со стороны «собственного садика» громадным дворцовым парком с обширным «зверинцем», полным всякого рода зверей: оленей, ланей и зубров. Весь парк прорезался во всех направлениях большими глубокими озерами и каналами с кристально прозрачной водой из ключей. На самом большом из них плавала целая флотилия всякого рода лодок, стоял на якоре

старый корабль, и на берегу было выстроено здание «Голландии»⁹¹.

Все это водяное пространство бывало густо покрыто крикливыми стаями диких уток, гусей и лебедей, находивших в дворцовом парке полную неприкосновенность и обильную пищу, а потому совершенно не боявшихся людей.

Императрица, как и вся ее семья, очень любила природу и все то, что ее наполняет. Даже каждое срубленное, порою из-за необходимости, дерево заставляло ее волноваться и негодовать.

В этих озерах водилось много и всякой рыбы – настоящее раздолье для рыболова, и Михаил Александрович, по примеру своего отца императора Александра III, очень любил лучить рыбу острогой.

⁹¹ Адмиралтейство (или «Голландия») – парковое сооружение в Дворцовом парке Гатчины. Точная дата постройки Адмиралтейства неизвестна, вероятнее всего, оно было построено в начале 1790-х гг. Адмиралтейство предназначалось для хранения парусных и гребных судов, использующихся для прогулок по Белому озеру. Представляло собой обширное деревянное здание на двенадцати рустованных столбах из парицкой плиты. В 1795 г. около Адмиралтейства был вырыт небольшой пруд, получивший за свою форму название «Ковш», выполнявший функции гавани. В конце XIX в. Адмиралтейство выполняло функции кладовых для оружия матросов «потешного флота», а после здесь хранилась богатая коллекция моделей гребных и парусных судов. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало, но после было восстановлено и служило для различных хозяйственных целей. Здание уничтожено пожаром 19 июля 1993 г.

Мне до сих пор вспоминаются эти тихие, осенние гатчинские ночи с бодрящим пахучим воздухом леса, с таинственно обступавшей почти непроницаемой темнотой, с отдаленными звуками города.

Мы бесшумно скользили на плоту по заснувшему озеру, освещая особенным электрическим фонарем водяную глубину, и она, как по волшебству, начинала в этом месте волноваться и оживать.

Рыбы, большие и малые, привлеченные ярким светом, обступали нас со всех сторон, плескались, выскакивали на поверхность, играя всеми оттенками своих серебряных красок. Иногда целый фейерверк мелких рыбешек вдруг широкой дугой сыпался на нас из воды, падал на плот, трепетал у наших ног и опять исчезал в темноте, чтобы появиться где-нибудь неожиданно снова... а мы плыли все дальше и дальше и ждали все новых чудес.

Острога замирала надолго в руках Михаила Александровича – ему, как и мне, не хотелось никаким движением нарушить охватившее нас очарование.

Если Зимний дворец был самым великолепным, то Гатчинский был для меня не только самым красивым, но и милым, по его непосредственной близости к моей любимой русской северной природе.

В этом отношении мне меньше всего нравился Аничковский дворец. Построенный на самой многолюдной и шумной улице столицы, совершенно испорченный заделкой украшавшей его ранее колоннады, он был в то время и невеликолепен снаружи, и недостаточно прост и красив внутри.

Это был скорее хороший барский городской дом со смешанной мебелировкой, уступавший даже многим частным по размеру, изысканности и удобству постройкам.

Но в Аничковском дворце мне пришлось жить лишь в последние годы моего адъютантства при великом князе, а до тех пор Михаил Александрович, продолжая свою службу в лейб-гвардии кирасирском Ее Величества полку, покидал Гатчину лишь на время своих частых поездок за границу, вынужденных для него различными событиями при иностранных дворах.

Первые два года не вносили ничего нового в мои адъютантские обязанности, но затем они увеличились и осложнились – состоявший при великом князе генерал Д. Я. Дашков покинул свою службу, был назначен в свиту Его Величества, и на меня, теперь единственное лицо при Михаиле Александровиче, было возложено сверх прежних обязанностей еще и общее заведование всеми делами великого князя, как имущественными, так и связанными с его высоким положением.

Послужной список Михаила Александровича уже к тому времени был очень длинен. Кроме обычных государственных учреждений, куда он входил по своему бывшему ранее положению наследника, великий князь был шефом нескольких военных частей, как русских, так и иностранных, числился во многих частях гвардии и состоял почетным председателем и покровителем бесчисленных благотвори-

тельных учреждений, научных и других обществ и стоял во главе комиссии по возведению разного рода памятников⁹².

⁹² Из послужного списка великого князя Михаила Александровича:

Шеф: 23 ноября 1878 г. – 5-я имени его высочества батарея гвардейской конно-артиллерийской бригады, 28 января 1898 г. – лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада, 3 сентября 1911 г. – 17-й гусарский Черниговский Его императорского Высочества великого князя Михаила Александровича полк.

Числился в списках: 23 ноября 1878 г. – лейб-гвардии Преображенский Его Величества полк, 23 ноября 1878 г. – лейб-гвардии 4-й стрелковый императорской фамилии батальон, 23 ноября 1878 г. – лейб-гвардии Уланский Его Величества полк, 23 ноября 1878 г. – 1-я Его императорского Высочества великого князя Михаила Павловича батарея лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, 9 мая 1897 г. – лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полк, 27 мая 1900 г. – лейб-гвардии саперный батальон, 4 октября 1900 г. – собственный Его императорского Величества конвой, 6 декабря 1901 г. – Гвардейский экипаж, 21 июня 1902 г. – лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк.

Военные чины и звания: подпоручик (06.05.1884), флигель-адъютант (06.05.1899). Вступил в службу (28.04.1900), поручик (22.11.1901), штабс-капитан (22.11.1904), ротмистр (26.05.1908), полковник (29.03.1909), генерал-майор свиты (23.08.1914), генерал-лейтенант (02.07.1916), генерал-адъютант (01.09.1916). Награды: орден Святого Андрея Первозванного (10.12.1878), орден Святого Александра Невского (10.12.1878), орден Белого орла (10.12.1878), орден Святой Анны 1-й ст. (10.12.1878), орден Святого Станислава 1-й ст. (10.12.1878), медаль «В память царствования императора Александра III» (17.03.1896), медаль «В память коронации императора Николая II» (26.05.1896), орден Святого

Владимира 4-й ст. (22.11.1905) , медаль «В память 200-летия Полтавской битвы» (22.06.1909), медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г...» (31.12.1912), медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (21.02.1913), орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (20.01.1915), орден Святого Георгия 4-й ст. – Высочайший приказ от 5 марта 1915 г., Георгиевское оружие – Высочайший приказ от 27 июня 1915 г., Знак отличия Российского общества Красного Креста (22.03.1916). Иностранные: бухарский орден Благородной Бухары 1-й ст. (04.01.1893), мекленбург-шверинский орден Вендской Короны (16.07.1894), саксен-кобургготский орден Эрнестинского дома, большой крест (09.11.1894), гессен-дармштадтский орден Людвига, большой крест (14.11.1894), черногорский орден князя Даниила I 1-й ст. (17.05.1896), бухарский орден Короны государства Бухары с бриллиантами (25.05.1896), саксен-веймарский орден Белого сокола (25.05.1896), австрийский орден Святого Стефана, большой крест (15.04.1897, кавалер № 1421), сиамский орден Королевского дома Чакри (22.07.1897), датский орден Слона (23.07.1897), бухарский орден Солнце Александра (Искандер-Салис) с бриллиантами (19.05.1898), румынский орден Звезды Румынии (07.08.1898), датский орден Данеброг, командор (12.01.1899), датская юбилейная медаль (15.07.1898), персидский орден Льва и Солнца (07.07.1900), греческий орден Спасителя, офицер (22.09.1900) , британский орден Бани, большой крест (03.01.1901), итальянский орден Аннунциаты (03.01.1901), японский Высший орден Хризантемы (09.02.1901), французский орден Почетного легиона (14.04.1901) , португальский орден Христа, большой крест (17.05.1901), португальский Ависский орден, большой крест (17.05.1901), прусский орден Черного Орла (02.12.1901), испанский орден Золотого руна (22.01.1902) , британский орден Подвязки (16.06.1902), ольденбургский орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига, большой крест с короной (26.06.1902), британская медаль в память коронавания Эдуарда VII (19.08.1902) ,

Большая часть этих обязанностей перешла к великому князю преемственно, по кончине его брата наследника цесаревича Георгия Александровича, от которого он наследовал и значительную часть своего имущества.

Это имущество было очень велико; оно состояло из обширных земельных имений в Орловской, Курской и Петроковской губерний, Абас-Тумана на Кавказе, двух домов в Петербурге и отличной, комфортабельно устроенной морской яхты «Зарница», принадлежавшей ранее также великому князю Георгию Александровичу, состояние здоровья которого нуждалось в морских путешествиях.

Эта яхта была приписана к императорскому яхт-клубу, номинальным членом которого из-за этого был великий князь. В последние годы ею командовал капитан 2-го ранга князь Путятин, двоюродный брат бывшего кавалергарда, в квартире которого произошло отречение Михаила Александровича от престола.

Помощником командира был барон Шиллинг. Оба чрезвычайно милые и знающие люди. Яхт-клуба великий князь сторонился и никогда его не посещал. Он был там лишь всего один раз, для короткого завтрака, да и то по усиленным настояниям г-на Дашкова.

Самым большим и доходным имением благодаря многочисленным заводам и лесам было «Брасово», именем

портрет персидского шаха с бриллиантами (02.12.1902), прусский орден дома Гогенцоллернов, большой командорский крест с цепью (23.05.1905), норвежская серебряная медаль в память коронавания Хокона VII (09.06.1906), норвежский орден Святого Олафа 1-й ст. (12.06.1906), шведский орден Серафимов (12.05.1908).

которого иногда называл себя великий князь на время своих неофициальных поездок за границу.

Денежные средства Михаила Александровича были сначала не очень велики. Он получал на свое содержание от уделов около 200 тысяч рублей в год, что при обязательных больших тратах, связанных с его положением, было не так уж много, а его имения приносили первоначально не более 300 тысяч рублей ежегодного дохода. Но с каждым годом эти последние доходы увеличивались.

Великий князь не имел тогда отдельного двора, жил долгое время вместе со своей матушкой и не нес почти никаких расходов на свое содержание. Лично на себя он тратил также изумительно мало, совершенно довольствуясь теми ста рублями карманных денег, которые ему доставлялись каждый месяц.

Лица, состоявшие при нем, тоже получали, в общем, довольно скромное содержание: генералу Дашкову было положено 250 рублей, а мне как адъютанту 200 рублей в месяц.

Благодаря умелому и настойчивому руководству управляющего делами А. А. Измайловского – необычайно скромного человека и ученого-агронома – ежегодный доход с имений дошел в последние годы до крупной цифры 1 миллион рублей, что дало возможность великому князю составить свободный капитал около 8 миллионов рублей.

Таким образом, Михаил Александрович являлся самым богатым из всех великих князей, но и самым из них непритязательным.

Деньгам для себя лично он не придавал никакого значения, совсем не разбирался в относительной стоимости разных вещей и оставался совершенно безучастным ко всем

докладам, говорившим об увеличении его материальных средств.

Все ежемесячные доставлявшиеся ему подробные отчеты о приходе и расходе его денежных сумм обычно оставались лежать не просмотренными на его письменном столе, а затем бросались в сорную корзину. С непередаваемым равнодушием и небрежностью он отказался и от крупного наследства, оставшегося после великого князя Алексея Александровича, в пользу великой княгиня Марии Павловны и ее детей⁹³.

В Главном управлении великого князя, помещавшемся в Петербурге на Галерной улице, сосредоточивались не только имущественные дела, но и вся громадная переписка, которая поступала со всех сторон в виде разного рода служебных докладов и прошений. В особенности было много последних. Они лились неудержным потоком каждый день, и к вечеру порою накапливались целые горы. Кто только и откуда не обращался к Михаилу Александровичу!!!

⁹³ Великий князь Алексей Александрович умер в Париже 1 ноября 1908 г. От непризнанного императором Александром II морганатического брака с А. Жуковской имел сына (граф Алексей Жуковский-Белевский). Так как Алексей Александрович не оставил официального завещания, его наследники были определены императорским указом, подписанным в Царском Селе 10 января 1909 г. Наследниками, получившими по $\frac{1}{3}$ всего имущества, были объявлены братья великого князя Владимир и Павел Александровичи, а также племянник Михаил Александрович. После смерти великого князя Владимира Александровича его доля перешла к жене Марии Павловне и его детям Кириллу, Борису, Андрею Владимировичам и дочери Елене Владимировне.

Ввиду близости к брату-императору и к императрице-матери его считали всемогущим не только наивные простые люди, но и многие из его ближайших родственников, обращавшихся к его посредству по своим делам, о которых они сами обыкновенно не решались лично говорить с государем.

Несмотря на благожелательность, простоту и полную доступность государя остальные члены царской семьи его довольно сильно побаивались. Говорят, что кого боятся – того не любят. Что это не всегда бывает так, я убедился по лично чувствовавшемуся мною примеру на великих князьях: Димитрии и Константине Константиновичах, Георгии Михайловиче и Павле Александровиче, принцах А. П. и П. А. Ольденбургских.

Об остальных с такой уверенностью судить не могу, так как мне ни разу не приходилось быть вместе с ними в семейной обстановке государя.

Думаю все же, что если некоторые из них и осуждали довольно резко государя, то это раздражение не исключало еще более теплого чувства к нему. Пожалуй, даже первое, как, например, у принца Петра Александровича Ольденбургского, могло именно вызываться последним.

В капризном чувстве любви не всегда относятся с должною сдержанностью и мягкостью к любимому человеку. Впрочем, в таких случаях и не выносят своего недовольства напоказ другим...

Невольно вспоминается мне при этом суждение француза Claude Farreera, высказанное им на одном из публичных докладов в Париже в феврале 1924 года о наших предреволюционных годах.

«Последнее мое воспоминание о Крыме, – говорил он – неотвязчиво сохраняется в моей памяти: я снова вижу себя в столовой зале Ливадийского дворца... Сколько раз встречался я там с ближайшим окружением императора, его адъютантами и великими князьями, тесно связанными с императорской семьей. Передо мной, перед иностранцем и посторонним, каким я был, они говорили о своих самодержцах в таких свободных выражениях, что я, француз, был смущен. Уже тогда приходили мне на память все те анекдоты и те неуместные злословия, которыми около 1788 года обменивались между собою – только между собою – французы Версальского двора по поводу Людовика XVI и Марии Антуанетты. Эхо этих старых цареубийственных слов, казалось, повторялось в этой столовой Ливадии с еще более потрясающей звучностью. Однажды я вошел туда с одним офицером, моим товарищем, напичканным всегда историей... Он оглянулся вокруг себя, вздрогнул, передернулся и спросил: «А где же гильотина?!» Без этой близкой детали аналогия была действительно полная». (*Une Croiscere en Mediter-raneeé* Conference de M. Cloude Torrerre.)

* * *

Всей громадной перепиской, поступавшей на имя Михаила Александровича и лишь на немного уступавшей «Канцелярии прошений, на Высочайшее имя приносимых», ведал очень небольшой персонал: управляющий делами А. А. Измаильский, делопроизводитель Управления барон Н. А. Врангель и два или три чиновника. Докладывал же обо всем этом непосредственно великому князю лишь один я.

В большинстве случаев мне приходилось также принимать и выслушивать тех просителей, которые или лично

стремились видеть великого князя по своему делу, или которых Михаил Александрович направлял ко мне; и тех, и других уже с самого утра было очень много, и почти все свободное время у меня в те годы было занято этими приемами.

Я возвращался домой очень поздно, и своих детей мне приходилось видеть большей частью лишь спящими.

Но эта деятельность, несмотря на всю свою напряженность, меня удовлетворяла.

Она была относительно тяжела только потому, что никто не приходил ни ко мне, ни к великому князю, чтобы поделиться чем-нибудь радостным или даже немного довольным.

К Михаилу Александровичу обращались лишь те, кто действительно был измучен жизнью, по своей ли или по чужой вине, или кто, обладая сносным, порою завидным для других существованием, настойчиво желал еще лучшего.

Выслушивать днями как тех, так и других, одинаково считавших себя несчастными, было нелегко.

Первых – по их действительно искреннему справедливому горю, которого нельзя было всем сердцем не разделять, последних – по их упорным домогательствам, и хотя искренним, но всегда мало обоснованным сетованиям на судьбу, а порою и по очень смелым желаниям, которых невозможно было удовлетворить.

В особенности было много просивших об изменении судебных приговоров, домогавшихся получения в различных учреждениях мест или желавших дальнейшего служебного продвижения вперед.

Немало было и изобретателей, частью наивных самоучек, частью ученых, действительно заслуживавших внимания по их изумительным изобретениям, но которым соответствующие учреждения почему-либо не давали хода.

Было много издателей, ученых и художников, просивших о поддержке их трудов и изданий. Очень часто представлялись депутации от разных обществ и городов, ходатайствующих о проведении той или иной железной дороги или указывавших на свои местные нужды.

Иногда появлялись также и тайные посланцы от южных австрийских славян, просившие согласия великого князя быть у них королем. Бывало и много явных самозванцев, силившихся доказать «под большим секретом» их происхождение от той или иной русской коронованной особы. Их «документы» были особенно фантастичны.

Но всего больше было людей, жаловавшихся на неудачно сложившееся существование и упорно веривших, что не только кошелек, но и «одно лишь могущественное слово или желание великого князя» способно изменить их тяжелые обстоятельства на самые счастливые и легкие.

В числе этих было немало просьб об устройстве, вмешательством великого князя, якобы самых счастливых браков, о расторжении несчастных, о понуждении должников заплатить долг, о возвращении несправедливо захваченной земли, о неправедных судьях, о притесняющих родителях и начальстве. Были даже жалобы на оскорбленное самолюбие. Иногда спрашивались советы, как излечить неизлечимую болезнь, и тому подобное.

Все существующее разнообразие житейских отношений, страданий, стремлений, наговоров, надежд и разочарований

вместе с предостерегающими примерами ярко отражались, как в зеркале, в этом потоке прошений и писем.

По этим человеческим документам, как и по словесным рассказам просителей, несмотря на некоторые искажения, действительно можно было хорошо узнать подлинную жизнь даже с намного сильнейшими доводами и более тонкими оттенками, чем она изображается в книгах, где говорят не сами действующие лица и обстоятельства, а лишь авторы литературных произведений.

В этом отношении далеко не правы были те, кто утверждал, что государь и великий князь были отгорожены и сами себя отгораживали непроходимой стеной от окружавшей их действительности, а потому им эта действительность и была неизвестна.

На самом деле они менее всего стремились обособить себя от текущей жизни, а если и были благодаря своему положению отчасти от нее обособлены, то отнюдь не более, чем президент какой-либо республики или министр ответственного «перед народом» правительства. Скорей наоборот – эта жизнь благодаря исключительной полноте власти государя, а главное, вере в могущество этой власти населения стремилась к ним с еще большим напором, пробивая помимо официальных путей всевозможные преграды.

Даже сплетни и слухи, расточавшиеся на их счет и которые они с справедливым презрением отталкивали, все же достигали до них с тою присущей быстротою, с которой они разносятся и вне дворцовых стен.

За эти «непроходимые» стены проникали даже болезни проказой и другими ужасными, еще неизвестными примитивными болезнями, умолявшие об отправке их для

лечения за границу и которых не допустили бы в обыкновенный частный дом.

Далеко не все просьбы и желания, достигавшие великого князя, конечно, исполнялись. Одни затрагивали естественные и имущественные права остальных и подлежали судебному разбору, другие были просто неисполнимы, так как требовали вмешательства в интимную частную жизнь, где был бессилён и сам самодержец.

Но там, где имелась малейшая возможность помочь, Михаил Александрович помогал, чем мог, и за многих несправедливо обиженных успешно просил у государя.

По его приказанию от его имени также писались многочисленные письма в различные учреждения о принятии на службу такого-то, в «судьбе которого великий князь принимал участие», или препровождались прошения на случай «возможности их удовлетворения».

Число этих писем было настолько велико, что вскоре начальствующие лица перестали обращать на них какое-либо внимание, к большому разочарованию, а иногда и справедливому негодованию многих.

На все теоретические рассуждения о крайней вредности и ненужности всяких протекций и рекомендаций неумолимая логика жизни и в те дни отвечала убедительной поправкой. «Без протекции все равно никуда не возьмут... Спросите, кого хотите, – говорил мне однажды очень огорченный и обиженный проситель. – Что ж, прикажете мне теперь идти к содержанке депутата Аладьина, пойду и к ней, пожалуй, вернее будет!»

Помочь деньгами было уже гораздо легче, и на это тратились великим князем огромные суммы.

Конечно, добротой Михаила Александровича пользовались очень многие, и во многих случаях просьбы явно не оправдывались действительно безвыходной нуждой. Но уверить в том Михаила Александровича, несмотря на очевидность, было невозможно.

Я вспоминаю, как часто великий князь, веря моим убедительным, основанным и на его собственном горьком опыте доводам, все же не мог смириться с возможностью отказать и этим разочаровавшим его людям в дальнейшей помощи.

Он оказывал тогда эту помощь, нередко тайно от меня, самым милым и находчивым образом, на какую, кажется, только он один и бывал способен.

В таких случаях он обыкновенно назначал «просителю» свидание где-нибудь далеко в лесу или в другом уединенном месте, вытребовал под каким-либо предлогом «лично для себя» известную, иногда очень большую сумму денег и отправлялся туда один, верхом или на велосипеде, как будто на прогулку, а затем, возвратясь с милой смущенной улыбкой, лишь краснея, говорил: «А знаете, А. А., ведь деньги-то я брал не для себя; пришлось такому-то все-таки помочь... в следующий раз он будет умнее...

Нередко заступничество Михаила Александровича приносило не пользу, а вред, в особенности когда просителями являлись офицеры и исполнение их желания зависело исключительно от их непосредственного начальства, которому и писались соответствующие письма.

Это начальство, справедливо видя в таком непосредственном, «не по команде» обращении к великому князю резкое нарушение военной дисциплины, карало виновных суровым арестом, а некоторых отдавало под суд. Михаилу

Александровичу в таких случаях стоило немало усилий и такта, чтобы «выручить», как он не без иронии говорил, «попавших по его вине в беду офицеров».

Сердечная отзывчивость Михаила Александровича, создавая ему широкую известность также и в низших слоях гатчинского населения, сказалась незаслуженно и на мне в разнузданные месяцы, следовавшие за октябрём 1917 года.

Как передавали жене очевидцы, собравшаяся тогда около моего гатчинского дома толпа долго не допускала нагрянувших большевиков до его разгрома – указывая им, «что Мордвинов нам сделал много добра, и мы до его дома не допустим»...

Конечно, делал добро не я, а великий князь. Здесь я упоминаю об этом случае без малейшего чувства, какого-либо смешного самодовольства, а лишь потому, чтобы не остаться к кому-нибудь неблагодарным.

Поступок этих чуждых мне вообще городских людей так не походил тогда на полное равнодушие большинства вырастившей меня деревни, с каким в те же месяцы смотрели на разгром усадьбы своего «исконного» барина мои лашинские и среднесельские крестьяне⁹⁴. В ужасные дни,

⁹⁴ Усадьба Лашино и деревня Среднее Село, находившиеся в Недашецкой волости Тихвинского уезда Новгородской губернии, с XVI в. было фамильным имением Мордвиновых. С 1911 г. официально стало принадлежать А. А. Мордвинову. Из «Обзора помещичьих усадеб Новгородской губернии», составленного в 1916 г.: «Среднее Село (Дорожницы) имение находится в Тихвинском уезде Недашецкой волости, в Петровско-Пчезском погосте и принадлежит флигель-адъютанту полковнику Анатолию

Александровичу Мордвинову; к последнему перешло по наследству; о происхождении своего имения владелец сообщает следующее: В 1546 г. Мурат Мордвинов был взят заложником, и ему были даны поместья в Обонежской нятине; в Новгородских писцовых Книгах за 1588 (7091) г. за Муратом, за Ждановым сыном Мордвиновым, значилось в Обонежской пятине две деревни живущих, да деревня пустая, да 10 пустошей на погосте Петровском, на Пшеве-реке. В 1670 г. за потомком Мурата Мордвинова Афанасием Ивановичем Мордвиновым числилась деревня Среднее Село, а в 1687 г., по отделу от отца, между другими деревнями – Дорожницы; после Афанасия Ивановича во время последующих царствований усадьба Среднее Село числилась в роде Мордвиновых и лишь в начале царствования императора Александра II перешла, вследствие продажи, в посторонние руки, в которых и находилась 26 лет; вслед за тем, благодаря женитьбе одного из Мордвиновых на дочери нового владельца, эта усадьба, по счастливой случайности, перешла вновь в род Мордвиновых, за которым и числится, за исключением небольшого перерыва, в течение свыше 300 лет. Дом в усадьбе выстроен на месте старого – новый, около 40 лет тому назад, двухэтажный, деревянный, в 15 комнат, а старый дом за ветхостью разобран; но сохранилась большая модель старого дома, из которой видно, что он тоже был деревянный, двухэтажный.

Имеется небольшая библиотека около 200-250 томов; в числе книг есть старые, времен Елизаветы Петровны, есть рукописный Коран и записки деда – лейтенанта флота Бутакова, делавшего первое кругосветное путешествие с адмиралом Крузенштерном; кроме русских, есть французские, немецкие и латинские издания. Портреты есть, из них самый ранний, масляными красками, 1725 г. и одна миниатюра; кроме родовых, имеются портреты императрицы Екатерины II, императора Павла I и супруги его Марии Федоровны, во весь рост; поясные: императоров Александра I, Николая I и Александра I, Николая I и Александра II,

когда все перепуталось, все сталкивалось и все было забыто, добрая память людей являлась и неожиданной, и особенно драгоценной. Вот почему мне сейчас становятся так неприятны и мои прежние столь упорные нападки на город, и мои не менее горячие восхваления деревни.

То, что было ясно всегда, я понял благодаря испытаниям лишь теперь – и в городе, и в деревне живут те же люди, с одинаковой возможностью, то падать порою до озверения,

а также в детском возрасте Павла Петровича и Константина Павловича; кроме того, имеется несколько гравированных портретов, небольшие виды акварелью, помещенные в виде украшения зеркала, есть картины – пейзажей и жанра; имеются старинные иконы; фарфора мало – Императорского фарфорового завода времен Павла I; мебель в доме вся старинная, красного дерева и карельской березы; сохранился ларец из моржовой кости, времен Петра Великого, а также несколько мелких вещей домашней работы; есть две мраморные садовые вазы и солнечные часы; оружие было еще недавно, но все похищено, остались три небольшие пушки, на чугунных станках. Имеется выше 200 рукописей XVII, XVIII и XIX вв.; самые древние – копии с писцовых книг не ранее 1583 г. (7091 г.); документы эти родовые и более имущественного характера; в числе их, однако, имеются немало и таких, которые представляют общий и бытовой интерес, сохранились они довольно хорошо, еще со времен царя Алексея Михайловича. Вблизи усадьбы находится несколько курганов, слывущих в народе под именем «шведских могил», вероятно, времен Северной войны, эпохи Петра Великого, а в 20-50 верстах от усадьбы встречается немало интересных в археологическом отношении памятников в виде сопок и жальников» (Отдельный оттиск из II тома Трудов Пятнадцатого Археологического Съезда в Новгороде. 1916. С. 52-53).

то возвышаться в своих побуждениях иногда до сверхчеловеческих пределов...

■ VII

Ввиду малолетства наследника цесаревича и близости великого князя к престолу на него часто возлагалась обязанность быть заместителем государя на всевозможных событиях при иностранных дворах, где требовалось подчеркнуть особенное внимание со стороны нашего царствующего дома.

На скромного, не любившего никакой торжественности и официальности Михаила Александровича эти поездки всегда сказывались тоскливым настроением. Он не любил за границу, и покидать Россию, хотя бы на короткое время, ему в те годы было особенно тяжело.

Но мне, скорее зрителю, чем участнику, эти обставленные полным комфортом и всевозможной предупредительностью путешествия ничего, кроме новых впечатлений, порою захватывающих, не приносили.

Я их даже очень любил. Всякая жизнь интересна, тем более она притягательна там, где протекает среди неизведанной еще природы и людей, в чуждых ранее странах и дни наибольшего ее там напряжения и особенно красочной обстановки.

В январе 1906 года скончался престарелый датский король Христиан IX, отец нашей императрицы-матери.

Сама государыня уже давно находилась в Копенгагене. Горе ее было громадно, и чтобы хоть чем-нибудь отвлечь ее внимание от тяжелых мыслей и подчеркнуть свое особое внимание Дании, государь повелел командировать для присутствия на погребении сверх обычного дежурств из лиц своей собственной свиты еще и депутации от всех военных

частей, шефами которых были покойный король⁹⁵ и его дочь, наша вдовствующая императрица.

Русское посольство вышло поэтому очень многочисленное.

Чтобы избавить гостеприимный, но не очень состоятельный Датский двор от всяких затруднений, все содержание командированных в Данию русских было принято на наш счет.

Великий князь Михаил Александрович и великие княгини Ксения Александровна и Ольга Александровна и принц Петр Александрович Ольденбургский выехали отдельно от депутатов, сразу же по получении известия о кончине своего дедушки, и в их распоряжение был предоставлен императорский поезд государыни-матери.

Это было мое первое официальное путешествие и первое знакомство с этой маленькой страной, родственной почти всем дворам Европы, давшей от себя королей даже чуждым ее северному духу странам.

Короля Христиана IX можно было без преувеличения назвать *beau per* Европы. Около него в копенгагенских

⁹⁵ Король Дании Христиан (Кристиан) IX с 1865 г. был шефом 18-й драгунского Северского полка. Императрица Мария Федоровна была шефом Гвардейского экипажа, Кавалергардского полка, кирасир Ее Величества (так называемых синих или гатчинских кирасир). Следующие полки носили ее имя и ее вензеля на погонах: – 2-й лейб-драгунский Псковский Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полк (на розовых погонах); II уланский Чугуевский Е. В. Г. И. М. Ф. П. (на белых погонах); II Восточно-Сибирский стрелковый Е. В. Г. И. М. Ф. П. (на малиновых погонах).

замках почти постоянно собирались его многочисленные родственники – все представители наиболее могущественных династий⁹⁶.

Политическое значение беспритязательной, скромной Дании было поэтому долгое время громадным. Если европейские народы почти не знали друг друга, были друг к другу равнодушны или даже враждебны, то их главы в этих отношениях являли полную противоположность. Связанные с давних времен близким родством, они знали друг друга с раннего детства, живо интересовались не только политической, но и семейною жизнью своих многочисленных родственников и в бесчисленных случаях влияли умиротворяюще на бурливую жизнь Европы.

В гостеприимных датских замках находили необходимые для дела мира связи и коронованные особы, даже не бывшие родственными датскому королю.

«Высокая политика», которая там проводилась, конечно, зачастую бывала бессильна в борьбе со злом войны, но все же была более действенна, чем в руках парламентов или

⁹⁶ Король Христиан (Кристиан) IX находился в тесных родственных связях с королевскими домами Европы. Он был отцом двух королей – своего преемника Фредерика VIII и короля Греции Георга I, британской королевы Александры, жены Эдуарда VII, и российской императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. Христиан приходился, таким образом, дедом Николаю II. Среди других внуков Христиана – Константин I Греческий, Георг V Великобританский, Хокон VII Норвежский. Христиана IX и его жену Луизу называли «тестем» и «тещей Европы». Сейчас большинство монархов Европы является прямыми потомками Христиана IX.

современной Лиги наций, не внушающей уже более никому никаких иллюзий...

Дания, так же как и ее сестры Швеция и Норвегия, лежит в стороне от больших дорог к притягательным европейским центрам, и ее мало кто посещает из любопытных путешественников, в особенности русских.

Но мне очень понравились ее плоские, тихие острова с воздухом, в котором еще чувствовался мой милый север, понравился и ее народ, спокойный, приветливый, вежливый, а также и ее чрезвычайно радушная и до тонкости внимательная королевская семья.

Та наша давнишняя связь с варягами, которой мы обязаны многим, отчетливо напоминает о себе в этой скандинавской стране некоторыми названиями, историческими портретами, старинными песнями и даже иногда народным искусством.

Отпевание короля происходило в старинном соборе той же Роскильды⁹⁷, о которой говорит и наше древнее «Слово о полку Игореве», а на украшениях выкопанного в Христиании из голубой глины знаменитого «корабля викингов» – современника нашего Рюрика – можно видеть тех же петушков и елочки, которые до сих пор вышивают на своих полотенцах и крестьянки наших северных губерний.

Погребение короля происходило в обычной торжественной обстановке, среди моря народа, со звуками труб и других инструментов во время богослужения. На него съехались

⁹⁷ Роскилле (дат. Roskilde) – город в Дании, на востоке острова Зеландия (Шелланн). Собор в Роскилле – главный собор Дании, усыпальница датских королей.

представители всех европейских дворов, но почему-то прибытие германского императора тогда запоздало.

Его появления в соборе, видимо, ждали с большим напряжением, и я вспоминаю, как среди воцарившейся долгой тишины наконец у входа послышались звуки шпор и палаша, двери широко раскрылись, все присутствующие почтительно поднялись со своих мест, и в собор вошел с присущей ему медлительной небрежностью в своем кавалергардском мундире не германский император, а наш генерал князь Юсупов.

Всеобщее разочарование сказалось тем, что прибытие вскоре самого Вильгельма II прошло уже совсем незамеченным и без каких-либо знаков внимания.

Это желание выделить германского императора от остальных со стороны вообще неприязненно настроенной по отношению к Германии Дании меня тогда немало удивило⁹⁸.

Одной присущей датчанам вежливостью к гостям или обычным среди людей в таких случаях напряженным любопытством его объяснить было нельзя. Видимо, в нем чувствовали инстинктивно уже давно то значение и те возможности, которые таким ураганом пронеслись по Европе через несколько лет.

⁹⁸ Дания не могла забыть события 1864 г., когда Пруссия и Австро-Венгрия захватили у Дании два южных района – Шлезвиг и Гольштейн. Венский мир, заключенный 30 октября 1864 г., предусматривал, что Дания должна была уступить герцогства Шлезвиг, Гольштейн и Лауенбург Пруссии. Военное поражение и территориальные уступки рассматривались в Дании как национальная трагедия.

Я видел императора Вильгельма и раньше, когда он приезжал к нам в Россию, встречался с ним за границей и потом. Эти встречи были кратки, редки, и только лишь раз мне пришлось обменяться с ним парой совершенно незначащих фраз. Его фигура, выправка и, насколько могу судить, его побуждения, любезность, умение весело и занимательно поддерживать разговор соответствовали моим понятиям о необходимых качествах монарха, но в его жестах мне всегда чувствовалось много театрального.

Я вспоминаю его тогдашний приезд в Копенгаген, когда он очень долго, как казалось, нарочно, не сходил со своей яхты на берег и стоял на палубе, на виду у многочисленных зрителей, в величавой позе, со скрещенными руками на груди, разговаривая с одним из своих приближенных.

То, что вынужден был выказывать всегда Наполеон, для которого, по его горьким словам, «трон был только несколько деревянных ступеней, обтянутых материей», – не обязан был делать монарх милостью Божией, унаследовавший этот трон по закону от своих отдаленных предков. Вполне вероятно, что эта поза была у него совершенно естественна, присуща его природе, но она бросалась в глаза и возбуждала ненужные толки.

Но все же верно и то, что человека, подчеркивающего свое высокое происхождение или свои качества, обыкновенно стараются не замечать, и наоборот, охотно признают это превосходство за тем, кто, находясь в наследственно высоком сане, не выставляет себя напоказ. Впрочем, так называемое строгое общественное мнение и тут не остается себе верным навсегда. Оно ценит скромность лишь в своих любимых монархах. Для нелюбимых, каким был в этих

кругах наш государь, даже и подобное великое качество ставилось в вину.

Тогдашнее мое пребывание в Дании было недолгим и дало возможность лишь поверхностно ознакомиться с жизнью датчан и их королевского двора.

В промежутках между обычными посещениями и представлениями королевской семье и нашей императрице удалось все же сделать несколько интересных прогулок по Копенгагену совместно с моим великим князем, великой княгиней Ольгой Александровной и их премилой двоюродной сестрой, красивой принцессой Ольгой Кумберлендской.

В те годы Норвегия захотела стать совершенно самостоятельной и отделилась от Швеции, с которой с 1814 года она была соединена тесной личной унией. Подробности о том, с какой трудностью или, вернее, с какой легкостью событие это произошло, я, несмотря на многие весьма интересные рассказы, слышанные мною от очевидцев с обеих сторон, теперь, к сожалению, уже забыл⁹⁹.

⁹⁹ Утратив государственность к XVI в. и попав под власть датской короны, Норвегия превратилась фактически в датскую провинцию. Судьба Норвегии должна была решаться на полях сражений в Германии, что произошло в результате «битвы народов» под Лейпцигом в 1813 г. После разгрома наполеоновской армии шведский принц Карл Юхан повернул часть своей армии против Дании. После неудачной для датчан кампании в декабре 1813 г. датский король был вынужден отказаться от Норвегии в пользу короля Швеции по мирному договору, подписанному в немецком городе Киле 14 января 1814 г. Однако норвежцы отказались подчиниться навязанному извне диктату. Во главе

сопротивления стал датский наместник принц Христиан Фредерик. 19 апреля 1814 г. была провозглашена независимость страны, создано временное правительство. Затем были проведены выборы в Государственное собрание, открывшееся в местечке Эйдсволл 10 апреля 1814 г. 17 мая это собрание приняло разработанную им конституцию, действующую в целом и поныне. Христиан Фредерик был избран королем Норвегии. Норвегии не удалось сохранить в 1814 г. независимость, и в конце концов она была вынуждена согласиться в ноябре этого года на унию их страны со Швецией, и тому причиной были внешние обстоятельства. При этом шведско-норвежская уния была оформлена совсем не так, как первоначально рассчитывали шведы, и норвежцам удалось сохранить многое из завоеваний 1814 г. Норвегия сохраняла почти все атрибуты суверенитета – название государства, флаг, герб, конституцию, парламент (Стортинг), правительство, армию. Общими были лишь король (шведский, с 1818 г. из династии Бернадотов) и внешняя политика. Новое государственное образование получило название «Соединенные королевства Швеции и Норвегии». Кризис шведско-норвежской унии, основными причинами которого были нарастающие противоречия между партнерами, прежде всего из-за внешнеполитической ориентации, и стремление норвежцев к полному равноправию, вышел на поверхность в 90-х гг. XIX в. В России сочувственно относились к норвежским претензиям на большую самостоятельность. Причиной этого была ориентация Стокгольма на Германскую империю и опасения Санкт-Петербурга, что в возможном будущем конфликте с Германией будет Швеция. Кризис наступил в конце 1904 г., когда шведы выдвинули свой проект, не устраивавший норвежцев: право контроля сохранялось за общим, то есть фактически шведским, министерством иностранных дел. В августе проведенный в Норвегии референдум почти единогласно подтвердил разрыв унии со Швецией, за сохранение которой проголосовало всего лишь 184 человека. В

Помню только, что Норвегия, в сущности, не имела ничего против личности шведского короля. Она даже наивно пыталась предложить ему самому выбрать себе преемника на норвежский самостоятельный престол, что, как и надобно было ожидать, было шведским королем с понятным неудовольствием отвергнуто.

Помню и то, что мирному, без войны отделению Норвегии от Швеции много способствовал Эдуард VII и что, в общем, эта социалистически настроенная, но мудрая страна не захотела по отделении стать заманчивой республикой, а в течение двух лет упорно искала себе короля.

Усилия посланцев, в числе которых наиболее настойчивым был полярный путешественник Нансен, наконец увенчались успехом.

Король был найден, и притом счастливо – из родственной Норвегии страны. Это был второй сын датского короля Фредерика VIII Карл, вступивший на норвежский престол под именем Гакона VII.

Провозглашение его стортингом состоялось 18 ноября 1905-го, а торжественное коронование было назначено в

сентябре 1905 г. в шведском городе Карлстад в ходе трудных шведско-норвежских переговоров были выработаны устраивающие обе стороны условия мирного «развода». Окончательно конвенция о расторжении унии была подписана 26 октября 1905 г. На норвежский трон был приглашен внук датского короля Христиана IX принц Карл. 18 ноября 1905 г. Стортинг избрал принца Карла норвежским королем. Он принял древненорвежское имя Хокон. 22 июня 1906 г. король Хокон и его супруга Мод, дочь английского короля Эдуарда VII, были торжественно коронованы в старинном Нидаросском соборе в Тронхейме.

июне 1906 года в далеком северном городке Трондъеме (современное название – Тронхейм. – О. Б.).

В его древнем соборе и раньше короновались все прежние норвежские короли.

Приморский городок Трондъем, очень небольшой и скромный, не мог вместить ожидавшегося громадного наплыва знатных иностранцев, и было решено, что все приглашенные на торжество представители иностранных дворов придут в Трондъем на своих яхтах или военных кораблях, где и будут жить во все время торжеств.

Представителем от себя и России на эти долгие коронационные торжества был назначен государем великий князь Михаил Александрович, и в его распоряжение была дана императорская яхта «Полярная звезда» – любимая яхта императрицы-матери.

Это было мое первое долгое путешествие морем, на котором, считая и обратный переход, мне пришлось провести около 3-4 недель.

Я вспоминаю о нем с особенно радостным чувством – редко кому приходилось при таком счастливом соединении прекрасной погоды, изумительной красоты норвежских фиордов, полнейшего комфорта «двигающегося по воде дома» видеть одно из самых торжественных мгновений еще незнакомого народа и по своим монархическим верованиям разделять это мгновение от души.

Мы отбыли из Петрограда в Кронштадт на маленькой императорской яхте «Александрия» в первых числах июня. Проводить великого князя в далекое путешествие прибыли государь, обе императрицы и великая княгиня Ксения Александровна.

В Кронштадте мы перешли на ожидавшую нас «Полярную звезду», сразу же снявшуюся с якоря, и для меня началась новая, еще неведомая жизнь между небом и водой со всеми ее непередаваемыми ощущениями.

Тот, кто впервые терял из виду землю и, любя природу, был окружен лишь одной из ее самых могущественных и красивых стихий, легко поймет, какое чувство меня тогда охватило. В дополнение ко всему наше пребывание на великолепной яхте было обставлено с обычной царской роскошью в помещениях, пище и различных приспособлениях, столь необходимых для продолжительного плавания.

Для полноты впечатлений с нами отправлялся и прекрасный оркестр гвардейского экипажа под управлением известного по павловским концертам Главача.

Общество, собравшееся на яхте, было также очень милое и сплоченное.

Кроме личного персонала великого князя, к Михаилу Александровичу были тогда прикомандированы и лица свиты государя: генерал-адъютант Максимович и флигель-адъютант Дрентельн – преобреженец, тогда еще не состоявший в военно-походной канцелярии.

С А. А. Дрентельном я тогда довольно близко сошелся. Он был очень неглупый, развитой, окончивший университет человек и веселый товарищ. В те дни случилась известная история с Преображенским полком, кончившаяся ссылкой одного батальона в село Медведь и исключением его из состава гвардии¹⁰⁰.

¹⁰⁰ В июне 1906 г. в 1-м батальоне лейб-гвардии Преображенского полка произошло выступление солдат. Они выдвинули ряд

Дрентельн был порядочно удручен всем совершившимся в полку и с его товарищами, которые все были, по его словам, ни при чем. Во всяком случае, судя по его откровенным рассказам, история эта не стоила того шума, который был тогда поднят. Она лишь отчасти напоминала подобный же случай с Семеновским полком в 1820 году, но в этой последней преображенной истории не было никакой связи с современными декабристами¹⁰¹.

требований как бытового характера (своевременное увольнение в запас, улучшение питания и т. п.), так и политического (например, ненаказуемость за политические убеждения). Командованию удалось успокоить солдат без кровопролития, но император, раздосадованный таким происшествием в одном из элитных гвардейских полков, не мог оставить это без последствий. 15 июня 1906 г. батальон был лишен прав гвардии и переименован в Особый пехотный батальон. Местом дислокации этой части стало село Медведь Новгородского уезда.

¹⁰¹ Выступление Семеновского полка (т. н. Семеновская история) произошло осенью 1820 г. Весной 1820 г. командиром полка был назначен ставленник Аракчеева полковник Ф. Е. Шварц. Солдаты роты Его Величества, недовольные непомерной строгостью и взыскательностью нового полкового командира, собрались вечером 16 октября, самовольно «вышли на перекличку», отказались идти в караул, требовали ротного командира и не хотели расходиться, несмотря на увещания начальства; тогда эта рота была окружена двумя ротами лейб-гвардии Павловского полка и посажена в Петропавловскую крепость. Остальные роты решили заступиться за товарищей, потребовали их освобождения из-под ареста или отправить в крепость весь полк. Начальство приняло второй вариант. Под конвоем казаков, без оружия, полк проследовал в Петропавловскую крепость. 2 ноября 1820 г. состоялся в Троппау высочайший

Все офицеры яхты во главе с командиром графом Толстым были очень предупредительны, и мы с ними быстро сошлись совершенно по-товарищески, проводя почти все свободное время вместе с ними.

Михаил Александрович очень любил море и моряков, сам числился в гвардейском экипаже, и это была, кажется, единственная официальная поездка за границу, которой он был доволен, – вместе с яхтой с нами передвигалась и частица России, которую он не любил покидать.

Если прибавить ко всему, что я сам был молод, здоров, что никакие сложные служебные обязанности и расчеты, а также никакая придворная зависть на меня в тот раз еще не ложились, что дома у меня все было тогда благополучно и моя семья наслаждалась сама летом в деревне, станет понятно, почему об этих беспечных радостных днях моей юности я вспоминаю с особенной благодарностью.

Первая наша короткая остановка по пути произошла в Дании.

Нельзя было пройти мимо Копенгагена, не сделав визита королю – родному дяде Михаила Александровича и отцу короновавшегося государя Норвегии. Встреченные обычным салютом с копенгагенских укреплений, мы съехали на берег, чтобы принять участие в семейном обеде и вечере, предложенных нам датским королем.

приказ по армии о раскассировании Семеновского полка. Офицеры, так же как и нижние чины, были переведены в различные полки армии.

Это было мое первое, более близкое знакомство с датской королевской семьей, о которой я с тех пор сохраняю самое лучшее воспоминание.

Брат нашей императрицы-матери и королевы английской Александры король Фредерик VIII в то время царствовал лишь первый год. Он был уже зрелых лет, видной наружности, во многом напоминавший его брата греческого короля Георга. Королева Луиза – до замужества шведская принцесса, – обладая большим ростом и живыми движениями, была некрасива, но так же приветлива и общительна, как и ее супруг.

Многочисленная наличная семья состояла тогда из нынешнего короля, тогда еще наследного принца Христиана, его братьев Гааральда и Густава и двух еще незамужних принцесс Тиры и Дагмары.

Обед происходил в загородном замке Шарлотенлунда¹⁰², в тесной семейной обстановке, гостями были только Михаил Александрович и его ближайшая свита. Он закончился не менее уютным и непринужденным вечером. За поздно поданным вечером чаем король и его семья усиленно угощали знаменитым в Дании по его особенному приготовлению на королевской кухне «lodbio» – род нашего густого красного киселя, действительно вкусного до объедения. Не был ли и этот наш самобытный русский кисель занесен к нам в свое время варягами Рюрика или

¹⁰² Дворец Шарлоттенлунд находится недалеко от Копенгагена, в одноименном датском городке, одна из бывших резиденций королевской семьи. Строительство замка началось в 1731 г., полностью завершено лишь в конце XIX века.

более позднейшими Гаральдом Ярославны или посольством жениха Ксении Годуновой?

Несмотря на удивительную простоту и чисто русское радушие, я все же вспоминаю об этом вечере с некоторым смущением, которому я обязан своей обычной рассеянностью. Во время разговора с королевой о предстоящих коронационных торжествах, совсем забыв, что говорю с бывшей шведской принцессой, я упомянул, что ей должно быть особенно приятно как матери сознавать, что единодушный выбор родственного народа остановился именно на ее сыне. Королева сразу заволновалась и, отведя меня в сторону, стала с жаром доказывать, что недовольство Норвегии, тесно связанной до того унией со Швецией, все же, по ее мнению, мало основано, что ей, конечно, приятно, что ее сын будет служить близкой стране, но что ей так тяжело видеть, как среди родных по крови братских народов возникают раздоры и взаимные обвинения, которых могло бы и не быть, и т. д.

– За что это на тебя так долго нападала королева? – спрашивали меня, смеясь, потом мои спутники. – Ты был весь красный как рак!

– Еще бы не быть красным, – отвечал не без смущения я. – Королева не просто на меня нападала – она учила меня дипломатии, а вместе с тем и наказывала за дипломатическое желание сказать ей что-нибудь приятное.

Я действительно запомнил этот урок до сих пор.

Самая лучшая дипломатия, то есть самая действительная и простая, – это говорить всегда то, что сам искренно чувствуешь, и не стараться быть любезным, а только вежливым.

Данию мы покинули в ту же ночь и после короткого, довольно бурного перехода открытым морем, взяв лоцманов, вошли наконец в давно ожидаемые тихие воды норвежских фиордов.

Перед нами одна за другой стали открываться действительно незабываемые по красоте и величественности картины.

Торопясь на коронацию, мы заходили в самую узкую глубь фиордов лишь на обратном пути, а пока двигались среди островов, около их устьев. Но и того, что мы видели, было уже достаточно.

Мы скользили по гладкой как зеркало поверхности целого ряда небольших озер, тесно замкнутых обступавшими со всех сторон высокими скалистыми горами. На многих вершинах лежал еще снег, и он сверкал на солнце ослепительным светом.

Яхта шла полным ходом, направляясь, как казалось, чтобы сейчас же разбиться о выраставшую перед нами каменную громаду.

Но ловкий поворот руля, и мы проскальзывали в как по волшебству открывшийся, ранее не заметный в скалах узкий проход, и перед нами было новое морское пространство, напоминающее озеро с еще более неизмеримой, как утверждали, глубиной и с еще более нежными красками причудливых гор, самой воды и бесчисленных горных водопадов... и так непрерывно.

Очарование следовало одно за другим в течение целых двух или трех суток, почти не меняясь в своей напряженности. Особенно были хороши тогдашние белые ночи. Их можно почувствовать как следует лишь в норвежских фиордах или на наших петербургских островах.

В других местах, без легкого шелеста, отблесков и запаха моря, они не дают всей полноты присущего им настроения, да и свет их менее таинственно прозрачен, чем там. Обступавшая нас по вечерам тишина – этот самый торжественный «гимн без слов» природы, – еще более дополняла впечатление.

Но иногда нам хотелось и звуков. Тогда нам играла музыка, пел человеческий голос, или, проходя мимо знаменитой своим эхом горы Корнелон, мы стреляли из пушек.

Непередаваемыми по силе и продолжительности переливами грома отзывались тогда горы на наше непрошеное вмешательство в их дремоту.

Мы уже входили в следующий пролив, а вокруг нас все еще продолжало гроыхать, все негодовало, все жаловалось и сотрясалось, постепенно замирая, наконец, где-то вдали.

Даже в самых высоких Альпах во время каменных и снежных обвалов мне не приходилось слышать такого разнообразия в мощных звуках, как в норвежских фиордах...

На Трондjemский рейд, совсем близкий от города, мы прибыли днем, в положенный час, но почти самыми последними. Там уже стояла на якоре целая флотилия иностранных военных кораблей, королевских яхт и частных пароходов с любопытными туристами.

Наша «Полярная звезда» и британская яхта «Victoria and Albert» были самыми красивыми и роскошными.

К сожалению, наши гиганты матросы оказались сначала наименее ловкими и расторопными из всех, что сильно задевало наше самолюбие, но вскоре они выровнялись с остальными и даже возбуждали восхищение иностранцев своей чисто русской красотой, громадным ростом и военной

выправкой, чего не было заметно у других. Все это было достигнуто решительными стараниями лейтенанта Фабрицкело – старшего офицера яхты.

Трондъемский фиорд далеко уступал по красоте своим братьям: мрачному Зогне и более приветливому Хардангеру, но его широта, отодвинувшиеся вдаль невысокие горы, суетня во всех направлениях шлюпок и катеров превращали этот плавающий городок в своеобразный красивый и оживленный.

Единственно, что портило впечатление, это отвратительный запах вяленой трески, который доносился изредка с берега.

Мы еще не успели стать под гром салюта на отведенное нам место, как к нам на яхту прибыл вновь избранный король.

Высокий, стройный, молодой и очень красивый, он мне сразу же понравился своей веселой простотой, живостью разговора и подкупающей откровенностью в суждениях.

Впоследствии, когда через два года пришлось очень долго пользоваться его гостеприимством в Христиании, я особенно оценил на себе его полную искренность и действительно редко встречаемое среди молодых людей радушие.

В этом отношении его лишь на немного превосходил король Эдуард VII, о котором я также сохраняю самое горячее, благодарное воспоминание.

Король оставался у нас на яхте довольно долго и, выразив сожаление, что из-за недостатка во дворце места он не может поселить нас у себя, чего он так бы желал, он отбыл на соседний корабль принца Генриха Прусского, прибывшего незадолго до нас.

Выждав некоторое время, великий князь со свитой отправился к нему с ответным визитом.

Подходя на катере к пристани, я с изумлением не только увидел, но и почувствовал, что я в этом до тех пор мне совершенно неизвестном месте уже когда-то был. Все в этом преддверии к маленькому деревянному городку с его побочным каналом, и даже в стоявшем в нем на якоре неуклюжем паруснике мне показалось давным-давно знакомым.

Но откуда и почему? Во сне из-за полного незнакомства с ним я его, конечно, видеть не мог?

В нашей жизни бывают порою странные «совпадения» – я не знаю, как их иначе назвать, – когда, сказав какое-нибудь слово или сделав какое-нибудь известное движение, вам вдруг без всякой причины почувствуется, что точно такое же слово с теми же оттенками звука или точно такое же движение при каких неизвестных обстоятельствах вы где-то, когда-то – но всегда очень давно, чуть ли не за пределами здешнего существования, – уже раз сделали или произнесли.

Наверное, подобное чувство испытали на себе многие, и, наверное, для многих, как и для меня, это удивительное явление в человеческой природе продолжает казаться необъяснимым и не связанным ни с какою причиною.

Но данный случай не подходил к только что указанным. Я долго ломал себе голову и наконец вспомнил. Дело оказывалось совсем простым. Я видел этот приморский городок, даже не зная, что он Трондъем, каждый день на большой акварели, висевшей в моем кабинете и появившейся в нашем доме, очевидно, в качестве еще свадебного подарка от одного из английских родственников моей жены!

Он был художником и часто посещал Норвегию, которую очень любил.

Такое же, быть может, объяснимое, как и большинство суеверий, лишь теорией вероятностей, совпадений или «предсказание вещей» о том, куда нас может забросить судьба, мне вспоминается и еще при одном случае.

От моей матери, скончавшейся, когда мне был всего год, мне остался золотой браслет, на широком ободе которого был выгравирован совершенно мне неизвестный герб с княжескою короною.

Почему именно этот герб оказался помещенным на браслет моей матери, я дознаться не мог, так как мой отец скончался также во время моего младенчества.

Когда великий князь был неожиданно назначен командиром полка в Орел и я однажды проезжал с ним мимо Орловского дворянского собрания, помещенный на его фронте губернский герб бросился мне в глаза и показался удивительно знакомым. Это и был действительно тот самый герб, который так задолго был начертан на браслете моей матери...

* * *

Королевский дворец в Трондъеме оказался совсем маленьким деревянным зданием с небольшими, но высокими комнатами. Его мебель и расписные изразцовые печи можно часто встречать и в наших небогатых, но очень старых усадьбах. Для предстоявших торжеств к нему была наспех пристроена громадная деревянная зала, красиво

убранная зеленью. Королевское помещение было также просто, но довольно уютно¹⁰³.

Король и королева встретили нас очень приветливо. Они, видимо, очень любили своего двоюродного брата Михаила Александровича и в отличие от других гостей совсем его не стеснялись.

Королева Mood, младшая дочь Эдуарда VII, небольшого роста, с красивыми большими глазами, была не одна. С нею находилась ее сестра, принцесса Victoria, тоже очень дружелюбно настроенная к моему великому князю, и свидание вышло поэтому очень непринужденным и родственным.

Хозяева были очень утомлены от всевозможных приемов и посещений; мы оставались у них недолго и отправились делать официальные визиты всем представителям иностранных дворов и местным начальствующим лицам.

Для Михаила Александровича это было не так просто, как для нас.

Он должен был лично посетить яхты и корабли, мы же удовольствовались тем, что расписались в собранных для этого случая в передней дворца книгах и опустили свои карточки в предусмотрительно прибитые там же для этой цели ящики, в числе которых прибавились вскоре и с нашими фамилиями.

Ту церемонию, которая бы заняла в других местах около суток, нам удалось выполнить здесь меньше чем в 5 минут.

¹⁰³ Королевский дворец Штифтсгарден в Тронхейме – двухэтажное деревянное здание, его строительство было закончено в 1778 г. До настоящего времени является королевской резиденцией.

Министром норвежского двора в те дни был Рустед, и все его распоряжения отличались большой распорядительностью. Его супруга, кажется, занимала должность обер-гофмейстерины королевы.

Коронование было назначено через два дня, а до того нам пришлось принимать на яхте массу официальных и неофициальных гостей и вести переговоры о подробностях нашего участия в торжествах.

В особенности часто и надолго приезжали к нам, внося с собой много оживления, наследный принц датский Христиан со своей красивой женой (Александриной. – О. Б.), дочерью нашей великой княгини Анастасии Михайловны, его брат Гаральд, принцесса Виктория Английская и королевич греческий Христофор. Остальные оставались у нас недолго.

Церемония коронования в древнем соборе, стильном своей седой стариной, была столько же величественна, сколько и проста.

Той обычной в подобных случаях роскоши красок в платьях и блеска драгоценных камней тогда нельзя было видеть, как не было заметно и каких-либо средневековых одеяний и обычаев, еще сохраняющихся в других государствах, в том числе и в России.

Старина смотрела только со всех стен собора да сказывалась в коронационных облачениях духовенства и королевской четы и отчасти слышалась в торжественных звуках труб и приветственных криках народа, кажется, одинаково звучащих во всех столетиях.

Собор был разделен решеткой на две неравные части. В одной, маленькой, но более свободной, стояли на возвышении два трона, по сторонам которых и были размещены на креслах все прибывшие представители

коронованных особ. За этими креслами стояла их ближайшая свита, в другой, более обширной, на скамьях расположились остальные приглашенные.

Король и королева, войдя в собор, уже с самого начала заняли свои места на троне и, видимо, очень волновались и самой церемонией, и обращенным на них со всех сторон вниманием. В руках короля находились держава и скипетр.

Мне пришлось стоять совсем рядом с тронном королевы, и я видел, как ее лицо побледнело в момент возложения короны на короля. Это глубокое волнение передалось и ее сестре принцессе Виктории. Она единственная из всех присутствующих осенила себя несколько раз крестным знамением, так же истово и молитвенно, как это сделали бы и самые православные русские.

Программа празднества вся умещалась в одну неделю, но на каждый день приходилось по несколько официальных развлечений.

В день коронации был торжественный обед во дворце, а придворный бал, во время которого король и королева не принимали участия в танцах, а сидели в особых креслах, поставленных на возвышении вроде трона.

Оживление и радость норвежцев были в тот день громадны.

Даже Нансен, обыкновенно флегматичный и сосредоточенный, довольно неуклюжий для танцев, танцевал не переставая, с оживлением, бросавшимся в глаза.

Его примеру следовали и молодые, и старые. Видимо, на всех этих социалистах и республиканцах в душе этот день сказался полным удовлетворением.

За долгим обедом моим соседом был епископ, один из немногих главных участников и вдохновителей отделения Норвегии от Швеции. Серьезный, но добродушный, он мне понравился своею вдумчивостью, простотою и откровенностью в суждениях.

Мы с ним довольно оживленно разговаривали по-немецки, на единственном языке, который оба кое-как знали.

– Скажите, – наконец решился я его спросить, – почему норвежцы, в своей массе социалистически настроенные, а потому и республиканцы по преимуществу, теперь пожелали себе короля?

– Очень просто, – отвечал он. – Норвегия страна маленькая и бессильная. Нас сейчас бы съели, быть может, и другие республиканцы, так как заступиться за нас не было бы никому охоты – республики не очень-то поддерживают друг друга. Мы скромны и все это хорошо понимаем. С королем мы получаем связи, которые, пожалуй, стоят самого сильного оружия. Попробуйте-ка теперь вы, русские, отобрать от двоюродного брата вашего императора и зятя английского короля наши северные земли, до которых, мы знаем, вы большие охотники. Не так-то будет теперь просто, – и он добродушно рассмеялся. – Да и исторически Норвегия жила всегда с королем. Отделение без короля не имело бы веса в наших ссылках на историю...

Мне стоило больших трудов уверить его, что русские совершенно и не думают о каких-либо норвежских землях.

– Россия такая громадная страна, что совсем не нуждается в увеличении на своей северной границе.

– Но государства, как и люди, всегда недовольны и всегда желают большего, – возразил он.

Мне захотелось показаться глубокомысленным, и я сказал:

– Умные ищут не большего, а лучшего, – и на этом мы сошлись.

Но страх Норвегии о грядущих захватах России, хотя ни на чем и не основанный, кажется, живет до сих пор.

Быть может, этому недоверию отчасти способствовало и то обстоятельство, что в старинном титуле русского императора в числе прочих перечислений его владений упоминается о нем как и о «государе Норвегии».

За первым днем празднеств последовали и другие. Из них мне запомнился превосходный концерт под личным управлением знаменитого Грига, написавшего к этому дню даже особую кантату из народных мелодий¹⁰⁴, и народный праздник с гимнастическими упражнениями на лугу. В этих упражнениях принимали участие все желающие из окрестных деревень крестьяне и рыбаки, а не выбранные специалисты. Я до сих пор не могу забыть той изумительной легкости и смелости, с которыми эти люди проделывали, казалось бы, совершенно невозможные для человека штуки. Смелости и у русских хоть отбавляй, но наша ловкость в гимнастике оставляет желать много лучшего.

В середине торжеств был назначен один день отдыха, и король пригласил Михаила Александровича принять участие

¹⁰⁴ Возможно, речь идет об одном из последних произведений Э. Грига, написанного за год до его смерти, – «4 псалма на старинные норвежские мелодии, для смешанного хора а capella с баритоном или басом», соч. 70 (1906).

в их замкнутом семейном пикнике, на который, по желанию короля, великий князь предложил поехать и мне.

Мы сначала направились на «Victoria and Albert» за принцессой Викторией, а затем присоединились к королевской семье на берегу и поехали в экипажах к грандиозному водопаду в нескольких верстах от Трондъема, снабжающему весь город электрической энергией.

Дни продолжали стоять великолепные, напоминающие еще нашу весну, и эта длинная поездка в связи с царившей полной непринужденностью была действительно полным отдыхом.

Из числа обедов, предложенных в те дни, был и обед, данный в честь короля норвежскими масонами.

Он происходил в их собственной, украшенной разными масонскими знаками зале собраний. Но мое любопытство, подогретое строгой таинственностью, которой нарочно окружают себя, вероятно, для большего значения, подобные сообщества, осталось совсем не удовлетворенным. Ни особого ритуала, ни каких-либо присущих братьям ложи масонских одеяний я там не увидел. Это был просто праздничный обед, как и все подобные обеды «в высочайшем присутствии», на котором новичку было даже трудно разобраться, кто из присутствующих норвежцев являлся масоном-хозяином, а кто только приглашенным.

Говорились с обеих сторон и речи, которые могли бы, конечно, что-нибудь объяснить, но мое незнание норвежского языка помешало и этому.

– Что говорит король? – спросил я все-таки свою соседку, очень милую, красивую, очень молодую и крайне общительную дочь одного из норвежских министров.

– О, как он говорит! Как хорошо говорит, – восторженно отвечала она. – И посмотрите, как он красив... Нет! Такого короля нет ни у кого!

– О, безусловно, – любезно подтвердил и я, – но ваш язык такой трудный для иностранца, и его интересная речь для меня сейчас остается, правда, красивым, но только звуком!

– Я и сама не совсем ясно понимаю его некоторые фразы, – отвечала немного смущенно моя дама. – Он говорит совершенно свободно на нашем языке, но интонация у него другая, и он все же вставляет иногда непонятные датские слова.

– Но ведь Дания и Норвегия – это родные сестры? – удивлялся я.

– О да, мы близкие родственницы, но все же особенные, и язык у нас особенный... и король должен быть особенный, – с патриотическим довольством закончила она.

Но узнать о том, участвовали ли норвежские масоны действительно в выборах короля, мне тогда так и не удалось...

О масонстве и в те дни уже много говорили. Большинство и теперь придает ему, как мне кажется, слишком преувеличенное значение, что только на руку этим стремящимся к тайной власти сообществам. Хотя более подходящей почвы для всевозможных международных заговоров, конечно, трудно найти, но все же невольно думается, что, если бы ни одного масона не существовало на свете, революции, перевороты и политические преступления все равно происходили бы.

Масонство является для них лишь наиболее могучим, но не всесильным покровителем, а заговоры, как известно,

зачастую зарождаются, как и блохи, в самом, казалось бы, бесплодном песке. Я думаю, что главную причину подобного преувеличения является хвастливость своей политической силой и «запугивания» со стороны самих «братьев-масонов».

Без этого действительно кто бы к ним пошел?!

Ведь те якобы высокие нравственные цели, которые они выставляют своим лозунгом, вовсе не нуждаются для своего развития в покрове тайны. Идеи и поступки христианства, несоизмеримо более высшие, чем идеи «свободных каменщиков», не опасаются быть открыто провозглашенными со всех амвонов и на всех площадях.

Соломон – строитель их храма, был не мудрее и отнюдь не возвышеннее Христа, спасителя всего человечества.

Очень жалкими мне кажутся поэтому люди, которые, имея уже это высшее, перед которыми уже тысячелетия было раскрыто светлое небо, тянутся за истинами в темное подземелье масонства.

Вдвойне жалки люди, собирающиеся осчастливить других и опасющиеся сделать это открыто. Как бы то ни было, ясно одно: убежденный христианин или человек глубокой науки не нуждаются в дополнительном просвещении масонов, а честный, умный и откровенный политик – в их тонком руководстве и хитрой помощи.

Так, конечно, должно было бы быть во всякое действительно просвещенное время, но не так бывало, не так есть и не так, вероятно, будет, к сожалению, еще долго на практике.

С большим удивлением, почти с негодованием приходится узнавать, что даже люди большого образования и, как казалось, с независимым характером и громадной силой

воли оказывались в конце концов почему-то членами масонских лож.

Что именно влекло таких людей в эти таинственные и, как все темное, большинством благородных людей презируемые учреждения?

Если их втягивала туда не разбирающая средства политика или лишь личная злоба на все окружающее вместе с попытками окольными путями приблизиться к власти, об этом можно было бы болеть душой, сожалеть об их недостойном поведении, но не удивляться.

Но что сказать о тех, кто шел к масонам под влиянием лишь сомнений в высоте христианских идей и якобы «свободного искания» какой-то новой истины, более чем христианство якобы высшей и действенной?!

Но быть может, масонство в глазах некоторых имеет волшебную силу превращать посредственных, порочных и несчастных в умных, властных, счастливых и добродетельных?

Или помогает им делать счастливее других или найти общий язык в запутанных вопросах?

Глубоко как в том, так и другом сомневаюсь. По крайней мере те знакомые мне лица, о которых шла молва, что они ступили в ложи «свободных каменщиков»¹⁰⁵, на мой взгляд,

¹⁰⁵ Масонские ложи в России (от фр. franc maçon – вольный каменщик) официально разрешил открыть император Александр I, по его же приказу они были запрещены в 1822 г. и возродились только в конце XIX в. С 90-х гг. XIX века по 1917 г. в России было создано не менее 50 масонских лож (не учитывая Царство Польское и Финляндию).

правда, поверхностный, оставались прежними, не становясь ни умнее, ни счастливее, и не теряли ни одного из присущих им ранее недостатков, а приобретали лишь навязанные им новые: хитрость, скрытность и пренебрежение к не «своим».

Во всяком случае, то, что двигает вперед как историческую жизнь народов, так и личное существо человека и исправляет, совершенно не нуждается в потугах масонства. Оно только ставит лишние препятствия развитию всеобщей любви и всеобщего доверия. Где уж тут настоящая любовь к человечеству, когда, называя «братьями» лишь людей, принадлежащих к их тайному сообщничеству, они и этих лишь разделяют на степени, не доверяют низшим, их даже опасаются и скрывают от их большинства свои конечные «великие цели».

Но в единственно великом, как и ярком деле любви более всего противно лицемерие, подозрительность и скрытность...

Что касается до существующего даже в наши дни так называемого официального масонства, гроттмейстерами которого являются зачастую короли, а иногда даже и пасторы, то оно в моих глазах является не более как разновидностью забавных «акробатов благотворительности», столь хорошо описанных нашим Григоровичем, и пережитком плохих старозаветных традиций. В некоторых масонских храмах Германии, правда, можно было порою найти даже Евангелие, постоянно раскрытое на первых словах св. Иоанна, но почему-то нигде не видно Св. Креста – символа безмерной любви, покорности и всепрощения...

Таким образом, если всемирное масонство со своими ритуалами, скрываниями и степенями посвящения совершенно негодно ни для религиозного созерцания, ни

для самоусовершенствования, ни, в особенности, для «свободного искания истины», ему остается лишь один, столь заманчивый для толпы путь тайной политики, на который оно неизменно и вступало, неся человечеству не благодетельное единение и освобождение, а лишь новые стеснения, разлад, ожесточение и невинно пролитую кровь...

Точно свободному исканию истины вне масонства жизнь ставила когда-нибудь и кому-нибудь какие-либо малейшие препятствия!!! Высшая истина, к которой стремились все философы мира, не говоря уже об убежденных проповедниках Евангелия, никогда не нуждалась в покровах тайны. Из-за такого скрывания ее свет не был бы виден никому. Становится слишком смешно, когда при этом говорят о благе всего человечества.

В числе некоторых писем, обращенных ко мне с просьбою помочь выяснить малоизвестные обстоятельства жизни государя и его семьи, было одно упоминавшее и о масонстве. «Известно ли вам, – писал мне один, искренно мною уважаемый генерал, – что в одном масонском издании на английском языке (Boris Telepnef «An outline of the history of Russian Freemasonry London». 1928) говорится следующее: «Одна независимая ложа так называемого Мартинистского ритуала была образована (около 1909 г.) среди ближайшего окружения государя под названием ложа «Креста и звезды». Сам император, говорят, был членом этой ложи, прекратившей свою деятельность в 1916 году»¹⁰⁶.

¹⁰⁶ В Петербурге в 1899 г. была основана первая мартинистская ложа, подчиняющаяся Верховному совету ордена в Париже «Аполлония». К этому же времени относятся и сведения об увлечении мартинизмом Николая II. В начале 1900 г. герцогиня

Неужели же государь действительно принадлежал к ней? Очень прошу вас рассказать все известное вам об этой основанной в Царском Селе ложе, хотя бы в форме отрывочных воспоминаний, случайных, несвязных, сохранившихся в вашей памяти намеков и сопоставлений».

О том, что близким окружением царя была якобы основана в Царском Селе особая мистическая ложа Розенкрейцеров, мне в тогдaшнее время не было ничего известно, как неизвестно и по сей день.

Напрягая сейчас, ввиду подобных указаний, свою, правда, уже немного слабеющую память, я прихожу все же к

Лейхтенбергская Анастасия Николаевна по поручению Николая II посетила во Франции некоего «святого» старца Филиппа Ансельм-Вашо из Лиона, чтобы убедиться в его чудотворной силе. 20 сентября 1901 г. произошла личная встреча Николая II с Филиппом в Компьене. Первое посещение Филиппом Вашо России было непродолжительным (около двух месяцев) и ограничивалось Царским Селом. Впоследствии Филипп неоднократно приезжал в Россию, он сумел войти в доверие Николаю II и императрице. Именно Филипп внушил императрице навязчивую мысль о ее беременности, которая оказалась ложной. Во время революции в России по приглашению Николая II в октябре 1905 г. прибыл из Франции доктор Папюс, глава ордена мартинистов. В последний раз в Петербург Папюс приезжал в феврале 1906 г. С увлечением царской четы французскими оккультистами связана и такая сложная проблема, как причастность Николая II к масонству. Речь идет о так называемой «царской» ложе «Крест и звезда», основанной меcье Филиппом, куда входили многие члены императорской фамилии. Она просуществовала вплоть до 1916 г. (см.: *Брачев В. С. Масоны в России: от Петра I до наших дней.* СПб., 2000).

твердому убеждению, что подобная ложа, если она вообще и существовала в пределах Царского Села, то отнюдь не могла быть образована ни ближайшим «окружением государя», ни с его молчаливого согласия или тем более при его личном участии. К этому твердому убеждению я прихожу, так сказать, «доказательством от противного». Все немногие лица, близкие в то время к престолу (я говорю не о родственниках царя), мне были хорошо известны. В характерах каждого из них не было ничего мистического или склонного философски искать истину. Их больше чем отрицательное отношение к великому мастеру французских Мартинистов Папюсу и его ученику Филиппу¹⁰⁷, приезжавшим на некоторое время в Россию, ясно сказывалось как в их разговорах между собою, так и в искренней интонации их голоса. Все они были и резкими, убежденными противниками политического масонства. Такая ложа могла образоваться лишь вдали, пожалуй, даже по месту резиденции около, но, во всяком случае, не вблизи трона. Что касается до государя, то он действительно настойчиво интересовался масонством, но отнюдь не в смысле особенного к нему влечения или простого любопытства, а только из необходимого желания возможно точнее выяснить, какую вредную роль играет масонство в России и насколько близка его связь с русскими революционерами. С этой целью он и обращался, кажется, два раза при посредстве адмирала Нилова к аббату Турмантену, всю свою жизнь изучавшему масонство и ярому его противнику. Спрашивал о деятельности русских масонов и у начальника охранного отделения генерала Герасимова и,

¹⁰⁷ Автор ошибается. Мартинист Филипп был «духовным учителем» Папюса.

не удовлетворяясь его успокоительными заверениями, поручил П. А. Столыпину собрать сведения самые подробные как о русском, так и иностранном масонстве, что тот старался, насколько мне помнится, и выполнить. Уже одна эта настойчивость ясно указывает, что сам государь не был масоном, не был посвящен в тайну деятельности «свободных каменщиков», их опасался и не в пример своим иностранным родственникам был их убежденным противником. Да и склад его натуры, хотя и очень замкнутый, все же совершенно не подходил ни к своеобразной масонской таинственности, ни к масонским политическим или своеобразным религиозным стремлениям. Император Николай Александрович был вдумчив и очень любознателен. Он не только любил историческое чтение – он им увлекался, ища, по-видимому, в нем указаний для себя. Он хорошо знал историю царствований Екатерины Великой, императоров Павла и Александра I. Одобрял и не отменял поэтому во все время своего управления указ о подписке «о непринадлежности к тайным обществам», требовавшийся от каждого при поступлении на государственную службу. Совершенно невероятно, чтобы он, «первый слуга своей Родины», с таким удовлетворением говоривший о точном знании им всех обязанностей военной службы, смог когда-либо сам нарушить это правило и вступить в тайное сообщество, все политическое стремления которого были направлены к разрушению исторического строя его родины, верность которому он торжественно принял. В этом отношении многим иностранным монархам оберегать было нечего, и их традиционное масонство отнюдь не могло служить для него достойным примером.

По складу своей созерцательной натуры государь, казалось бы, скорее подходит, да и то с неимоверно большой

натяжкой, к мало политической ложе «Креста и звезды». Но и тут, я повторяю вновь убежденно, что государь лично к ней не принадлежала и вряд ли втайне ей сочувствовал. И ничто иное, как только его глубокое, русское церковное православие, ему в том настойчиво препятствовало. Его всегда влекли созерцание и молитва, но он мог и любил молиться только в православной русской церкви. Завлечь его на минуту в какой-либо иностранный масонский храм могли бы только развлечение или любопытство. Да и принимать какое-либо тайное участие в занятиях масонской мистической ложи государю по всем обстоятельствам его стеснительной дворцовой жизни было совершенно невозможно. Каждый шаг его и днем, и ночью был если не на виду у всех, то под наблюдением дворцовой и тайной полиции, всевозможных «пропускных постов», внутренних и внешних караулов и многочисленной дворцовой и своей собственной комнатной болтливой прислуги. Проникновение к нему во дворец под каким-нибудь предлогом кого-либо из «братьев»-масонов, не говоря уже о собраниях ложи во дворце или вне дворца, но в его присутствии, было бы мгновенно разгадано и столь же мгновенно разглашено. Но даже наше тогдашнее общество, питавшееся, судя по дневнику сенатора Богдановича¹⁰⁸, столь обильно догадками и воображением царских камердинеров и дворцовых лакеев,

¹⁰⁸ Автор не точен. Речь идет о книге «Три последних самодержца. Дневник А. В. Богданович». Дневник написан женой генерала Е. В. Богдановича Александрой Викторовной, охватывает 1879-1912 гг. (записи 1882-1887 гг. не найдены). Впервые в России дневники вышли небольшим тиражом в 1924 г. (М. – Л.: Изд. Л. Д. Френкель).

видевшее постоянно то, чего не было в действительности, и называвшее государя различными именами, все же даже оно не решалось присвоить нелюбимому монарху еще и звание франко-масона...

Но вернусь наконец к продолжению моего рассказа.

Празднества в Норвегии тогда закончились каким-то большим торжеством на открытом воздухе, памятным мне лишь по смешному положению, в которое я был поставлен своим обычным отвращением к скучной примерке вещей, изготавливаемым портными и сапожниками для моего одеяния.

И на этот раз, отправляясь в путешествие, я взял две пары не примеренных заранее высоких военных сапог, одну из которых мой слуга и подсунул мне в то утро под руки. Было, правда, очень туго вначале, но сносно, и во время переезда на берег и следования на торжество я испытывал лишь легкие мучения. Но в самый торжественный момент боль от узких голенищ стала настолько невыносимой, что я не нашел ничего лучшего, как выйти из круга окружавших королевскую чету лиц и за их спинами глубоко разрезать перочинным ножом давившие меня нестерпимо голенища. Довольный, что все произошло незаметно, я снова встал на свое место, скрыв изъян своих сапог в густой толпе свиты.

Но все тайное становится когда-нибудь явным. Так случилось тогда и со мной. В своей поспешности я совсем не заметил, что непосредственно за мной стояло несколько кинематографических аппаратов, увековечивавших как само историческое событие, так и мое выступавшее на нем на первый план недостойное поведение.

В тот же вечер этот фильм уже показывался в Трондъеме, через три дня он был в Копенгагене и Берлине, а к нашему возвращению докатился и до Петербурга.

Я вспоминаю, с каким смехом и с какими, к моему облегчению, добродушными шутками встретили мои светские и полковые товарищи мое на ней появление и мои исковерканные разрезом сапоги. Для других, к счастью, я оказался незаметным. Но моя всегдашняя нелюбовь к кинематографу, уже давно сделавшемуся развлечением улицы, после такого случая еще более усилилась.

Наш обратный путь в смысле погоды не был вначале благоприятен. Пришлось несколько раз отстаиваться из-за тумана и выдержать в открытом переходе сильную бурю с неимоверной по размаху качкой. Моряки посмеивались, а мне было жутко и не по себе.

Даже усиленно рекомендуемое каким-то ученым «самое действительное против качки» средство в виде упорного смотрения в ручное зеркало не помогало.

Но картина бушевавшего тогда моря запечатлелась во мне до сего дня. Так оно было неопишимо красиво и грозно.

Прибыв в Петергоф, мы, как положено, в тот же день представились государю в его маленьком кабинете коттеджа в Александрии, давая отчет о совершенном нами путешествии.

Его Величество с интересом расспрашивал о наших богатых впечатлениях, которыми мы были ему так обязаны, а в конце даже поблагодарил еще раз «за отлично выполненную во всех отношениях командировку».

■ VIII

Еще в начале 1907 года великий князь почувствовал себя нездоровым и, как всегда, не обращая почти никакого внимания на свою болезнь, много гулял, ездил верхом, надеясь по своему обычаю усиленным движением быстро излечиться.

Но к весне его боли в области желудка и печени настолько усилились, что пришлось слечь и обратиться к врачам.

Их собралось очень много, не менее 7 человек, в числе которых были профессора Вельяминов, Сиротинин, Романовский, д-ра Вестфален, Боткин и другие.

Мнения у них довольно резко разделились – одни находили у Михаила Александровича явные признаки круглой язвы желудка, другие, видимо, не желая огорчать взволнованную императрицу-мать, высказывались более осторожно и считали невыносимую тупую боль лишь следствием давления на желудок каких-то других переместившихся внутренних органов. Спорили очень долго, и наконец сообща порешили назначить великому князю продолжительное молочное лечение, а когда боли после него прошли, потребовали поездку в Карлсбад, куда должен был быть вызван и знаменитый венский профессор Норден для окончательного диагноза.

Выехали мы в Карлсбад в июне 1907 года в большой компании. Кроме великого князя и меня, с нами отправлялись великая княгиня Ольга Александровна с ее мужем принцем Петром Александровичем Ольденбургским, также нуждавшимся в лечении, их заведующий двором С. Н. Ильин, бывшая няня великой княгини Mrs Franklin и доктор Вестфален.

При прощании императрица просила меня чаще писать ей о здоровье Михаила Александровича и в особенности сейчас же ее уведомить телеграммой, в каком состоянии его найдет Норден.

В Карлсбаде мы остановились в прекрасном отеле, заняв целый ряд комнат, и сразу же вызвали профессора Нордена.

Он приехал к нам на другой день и быстро определил застаревшую, но уже начавшую затягиваться круглую язву у входа в желудок, главной причиной которой, ввиду скромного и здорового образа жизни великого князя, являлось единственно лишь его нервное состояние за тот год.

Профессор Норден, еще молодой, очень видный мужчина, был внимателен, любезен, общителен, но в его разговоре чувствовалась непререкаемость суждений и некоторое превосходство по отношению к другим врачам-знаменитостям. Когда во время обеда зашел разговор о диете и о том, можно ли есть при болезни почек черное мясо, он с уверенностью возразил, что, конечно, можно, так как белое или черное тут играет маловажную роль. «Вон профессор Лебе из Берлина написал сколько книг, что черного мяса есть нельзя, а я написал двумя больше и что можно... вот и выбирайте», – улыбаясь, заключил он.

Консультация Нордена, длившаяся не более 20 минут, обошлась великому князю дорого, более 10 000 крон – стоимость проезда и потерянных им двух дней в Вене, – но зато нас сильно успокоила, о чем я сейчас же написал и телеграфировал императрице.

Норден нашел, что шести недель лечения карлсбадскими водами будет совершенно достаточно для полного излечения язвы, и рекомендовал по окончании этого срока

поехать для «Nachkur», на берег моря в Италию, лучше всего в окрестности Неаполя, в Castelmor или Sorrento.

На общем нашем совете мы выбрали последнее, исключительно по его названию, звучавшему для нас, по рассказам Тургенева, более поэтически.

В ожидании этой поездки началась жизнь, столь знакомая тому, кто когда-нибудь лечился в Карлсбаде (современное название – Карловы Вары, Чехия. – О. Б.). Великий князь, Ольга Александровна и принц Петр Александрович вставали очень рано и спешили к источникам.

Я, как всегда, был ленив, и мой Лукзен приносил мне воду, когда я лежал еще в кровати.

Затем мы все отправлялись пить кофе в «Posthof», где слушали нескончаемую музыку Вагнера, гуляли по красивым гористым окрестностям, катались в экипажах, а по вечерам посещали театр.

В праздничные дни ходили в прекрасную русскую церковь, а после, как заведено, пили чай у батюшки отца Рыжкова.

Знакомых русских в те дни в Карлсбаде у нас было мало.

Встретили лишь случайно в магазине сильно утомленную и болезненную М. Г. Савину, да князя Орлова из Парижа, брата начальника военно-походной канцелярии, очень милого и сердечного человека.

Приезжал к нам и наш посол в Вене престарелый князь Урусов и А. П. Извольский, а в соседнем Мариенбаде (современное название – Марианске-Лазне, Чехия. – О. Б.) жил герцог Юрий Максимилианович Лейхтенбергский, бывший супруг великой княгини Анастасии Николаевны, впоследствии вышедшей замуж за великого князя Николая

Николаевича. Он у нас был также несколько раз, как и мы у него.

Вскоре приехал в Мариенбад для обычного лечения и английский король Эдуард VII – «Uncle Berty» [*дядя Берти* (англ.). – О. Б.], как его называл Михаил Александрович, по его крещеному имени Alberti.

Мы все отправились к нему в соседний Мариенбад с визитом, были радушно встречены, и на другой день он приехал к нам и сам.

Мы вместе гуляли по Карлсбаду и затем все отправились пить кофе в «Posthof». Это было мое первое личное знакомство с английским королем. С тех пор мне приходилось с ним встречаться довольно часто.

Об Эдуарде VII написано уже немало книг и сохранилось много рассказов, порою преувеличенных, что так любит людская сплетня. Но любопытство, которое он возбуждал, было, конечно, естественно, а внимание, с которым к нему всюду относились, было вполне заслужено. Это был действительно незаурядный человек, с непревзойденным, пожалуй, умением легко, просто и весело, как бы шутя решать самые сложные вопросы как внутренней, так и внешней политики, и притом с тактом и скромностью удивительными, всегда оставаясь сам немного в тени.

В стране, где король лишь царствует, а не управляет, он сумел в конце концов добиться влияния, которому, пожалуй, мог бы позавидовать и сам Кромвель; и не только влияния, но и всеобщего к себе расположения. Пробить лед в сердцах чопорного английского общества, ранее, в дни молодости короля, относившегося к нему с нескрываемым порицанием, ему было, конечно, намного труднее, чем кому-либо иному.

И то, что, став из принца Валлийского (принц Уэльский в дореволюционной русской транскрипции – Валлийский. – О. Б.) королем, он успел в короткое время добиться и этого, ясно показывает, что наряду с внешней непринужденностью в нем было не только много сердца, добродушия, наблюдательности, но и самой серьезной мысли.

И все же – если в мое время Фердинанд Болгарский пользовался славой самого умного, хитрого и изощренного в интригах политика, а с Вильгельмом II считались как с наиболее ловким, но непостоянным в своих стремлениях и чрезвычайно экспансивным монархом, то все значение для Европы Эдуарда VII, как и императора Александра III, было познано только после их смерти.

Оценить их как следует еще при жизни в числе других причин отчасти мешали присущие им обоим благодушие и простота, с чем так не любят обыкновенно встречаться дипломаты.

В глазах историка эти качества не кажутся уже такими пренебрежительными. Он судит по конечным результатам деятельности и знает, что благодаря главным образом лишь этим качествам Александр III мог, по меткому выражению Ключевского, с такой настойчивостью «способствовать накоплению добра в нравственном обороте человечества»¹⁰⁹,

¹⁰⁹ Речь В. О. Ключевского «Памяти в бозе почившего государя императора Александра III», произнесенной 28 октября 1894 г. в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. Точная цитата: «...Наука отведет императору Александру III подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы,

а Эдуард VII с таким искусством, вплоть до казавшегося навсегда несбыточным сближения Англии с Россией, противостоять злоумышлениям против европейского мира.

Действительно, пока они были оба живы, этот мир не переходил в общий пожар. В нашей жизни, где, по статистике, на один короткий год относительного мира пригодится 13 долгих лет вооруженной борьбы, монархи, как и сами народы, конечно, бессильны уничтожить навсегда войну, но им дается все же порою возможность ее отдалить – хотя бы на время, соответствующее их силе характера и способностей.

В этом отношении я убежден, что, живи Эдуард VII в дни перед европейской войной, наш государь нашел бы в нем самую действительную поддержку своим всегдашним стремлениям внести заветы Христа и во внешнюю политику. Он сумел бы заранее сообщить Берлину, что в случае войны Англия без колебаний станет на сторону России, и не выжидал бы для этого целых пяти долгих дней после объявления войны, когда потушить пожар было уже нельзя⁷⁷.

Я также думаю, что английский король не остановился бы в решительную минуту даже перед внезапной поездкой для личного свидания с престарелым Францем Иосифом, отказавшим в таком свидании самому Вильгельму II, хотя и слушавшего в те дни лишь одни настойчивые советы германского императора.

победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количества добра в нравственном обороте человечества...» (Чтения в императорском обществе истории и древностей при Московском университете. 1894 г. Кн. 4. М., 1894. С. 7).

То, что не сумели тогда сделать дипломаты, вероятно, удалось бы легко, без громких фраз, но с простой логикой, добродушно посмеивавшемуся Эдуарду VII, и катастрофа Европы была бы отложена, быть может, на очень далекое будущее.

Я много слышал ранее о большой популярности короля Эдуарда в его стране и, предполагая, что такая популярность вызывалась лишь его собственными усиленными стараниями, не придавал ей особенной цены.

Но мое личное, более близкое знакомство с ним совершенно разрушило это предубеждение. Расположение к нему широких кругов, как я успел заметить, давалось ему совершенно естественно, благодаря отчасти счастливой возможности быть королем, которому даже дамы при первой встрече после коронации почтительно должны целовать руку, и вместе с тем, возможно, меньше таким королем казаться.

Что в его натуре было действительно слишком мало властного короля и слишком много добродушного, любящего общество человека, это всякий начинал чувствовать при первом же с ним знакомстве.

Конечно, его высокое положение сильно способствовало тому усиленному вниманию, которое он на себя притягивал в Англии.

Будучи простым смертным, он, вероятно, прошел бы и там совершенно незамеченным, как и большинство людей с еще более привлекательными качествами, чем у него.

Его не считали бы законодателем мужских мод, быть может, даже смеялись бы над некоторыми особенностями

его туалета и не подражали бы с такой точностью его привычкам и вкусам¹¹⁰.

Но в нем было и то, что редко встречается не только у носителей власти, но и у простого человека, – полное доброжелательство к людям и потребность с ними сблизиться, не исключая при этом и своих политических противников, на дружеской почве. Других врагов, не политических, у него, кажется, не было.

Манера, с которой он это высказывал, благодаря непринужденности и простоте была невольно подкупательна и вызвала соответствующий отклик даже у враждебных к его политике людей.

Если степень искренности и доброжелательности, как уверяют, можно легко определить по смеху, то король смеялся не только искренно, но и заразительно.

¹¹⁰ Эдуард VII являлся законодателем европейской мужской моды конца XIX – начала XX века. Он популяризовал твид, норфолкские жакеты, стоячий отложной воротник рубашки, ношение с вечерним костюмом черной бабочки вместо белой. Шляпы фасона «хомбург» также стали модными, как только Эдуард начал появляться в этом головном уборе. Еще наследником престола он носил ткани особой расцветки. Издали они казались однотонным, но вблизи можно было различить крупную клетку. С тех пор они называются «принц уэльский». Одним из первых он стал носить сегодняшний галстук (по-английски four-inhand). Когда он располнел, Эдуард VII придумал не застегивать нижнюю пуговицу пиджака и жилета, что с тех пор стало канонем. Страстному любителю сигар, ему нравились и покрытые шелком лацканы, на которых не оставалось следов пепла.

Мне вспоминается при этом случае довольно забавная встреча однажды перед нашим обедом в Карлсбаде Эдуарда VII с его первым лордом адмиралтейства, адмиралом Фишер, большим другом России.

Когда адмирал в конце обеда вошел в нашу комнату, король произнес только удивленно-радостное восклицание и сейчас же начал смеяться. Адмирал, сделав почтительный поклон, в свою очередь не смог удержаться от смеха. Король и подданный долго так стояли друг против друга, не говоря ни слова, и в их не прекращавшемся, а все усилившемся смехе было столько безграничного добродушия и веселости, что и мы все невольно заразились их примером.

Небольшая вначале натянутость была быстро у нас сломлена, и наш обед прошел в самом оживленном настроении.

Умея легко быть веселым и общительным, король умел также легко быть серьезным и даже среди охватившего оживления помнить о деле.

Я вспоминаю одно его возвращение со скачек, где принимали участие и его лошади, взявшие тогда приз. Большой любитель всякого спорта и охоты, король был очень доволен и особенно оживлен, но за каких-нибудь 5 минут до Лондона он сделался вдруг серьезен и удалился в свое купе, извиняясь, что ему надо хорошенько обдумать важную речь, которую он должен произнести сейчас же по приезде.

На следующий день эта речь появилась в газетах. Она была составлена весьма красиво и содержательно и занимала целый газетный столбец.

Своим высоким положением король не в пример многим коронованным особам, видимо, не тяготился и почти

никогда не высказывал неудовольствия, что имел много занятий и мало свободного времени.

Вся важность и неотвратимость лежавшей на нем ответственности все же сознавалась им, судя по многим поступкам, очень сильно, хотя он о ней старался не упоминать.

Кажется, только один раз, и то в шутливой форме, он поделился с другими воспоминаниями из дней своей юности, когда он впервые ознакомился с нелегким чувством единоличной ответственности. «Мы были, – рассказывал он, – несколько человек на охоте, дул сильнейший ветер, и нам всем хотелось очень курить, а единственная спичка, которая могла бы спасти положение, находилась у меня одного. Отдать ее для зажигания другому было бы малодушием. Помню, с каким вниманием и какими долгими обдумываниями я старался, чтобы ее не погасил ветер. Надо сознаться, что чувство даже такой ничтожной личной ответственности, когда на вас смотрят и ждут, – не из приятных».

При существующих в Англии обычаях и законах ему было трудно, почти невозможно навязывать свою волю своим министрам. Он не желал и открыто идти против течения; но он очень находчиво вдохновлял своими мыслями и желаниями всех этих влиятельных лиц, с кем соприкасался, и его мнение в окончательных решениях министерства играло почти всегда первенствующую роль. Он стремился также всеми силами к сближению двух главных в Англии партий, добивался и тут многого, но все же чувствовал себя более сильным во внешней политике, чем в политике внутренней, и здесь он своим влиянием принес

громадную пользу делу мира. Менее чем кто-либо в его тогдашнюю пору он желал войны...

В Мариенбаде король жил совершенно запросто, частным человеком¹¹¹. В его свите был один только чрезвычайно милый генерал Кларк (sir Stanley Clarce), но его особа тщательно охранялась как австрийской полицией, так и своей собственной, особенно многочисленной.

Когда король приезжал к нам, мы уже задолго знали о его предстоящем прибытии по тем людям, которые не появлялись в обычные дни у нашей гостиницы, и по начинавшим за некоторое время шмыгать по всем направлениям автомобилей.

Неуправляющие короли, насколько я мог вынести впечатление и в дальнейшем, охранялись за границей даже усиленнее, чем неограниченный русский самодержец.

Для охраны великого князя было назначено австрийцами лишь два полицейских чина в гражданском платье, неуклюже следовавших за нами на почтительном расстоянии при всяких наших передвижениях.

Нас это сильно стесняло, и мы делали неоднократные попытки, чтобы от них избавиться, но всегда неудачно. Как меня уведомила тогда наша заграничная тайная полиция, известный организатор политических убийств из-за угла Борис Савинков пребывал за границей, и рекомендовалась особая осторожность, так как на его долгое бездействие рассчитывать было нельзя.

¹¹¹ Эдуард VII приезжал на отдых и лечение в Мариенбад девять раз – с 1897 по 1909 г.

Но в случае внезапных нападений со стороны его сообщников что могли сделать эти два человека – один высокий, болезненный и худой как жердь, другой толстенький, круглый, с прерывистым дыханием. Настоящие Дон-Кихот и Санчо Панса в штатском одеянии.

В особенности было жаль смотреть на последнего – при наших долгих, всегда быстрым шагом, прогулках он просто изнемогал.

Тогда и мы из-за него делали небольшой привал, поили его пивом или минеральной водой. Под конец нашего пребывания его желание нам чем-нибудь угодить вызывалось уже не столь служебным усердием, сколько его явно показываемым расположением к великому князю как человеку.

Я вспоминаю его искренний испуг, чуть ли не отчаяние заботливой нянюшки, когда мы однажды неожиданно для них сели в лодку и стали уходить от его наблюдения. Его умоляющие глаза были настолько красноречивы, что пришлось вернуться и посадить его с собой. Он весь тогда сиял от гордости и удовольствия.

Эдуард VII покинул Мариенбад раньше нас. Прощаясь с нами, он с присущей ему простотой, как всегда, добродушно посмеиваясь, объявил Михаилу Александровичу, что им отдан приказ английскому крейсеру «Минерва» прибыть из Мальты в Sorrento, где и поступить в полное распоряжение великого князя, на случай если он захотел бы попутешествовать по Средиземному морю.

Такое сердечное внимание к своим племянникам являлось одновременно и красивым жестом по отношению к России. Это были уже месяцы довольно неясного начала англо-русского сближения.

Вряд ли кто-либо и тогда мог предвидеть, что когда-нибудь Россия и Англия будут в союзе¹¹².

И все-таки этот союз задолго предсказал такой далекий от нас человек, как Lamartine¹¹³.

¹¹² Автор не точен. Именно в 1907 г. 31 августа (18 августа ст. ст.) между Россией и Англией было подписано соглашение, завершившее создание Антанты – военно-политического союза Великобритании, Франции и России (именуемого также Тройственным соглашением, а после присоединения Италии в 1915-м – Четверным соглашением).

¹¹³ Возможно, автор имеет в виду заявления известного французского политика Альфонса де Ламартина в 1840 г., который высказался за уничтожение Турецкой империи, предложив отдать Константинополь – России, Египет – Англии, а Сирию – Франции.

IX

В самом начале августа 1907 года мы покинули Карлсбад и двинулись в Италию. После короткой остановки в Мюнхене, где нас встретили, чествовали обедом и показывали город оба брата Лейхтенбергских, мы, не останавливаясь ни во Флоренции, ни в Риме, прибыли рано утром в Неаполь.

Там уже ждал нас нанятый русским посольством для нас пароход. Я не буду описывать всю чарующую красоту Неаполитанского залива с его рощами, скалами, с Posilippo¹¹⁴ и дымящимся Везувием вдаль. Ее уже столько раз описывали, да и передать ее словами нельзя – ее можно почувствовать, лишь увидев ее на месте. Скажу только, что лично для меня из всех моих путешествий лишь наша Средняя Азия, эта колыбель человечества с ее не исчезнувшей еще до сих пор библейской жизнью, да еще северные норвежские фиорды, с их мистическим сочетанием тишины, белых ночей, хаоса скал и спокойных морских глубин, могут равняться по силе с тем первым впечатлением, которое наполняет меня до сих пор со дня моего первоначального знакомства с прибрежной Италией.

Италия! Сколько образов наполняло меня в юности при одном твоём имени.

Сколько раз и впоследствии мне приходилось бывать в этой чарующей стране, но она уже не могла дать мне восторга первой встречи. Тяжелое личное горе заставляло не

¹¹⁴ Позилиппо (Posillipo) – холмистый выступ в северной части Неаполитанского залива.

замечать ни прелести ее природы, ни величия тысячелетий ее истории: в те годы мои любимые мальчики уже угасали. Один только что ушел от нас навсегда, другого, в надежде на целительные силы природы, мы привезли на берег итальянского моря.

Но и в те дни, когда ему становилось немного лучше, я уже не мог по-прежнему упиваться всюду разлитой красотой. Величественная, но бессильная в спасении молодой человеческой жизни – частицы жизни ее самой – природа с тех пор уже не кажется мне ни столь могущественной, ни столь прекрасной. В ее равнодушном сиянии при всяких, даже тяжелых обстоятельствах нашей жизни нет ни высшей красоты материнской любви, ни прелести сочувствия близкого друга.

Ею можно любоваться до самозабвения, лишь пока тяжкие испытания не коснулись тебя, а затем надолго меркнет и она...

К ней затем обращаешься уже под старость, ища в ее вечных, вложенных в любую былинку законах того мирного доверия к мудрости Создателя, которого так часто не хватает в бунтующей под тяжестью испытаний молодости.

Новая красота – суровая красота изумительной стройности и необходимости всего существующего, прельщающая уже не только глаз и сердце, а душу и разум, – вновь охватывает тогда нас в наши предзакатные дни...

Только с нею начинаешь наконец как следует верить, надеяться до убеждения и смиряться, не рассуждая.

Но в те дни я был еще молод, никакие несправедливости судьбы меня еще не смущали, и я, выйдя из вагона, весь отдавался охватившим меня новым впечатлениям.

Все меня восхищало тогда; и темно-голубое небо, и еще более синее море, и чумазы неаполитанские ребятишки, нырявшие вокруг нашего парохода и выпрашивавшие уморительными знаками монеты в награду за их ловкость, и жгучее солнце, и все, что заливалось им вокруг меня, переливалось красками, шумело, пело, плясало и жестикулировало.

Через два часа мы уже подходили к Сорренто. Наш отель «Tramontano» находился на верху огромных отвесных скал, откуда открывался изумительный вид на весь залив и Везувий.

Нас встретил хозяин на разукрашенной лодке с тем изощренным почетом, на который способны только итальянцы, любящие всякого рода знатных путешественников.

Попадать в отель с берега можно было только на подъемной машине или по туннелю, глубоко прорезанному в скалах.

Помещение нам отвели роскошное, с огромными салонами и не менее громадными верандами на открытое море. С одной стороны находился небольшой сад – гордость хозяина, полный апельсиновых деревьев, горячего неподвижного воздуха, пряного от каких-то неведомых пахучих растений.

Только именно с этим благоуханием, в особенности по ночам, можно почувствовать итальянский юг во всей его неге и во всем разнообразии никогда ранее не слышанных звуков.

Все это нам удалось испытать в первый же вечер, когда среди подкравшейся незаметно темноты замелькали во всех направлениях летучие мыши, на небе ярким светом зажглись

звезды, внизу тихо заплескалось уже успокоенное море, а в середине, в душистом саду около нас, забренчали чьи-то струны, забил бубен, затрещали кастаньеты, и, причудливо извиваясь, закружился хоровод тарантеллы...

Наутро берег и море приковали нас всецело к себе.

Быть на юге Италии и не пожить хоть несколько часов жизнью ладзарони и тамошних рыбаков – прямо невозможно.

Мы и проводили первые дни почти все время в купальных костюмах, валяясь подолгу в промежутках купания на широком песчаном берегу или на палубе большой парусной яхты, на которой мы выходили далеко в море, чтобы найти подходящую глубину для изумительно смелых прыжков Михаила Александровича.

Иногда мне удавалось присоединиться к какому-нибудь местному оборванному рыбаку, отправлявшемуся на жалкой лодчонке на охоту за всевозможными «frutti di mare», для чего, кроме ныряния на большую глубину, ловкости рук да умения высматривать добычу через успокоенную капельками масла рябь моря, ничего больше и не требовалось.

Вскоре прибыл в Сорренто и крейсер «Минерва», присланный в распоряжение Михаила Александровича английским королем.

Он появился перед нашими скалами неожиданно рано утром, выдержав бурный переход из Мальты, и сильно взбудоражил своим появлением местное население.

Мы пригласили всех офицеров к себе на обед и условились с командиром о нашей предстоящей прогулке по Неаполитанскому заливу. Она длилась целый день и удалась как нельзя лучше, почти при зеркальной поверхности моря,

безоблачном небе и при полной дружеской непринужденности как хозяев, так и гостей.

Надо отдать справедливость англичанам, когда они захотят, они могут быть радушными, широкими и внимательными, не хуже самых гостеприимных русских.

Во время этой поездки мы высаживались на Капри и в общей компании осматривали знаменитый голубой грот¹¹⁵.

Не желая слишком долго злоупотреблять любезностью короля, Михаил Александрович, отблагодарив команду и дав прощальный обед офицерам, отпустил «Минерву» домой, и наша жизнь более не прерывалась ничем официальным.

Русских в те дни в Сорренто было мало. Кроме генерального консула Деревеницкого, переселившегося нарочно на время нашего пребывания из Неаполя в соседнюю гостиницу и занятого как нашей охраной, так и предоставлением нам всевозможных удобств, приехал к нам и наш тогдашний посол в Риме Муравьев.

Там же или, кажется, в Риме мы познакомились и с нашим представителем при папском престоле – Сазоновым, будущим министром иностранных дел.

¹¹⁵ Голубой грот находится на северном берегу острова Капри (Италия). Длина грота 56 метров, ширина 30, высота свода над уровнем воды 15 метров, высота входа до 1,3 метра. У грота единственный вход со стороны моря, и попасть в него можно только на лодке. Дно затоплено морем, благодаря чему свет, проникающий в грот, придает воде и всей пещере красивый лазоревый цвет.

Состоя представителем при двух враждующих властителях, эти два наши дипломата не должны были встречаться официально в одном месте.

Из неофициальных русских в Сорренто в то время жил на своей прекрасной вилле В. Солдатенков со своей женой, рожденной кн. Горчаковой. В его гостеприимном доме я познакомился с одним итальянским патером, кажется, иезуитом, удивившим меня, не в пример другим иностранцам, не только обширным, глубоким, но и тонким знанием как нашей русской литературы, так и русской истории. Что заставило этого далекого от России, скромного католического монаха заинтересоваться жизнью страны, о которой большинство близко соприкасающихся с нею иностранных политических деятелей не хотят иметь даже смутного представления?

Он мне это объяснял с застенчивой, почти извиняющейся улыбкой тем нашим русским религиозным народным духом, который его привлекал, о котором он знал лишь понаслышке и который он, ни разу не бывший в России, мог изучить только из русских, а не иностранных книг. Я вспоминаю до сих пор об этих наших беседах, где не затрагивалась разница вероисповеданий, с большим удовольствием.

Из дальнейшего нашего пребывания в Сорренто больше всего осталось во мне впечатление от моего подъема на Везувий и в особенности от посещения Помпеи.

Я впервые тогда ознакомился на месте с действующим вулканом во всей его страшной красоте, подымался до самой его вершины, обжег свои сапоги и даже закурил папиросу об его раскаленную лаву.

Последнего я не могу простить себе до сих пор: настолько мой тогдашний ребяческий поступок показался мне сразу же совершенно ненужным, чуть ли не кощунственным, оскорбившим своею мелочностью одно из самых могучих, если не величественных, явлений природы.

Помпею посетили мы одни – вход для остальных посетителей на то время был закрыт.

Благодаря стараниям нашего консула и любезности администрации при нас и из внимания к нам даже начали раскопки в том месте, где еще ни разу они не производились.

Чувство, с которым ждешь с каждым погружением лопаты или кирки появления чего-то тысячелетнего, еще ни одним из современников не виданного, конечно, не может сравниться с каким-либо иным.

Тогдашние раскопки длились уже более двух часов и ничего не приносили нашему напряженному вниманию. Наконец один из рабочих торжествующе протянул какой-то ничего не говорящий нашему глазу загрязненный обломок глиняного черепка, бережно принятый распорядителем работ в свои руки.

Он долго поворачивал его со всех сторон, оживился и приказал копать еще медленнее. Еще несколько осторожных погружений лопаты, другой рабочий низко нагнулся к земле и поднял из нее небольшой, красивой формы глиняный сосудик с узором удивительной свежести, сделанный как будто вчера.

В другом месте работ, уже давно начатых, при нас откопали в какой-то стене небольшую пустую нишу. Самой статуэтки божества, вероятно, в ней находившейся, несмотря на все старания, при нас не нашли, но у подножия

ниши докопались до кучки углей, как объяснил распорядитель, по всем данным – жертвенных.

Я взял себе на память один такой уголек, который несколько тысячелетий назад возжигался, быть может, во имя «неизвестного Бога» – того забытого вечного, не материального Бога, который не мог не ощущаться человечеством и в тогдашние языческие времена.

Я, пожалуй, унес тогда из Помпеи одну из ее самых священных вещей...

Не без сожаления покинули мы Сорренто в начале сентября.

Местное население устроило нам торжественные проводы. Они начались еще накануне отъезда утром народным праздником с танцами и играми на берегу у подножия нашего отеля и закончились вечером грандиозным, настоящим итальянским фейерверком и многочисленными серенадами на воде.

Далеко в море были выдвинуты огромные плоты, на которых горели вензеля Михаила Александровича, Ольги Александровны и ее супруга, и в течение долгого вечера оттуда вырывались ракеты, крутились цветные колеса и рассыпались во всех направлениях всевозможные огни, на изобретение которых так искусны итальянцы.

Наш отель был также прекрасно иллюминирован. Но сама тогдашняя ночь была лучше всяких человеческих ухищрений.

Тихая, лунная, с ласкающим ветерком, с нежным ароматом моря и соседних садов, она мне запомнилась как прекрасный сон, от которого не хотелось проснуться.

Из Неаполя отправились на короткое время в Рим. Король Италии (Виктор-Эммануил III. – О. Б.), узнав о нашей поездке, предоставил в распоряжение Михаила Александровича свой вагон, очень удобный, но и очень скромный, ничем не напоминающий всю царскую роскошь наших императорских поездов по своему до мелочей продуманному комфорту, действительно единственному в Европе.

В Риме, в котором следовало бы прожить несколько лет, мы пробыли всего 4 коротких дня.

Михаил Александрович торопился в Данию, где его давно ждали, и удлинить наше пребывание мы не могли.

Но в эти 4 дня мы не теряли времени ни на что официальное и с утра до позднего вечера знакомились с «вечным городом», желая видеть по возможности все, и, как бывает в таких случаях, не видели, как следовало бы, ничего. Даже к тем местам, куда надо было бы подходить благоговейным паломником, мы подъезжали на быстром и шумном автомобиле.

К нам были прикомандированы и два знаменитых русских гида – даже не гиды, а ученые-профессора, – и несколько молодых людей из нашего посольства, прекрасно знающих город; нам открывались двери многого заповедного, что было бы недоступно простым смертным; нас наставляли во многом; и из-за всего этого у нас, по крайней мере у меня, не было времени для собственных, а не навязанных другими размышлений. Я все их откладывал для более спокойного будущего, надеясь разобраться в нахлынувших впечатлениях лишь впоследствии, когда буду один. Но этого спокойного одиночества так и не наступило. Пронесшиеся затем годы с их новыми, хотя и более мелкими переживаниями покрыли густою пылью и те образы

древнего Рима, которые, как я думал, должны запечатлеться во мне навсегда...

Такова уже жизнь, в ней ничего нельзя откладывать – сейчас потеряешь!

Но я и не очень жалею, что видел Рим лишь поверхностно. Пожалуй, из-за быстроты и нагромождения впечатлений легче составить из них общее суждение, которое уже не забудется до старости; это – могущество всеразрушающего времени, и наряду с ним не поддающаяся даже напору тысячелетий, непревзойденная красота высших человеческих побуждений.

Вечный город, конечно, не был «вечным», как не останется таким и навсегда. И его сохранившиеся донные памятники когда-нибудь исчезнут бесследно в пространстве и во времени, как исчезает все материальное, но те высочайшие проявления человеческого просветленного духа, которым он был свидетелем и которые сказались с такой силой в борьбе христианства с язычеством, будут жить в сознании людей навсегда, как останется навсегда непревзойденною и та величавая своей простотой красота, которую этим уже разрушающимся камням все же удалось донести до теперешних дней.

Правда, в каждой нации и в каждой эпохе можно найти свое особое красивое, даже величавое – но над нашей архитектурой, над нашими одеяниями, над всем изощренным вкусом нашей современной городской жизни мы, конечно, будем сами смеяться уже через несколько коротких лет, как привыкли давно и по праву потешаться над всякой созданной нами и вскоре нами же отброшенной модой.

Над классическими же образцами Рима люди уже не смеялись тысячелетия, да вряд ли решатся на это и в будущем. Хотя этим примерам и не следуют, но их внутренне почитают, и в этом постоянстве человеческого уважения, столь изменчивого в остальном, чувствуется все могущество не выдуманной и самодовлеющей красоты.

Из воспоминаний о более позднейшем времени Рима наиболее красочным осталось во мне впечатление о Ватикане с его средневековой папской гвардией и нескольких старых базиликах, свидетелей еще не разъединенной христианской религии.

Самого папу (*Пий X. – О. Б.*) мы не видели – он был чем-то занят в часы нашего посещения, но нас допустили осмотреть его собственный сад.

О современном Риме я не вспоминаю почти ничего. Жизнь нынешних больших городов меня никогда не притягивала. Она мне всегда во всех странах казалась до скуки одинаковой, и небольшая разница в фасадах и расцвете домов, в привычках, вкусах и развлечениях жителей, по-моему, не может, вернее, не должна бы останавливать особенного внимания.

Уж коли искать в какой-либо стране не повторяющегося в других, надо искать прежде всего в местной деревне, среди тамошней свободной природы, не заключенной в каменные мешки улиц и площадей. Там еще можно найти отклики того, что мы называем «душой страны». В городах же давно царствует лишь холодный, международный, расчетливый разум, быть может, проникающий понемногу в тайны существования, но не заставляющий горячее биться издерганное нервами сердце.

Из Рима мы направились прямо на север. Итальянский король опять предоставил нам свой вагон до границы. В Берлине от нас отделилась великая княгиня Ольга Александровна с мужем, направившаяся домой, а мы вдвоем с Михаилом Александровичем продолжали наш путь в Копенгаген.

Там нас встретили на вокзале государыня-мать, английская королева Александра с принцессой Викторией, датский наследный принц Христиан с братом Гаральдом и свита императрицы.

Мы не ожидали такой торжественной встречи, и я вышел из вагона на перрон, не успев к ней подготовиться, в своем старом запыленном дорожном костюме. С вокзала Михаил Александрович поехал с матерью и тетей в Hvidøre, а я отправился с князем Шервашидзе в отведенное мне по обычаю помещение в Hotel d'Angleterre.

Hvidøre – это небольшая каменная вилла на берегу моря в часе езды от Копенгагена. Она была давно приобретена нашей императрицей совместно с ее сестрой, королевой английской, также приезжавшей надолго в гости в свою родную страну, которую сестры любили.

Сама дача почти не отличалась от остальных загородных домов и ничего «дворцового» собою не напоминала. Около подъезда не стояло и обычных почетных часовых. Вход в нее охранялся только одетыми в штатское платье полицейскими. Внутренность ее была очень уютная и красивая, но современная, в английском вкусе.

Ни для свиты, ни даже для большинства прислуги в ней помещения не было, как не было устроено и отопления для холодного времени.

У обеих сестер там был один общий салон, в котором стояло для каждой по отдельному письменному столу, служивших им еще в детстве.

Императрица и королева в Hvidöre вели жизнь совершенно частных людей, так всегда прельщавшую их, и могли пользоваться отдыхом как ни в каком другом месте.

Только по воскресеньям или в другие праздники все гостившие в Дании иностранные родственники датского двора приглашались вместе с их свитой на обед к королю, в остальное время они были предоставлены самим себе и свободе.

Особенно много таких почетных гостей съезжалось обыкновенно осенью. Ко времени нашего тогдашнего прибытия в Копенгаген, кроме многочисленной датской королевской семьи, там уже находились: русская императрица, королева английская с дочерью принцессой Викторией, греческий король Георг, гостила (кажется) шведская принцесса Ingeborg, и приезжали ненадолго король Норвегии Гаакон с королевой Моод и маленьким наследным принцем Олафом.

Только при маленьком датском дворе, в особенности при жизни старого покойного короля и императора Александра III, можно было встретить такое блестящее собрание императоров, королей и королев, напоминающее отчасти своею многочисленностью далекие времена эпохи конгрессов.

Но дальше многочисленности участников сравнение с внешней стороны, конечно, не шло. Ни блестящих мундиров, ни еще более ослепительных празднеств с танцами, с музыкой, с изощренными в своей науке дипломатами и такими же ловкими в политических интригах прекрасными

дамами в Копенгагене не было. Не замечалось и особенного подогретого любопытства местных жителей.

И сам датский двор и датчане уже давно успели привыкнуть к таким собраниям, казавшихся бы столь необычными в других городах.

Все торжественное ограничивалось только этими скромными семейными обедами по воскресеньям, за которыми нередко отсутствовала и музыка и на которые, кроме гостивших высочайших особ и их свиты, приглашались лишь два-три человека из города, часто совсем не знатных, но которым король желал оказать почему-либо особое внимание.

Всем присутствующим на этих обедах полагалось быть в скромных фраках, но непременно с микроскопическими орденами в петлицах.

Короли и императоры во фраках! Есть ли что-либо несообразнее такого переодевания! Священники и монахи в этой одежде, сравнивавшей их со всеми остальными, мне не казались бы более странными!

Для меня, выросшего в русской военной среде и составившего себе представление об этих высших носителях военной и государственной власти не иначе как в военном мундире или выделяющем их красивом коронационном одеянии, такое низведение их на уровень обыкновенного человека не переставало даже в зрелых годах, как это ни смешно, производить неприятное впечатление какого-то странного, совершенно ненужного маскарада.

Тем более что из всех гражданских одеяний фрак, как и цилиндр, мне всегда казался образцом полнейшего безвкусия, если не уродства. Можно до известной степени почитать равенство, но равенство, доведенное до смешного

вида, было и будет отталкивающим. В этом отношении цилиндр и фрак, украшающие в торжественных случаях одинаково как президентов республик, так и республиканских палачей и лакеев всех остальных стран, уже не вызывают в моем ощущении и того своеобразного чувства «приличия», на которое они, видимо, рассчитывают...

Датский король жил обыкновенно до поздней осени в своем загородном замке «Шарлотенлуст», в часе езды от города.

За нашей свитой обыкновенно присылалась придворная карета, в которую мы и усаживались вчетвером: фрейлина государыни Е. С. Озерова, престарелая, но живая и общительная miss Knollis – фрейлина королевы Александры, князь Шервашидзе и я.

Мне особенно тогда нравились эти долгие, медленные поездки по пустынным уже дорогам, обсаженным липами, кленами и буками.

После юга с его раскаленными скалами, с расслабляющей теплотой и пряными ароматами я тогда особенно чувствовал всю прелесть нашей северной осени. Тогдашний бодрящий воздух Дании вместе с запахом уже падавших листьев особенно живо переносил меня в другие липовые аллеи родной русской усадьбы, навсегда, кажется, покоровшей мое сердце и мои мечты.

От всех очарований юга, как это ни странно, можно устать, от Русского Севера получаешь только новые силы. Южане, наверное, испытывают это иначе.

Если мы и являемся детьми природы, то, видно, только природы родной, окружавшей нас в детстве. Остальная, как бы она очаровательна ни была, чувствуется лишь доброй,

красивой мачехой, не способной все же заменить самую скромную мать...

Обеды у короля, всегда тщательно, но скромно обставленные, длились довольно долго, после чего все переходили обыкновенно в другой салон, где разговаривали, а иногда – крайне редко – играли в карты. Около полуночи все разъезжались по домам.

Екатерине Сергеевне Озеровой и князю Шервашидзе было тогда отведено помещение в главном королевском дворце Amalienborg; впоследствии жил в нем и я, занимая прекрасную комнату на самом верху с видом на площадь.

Вся эта дворцовая постройка состоит собственно из четырех отдельных невысоких зданий своеобразного датского стиля, расположенных почти на равных расстояниях вокруг широкой площади.

Те два из них, которые предназначены для жизни королевской семьи, соединены между собой стильною колоннадою. Сами постройки красивы своей стариной, но не величественны. Внутренне убранство их было бы также весьма скромно, если бы и тут старина не приходила на помощь.

Странная вещь, чувствуемая не одним мною: как бы роскошна и удобна ни была мебель середины XIX столетия и наших позднейших годов, в ней упорно не хочешь видеть ни благородства, ни хорошего вкуса. Она слишком практична и вместе с тем неопределенна, слишком приноровлена или к нашей лени, или к нашей изворотливой приспособляемости, чтобы ею дорожить или чувствовать к ней хоть какое-либо уважение.

Самый скромный старинный стул или шкафчик способны украсить любое современное роскошное помещение, тогда

как нынешние, стоящие безумных денег мягкое клубное кресло или вычурный письменный стол всегда останутся богатым *parvenus* в неприхотливой зале бедного старинного замка.

Таких неподходящих новых вещей почти не встречалось в старом Amalienborg, и он во многом напоминал внутренности очень старинных и зажиточных русских барских усадеб. В нем только не было наших громадных печей, без которых не могли обойтись наши предки и служивших предметом зависти, но почему-то не подражания, современных им иностранцев.

В моем семейном архиве по этому поводу я нашел любопытное письмо одной состоятельной итальянки к моей прабабушке, в котором та просила разрешения приехать к ней в Россию из ее горячей Италии, чтобы погреться у нас на севере зимой!!!

Сама жизнь в датском дворце была для меня очень приятна, даже уютна. Мне нравился тамошний спокойный распорядок, так же как и датская дворцовая прислуга, немного патриархальная и добродушная.

Ни при одном дворе во время больших обедов я не видел такой неторопливой распорядительности и заботливого внимания к гостям со стороны гофмаршальской части, как при датском дворе.

Это тем более заслуживает признательности, что при большом наплыве лишних людей, скромности средств, малочисленности прислуги задачи тамошнего гофмаршала порою усложнялись невероятно...

– Датский двор – это самый приятный, самый милый двор во всей Европе, – говорил всегда мой *beau pere*, повидавший много разных дворов на свете.

В свободное время – а его в те дни было у меня довольно много, – вернувшись после обычного утреннего посещения в Hvidøre Михаила Александровича домой, я знакомился более подробно с городом, его музеями, старинными замками, совершал прогулки за город, сидел подолгу на берегу моря, изредка обедал вместе с другими в нашем посольстве или пил чай у знакомых датчан.

Но больше всего мы, трое лиц русской свиты, проводили время вместе, собираясь обыкновенно у фрейлины императрицы Екатерины Сергеевны Озеровой. И ее уже теперь нет, этой милой общительной женщины, седой, исхудалой донельзя от долголетней болезни, но всегда с живыми движениями, с натянутыми нервами, постоянно о чем-либо волнующейся и за кого-нибудь, «во имя справедливости», хлопочущей; не устававшей негодовать и порою по-юношески восторгаться.

Я ее знал давно, но узнал близко лишь тогда, в Дании. В ней было много, очень много «придворного», но хорошего придворного, без важности, мелочности, наивности, желания во что бы то ни стало понравиться, было и много просто душевного и глубоко просвещенного.

Ее живой ум охватывал с поразительной легкостью самые сложные, казалось бы, не созданные для женского мышления положения.

Она могла бы с успехом руководить наиболее влиятельным политическим салоном прежнего времени и вместе с тем была не способна на это – не только из-за недостатка материальных средств, но и из-за того, что простая, не политическая, а страдающая жизнь ей казалась наиболее важной.

В литературе придворного быта я не встречал схожего с ней облика, а между тем он существовал довольно постоянно при русском дворе. Я думаю, что этот тип вряд ли повторится с такой привлекательностью в будущем, как это бывало раньше, – наше грядущее «Сен-Жерменское предместье», несмотря на всю общность положения и среды, будет резко отличаться от французского. Они уже и теперь почти ничем не напоминают друг друга, а наше текущее, утилитарное время, порвав всякую преемственность с красивыми духовными традициями прошлого, создаст из молодежи и этого круга новых людей, быть может, с большими способностями и более сильной волей, но уже без прежней милой непрактичности, без непреодолимой потребности к высоким душевным переживаниям и без той изысканности и тонкости воспитания, что хотя и редко, но все же еще встречались у некоторых в мои молодые годы.

В моих мыслях о будущей молодежи мне невольно вспоминается еще один притягательный образ юной русской девушки, свитской фрейлины молодой императрицы, графини А. В. Гендриковой – «Настеньки», как ее называли ласкательно в ее кругу... И ее уже нет теперь на земле; большевики не пощадили и эту, полную прелести молодую жизнь, виновную только в не рассуждающей преданности своему долгу и любви к своим государям. Я вспоминаю о навсегда ушедшей с особенным волнением. Сколько часов мне пришлось проводить с ней в Александровском дворце уже в тяжкие возбужденные дни. Несмотря на свою молодость, она была серьезна и дальновидна.

На мрачном фоне надвигавшейся революции образы ее и прекрасных великих княжон до сих пор светят мне своим тихим незабываемым светом... Их милая юность обещала им такую хорошую старость. Так хотелось верить, что

разразившаяся буря, ломая деревья, сохранит хоть эти цветки...

Но довольно... О милых ушедших будем вспоминать лишь в самом себе...

■ Х

В Дании мы тогда оставались около месяца. Незадолго до нашего предположенного отъезда в Россию я получил от своего товарища по академии полковника М. К. Марченко удивившее меня по своим неожиданным известиям длинное письмо.

Он был тогда нашим военным агентом в Вене и сообщал мне, что в Австрии предстоит в очень скором времени празднование 50-летнего юбилея Франца-Иосифа¹¹⁶ и что, по имеющимся у него точным сведениям, представителем русского императора на этих торжествах будет назначен мой великий князь.

Марченко предупреждал меня, что командировке именно Михаила Александровича в венских влиятельных кругах придается очень большое значение и что ему там будет оказан особо радушный прием.

Предполагалось даже назначить великого князя, не в пример другим, шефом одного из австрийских полков, и в связи с этим в письме подымался уже вопрос о мерке для его австрийского мундира, который должен был бы быть заранее подготовлен.

Вот эти подробности Марченко вынес из некоторых доверительных разговоров с австро-венгерским наследни-

¹¹⁶ Речь идет о 50-летнем юбилее царствования императора Франца Иосифа как главы двуединого государства Австро-Венгрии (1867). Императором Австрийской империи и королем Богемии он был с декабря 1848 г.

ком Францем-Фердинандом, с которым он был довольно близок и которого очень ценил.

В ответ на такую австрийскую любезность предполагалось якобы и с нашей стороны назначить эрцгерцога Франца-Фердинанда шефом одного из русских полков...

Михаила Александровича это известие удивило еще больше, чем меня. Такое назначение могло последовать лишь от одного государя, всегда в подобных случаях задолго предупреждавшего великого князя.

Но, по словам Михаила Александровича, его старший брат ни в одном из последних писем и телеграмм даже не упоминал о таком предположении. Не знала о нем и императрица-мать.

Министр двора гр. Фредерикс, через которого обыкновенно получались дополнительные подробности, связанные с подобными официальными путешествиями, также ничего нам не сообщал.

Великий князь телеграфировал тогда государю, спрашивая, верен ли дошедший до него слух, а я о том же запросил министра двора. Полученные ответы всецело подтверждали сообщение Марченко.

Его Величество писал Михаилу Александровичу, что ему действительно надлежит через несколько дней быть в Вене, и государь надеется, что это неожиданное путешествие не очень спутает его дальнейшие планы, так как великий князь предполагал и без того уже вернуться в Россию, и сделать по пути лишь небольшой крюк для заезда в Вену ему, конечно, будет легко...

Для не любившего всякие официальные торжества Михаила Александровича полученное распоряжение было не особенно приятно. К тому же он еще не совсем оправился от

болезни и чувствовал себя неважно. Тем не менее мы стали спешно готовиться к поездке и успели заблаговременно выписать из России все необходимые вещи, подарки и деньги, но за 5 дней до нашего отъезда Михаил Александрович простудился и заболел.

Вместо него поехал в Вену другой великий князь, не столь близкий к русскому престолу, встреченный там поэтому очень холодно¹¹⁷.

О болезни Михаила Александровича тогда, как водится, немного поговорили в Вене и Петербурге. Многие называли ее «притворной» и «политической», и, как водится, ошибались. Подобные средства всегда претили его откровенной натуре. Во всяком случае, намечавшийся как будто подход Австрии на сближение с Россией, если бы он был искренен, не мог бы пострадать от такой мелочи.

Эрцгерцог Франц-Фердинанд, которого впоследствии убили в Сараеве, став наследником, не скрывал своей симпатии к славянам, возглавляемым Австрией. Он часто менял свои воззрения на внутреннюю политику Австро-Венгрии, но во внешней был дальновиден и, кажется, постоянен.

«Лучшая политика, – любил утверждать он, – это тесный союз трех императоров».

Впрочем, при жизни Франца-Иосифа он не имел никакого влияния.

¹¹⁷ В Вену поехал великий князь Владимир Александрович с женой великой княгиней Марией Павловной. 16 (29) сентября 1907 г. великокняжескую чету на вокзале в Вене встречали император Франц Иосиф и эрцгерцог Франц Фердинанд.

В эти же дни великий князь получил также неожиданное приглашение от своей сестры великой княгини Ксении Александровны провести с нею остаток осени и часть зимы в ее имении Ай-Тодор и решил вместо Гатчины ехать на Южный берег Крыма.

Мое уже с таким нетерпением ожидаемое возвращение домой, таким образом, откладывалось на очень долгое, а главное, на неопределенное время.

Узнал я об этом всего за 4 дня до нашего отъезда из Дании и недолго думая послал телеграмму моей жене, прося ее, если она может, немедленно выехать ко мне для короткого свидания в Копенгагене и заодно привезти необходимую для Вены и России военную одежду.

Моей Ольге удалось каким-то чудом в тот же день получить заграничный паспорт, вечером, после театра выехать за границу, и через два дня я уже увидел ее на копенгагенском вокзале.

Чувство, с которым после первой долгой разлуки встречаешь особенно близкого человека, конечно, известно всякому.

Мы с женой тогда провели незабываемые по радостным переживаниям целых два дня.

Императрица и английская королева были так внимательны, что пригласили мою Ольгу в Hvidöre, долго держали у себя, показывали во всех подробностях свою виллу и сад и, видимо, были очень довольны, что она не задумалась приехать одна и на такой короткий срок в Данию.

Императрица, узнав, что моя жена решила ехать вместе с нами в одном поезде до Варшавы, дала ей и интимное поручение: лично посетить в этом городе находившуюся в бедственном положении одну престарелую польскую

графиню и передать ей от имени Ее Величества привет и пакет с небольшой суммой денег. Государыня уже давно стремилась ей помочь, но долго не находила способа, так как желала, чтобы об этой помощи никто не догадывался, даже почта или ее ближайшее окружение.

В сердечной потребности и деликатном умении помочь императрица Мария Федоровна, как и все ее дети, вряд ли имела себе равных. Она всегда особенно сердилась, когда ее в этом отношении отговаривали, и старалась тогда, как это было и в данном случае, оказать помощь совершенно самостоятельно и тайно.

Как мне, не без сокрушения, рассказывал управлявший денежными делами государыни ее секретарь граф Голенищев-Кутузов, императрица из-за своей доброты очень часто была вынуждена отказывать себе в новом платье или других расходах, совершенно необходимых по ее положению.

Наши проводы в Копенгагене вышли очень торжественные.

Одновременно с нами уезжал и греческий король Георг, и на вокзал проводить отъезжающих прибыли императрица-мать, королева Английская с принцессой Викторией, король Дании и вся многочисленная королевская датская семья.

Король, отведя меня в сторону, передал мне какой-то небольшой квадратный пакет и сказал по-французски:

– Возьмите, пожалуйста, это с собой в Россию на память обо мне и о Дании. Надеюсь, вы сохраните обо всех нас хорошее воспоминание.

– О, конечно, буду вспоминать об этих хороших днях... – начал было я, как к нам подошла императрица.

– А это от нас с сестрой, – ласково улыбаясь, сказала она и немного смущенно сунула в широкий карман моего пальто небольшой белый конверт и сейчас же отошла, чтобы проститься с сыном.

Только в вагоне во время движения поезда я мог развернуть оба пакета и показать их жене и великому князю.

В том, который был от короля, находился красивый, высокой степени датский орден Данеброга¹¹⁸, а в конверте императрицы заключалась большая фотография ее и королевы, снятых вместе на палубе яхты, с собственной подписью: «Les deux soeurs» [*две сестры (франц.)*]. – О. Б.].

Такому подарку я обрадовался больше всего – фотография была действительно удачна по сходству, лучше всех, когда-либо ранее мною виденных.

До Варнемюнде мы все ехали вместе с греческим королем, в одном вагоне. Во время перевоза нашего поезда морем на пароме король пригласил Михаила Александровича и нас с женой к себе на обед.

Своей изысканной любезностью, умением поддерживать разговор, а отчасти манерами и внешностью Георг I довольно сильно напоминал своего брата, датского короля, и часы общения с ним оставили как у меня, так и у моей жены самое приятное воспоминание.

В тогдашнем его путешествии его сопровождал лишь один из его приближенных, уже пожилой человек,

¹¹⁸ Орден Данеброг – второй по значимости рыцарский орден Дании. Смысловой основой ордена стало государственное знамя Дании, на красном поле которого изображен белый крест.

шталмейстер Черновиц, судя по фамилии, не грек, а австриец, вероятно, с большой примесью славянской крови.

Помимо красивой внешности и врожденного изящества он обладал живым умом, знанием истории и увлекательно высказывал свой взгляд на современные политические события и на постоянную скрытую роль, которую в них играло и продолжало играть масонство.

Уже тогда он предвидел все те несчастья, которые действительно вскоре разразились как над греческой королевской семьей, так и над самой Грецией.

Король Георг был убит в Салониках 5/18 марта 1913 года, а Греция до сих пор не может стать на ноги¹¹⁹.

В Берлин мы прибыли под вечер, в день рождения германской императрицы. Поезд в Россию отходил только около полуночи, но из-за позднего времени – это были уже часы обеда в берлинском дворце – великий князь счел неудобным принести лично свои поздравления, хотя наше посольство на этом очень настаивало.

¹¹⁹ Король Георг I был застрелен в Салониках 5 (18) марта 1913 г. в разгар военных действий против Турции (Первая балканская война) греческим социалистом-анархистом Александром Схином. Первая греческая монархия существовала до 1924 г., когда была провозглашена Вторая Греческая Республика. Монархия была восстановлена в 1935 г. с возвращением на греческий престол династии Глюксбургов и просуществовала до 1967 г., когда к власти пришли «черные полковники» и объявили в Греции Третью Греческую Республику.

Мы прямо переехали в императорские комнаты Шарлотенбургского вокзала, где и провели несколько скучнейших часов.

Желая доставить нам какое-нибудь развлечение, советник посольства г-н Булацель, заменявший тогда отсутствовавшего посла, предложил нам поехать в театр, но Михаил Александрович, чувствуя себя утомленным, отказался как от этого, так и от какой-либо еды или вина, которого великий князь никогда и не пил.

Я вспоминаю тот комический ужас Булацеля и удивление немецкой прислуги, когда мы – два молодых кавалерийских офицера – удовольствовались тогда двумя скромными стаканами молока, поданными все же с подобающей для данного случая в Германии торжественностью.

В Варшаве, куда мы прибыли днем на следующий день, великого князя чествовали офицеры л. гв. уланского Его Величества полка, а затем мы перешли в присланный нам из Петербурга собственный вагон Михаила Александровича, выделенный из состава императорских поездов.

Оставив в нем великого князя, я поехал с женой по указанному на письме императрицы адресу к польской графине. Она сама открыла нам дверь, видимо, возвратясь только что с какого-то дневного приема, хотя и по-старомодному, но очень изящно одетая.

Обширная квартира, куда она нас ввела, была прекрасно обставлена старинной мебелью. На стенах висели громадные, во весь рост, портреты предков. Один из них, судя по надписи, изображавшей какого-то «министра справедливости» (юстиции), своей хорошей художественной работой обратил наше особенное внимание.

Ничто, казалось, не говорило о какой-либо нужде обитательницы этого почти что богатого помещения, и, сознаюсь, нехорошее чувство шевельнулось тогда во мне. Но оно длилось лишь одно мгновение – до тех пор, пока из соседней комнаты, вероятно, услышав наши голоса, к нам не вошел, с трудом передвигая ноги, брат хозяйки, худой, желтый, изможденный болезнью или голодом старичок с подвязанной щекой, в старом халате и изорванных туфлях.

Узнав от жены о цели нашего посещения, графиня даже разрыдалась от неожиданной радости и волнения.

– Если б вы только знали, – не переставала она повторять, пожимая руки жене. – О, если бы вы знали, от чего, от какого ужаса нас спасает сейчас с братом добрая императрица...

Я не знал, но уже понял, «от чего». Я понял, что голодная нищета и отчаяние могут жить не только в подвалах или на чердаках; что они порою забираются в обширные барские помещения к одиноким умирающим старикам, сияющим еще для видимости поддерживать прежние связи, ничего, кроме памятных родовых вещей, не имеющих и предпочитающих голод и холод их продаже...

Но я почувствовал эту тщательно прикрытую нищету лишь на месте, да и то после немалых сомнений.

Императрица же угадала ее издалека.

В Варшаве я простился с женой. Ей надо было переезжать через весь город, чтобы попасть на Петербургский вокзал, и проводить ее любезно вызвался местный жандармский полковник, находившийся для охраны около вагона великого князя.

– Время теперь особенно беспокойное, – убеждал он. – Теперь убивают не только министров и губернаторов, но не

забывают и людей попроще... Вот и за мной уже сколько времени охотятся... бросали и бомбы... Никогда не знаешь, доедешь ли благополучно.

Бедной моей Ольге, видимо, не очень улыбалась поездка с таким провожатым, но она храбро села в его экипаж, и кто знает, быть может, именно из-за ее присутствия – присутствия посторонней женщины – никакого покушения на этот раз на жандарма не было, и он, и она благополучно доехали по своим домам, а мы двинулись в Крым, манивший нас своим теплом и полнейшим отдыхом.

В Бахчисарае нас встретил со своим автомобилем великий князь Александр Михайлович, и мы понеслись по прекрасной дороге среди еще не виданной мной местности и своеобразных татарских деревушек с их довольно живописными обитателями.

В особенности незабываемой осталась картина, открывшаяся с перевала после долгого переезда по уже выжженной, серой степи с ее ледяными ветрами, когда точно по волшебству переменилось все – и климат, и краски, и дали...

Она действительно очаровательна, эта наша русская Ривьера с ее немного мрачным «черным морем», с приветливыми зелеными горами, с ее виноградниками, могучей растительностью, цветами и целым океаном света и горячего пахучего воздуха. Она красива своей особенной красотой, мало напоминающей заграничные излюбленные побережья.

В ней нет заграничной вылощенности, меньше искусственных насаждений, и человек еще не успел переделать природу по-своему, всегда мелкому вкусу. Предоставленная по большей части самой себе да горячему солнцу крымская

природа являет всю красоту и силу, присущие лишь свободному существованию.

Ай-Тодор – имение великого князя Александра Михайловича – расположен на высоком берегу у самого моря, вблизи Ялты¹²⁰.

Небольшой уютный дворец-коттедж окружен большим парком, спускающимся частью террасами к берегу. Парк так обширен, что в нем можно охотиться. В нижнем красивом саду, полном растений, имеется большой дом, предназначенный для жительства великокняжеской свиты, в котором гостеприимные хозяева меня и поместили. Михаил Александрович жил в отдельной постройке наверху около главного дома.

¹²⁰ В 1869 г. великий князь Михаил Николаевич приобрел земли вблизи мыса Ай-Тодор для своей жены великой княгини Ольги Федоровны. Имение занимало площадь около 70 десятин. Один из авторов проекта имения – архитектор Котенков; были построены маленький дворец, помещение для управляющего имением, свитский дом, кухонные, кавалерские, конюшенные, рабочие помещения, винный подвал. Был также заложен парк и высажены виноградники. После смерти в 1889 г. великой княгини Ольги Федоровны имение «Ай-Тодор» по завещанию перешло ее сыну великому князю Александру Михайловичу. Впоследствии от «Ай-Тодора» отошли два небольших участка для имений «Харакс» и «Сосновая роща». В 1902 г. имение увеличилось и занимало территорию более 200 десятин. В 1912 г. был возведен дворец Крыма по проекту архитектора Н. П. Краснова, он выполнен в стиле модерн, украшен барельефами, на которых были изображены античные сцены.

Я всегда буду с признательностью вспоминать те месяцы, проведенные с такой беспечностью в радушной обстановке Ай-Тодора.

Я и раньше любил великую княгиню Ксению Александровну, относившуюся с сердечным, постоянным вниманием к моей семье.

Невысокого роста, с красивыми большими, немного задумчивыми глазами, чрезвычайно женственная и изящная, она и своими манерами во многом напоминала свою мать, императрицу Марию Федоровну.

Обладательница многочисленного семейства, она всегда поражала меня своею сохранившеюся свежестью, легкостью в движениях и казалась скорее старшею сестрою, чем матерью своих старших детей.

Ее супруг, великий князь Александр Михайлович, высокий, стройный, также казался тогда молодым и красивым.

Их дети: княгиня Ирина Александровна, вышедшая впоследствии замуж за князя Юсупова, и князья Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав и Василий Александровичи были, в большинстве еще совсем маленькими.

Я всегда любил все, начинающее еще только жить, и присутствие в Ай-Тодоре маленьких детей мне доставляло много лишних радостных минут. Моим любимцем был тогда, из-за своего нежного музыкального голоса и красивого одухотворенного личика, маленький Ростислав Александрович, а также премилые и живые дочери жившего по соседству великого князя Георгия Михайловича маленькие Нина и Ксения Георгиевны.

Все они теперь выросли, переженились или повыходили замуж; наверное, и время, и жизнь изменили их до

неузнаваемости, и они, конечно, давно забыли меня, да и сами, верно, стали совсем обыденными людьми. Но впечатление от их тогдашнего привлекательного детства – дети всегда разнообразнее и «душевнее» взрослых – было настолько сильно, что живет во мне и до сих пор.

Как хозяйева великий князь и великая княгиня не оставляли желать ничего лучшего. Заботливые и внимательные, они предоставляли полную свободу своим гостям, чувствовавшим себя у них как дома.

В наше полное распоряжение были предоставлены даже отдельные экипажи, которыми мы могли пользоваться в любое время для наших прогулок.

Великокняжеская свита состояла также из на редкость милых людей, с которыми я быстро сошелся по-товарищески.

Она была немногочисленна. В то время со мною в свитском доме находились: фрейлина великой княгини С. Д. Евреинова, заведующий двором Шателен, адъютант великого князя Фогель – оба морские офицеры, и шталмейстер С. Н. Евреинов, бывший гвардейский улан, прекрасной души человек и талантливый рассказчик, немного напоминавший известного Горбунова.

Воспитательницей княжны Ирины Александровны была фрейлина высочайшего двора м-ль Ершова, несмотря на свою молодость, удивительная по своей серьезности и выдержанности. Воспитателем сыновей был очень милый швейцарец, фамилию которого я, к сожалению, забыл¹²¹.

¹²¹ Речь идет о Никкиле Алоизии Марциллиновиче. Так о нем вспоминала воспитательница великой княжны Ирины

Оба жили в главном доме, вблизи своих воспитанников, и я с ними реже встречался, чем с остальной великокняжеской свитой.

Когда говорят о русских придворных, обыкновенно под ними понимают то громадное количество светских и несветских людей, носящих всевозможные придворные звания и имеющих доступ ко двору во время торжественных выходов, балов и других празднеств. Но они были придворными у нас в России лишь, так сказать, только по названию и по заманчивым для большинства правам иметь в известные дни выделявший их от других красивый, расшитый золотом мундир у мужчин и не менее красивое русское придворное платье у дам.

Бывшие малочисленными в прежние царствования, близко известные русским государям, имевшие ранее при дворе и постоянные дежурства, и свои обязанности, они в последующие годы уже давно перестали принимать какое-либо участие в повседневной жизни царствующего дома, потеряв с этим и свое влияние, и свои внешние и

Александровны графиня Е. Л. Камаровская: «[Никкель] был разносторонне образованный человек, культурный, лет уже за сорок. Он прекрасно владел многими языками (русским, польским, немецким, английским), любил науки, искусства, спорт, был фотограф-художник. Словом, это был человек большого внутреннего содержания и человеческого достоинства. Он нисколько не стеснялся сказать правду, как бы она ни была неприятна, высказать свое признание к высочайшей грубости, и часто его остроты блистали, как лезвие ножа. Он не способен был ни на какую-либо пошлость, тем более низость» (Камаровская Е. Л. Воспоминания. М., 2003. С. 128).

внутренние особенности, считающиеся – правильно или нет – характерными лишь для этого круга людей. Уже задолго до революции они смешались с обычным обществом обеих столиц, ничем ярким более от них не отделяясь. Прежних «великолепных» вельмож, тесно связанных с двором, в мое время уже почти не замечалось.

Придворными в настоящем, более близком значении этого слова у нас можно было считать только ближайшее окружение, жившее ежедневной жизнью как большого, так и малых дворов, и которое почему-то, быть может, частью из зависти, привыкли пренебрежительно называть «кликою». Мое близкое знакомство с этими людьми заставило меня убедиться, что в своем громадном большинстве они не заслуживали такого пренебрежительного отношения, что, впрочем, убедительнее всего доказывали и сами презрительно о них отзывающиеся, обращавшиеся именно к этим лицам за всевозможным содействием и даже за советами.

Если их выбирали и приближали, то отнюдь не благодаря каким-либо отрицательным качествам в смысле навязчивости, умения подделываться, забавлять или благодаря их способностям к утонченным интригам и карьеризму. Обыкновенно этих людей знали уже давно, к ним заранее присматривались, и их находили подходящими только в тех случаях, если, как казалось, они не обладали именно этими отрицательными качествами, которыми их так охотно снабжали посторонние.

Титул, знатность и заслуги лишь одних предков если и имели в этом выборе какое-нибудь значение, то очень маловажное и до удивления редкое. Они не были и грубыми, «неизвестно откуда» явившимися «гатчинцами» времен императора Павла, как не были и изнеженными,

утонченными царедворцами блестящего века Екатерины или Елизаветы Петровны.

Время и характеры государей сказались и на них. Они были просто хорошей золотой серединой между этими крайностями, быть может, немного и бесцветными, как привыкли называть бесцветным и все наше время, с нашим дореволюционным обществом, но тем не менее благодаря известному отбору обладали уже всеми без исключения скучными качествами этого последнего.

Ввиду этого совместная жизнь со свитой великих князей была для меня во всех отношениях очень приятна, и я лично находил в их среде то же дружеское, откровенное, лишенное всякой зависти отношение к себе, как и в моей родной полковой семье.

Почти то же самое я могу сказать и о ближайшей свите государя. Там лишь иногда давала себя почувствовать зависть или желание подставить другому ножку, но без всякого особенно недоброжелательства, а скорее из-за какого-то своеобразного спорта!

«Счастливым человек, – скажут иронически обо мне многие, – он обо всех сохранил хорошее впечатление».

«О, далеко не обо всех, – скажу я в ответ, – но о том подавляющем большинстве, с которым мне приходилось соприкасаться и которое ко мне относилось хорошо и внимательно. Быть может, я довольствовался слишком малым, но я старался, хотя часто и неудачно, любить окружавших меня людей и всегда особенно радовался их доброму ко мне отношению».

Если мое время казалось и, наверное, будет казаться многим из-за его обывательской мелочности серым и бесцветным, то люди, жившие одновременно со мной и

вблизи меня, мне лично никогда не представлялись такими. Ввиду этого каждый человек из лиц великокняжеской свиты был мне по-своему интересен, так как обладал характером, поступками и оттенками суждений, отличавшими его от остальных, и это делало мое общение с ними очень занимательным, а одинаковые взгляды на обязанности и долг придворной службы – и особенно сближающими.

День в Ай-Тодоре распределялся следующим образом: вставали мы, когда каждый хотел – я, конечно, позднее всех, – и пили кофе у себя в комнатах; затем занимались своим служебным делом, отправлялись на прогулку или ездили в Ялту.

К завтраку все собирались в главном доме. Повар у великого князя был превосходный. Для обильной еды все многочисленные блюда сразу ставились на стол, и прислуга затем удалялась.

После завтрака предпринимались совместные прогулки или поездки по дальним окрестностям. Дневной чай свита обыкновенно пила у себя, в свитском доме, где радушной хозяйкой являлась чрезвычайно милая и вдумчивая С. Д. Евреинова. Времени для чтения и для занятий своей домашней работой было всегда достаточно.

К обеду собирались опять все вместе и затем проводили время или играя в карты, или чаще всего в «Bull», в котором принимали участие все присутствовавшие.

Александр Михайлович любил всякого рода спорт и вносил много оживления в эту игру.

Иногда приезжали к великому князю гости, чаще всего ближайшие соседи – чета кн. Юсуповых и великий князь Георгий Михайлович со своей супругой. В свою очередь и мы ездили к ним и кн. Барятинским. Изредка устраивалась в

парке охота, а по воскресеньям все собирались к обедне в крошечной уютной церкви, находившейся в верхнем саду. Отдых напряженным нервам при таких условиях был полный.

Для меня лично вскоре нашлось еще и очень интересное занятие.

В далекие времена римского владычества на побережье Ай-Тодора, около теперешнего маяка, существовал небольшой римский поселок с укреплением, следы которого, вроде остатков валов и рвов, еще ясно замечаются до сих пор.

Великий князь, большой любитель старины, уже давно начал раскопки в этом месте, давшие много ценных находок в виде старинного оружия, редких по надписям монет и очень большого количества древних ваз и другой утвари еще более ранней эпохи, частью в прекрасной сохранности.

Все это было собрано Александром Михайловичем в его небольшом, но очень наполненном музее¹²².

К дням нашего пребывания раскопки, производившиеся ранее наемными турками, более других оказавшимися способными к такого рода осторожной работе, были временно прерваны из-за недостатка умелых рабочих.

Они все же настолько подвинулись вперед, что успели открыть не только стены отдельных построек, но и ясно намечавшиеся улицы, водоемы и другие приспособления этой своеобразной русской Помпеи.

¹²² Значительная часть археологических ценностей была передана великим князем Александром Михайловичем в Херсонесский музей древностей.

Желая продолжать свои раскопки, но не имея для этого подробного плана местности, великий князь и предложил мне, ввиду моего знакомства как академика со всякими земельными съемками, заняться этим делом.

К сожалению, из-за недостатка точных инструментов и нашего вскоре отъезда я не успел закончить эту работу как следовало бы и как я того желал. Но она меня увлекала настолько, что я посвящал ей урывками все свободное время – способствовать хоть чем-нибудь в борьбе с всеразрушающим временем всегда дает известное удовлетворение...

В Крыму у великого князя я познакомился с тогдашним градоначальником Ялты генералом Думбадзе. О нем с особенным раздражением отзывалась либеральствующая общественность, и имя его было далеко известно за пределами Крыма.

О его личности, несмотря на его действительно частое «превышение власти», я вынес самое лучшее впечатление. В те немирные, мутные времена этот решительный старый солдат был более на своем месте, чем кто-либо другой, не обладавший такими качествами. Он не тратил долгих слов, не раздумывал, а угадывая чутьем, как надо было поступить, действовал находчиво, смело, порою с веселым добродушием и нередко с веселою же снисходительностью.

Чего в нем было много, это презрения ко всему социалистическому, заносчивому, но ни на что другое, кроме крикливых призывов к бунту, не способное. Это был маленький крымский Муссолини с таким же южным темпераментом, но, конечно, без широкого размаха и образования этого последнего.

Обывательское население Ялты было им довольно и его хвалило. Говорят, что действия подобных, не либерально

настроенных «маленьких владык» и довели якобы Россию до нынешнего печального состояния. Думаю, что тут были замешаны совсем другие причины. Муссолини и диктаторы не появляются и не нужны там, где царствует порядок, не происходит убийств, как было в начале XX века у нас, и где население имеет возможность спокойно заниматься своим трудом. Скажут сейчас же, что тогда не было бы надобности появляться и революционерам. Было бы хорошо, если бы было всегда так.

В действительности фанатики и разный темный сброд вроде современных большевиков имеются всюду и всегда.

В малом числе, при нормальных условиях, они, конечно, безопасны. Лишь тогда, когда они своими несбыточными посулами начинают мутить страну и вести народ к гибели, на них обращает внимание не только правительство, но и само трудящееся население, выделяя для борьбы с ними особенно энергичных людей. Что такие люди являются необходимыми, в особенности при так называемом «свободном», то есть распущенном режиме, с достаточной наглядностью показало бездействие Временного правительства и презрение к нему почти всего населения.

«Маленький», «жалкий», «недалекий», но добрейший Думбадзе был намного полезнее для России своей «глупой решительностью», чем «глубоко просвещенный» князь Львов, Керенский и им подобные – опасавшиеся разрушить право свободы речи Ленина прогнать большевиков из захваченной ими дачи Кшесинской.

Раз в неделю, в установленное время, мы всей компанией ездили в Харакс – соседнее имение великого князя Георгия Михайловича, в свою очередь и он с великой

княгиней Марией Георгиевной приезжали в Ай-Тодор обедать и провести вечер.

С ними приезжала и их свита, заведующий двором полковник Эшаппар, фрейлина великой княгини О. Н. Философова и адъютант великого князя моряк Н. Н. (кажется, Пастухов).

Харакс – это красивая обширная каменная вилла недавней постройки в греческом стиле с изумительным видом на море и красивым, еще молодым садом, где все посещавшие имение сажали по своему выбору деревья. Я посадил тогда мой крохотный дуб, выросший в этой благодатной стране за три-четыре года чуть ли не до моего роста.

Вечера, проведенные в Хараксе, были более однообразны, но не менее уютными, чем в Ай-Тодоре.

Великая княгиня Мария Георгиевна и ее супруг были также чрезвычайно милыми и радушными хозяевами. В их доме чувствовалось совершенно легко и непринужденно.

Это были тогда первые дни моего более близкого знакомства с великим князем Георгием Михайловичем. Он и раньше нравился мне своим, отличавшим его от остальных братьев простодушием, а тогда он привлек меня и своим удивительным доброжелательством к людям и своим полным отвращением к каким-либо интригам или наговорам.

Ко мне он относился с дружелюбием, откровенностью и приветливостью, всевозраставшими и тем более для меня дорогими, что я ничем особенным среди знакомых ему людей не отличался.

Да и впоследствии, когда я был уже флигель-адъютантом, а Георгий Михайлович получал от

государя какие-либо ответственные поручения, он всегда, обыкновенно без моего ведома, испрашивал у Его Величества разрешение взять и меня с собою в качестве его помощника.

Сколько дней, а порою и месяцев мне пришлось провести с ним в этих совместных памятных поездках и о чем только за это время не переговорить!

Всегда ровный, добродушный, не желавший никому зла, старавшийся всякому помочь, он живо интересовался всем совершавшимся, горячо принимая к сердцу все, что так безудержно говорилось о царской семье, он сам отзывался о государе с рыцарским уважением и подчеркнутой почтительностью.

– Меня так воспитал мой отец, – говорил он, – и иначе относиться я не могу.

Он был один из немногих его круга, кто в те дни обладал этой столь необходимой как для самих великих князей, так и для всей России добродетелью...

Государь это чувствовал и назначил его состоять при себе, когда сделался верховным главнокомандующим.

В Георгии Михайловиче действительно, несмотря на всю его простоту, еще можно было изредка чувствовать то старое великокняжеское, которое за последнее царствование уже исчезло безвозвратно.

«Бескровная» революция не пощадила и этого скромного, добрейшей души человека. В дни отречения великий князь Георгий Михайлович был в поездке на фронте и возвратился в Петербург, когда все было уже кончено.

Он перебрался тогда в Финляндию, где сначала жил на небольшой даче совершенно незаметным, вместе с бывшим

командиром конвоя гр. Граббе. Семья, которую он нежно любил, находилась во все время войны в Англии. Одиночество и разлука его всегда тяготили, а в те дни особенно.

Он не выдержал и поехал на короткое время в Гельсингфорс, чтобы узнать о возможности выбраться к своей семье за границу на одном из приходивших в Финляндию пароходов.

Красные финляндцы его узнали из-за его видной фигуры и выдали его русским большевикам. Те его перевезли в Петербург, а оттуда в середине апреля 1918 года выслали в Вологду, где он первое время находился под домашним арестом, но вскоре заключили его в тюрьму.

Затем последовали: 20 июня перевоз на Гороховую, 2, тюрьма на Шпалерной и ужасная кровавая ночь на 18 января 1919 года в Петропавловской крепости.

Он не падал духом и не переставал надеяться. История с неудавшимся заступничеством Горького уже известна¹²³. Все

¹²³ 9 января 1919 г. Президиум ВЧК (в заседании участвовали Я. Х. Петерс, М. И. Лацис, И. К. Ксенофонтов и секретарь О. Я. Мурнек) вынес постановление «Приговор ВЧК к лицам бывшей императорской своры – утвердить, сообщив об этом в ЦИК». Речь шла о приговоре великим князьям, содержавшимся в Петропавловской крепости, – Николаю Михайловичу, Георгию Михайловичу, Павлу Александровичу, Дмитрию Константиновичу. Несмотря на ходатайства Академии наук и Максима Горького, 16 января 1919 г. состоялось заседание Совнаркома под председательством В. И. Ленина, на котором Ленин подтвердил приговор с формулировкой «революция не нуждается в историках» (Протокол заседания Президиума от 9 января // Архив ВЧК: Сборник документов. М.,

время о нем заботились его верный камердинер из солдат Моторный, и управляющий делами Майхровский.

Меня с братом привезли на Гороховую, 2, всего 2-3 недели спустя, как там находился Георгий Михайлович вместе с некоторыми другими великими князьями, также расстрелянными в ту же ночь.

Рассказывали, что их возмутительным расстрелом руководил тот же комендант Чеки на Гороховой, Галкин, который так издевался и надо мной с братом (см. «Мои тюрьмы»).

О мученической кончине дорогого Георгия Михайловича я узнал лишь через очень долгое время...

* * *

В начале декабря 1907 года мы с Михаилом Александровичем покинули гостеприимный, еще цветущий Ай-Тодор и возвратились в уже покрытую глубоким снегом Гатчину.

Через несколько долгих лет мне снова пришлось увидеть Крым во всей его прежней красе, но при другой, еще более памятной мне обстановке.

Это было в конце лета 1913 года, по окончании красносельских маневров, в высочайшем присутствии, на которых присутствовал и будущий французский главнокомандующий генерал Жоффри.

Кучково поле, 2007). Точная дата расстрела великих князей неизвестна. Газеты сообщили о расстреле 31 января 1919 г. Реабилитированы посмертно в 2009 г.

Я тогда находился все время в свите государя и собирался, окончив эту мирную службу, уже ехать в разрешенный мне отпуск в деревню, как неожиданно получил от командовавшего главной квартирой графа Фредерикса срочное извещение, что государю императору угодно было назначить меня для сопровождения Его Величества в путешествие в Крым и для дальнейшего 3-недельного дежурства в Ливадии.

Отъезд предполагался уже через два дня. Я был тогда молодым, то есть еще недавно назначенным флигель-адъютантом, и этот выбор, которого удостаивались очень немногие, меня не только польстил, но и обрадовал.

Это было мое первое долгое путешествие совместно со всей царской семьей, с которой мне до того приходилось лишь ненадолго встречаться во время моих нечастых дежурств в Александровском дворце.

Мы выехали тогда в середине августа, в довольно большой компании. По дороге к нам присоединилась еще и великая княгиня Ольга Александровна.

В те дни в Севастопольской бухте для смотра государя был собран весь наш черноморский флот. Было и несколько парадов местных войск. Туда же, обогнув всю Европу, пришла и императорская яхта «Штандарт».

Мы провели на ней в Севастополе незабываемые две недели.

Ежедневно посещали военные суда, осматривали поля сражений, совершали длинные поездки по окрестностям и наслаждались всем тем, что может дать лишь жизнь на такой роскошной яхте среди еще более роскошной природы. Затем пошли морем в Ливадию. Дни тогда стояли безоблачные, сияющие, невыносимо жаркие (доходило до 52 градусов

Реомюра), что я особенно любил. Каюта мне была отведена наверху – очень просторная и роскошная, но красное дерево ее стен накалялось от солнца невыносимо.

Южный берег Крыма, столь очаровательный, когда к нему подъезжаешь с суши, показался мне еще более прекрасным с подхода к нему морем.

Жил я тогда в Ливадии в прекрасном свитском доме, стоявшем рядом с новопостроенным дворцом¹²⁴. Там же помещалась и остальная ближайшая свита.

С балкона моего обширного помещения открывался восхитительный вид на море и частью на Крымские горы. В особенности были очаровательны тогдашние ночи со звуками цикад, пахучим от цветов воздухом и плещущимся тихо невдалеке морем.

Сам дворец, построенный на средства уделов архитектором Красновым и подаренный государем своей супруге, был очень обширен, выдержан и красив, с прекрасной стильной обстановкой, но мне он казался почему-то холодным и неуютным – как неуютны бывают все новые, еще «необжитые» постройки.

Зато его внутренний мраморный белый дворик, весь покрытый в промежутках густым ковром роз, являл собою красоту неопишемую.

¹²⁴ Ливадийский дворец сооружен в 1911 г. по проекту архитектора Н. П. Краснова. Задуман в стиле раннего итальянского Возрождения, но в ходе строительства архитектор отказался от строгого соблюдения принятого стиля в пользу большей комфортабельности.

Жизнь в Ливадии протекала хотя очень размеренно, но и очень непринужденно. Начало дня свита проводила большей частью по своему усмотрению. К утреннему кофе на дому приносились всем фрукты и прекрасный виноград из царских садов. Полагался каждому и придворный экипаж, что позволяло делать длинные прогулки по красивым окрестностям.

В свободные часы я пользовался своим экипажем и ездил часто в Харакс к великому князю Георгию Михайловичу, которого я очень любил.

Представляющиеся в Ливадии обыкновенно бывали очень редки и малочисленны, так что дежурному флигель-адъютанту приходилось надевать дежурную форму только на эти короткие промежутки. В остальное время ему разрешалось быть по-домашнему.

К завтраку все собирались вместе с царской семьей в большой столовой зале внизу. Иногда по праздникам там играл военный оркестр.

После завтрака подавались обыкновенно автомобили. Государь, великие княжны и часть свиты по приглашению выезжали до какого-нибудь места, где устраивали пикник или шли в длинную, иногда небезопасную прогулку в горы.

Императрица из-за частого недомогания редко принимала участие в этих прогулках. В таких случаях, чтобы не оставлять ее одну, при ней всегда находилась очередная «дежурная» великая княжна. Его Величество очень любил Крым, знал до мельчайших подробностей местность около Ливадии и собрал библиотеку по истории этого края.

Обедала царская семья обычно без посторонних в своем уютном помещении наверху. Исключения бывали лишь в тех случаях, когда истекал срок приглашения и фли-

гель-адъютант или другое лицо свиты должны были покинуть гостеприимную Ливадию.

Их Величества тогда устраивали у себя наверху, в семейной обстановке, «прощальный» обед уезжающему, не приглашая никого другого.

Обедала свита поэтому почти всегда за так называемым гофмаршалским столом, и вечер обычно проводили все вместе. Кроме ближайшей свиты государя и императрицы, которых я уже знал хорошо, я в эти часы общения познакомился ближе лишь с новым духовником Их Величеств, еще совсем не старым отцом Васильевым, и Елизаветой Алексеевной Нарышкиной, назначенной обер-гофмейстериной на место скончавшейся княгини М. М. Голицыной.

Отец Васильев произвел на меня глубокое впечатление своей изумительной по искренности и задушевности церковной службой. Его молитвы и возгласы во время обедни шли не только от всего сердца, но были даже как-то особенно проникновенными. Подобного впечатления я до того не испытывал ни от одного священника. Кто так молится, не может быть плохим человеком или неискренним проповедником, действующим лишь напоказ, то есть «духовным карьеристом».

Я не знаю или не запомнил, как и через кого он попал ко двору и сделался духовником, но мне было совершенно понятно, почему именно на нем Их Величества остановили свой выбор.

Как относился отец Васильев к Распутину? Не знаю, вернее, совершенно забыл, хотя разговоры с ним лиц свиты в моем присутствии по этому поводу бывали, конечно, неоднократно.

Думается, что его суждения не были довольно ярки, иначе они бы запомнились. Вспоминаю только, что он относился к личности Распутина весьма отрицательно, хотя и не видел никакого вреда от него на религиозное сознание Их Величеств.

Отца Васильева зверски убили, кажется, в первые месяцы революции, еще при Временном правительстве¹²⁵.

Елизавета Алексеевна Нарышкина, рожденная княжна Куракина, мать моего товарища по службе Киры Нарышкина, была весьма интересная рассказчица, много читавшая и много видевшая на своем веку.

Несмотря на то что ее жизнь началась еще в царствование императора Николая I, в ее манерах, оборотах фраз все было современное и почти совсем не чувствовалось того особенного «старинного», что мне так нравилось в ее предшественнице княгине Голицыной и в других придворных дамах ее возраста. Но, несмотря на этот более или менее современный облик, ее увлекательные рассказы из пережитого в Париже во время революции 48-го года и во время событий в течение трех царствований живо переносили меня в те отдаленные времена. Ее память была удивительно свежа и сохраняла порою самые мелкие, красочные подробности.

¹²⁵ Автор не точен. После отправки царской семьи в Tobольск о. Александр Васильев служил в храме Успения Пресвятой Богородицы на рабочей окраине Петербурга. 29 августа 1918 г. отца Александра Васильева арестовали, а 5 сентября 1918 г. тяжело больной протоиерей Александр был расстрелян в Петрограде.

Мне пришлось на днях прочесть ее воспоминания, напечатанные после ее кончины на немецком языке в Вене. К сожалению, в них не помещено очень многого, о чем она с таким убеждением рассказывала на словах. Встречается и некоторая путаница как в именах, годах, так даже и в событиях.

Суждения ее о последнем царствовании также порою не совсем близки к действительности, довольно поверхностны и отражают в себе лишь не «близкое» знакомство с царской семьей, а скорее отголосок тогдашних всеобщих предвзятых суждений. Все это вполне понятно, так как и она, несмотря на свое положение, весьма редко соприкасалась с интимной жизнью царской семьи. Тем не менее в ее записках чувствуется ее искренность и теплое чувство к своим императорам¹²⁶.

Мое дежурство вместо положенных трех недель затянулось тогда на целых почти два месяца – государю и Ее Величеству было угодно, чтобы я оставался с ними до отъезда великой княгини Ольги Александровны, которую я потом сопровождал на обратном пути.

Дни, проведенные в новом, недавно построенном Ливадийском дворце, среди изумительной по простоте и сердечности царской семьи и ликующей природы, надо лично испытать, чтобы почувствовать всю их прелесть.

¹²⁶ Елизавета Алексеевна Нарышкина умерла в 1936 г. Ее мемуары «С царской семьей под арестом: Дневник обер-гофмейстерины Е. А. Нарышкиной, 1917 г...» впервые вышли на немецком, затем на итальянском языках (1931). На русском впервые были опубликованы в «Последних новостях» в Париже (1936, май – июль).

Та небольшая борьба честолюбий и ревности, которая, как и всякая накипь жизни, присуща часто и людям ближайшего окружения, мне тогда представлялась настолько ничтожной в сравнении с остальным, что я ее просто не замечал...

Последний раз я увидел Крым и его море уже во время разгара войны, незадолго до революции, ранней весной. Мы тогда снова приезжали с государем в Севастополь для осмотра флота и сухопутных войск, отправлявшихся в особую экспедицию.

Все кругом уже уничтожало друг друга, люди шли на смерть, а равнодушная ко всем человеческим страданиям и распрям природа как будто еще ослепительнее сияла своей вечной красотой.

В ее постоянном равнодушии, быть может, и чувствовалось извечное величие превосходства, но величие, уже тогда не восхищавшее человеческую душу. Эта душа нуждалась в другом, менее величественном, но более высшем...

Я уехал тогда из Крыма без всякого сожаления...

■ XI

1908 год – год моего первого нестерпимого горя и моего первого глубокого отчаяния – начался и длился до лета в самой счастливой семейной и интересной служебной обстановке.

В придворной жизни он ознаменовался сначала браком великой княжны Марии Павловны со шведским принцем (*Вильгельмом. – О.Б.*)¹²⁷. На эту свадьбу в начале весны приезжал в Россию морем шведский король (*Густав V. – О. Б.*) с наследным принцем (*Карлом. – О. Б.*) и принцессой Ингеборгой. Встретить их в Ревеле и проводить до Петербурга был государем назначен великий князь Михаил Александрович.

В его распоряжение был тогда предоставлен императорский поезд прежнего царствования, с большой роскошью обставленный, но с меньшим изяществом, и без продуманных удобств нынешнего.

Кроме меня, с великим князем тогда выехали из Гатчины шведский посланник генерал Брадстрем, наш военный агент в Стокгольме граф Игнатьев и назначенные состоять при шведском короле генерал-адъютант Дубасов и флигель-адъютант Валя Долгоруков.

¹²⁷ Свадьба великой княжны Марии Павловны и шведского принца Вильгельма, герцога Зюдерманландского, состоялась 20 апреля 1908 г. (Подробнее: Воспоминания великой княгини Марии Павловны. М., 2003. С. 97-101; *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 309-313).

Помню, что весь вечер в этой поездке мне пришлось вырабатывать как подробности встречи, так и короткого пребывания короля в Ревеле, а также и распределение прибывающих гостей по вагонным помещениям и за обеденным столом – задача совсем простая, когда предоставлен своим собственным соображениям, и усложняющаяся до запутанности, когда вступаются в ее решение другие «знающие до тонкости» все существующие взаимоотношения иностранных гостей и их служебное положение. В данном случае этим «другим» был граф Игнатьев, заставлявший меня по несколько раз менять уже составленное мною распределение только для того, чтобы в конце концов, когда все уже спали, остановиться на моем – самом первоначальном.

За исключением этого невольного раздражения и усталости все остальное прошло у меня в самом приятном настроении.

Приход шведского броненосца в Ревель почему-то запоздал, и мы имели несколько часов свободных для осмотра города и для небольшой прогулки по ревельскому побережью. Я Ревель видел тогда в первый раз, и он мне понравился своей красивой стариной и своим морем.

Шведский броненосец подошел к самой пристани уже под вечер и под гром салюта и звуки шведского гимна остановился.

Михаил Александрович в сопровождении свиты поднялся на палубу и приветствовал от имени государя и России прибывших гостей. Затем состоялось взаимное представление свит и церемониальный марш почетного русского караула.

Король оказался спокойным, простым и серьезным человеком.

Наследный принц был тоже любезен и прост. Прелестная и оживленная принцесса Ингеборга была особенно весела и всем довольна, а их свита от всего приходила в радостное изумление.

Из тогдашних мелочей я вспоминаю, как их поразила своей роскошью наш самый обыкновенный служебный вагон маленькой портовой ветки, в котором нам надо было проехать 3 версты до главного пути, а наш устаревший императорский поезд привел их в полный восторг.

Ревельское население также старалось оказать почетному гостю всевозможные знаки внимания. Кроме обычных русских хлеба и соли, королю местным кондитером был поднесен настолько громадный пирог из марципана, что его с трудом удалось протиснуть в вагонную дверь.

Небольшое затруднение оказалось лишь в привычках шведских гостей. Король, чувствуя себя к тому же простуженным, очень любил тепло и просил, чтобы в его отделении было натоплено возможно жарче. Принцесса Ингеборга, наоборот, предпочитала холод, а наследный принц привык к обычной комнатной температуре и не выносил другой.

Отопление в старом императорском вагоне из-за несовершенства прежней техники не было приноровлено к такому разнообразию вкусов, но все же благодаря сметливости поездной прислуги удалось удовлетворить все желания, отдавая предпочтение больному королю, а не даме.

В его спальне и столовой, где мы с ним обедали, в салоне, где затем он играл в карты, было так жарко, что трудно было дышать, в отделении принцессы Ингеборги из-за открытых

окон и ледяной ночи царствовал чуть ли не мороз, а у остальных какими-то непостижимыми снаровками удалось сохранить безразличную теплоту хорошего спального вагона.

По дороге ночью даже останавливались на одной из маленьких станций на несколько часов, чтобы предоставить спокойный сон утомленным от морской качки гостям.

Странно, как такие смешные мелочи запоминаются, а более интересные совсем исчезают из памяти.

К сожалению, это редко зависит и от воли человека, которому, конечно, хочется запомнить лишь важное!!!

В Царское Село мы прибыли на следующий день, где король был встречен государем, императрицей, всеми великими князьями и громадной свитой в особо торжественной обстановке.

Помещение ему было отведено в большом Царскосельском дворце, куда его проводил сам государь.

Затем последовал парадный завтрак и не менее парадный обед. Король еще утром пожаловал всем его сопровождавшим высшие шведские ордена. Я получил тогда от него красивый орден Меча¹²⁸.

Государь, в свою очередь, наградил всех присутствовавших на празднествах шведов русскими орденами. Этот

¹²⁸ Орден меча – государственная награда Королевства Швеции. Орден был учрежден в 1522 г., награждались только отличившиеся в военном деле. Орден сначала имел две степени. В 1788 г. король Густав III установил еще одну, высшую, степень ордена. Большой крест вручался только тем, кто одержал над неприятелем знаменитую победу.

красивый обычай, существующий с давних времен при всех дворах, всегда был приятен для тех, кого он так случайно касался.

С каким бы пренебрежением и даже насмешливостью ни относились к различным знакам отличия – «этим побрякушкам», как их называли, – я постоянно подмечал даже у наиболее искренних удивительную неискренность в данных случаях. Громкие слова самых убежденных друзей скромности и всеобщего равенства и тут шли вразрез с интимной действительностью. Такова уж, видно, человеческая природа – ее всегда влечет не к равенству, а к выделению и превосходству.

И орден Почетного легиона республиканской Франции, и «Красного Знамени» пролетарской России – ясные тому доказательства. Даже американцы, не имеющие своих орденов, всегда были польщены, когда их награждали иностранными.

Создавая орден Почетного легиона, Наполеон так говорил убежденным республиканцам, противникам этой меры: «Я желал бы, чтобы мне указали на какую-нибудь республику – древнюю или современную, в которой не было бы отличий... Я не верю, что французский народ любит свободу и равенство. За 10 лет революции французы не изменились – у них по-прежнему одно чувство – чувство чести. Надо дать пищу этому чувству – ему надо дать внешнее отличие. Разве вы не видите, как народ тянется к подобным иностранным украшениям и их с гордостью носит! Их называют детскими погремушками. Ну и что же? Этими побрякушками ведут людей за собой и к славе».

Для меня лично иностранные ордена, врученные мне почти все непосредственно самими носителями верховной

власти, являлись не только знаком доброго внимания чужеземной страны, оказанным русскому, но и памятью о красивых событиях, в которых мне лично приходилось принимать участие.

Никаких преимуществ они, конечно, с собой не приносили, и меня, обладателя Почетного легиона довольно высокой степени, а теперь жалкого беженца, вряд ли бы даже допустили в свободолюбивую Францию, уже упорно защищающуюся паспортными правилами от наплыва русских изгнанников.

У меня было много и русских орденов, вплоть до Владимира с мечом «на шею». Получал я их, как и остальные, в порядке постепенности по представлению начальства, но одна очередная награда, назначенная мне уже лично государем, меня больше всего порадовала. Это был портрет Его Величества в официальной «кабинетной рамке» – пожалование весьма редкое, в особенности ввиду моего полковничьего чина.

Такой же портрет и в то же время получил и другой флигель-адъютант государя граф Шереметев. Помню, что такое выделение нас обоих возбудило ненадолго завистливые толки и некоторое недоумение.

* * *

Свадебные торжества прошли в обычной, красивой дворцовой обстановке. На время их из-за большого наплыва иностранных гостей меня гофмаршальская часть поместила в крохотной комнатке той пристройки Царскосельского дворца, которая прилегает к открытой колоннаде. Под этой колоннадой, превращенной частью в уютную гостиную,

стояли и столы для утреннего и дневного чая ближайшей русской свиты.

Дни тогда стояли великолепные, и находиться там, почти что на открытом воздухе, ранней весной, когда пахло распускающимися березами и пробивающейся травой, было особенно приятно.

Само бракосочетание совершилось сначала по православному обряду в церкви Большого дворца, а затем перед лютеранским алтарем, воздвигнутым в одной из дворцовых зал.

Празднества закончились при дворе большим концертным вечером с ужином. Вспоминаю, что мы с женой поехали на него вместе с Михаилом Александровичем в его открытом автомобиле из Гатчины и, боясь опоздать, неслись полным ходом.

Перед тем как войти в зал, моя Ольга, к счастью, зашла ненадолго в помещение великой княгини Ольги Александровны, где была и принцесса Ингеборга. Они обе и их горничные обратили изумленное внимание на ее особенную бледность и красиво напудренную голову, что не было ни ее обыкновением, ни модой. Оказалось, что не только волосы жены, но и все ее лицо было покрыто густым слоем гатчинской известковой пыли, дававшей полную иллюзию пудры.

Сам концерт и ужин очень удались, а великолепные старинные залы Екатерининского дворца, полные блестящих мундиров и сверкающих камнями туалетов дам, только дополняли впечатление.

Новобрачная выделялась своей юной свежей красотой и присущей ей грацией. Она была очень оживлена и казалась радостной.

Ее муж, также молодой, высокий и стройный, был ей совсем под пару. Говорили, что этот брак состоялся по сильному взаимному влечению, вспыхнувшему якобы внезапно, и, глядя на них, я думал, что это действительно было так. Все, казалось, сулило им долгую совместную счастливую жизнь.

Через год или два я встретил молодую великую княгиню в гатчинском парке в один из ее приездов в наш дворец.

Она уже покинула тогда Швецию и на мой вопрос об обратном отъезде туда ответила, что и не собирается вернуться назад¹²⁹.

Она была печальна, задумчива и не скрывала своих разочарований. Ей, привыкшей к нашему укладу, к русским характерам, была главным образом тяжела иноземная обстановка. Русские великие княгини и раньше с трудом привыкали к жизни на чужбине и никогда не могли слиться с нею совершенно. Иностранным принцессам, в особенности немецким, попадавшим к нам, это давалось намного легче.

В России, несмотря на ее «варварство» и «татарщину», даже и в придворное окружение проникало больше душевной теплоты, народной мечтательности и неподдельного, простодушного религиозного чувства.

Екатерина II гордилась тем, что «в ней не осталось и капли немецкой крови», императрица Мария Александровна, по выражению чуткого, близко знавшего ее поэта,

¹²⁹ О расторжении брака великой княгини Марии Павловны с принцем Вильгельмом в Швеции было объявлено в конце 1913 г., в России – указами императора Николая II Сенату и Синоду – в начале 1914 г.

«обладала русской душой»¹³⁰, императрица Александра Федоровна и ее сестра великая княгиня Елизавета Федоровна сделали православными, с убеждениями и привязанностью, свойственными лишь русскому народному духу, великая княгиня Александра Петровна закончила свои дни в русском монастыре, великая княгиня Мария Павловна (старшая), несмотря на свое прежнее упорное нежелание, все же кончила тем, что перешла в православие¹³¹.

Некоторая неудовлетворенность в семейной жизни не заставляла иностранок возвращаться на свою первоначальную родину; для русских это являлось насущной необходимостью.

¹³⁰ Два выдающиеся русских поэта – Василий Жуковский и Федор Тютчев – хорошо были знакомы с императрицей Марией Александровной. Однако в их творчестве нет строк, указанных автором. Возможно, А. А. Мордвинов имел в виду воспоминания дочери Ф. И. Тютчева, Анны Тютчевой, в которых есть следующие слова, посвященные императрице Марии Александровны: «Я ей сказала, что, конечно, она первая из русских императриц родом из Германии, которая сделалась вполне православной не только по сердечному убеждению, но и по глубокому научному знакомству с православием» (Тайны царского двора. Из записок фрейлин // Анна Тютчева. М., 1997).

¹³¹ Великая княгиня Мария Павловна, рожденная принцесса Мекленбург-Шверинская, после брака в 1874 г. с великим князем Владимиром Александровичем оставалась лютеранкой практически всю свою жизнь в России. Приняла православие 10 апреля 1908 г., незадолго до смерти мужа, о чем был дан Высочайший манифест, повелевавший «именовать Ея Императорское Высочество Благоверною Великою Княгинею».

* * *

В ту же весну, но немного позднее, посетила Россию и английская королевская чета – событие тем более знаменательное, как мне лично подчеркнул тогда сам Эдуарда VII, что английские короли ни разу до него не посещали нашу родину за все время ее существования¹³².

Правда, он бывал у нас со своей супругой и раньше, но в качестве простого гостя, будучи только наследником престола, а не королем Великобритании и императором Индии¹³³.

Говорят, что опасения за судьбу именно этой последней со времен Павла I положили начало той враждебной к нам

¹³² Первый официальный визит Эдуарда VII состоялся в конце мая – начале июня 1908 г. в Ревеле. 27 мая (8 июня) 1908 г. в акватории ревальского порта королевская яхта «Виктория и Альберт» была встречена русской военной эскадрой. Переговоры продолжались два дня, впервые обсуждалась возможность войны с Германией. Россия и Великобритания договорились о введении реформ в Македонии, о назначении туда христианского генерал-губернатора, который фактически подчинялся бы иностранным державам, об установлении финансового контроля над Турцией и т. д. Николай II и Эдуард VII назначили друг друга адмиралами своих флотов.

¹³³ Принц Уэльский Эдуард, будущий император Эдуард VII, вместе с женой принцессой Уэльской Александрой, сестрой императрицы Марии Федоровны, впервые приехали в Россию на похороны Александра III в 1894 г.

политики англичан, которой ознаменовалась дальнейшая жизнь обеих стран, столь мало, казалось бы, мешавших друг другу. Я думаю все-таки, что подозрительность, хитрость, а с ними и враждебность родились намного раньше. Со времен Каина они существовали всегда и постоянно отражались на внешней политике государств, даже отделенных большими пространствами друг от друга.

Надо сознаться, что полным бескорыстием и большим доброжелательством обладают не все люди, а люди, делающие политику, ими не обладают в особенности. Их нельзя, впрочем, строго и судить.

В той хитроумной игре в скрывания, в которую превратились даже близкососедские отношения между странами, действительно нельзя отбросить все сомнения и, будучи сам искренним, уверовать в полную искренность других.

Верными и себя забывающими друзьями «до гроба» могут быть только отдельные люди, хотя бы и иностранцы; для отдельных стран, как показывает история, это понятие в большинстве случаев непригодно.

Лишь для прежней России с ее мечтательным, я бы сказал, рыцарским характером являлась возможность, забывая свои выгоды, идти спасать «братьев» или восстанавливать за рубежом чьи-то и кем-то нарушенные права.

Кроме насмешек в донкихотстве, названия «жандарма Европы»¹³⁴ и новых врагов, наша родина никакой награды себе не получила.

¹³⁴ «Жандарм Европы» – так стали называть Россию эпохи царствования Николая I в 1850-е гг. после ее участия в подавлении

Впрочем, она ее и не ждала; как все скромные, она мечтала только, чтобы ее хоть немного полюбили не за ее могущество, не за природные богатства и обширные рынки, а из-за простого влечения к ней самой, к красивому, отзывчивому на чужое горе, незлобивому характеру ее русского народа.

Благородная, всегдашняя славянская мечта – которой суждено, кажется, навсегда остаться лишь мечтою!

С нами не переставали искать сближения не за наши народные душевные качества, а потому что мы были физически сильны и обширны; но потому что мы были сильны, против нас одновременно соединялись и в могущественные коалиции или равнодушно оставляли погибать наедине.

Народ, который больше тысячелетия начертал в своих законах: «не погубите души христианской», который отказывался от сношений с другими странами только за то, что те «грех на душу взяли, короля своего до смерти убили», наконец, народ, который, по отзывам самих иностранных знатоков, создал величайшую в мире литературу и доказал свое миролюбие, настояв на создании конференции мира, продолжали считать варварским, недостойным тесного сближения.

Русских боялись, а потому и не любили. Нас не любят и теперь, когда «колосс на глиняных ногах» благодаря безразличию, а может быть, и стараниям «друзей» уже рушился, а страх перед «славянской опасностью» еще

революций 1848-1849 гг. в Европе, в частности, революции в Венгрии.

продолжает жить. Точно славянство несет за собою что-нибудь низкое, устрашающее для человечества, а не новое, светлое, выстраданное, умиротворяющее, а потому и притягательное для благородных сердец.

Когда я думал в те дни о нашем намечавшемся союзе с Англией, эти всегдашние невеселые мысли и тогда проносились в моей голове.

Я чувствовал, что и в этой новой дружбе, искренней лишь со стороны короля да двух-трех его политических деятелей, мы когда-нибудь – вероятно, вскоре, – окажемся мавром, которого за ненадобностью попросят уйти, но тем не менее это сближение мне по тогдашним группировкам в Европе не только представлялось необходимым, но и сильно меня как русского радовало. Всегда приятно сознавать, что прежние недоброжелатели наконец начинают сознавать свои заблуждения и первыми идут на сближение, быть может, и недолгое.

Мысль об этом союзе зародилась первоначально у самого Эдуарда VII. Он делал все возможное для его осуществления, стараясь при всяком случае пробить лед недоверия не только у себя, но и у нас. Я это заметил еще в Карлсбаде и, не зная короля близко, чувствовал к нему с тех пор уже большое расположение и был очень доволен, что мне представлялась возможность в числе немногих приветствовать его появление на русской земле.

Свидание монархов России и Англии собственно произошло не на земле, а на Русском море – у Ревеля. Вместе с королем приезжала королева Александра, их дочь принцесса Виктория и очень небольшая свита, в числе которой была Ledy Antrin.

Для встречи государь и императрица Александра Федоровна с детьми предполагали выйти из Кронштадта на яхте «Штандарт», а императрица-мать вместе с дочерьми и великим князем Михаилом Александровичем на «Полярной звезде», но необычайно бурная погода заставила изменить этот план.

Обе яхты были направлены в Ревель без нас, а мы выехали туда вечером отдельными поездами по железной дороге к большому неудовольствию петербургской охраны, опасавшейся, тогда особенно, покушений во время следования по сухому пути.

Поезд императрицы Марии Федоровны прибыл на пристань на другое утро, за несколько минут до приезда государя.

Весь Ревель и его окрестности собрались тогда на встречу с величествами. Густые толпы народа стояли на железнодорожном пути и на берегу около пристани.

Море к утру совсем успокоилось, и засияло солнце. Картина была очень красивая, даже величественная. На пристани нас уже ждали катера, на которых мы и перешли на яхты, стоявшие на якоре на рейде одна возле другой.

Прибытие королевской четы ожидалось к завтраку, но из-за непогоды оно задержалось, что очень волновало государыню-мать.

Наконец около 2 часов дали знать, что английская флотилия приближается. Мы вышли на палубу и действительно увидели на горизонте дымки, а вскоре и сами суда, шедшие полные ходом.

Впереди шла королевская яхта «Victoria and Albert», за ней недавно подаренная королем своей супруге небольшая яхта и громадный английский броненосец.

Их окружали несколько быстроходных истребителей-миноносцев.

Сделав красивый поворот, эскадра остановилась. Загремел со всех судов положенный салют, музыка заиграла великобританский гимн, у нас взвились английские флаги, и от «Victoria and Albert» отделился королевский катер и направился к нашему «Штандарту», где находился государь.

Через некоторое время королевская семья в сопровождении Их Величеств подошла уже на нашем катере к «Полярной звезде».

Король, веселый и оживленный, стоял в довольно неумело одетой форме нашего гусарского киевского полка, которого он был шефом, и уже издали делал приветственные знаки императрице.

Несмотря на свою полноту, он очень ловко поднялся по трапу, пропустив вперед королеву.

Свидание обеих сестер было не только радостное, но и взволнованное. После взаимного представления свит все разбились на группы на палубе.

Ко мне сейчас же подошла принцесса Виктория и стала делиться своими впечатлениями. Ее все интересовало у нас, и все было ей вновь. Ей было очень жаль, что их пребывание в России ограничивалось всего лишь 2 днями и морем. Ей так бы хотелось узнать поближе неофициальную русскую жизнь и побывать в Гатчине, о которой она столько слышала, и т. д. Она, видимо, очень любила своего двоюродного брата Михаила Александровича и его сестер.

Король и королева также очень долго и оживленно беседовали со мной, расспрашивая о многих подробностях, их живо интересовавших.

Затем был чай на «Полярной звезде», потом обед на «Штандарте» и посещение «Victoria and Albert».

За парадным обедом оба монарха обменялись известными уже речами. Насколько я помню, съезжали ненадолго и на берег для приема почетного караула от киевского гусарского полка, шефом которого был король еще в бытность наследником престола.

На другой день английские гости покинули Ревель. Этою внешностью короткое пребывание английской королевской четы в России и ограничилось, но внутреннее значение его в политической жизни Европы было громадно.

Им наглядно подтверждалось то, о чем ранее лишь догадывались, чего одни опасались, другие на что рассчитывали, но во что, кажется, все сообща не хотели все-таки крепко верить.

Да и действительно трудно как-то верилось, чтобы после Японской войны, когда Англия явно была на стороне наших врагов, она столь быстро, а главное, искренно стала искать сближения с нами.

Не верил упорно в длительную искренность этого сближения и германский император со своим тогдашним канцлером. Еще перед самой войной, 17 июля нашего стиля, все немцы с кайзером во главе были убеждены, что Англия сохранит благожелательный Германии нейтралитет и с Россией не выступит.

Говорят, что, если бы такого убеждения у немцев не было, не было бы и европейской войны.

Я не думаю, чтобы оно было в Германии настолько сильным, чтобы там все-таки могли забыть ту главную цель, которую преследовало с самого начала англо-русское

сближение и о чем задолго предупреждало ревельское свидание.

Вызванное искренним стремлением сохранить европейский мир, оно ясно указывало, на чьей стороне выступит Англия в случае его нарушения. Поэтому обвинение немцами лорда Грея, что он не предупредил их своевременно о том, что Англия в случае войны не останется нейтральной, вряд ли основательно. Начиная с 1908 года, в таком предупреждении не было уже надобности.

Но надо сознаться, что были сомнения такого же рода и у нас в России, когда Германия объявила нам войну, а Англия все еще почему-то медлила приходить к нам на помощь. Но эти сомнения длились у нас недолго, всего 4 дня.

Мне вспоминаются живо тогдашние первые дни начала войны. Я был дежурным при государе и, утомленный не прекращавшимися целый день приемами, крепко спал в дежурной комнате Петергофского дворца, когда под утро 23 июля 1914 года, около 6 часов, меня разбудили.

– Английский посол (*Джордж Бьюкенен*. – *О. Б.*) просит дежурного флигель-адъютанта немедленно подойти к телефону для передачи Его Величеству очень важного военного сообщения, – сказал мне прибежавший дворцовый лакей и добавил: – Посол очень просит подойти поскорее...

Я быстро вскочил, накинул свое пальто и прошел к телефону, находившемуся в соседнем помещении, около коридора, и позвонил.

– У телефона дежурный флигель-адъютант, – сказал я по-русски.

– Позвольте узнать, с кем имею удовольствие говорить? – отвечали мне оттуда по-французски.

Я назвал свою фамилию и чин.

– Здравствуйте, – продолжал тот же незнакомый голос. – Я – Бьюкенен, английский посол, простите, что тревожу вас так рано. Прошу вас, если возможно, сейчас же передать Его Величеству, что мною только что получено телеграфное сообщение от моего правительства, что Его Величество, мой король, объявил войну Германии и что с этой минуты мы идем в самом тесном единении с Россией против нашего общего врага.

– Какая радостная весть для нас всех, – начал быстро я, вспоминая ходившие настойчиво слухи о колебании Англии, но он меня перебил:

– Прошу вас также передать Ее Величеству императрице, что ее желание, касающееся свободного проезда принцессы Н., – посол назвал чье-то иностранное имя, которое я теперь забыл, – нашим правительством будет с готовностью исполнено. А теперь, дорогой полковник, быть может, вы не откажете передать государю императору также и мою личную радость и удовлетворение по поводу этого известия.

– О, конечно, – ответил я. – Его Величество находится теперь не здесь, а в своем коттедже в Александрии, но я сейчас же еду туда и оттуда вам позвоню.

– Благодарю вас и до свидания, – закончил уже обычным голосом Бьюкенен¹³⁵.

Я велел подать себе немедленно дежурную флигель-адъютантскую тройку и позвонил к камердинеру

¹³⁵ Подробно см.: *Бьюкенен Дж. Моя миссия в России*. М., 2006. С. 164-170.

государя, чтобы предупредить его о моем неурочном приезде.

Его Величество еще почивал, но должен был вскоре встать. Во всяком случае, он приказал себя будить, если будет что-либо важное.

Александрия находилась довольно далеко от петергофского Большого дворца. Пока закладывали тройку, пока я одевался и ехал до коттеджа, прошло не менее % часа.

Государь, предупрежденный камердинером, уже встал и сейчас же меня принял в своем памятном мне маленьком кабинете рядом со столовой.

Он был бледен и, несмотря на утро, казался очень утомленным, но был приветлив и спокоен, как всегда.

– Что такое случилось, Мордвинов, – спросил он, добродушно улыбаясь, – что вы даже намеревались меня будить?

– Только из-за очень хорошей новости, Ваше Величество, – отвечал я. – Английский посол звонил сейчас по телефону и просил вас немедленно доложить, что Англия объявила войну Германии и идет вместе с нами против немцев. Он об этом только что получил телеграмму от своего правительства.

– Действительно хорошая новость, – отвечал государь, – но для меня уже старая. Я еще вчера поздно вечером получил телеграмму об этом лично от короля и уже ему ответил. Теперь нам намного будет легче.

– Ваше Величество, – продолжал я, – посол просил повергнуть перед вами и его личную радость и полное удовлетворение по поводу этого события. Что прикажете ему передать?

– Поблагодарите его искренно от меня за его приятное сообщение и скажите, что я лично и раньше никогда не сомневался в том, что в случае нападения и беды Англия всегда выступит на нашей стороне и поможет России.

И эта страница истории уже давно повернулась!

Хотя в обеих странах еще живут те же самые люди, как и перед началом войны, но, вероятно, наступили другие времена.

Окропленная даже совместно пролитой кровью дружба Англии к прежней России существовала недолго. Хотя и не вся Англия, но ее правительство первым из наших союзников пошло на сближение с большевиками¹³⁶,

¹³⁶ Послание британского премьер-министра Ллойда Джорджа премьер-министру России князю Г. А. Львову от 10/23 марта 1917 г.: «С чувством глубокого удовлетворения узнали народы, населяющие Великобританию и ее владения на пространстве морей, что их великая союзница Россия стала ныне в ряды народов, основывающих свои учреждения на ответственном правительстве. Как высоко мы ни ценили честную и могущественную поддержку, которой мы пользовались со стороны бывшего императора и его армии, все же я не могу не выразить уверенности в том, что революция, которой вверил русский народ свои судьбы, революция, основанная на начале свободы, является самой большой услугой, которую до настоящего времени оказала Россия тому общему делу, за которое сражаются союзники, начиная с 1914 г. Эта революция обнаружила ту основную истину, что эта война в ее существе есть борьба как за народное правительство, так и за свободу. Она показывает, что благодаря войне принцип свободы, являющийся единственным верным оплотом мира на свете, уже одержал одну оглушительную победу: она верный предвестник того, что прусская военная автократия, которая начала войну и

разрушившими нашу родину, признало этих изменников общей цели равноправными¹³⁷ с собой и даже с почетом допустило в Букингемский дворец убийц не только двоюродного брата своего короля, но и убийц верного друга и фельдмаршала Великобритании.

Оно допустило в свою среду презираемых всем миром палачей и отказало, несмотря на горячее желание своего короля¹³⁸ в гостеприимном убежище их жертвам¹³⁹.

которая еще является единственной преградой для мира, вскоре будет опрокинута. Свобода есть условия мира, и я не сомневаюсь, что в результате установления твердого конституционного управления в его пределах русский народ укрепит в своей решимости продолжать войну до тех пор, пока последний оплот тирании на Европейском континенте не будет разрушен и свободные народы всех стран не соединятся, чтобы обеспечить себе и своим детям благословение братства и мира» (ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 315. Л. 11).

¹³⁷ Английское правительство признало СССР де-юре 1 февраля 1924 г.

¹³⁸ Как мне передавали, король Георг V говорил одному венгерскому политическому деятелю, что «он готов был бы отдать половину своего королевства за то, чтобы была спасена наша царская семья» (*прим. автора*).

¹³⁹ Автор ошибается в оценке отношения Георга V к приезду царской семьи в Англию весной 1918 г. Об этом свидетельствует письмо личного секретаря Георга V лорда Станфордема министру иностранных дел Великобритании Артуру Бальфуру от 24 марта 1917 г.: «...С каждым днем короля все более беспокоит вопрос о приезде в нашу страну императора и императрицы России. Как Вам известно, король с самого начала думал, что присутствие императорской фамилии (особенно императрицы) в нашей стране

Судя по напечатанным воспоминаниям дочери английского посла в Петербурге Бьюкенен, именно глава английского правительства Ллойд-Джордж воспротивился переезду государя и царской семьи в Англию под предлогом возможности из-за этого у себя рабочих беспорядков и боязни испортить отношения с тогдашним правительством Керенского!¹⁴⁰

вызвало бы различные затруднения, и я не сомневаюсь, что Вы понимаете, как это было бы неудобно для нашей королевской фамилии, столь тесно связанной как с императором, так и с императрицей. Король желает, чтобы я попросил Вас, посоветовавшись с премьер-министром, снести с сэром Джорджем Бьюкененом, чтобы он обратился к русскому правительству с предложением составить другой проект будущего местопребывания Их Императорских Величеств» (цит. по кн.: *Мироненко С., Мейлунос А. Николай и Александра. Любовь и жизнь.* М., 1998. С. 557-558).

¹⁴⁰ Позиция премьер-министра Англии Ллойд Джорджа по вопросу приезда царской семьи была основана на личной позиции короля Георга V. Личный секретарь короля лорд Станфордем написал вечером 24 марта 1917 г. во втором письме министру иностранных дел Великобритании Артуру Бальфуру следующее: «Король желает, чтобы я еще раз написал по тому же вопросу, которому посвящено мое утреннее письмо. Он должен просить Вас обратить внимание премьер-министра на то, что всему, что он слышит и читает в печати, пребывание в нашей стране экс-императора и императрицы было бы сурово осуждено обществом, и несомненно, скомпрометировало бы положение короля и королевы, от которых, как везде полагают, будто бы исходила инициатива» (цит. по кн.: *Мироненко С., Мейлунос А. Николай и Александра. Любовь и жизнь.* М., 1998. С. 558).

В императорской, не парламентарной России поступили бы, конечно, по-другому. По-другому, конечно, думает и большинство самих англичан – негодующие голоса из их среды раздаются все громче и громче. Надо надеяться, что недалеко то время, когда им подчинится и парламент.

Но даже временное торжество большевиков и унижительную дружбу с ними Европы уже не вычеркнуть со страниц истории – оно останется там навсегда ярким показателем нашего жалкого времени...

■ XII

Никогда весна и жизнь нам с женой не казались такими прекрасными, как в 1906 году. Мы обыкновенно рано, сразу после полкового праздника, уезжали на лето к себе в имение, и всегда этот переход от городской жизни к деревенской нас очаровывал.

Но тогда было действительно что-то особенное. Дни стояли изумительные; солнечные, тихие, душистые.

В нашем старом, всегда тщательно прибранном к приезду саду одновременно – что случалось редко – цвели не только все фруктовые деревья, сирень и черемуха, но и всевозможные декоративные кустарники – картина, от которой не хотелось оторваться.

Весь воздух был пропитан самыми нежнейшими запахами и полон щебетания бесчисленных птиц.

Наша холмистая местность отрогов Валдайских гор с ее далекими перелесками, с причудливо извивающимися речками и дорогами казалась тогда еще прекраснее из-за свежей зелени полей, красивых оттенков только что вспаханной пашни и целого моря весенних цветов.

Шел уже десятый год со дня нашей свадьбы, но мы были молоды, беспечны по-прежнему и по-прежнему крепко любили друг друга. Все окружающие относились к нам с сердечной добротой, друзей у нас было много, врагов совсем не было, или мы их не замечали.

Наши маленькие дети также были совершенно здоровы и прелестны в своем постоянном радостном оживлении. Было так хорошо от полноты нашего счастья и в душе, и снаружи, что даже порою становилось страшно.

Помню, что мы с утра до вечера бродили как очарованные по нашему нарядному Лашину, радовались на детей, на все, что нас окружало, и жена все повторяла: «Я чувствую себя в настоящем раю... больше желать уж нечего».

И вдруг, в один день, от незаметного для глаза случайного микроба, все сверкающее у нас потемнело, а внутри все громадное рушилось. Неожиданно захворали дети от болезни, занесенной деревенскими уборщиками еще до приезда в наш дом.

Прошло два томительных по беспокойству месяца, младшие стали поправляться, а старшему становилось все хуже и хуже.

Все усилия известного профессора, приехавшего благодаря содействию великого князя Михаила Александровича, в нашу глухую, удаленную на 100 верст от железных дорог деревню, не помогли. В день своих именин, вечером 30 августа, наш дорогой мальчик скончался на наших руках, не приходя в себя.

Мне, до того ни разу не выдававшему, как умирают люди, Бог судил впервые присутствовать при кончине моего собственного любимого сына!!!

Но да будет Его святая воля во всем. Я и раньше сознавал, что Господь любит моих детей неизмеримо сильнее меня. Мы ведь можем здесь любить лишь ничтожной частицей того беспредельного по силе всеобъемлющего чувства, которое лишь как слабый отблеск совершенства нашего общего Отца нам удалось оттуда донести до земли.

Я чувствовал, несмотря на все отчаяние, что мой мальчик Ему не чужой и, наверное, более близкий и дорогой, чем мне...

С этой верой я живу и теперь.

* * *

В августе 1908 года императрица Мария Федоровна, как обычно, уехала в Копенгаген. Михаил Александрович, ввиду лагеря и маневров, оставался временно дома и не очень спешил в Данию, жизнь в которой он, привыкший к нашему русскому простору и свободной непринудительной жизни в Гатчине, не очень любил.

Но в середине сентября он написал мне в деревню письмо, в котором уведомлял, что ввиду просьбы матери он собирается все же через несколько дней выехать наконец в Копенгаген, и очень просит меня, если это возможно, его сопровождать.

Только что дарованное испытание тяжело сказалось на здоровье жены и на не оправившихся еще от болезни наших двух маленьких.

По настоятельным советам доктора им всем требовалась не только перемена обстановки, но и климата. Я решил отправить всю семью вместе с бабушкой на Лигурийское побережье в Италию, проводить Михаила Александровича до Дании и затем присоединиться к семье в Леванто.

Выехали мы тогда из Гатчины все вместе. К заграничному поезду, в котором ехала моя семья, присоединили и вагон великого князя.

Ты, вероятно, помнишь эту твою, уже вторую поездку за границу, хотя ты и была совсем крошкой.

Вспоминаешь, наверное, как вы все приходили к нам в вагон для завтраков и обедов, как Михаил Александрович не отпускал тебя от себя, дарил конфеты, цветы, а ты возилась

забавно в купе, ползала по нему и была прелестна со своими роскошными длинными волосами. Увы! Их теперь уже нет у тебя! И ты не смогла устоять против всеобщего искушения!

Безобразная своей полной неестественностью мода сказалась и на моей такой женственной девочке. Только наше революционное время, повернувшее все понятия, могло коснуться с такой решительной грубостью считавшегося с библейских времен самым лучшим украшения женщины...

Впрочем, и этого нынешним дням становится мало. Девушки уже носят мужские смокинги и начинают курить сигары и трубки. Бедная женственность, на что тебя променяли!!! У нас в России так обезобразивали себя раньше лишь передовые курсистки и революционерки.

Мы доехали все вместе до Берлина. Оттуда семья отправилась на юг, а мы с Михаилом Александровичем двинулись на север.

В Копенгагене все было для меня по-прежнему уютно и приветливо, но и по-прежнему там шло новое громкое судебное разбирательство.

Опять судили одного из самых видных либеральных парламентских деятелей, кажется, министра, обвиненного в каких-то некрасивых денежных делах. Я всегда удивлялся количеству дел этого рода именно в странах с социалистически настроенными правительствами. Обыкновенно говорят, что в этом-то и есть их главное преимущество, так как якобы там ни один проступок против государства не остается безнаказанным.

Я лично предпочел бы, чтобы подобных поступков совсем не было, то есть чтобы люди, повторяющие на каждом шагу громкие слова о долге перед народом и

забвении собственных интересов, доказали бы полную искренность своих слов и на самом деле.

В Дании я на этот раз оставался недолго. Король Норвегии Гаакон и королева Моод, у которых в то время гостила и принцесса английская Виктория, пригласили Михаила Александровича провести у них несколько недель в Христиании.

Великий князь был очень доволен этим приглашением, разнообразившим его заграничное пребывание, и просил меня ему сопутствовать.

Выехали мы с ним вдвоем, через Швецию, еще по неизвестной нам обоим красивой дороге, шедшей почти все время недалеко от моря. Путь был довольно длинный. Пришлось ехать всю ночь, и лишь на следующий день к вечеру мы прибыли в Христианию. Мы путешествовали совершенно частными лицами, и великий князь не ожидал никакой встречи. Тем не менее встреча оказалась и торжественной, и многолюдной.

На украшенный русскими флагами вокзал прибыл сам король, а улицы, по которым мы довольно парадным кортежем медленно следовали, были до давки полны народом, громкими кликами приветствовавшим великого князя и короля.

Зная сдержанный характер норвежцев, это тогда меня и удивило, и обрадовало. Видимо, всегдашняя подозрительность соседних северных стран к «захватчице» России начинала понемногу изменяться; хотя, быть может, и это мое тогдашнее предположение было только одной из иллюзий, какими я, по обычаю, любил себя тешить в подобных случаях.

Вернее всего, встречали не брата и представителя русского императора, а просто лишь знатного гостя и родственника своего короля. Политика тут не играла никакой роли, и были лишь обычное доброжелательство и любопытство.

Современный народ, наполняющий села и города и именем которого, собственно, и делается политика, в большинстве своем сам в политике никогда не разбирается и ее по праву не любит. Если он иногда и высказывает свои чувства иностранцам, то обыкновенно не свои личные, а внушенные ему со стороны и в особенности подогретые его политическими деятелями.

Король жил довольно далеко от города, на небольшом островке Bigdo в фиорде Христиании. Покинув городские улицы, мы двинулись рысью и вскоре достигли королевской дачи.

У входа в парк нас встретила принцесса Виктория. Она долгое время бежала за нашими экипажами, оживленными знаками приветствия наше прибытие. Торжественности и напряженности как не бывало, и я сразу почувствовал себя в простой домашней обстановке королевской семьи.

Дача короля оказалась совсем маленьким двухэтажным домиком. Внизу находились лишь спальня, столовая, гостиная, кабинет короля и комната для дежурного адъютанта. Немного выше жили маленький наследный принц Олаф и принцесса Виктория.

На самом верху, под крышей, на чердаке помещалась прислуга, там же находились две уютные комнатки, которые освободили для нас. Король сам провел нас туда, попутно показывая все подробности расположения дома, извиняясь шутливо за тесноту.

Он смеясь рассказывал, как долго пришлось ему ломать голову, чтобы нас разместить с подобающим великому князю почетом и широтой, и что даже предполагал для этого выселить своего маленького сына в особую будку в саду, от чего тот, конечно, был бы в неописуемом восторге, и т. д., и т. д.

До этого я встречался с королем более или менее в официальной обстановке, теперь, в домашней, он мне нравился все больше и больше.

Я редко встречал у людей такую идущую от всей души заботливость, внимание и простоту отношений хозяина к гостям, как в гостеприимном доме короля Гаакона VII.

Переступая порог его уютной дачи, можно сразу же почувствовать без преувеличения, что находишься если не дома, то у хорошего, давно знакомого товарища и даже друга.

Отчасти такому чувству способствовала подходившая к нашему возрасту молодость королевской четы, а главное, то, что приходилось жить вместе с ними в тесном помещении совершенно частных людей, где ничто не говорило о дворце и его особенностях.

Около дачи, расположенной на высоком холме в саду с прекрасным видом на окружающее со всех сторон море, не стояло обычных почетных часовых, не было видно многочисленной полиции, и в ней не происходило никаких пышных приемов. Из служебных лиц при короле находился только его тогдашний дежурный адъютант – капитан Stenersen. Их было у него трое, сменявшихся каждые три недели.

Насколько я помню, в Норвегии, кажется, как отчасти и в Англии, существует обычай, вернее, правило, по которому

король выбирает себе лишь некоторых адъютантов, остальных, как и весь высший дворцовый персонал, ему предлагает взять к себе то министерство, которое в данное время находится у власти. С переменой правительства уходят и эти люди, причем адъютанты короля не могут оставаться в своей должности более трех лет.

Я уже забыл теперь подробности, какими объяснялось такое странное, на мой взгляд, положение. Помню только, что мне кто-то из иностранцев говорил, что оно вызывалось отчасти соображением: с одной стороны, дать возможность новому министерству через ближайшее окружение короля успешнее проводить свои взгляды в жизнь, а с другой – не давать образовываться на долгое время тому, что обыкновенно называют «дворцовой камарильей».

Мысль в теории, быть может, для некоторых и соблазнительная, но все же довольно наивная, не отличающаяся большим уважением к своему королю, а в действительности, конечно, не достигающая тех целей, которые ею преследуются; не говоря уже о том, что «камарилья» также может состоять из не менее честных, проникнутых чувством долга и знанием нужд страны людей, чем деятели находящегося в данное время у власти министерства, около которого неизбежно образовывается своя «клика».

Удалять достойных придворных людей за истечением времени и брать к себе новых, малоизвестных, угодных лишь министерству, не всегда является и монарху, и самой стране на пользу.

Фрейлины и двор королевы не подчинены этим строгим парламентским обычаям, и женщины в этом отношении намного счастливее мужчин – сроков женской свите не положено, и выбор ее предоставлен всецело королеве.

В день нашего приезда королева Моод чувствовала себя нездоровой и не покидала постели, но к вечеру вышла и она, чтобы обедать вместе с нами.

Королева небольшого роста, очень худенькая, с красивыми большими глазами. Очень красивой ее назвать нельзя, но все же в ней есть что-то особенно женственное, что напоминает ее мать, королеву Александру. Она немного старше своего мужа. Принцесса Виктория, ее старшая сестра, оставшаяся незамужней, более живая, высокая, совсем не похожа на нее. Обе сестры чрезвычайно милые, простые и внимательные. С ними чувствуешь себя совсем легко.

Наследный принц Олаф, тогда еще белокурый, прелестный мальчик 4 лет, живой, порою уже задумчивый, быстро сделался моим другом. Я ему купил на городском базаре забавную игрушку, стоившую всего один оре, с которой он уже не расставался, забросив все остальные, более роскошные.

Теперь у этого ребенка уже родилась дочь Рагнгильда. Никогда рождение сына не вызвало бы в стране такого бурного восторга, как появление на свет этой маленькой девочки: за все 600 лет, со времени царствования Гаакона V, у Норвегии не было ни одной принцессы.

День в Vigdo, как и всюду, распределялся обедами, завтраками и чаем. По утрам король занимался делами и принимал доклады.

За столом собиралась только королевская семья, принцесса Виктория, Михаил Александрович, дежурный адъютант и я. К завтраку обыкновенно приезжала еще и фрейлина королевы, m-elle M. Фугнер, не жившая в доме, очень женственная стройная девушка, обладавшая изумительно нежным, мелодичным голосом.

Жизнь вели очень замкнутую, почти напоминавшую наше Царское Село. Крайне редко приглашался кто-нибудь посторонний. За долгое время нашего пребывания один раз или два завтракал у короля Нансен, да один раз обедали несколько человек из местного общества. По английскому обычаю, несмотря на домашнюю обстановку, обедали всегда во фраках или смокингах, а дамы надевали декольтированные платья.

К завтраку разрешалось быть в обычном одеянии; к чаю появлялись в чем-нибудь черном. Кушанья, всегда тонкие и обильные, готовились прозаической королевской кухаркой, но настолько искусной, что ей были подчинены остальные два повара.

После обеда обыкновенно играли в карты, а иногда, крайне редко, ездили в театр. Я, из-за своего траура, оставался в таких случаях дома.

Король и королева делали все возможное, чтобы доставить разнообразие своим гостям. Обыкновенно мы старались проводить все время на воздухе. Король очень любил сам править лошадьми и почти ежедневно возил нас в своем экипаже по дальним окрестностям Христиании [*современное название – Осло (с 1925 г.). – О. Б.*], где мы иногда устраивали пикник.

Они очень живописны, эти окрестности, с их высокими довольно горами, покрытыми густым хвойным лесом, и с прихотливо извивающимися горными речками и водопадами.

Норвежские крестьянские и рыбацкие постройки также своеобразно красивы и имеют приветливый и зажиточный вид.

Мы много гуляли с королем и пешком. Эти прогулки совершались по всевозможным дорогам и тропинкам без всякой полицейской охраны, и Гаакон VII, как наш государь, любил заговаривать со встречавшимися по дороге простыми людьми.

Насколько я мог заметить, король уже со дня избрания и коронации пользовался большим расположением норвежцев.

Неожиданная встреча с ним всегда сказывалась у местных жителей самым радостным изумлением, искренним по своей простоте и неподготовленности.

В свою очередь и король держался с ними чрезвычайно просто, даже слишком просто – почти по-товарищески, как это порою мне бросалось в глаза. Случалось не раз, что во время нашей прогулки король, завидя кого-нибудь из жителей, с трудом поднимающихся на велосипеде в гору, приходил ему на помощь, подталкивая его весело и добродушно в спину до более легкой дороги.

Не всегда это были только дети или болезненные старики, а зачастую просто крепкие здоровые люди. Быть может, в подобных поступках скрывается известное преимущество королей, так как ни один из современных министров или вождей, как бы он ни жаждал популярности, все же не решился бы из-за опасения показаться «странным» последовать в подобных случаях примеру своего короля. Впрочем, их показная помощь, вероятно, вызвала бы у соплеменников и совсем другую оценку.

Когда король почему-либо не мог быть вместе с нами, он поручал своему адъютанту показывать нам исторические достопримечательности города. Их сохранилось, в общем, немного, несмотря на седую древность Христиании.

Наибольшее впечатление оставил во мне древний замок-крепость, подземелья которого еще ясно сохранили следы пребывания там многих знатных и незнатных узников.

Из-за этих мрачных напоминаний исторической жизни я обыкновенно избегал, по возможности, осматривать где-либо старинные крепости и замки. Все, что я находил в них исторически красивым и величественным, неизменно меркло перед впечатлением от их ужасных каменных мешков, свидетелей медленной смерти, пыток и казней.

И все же я видел этих исторических тюрем порядочно. Кроме цитадели в Христиании, мне приходилось осматривать во всех подробностях лондонский Tower и другие места заключения знатных англичан, видеть римские темницы, Шильонский замок, венецианские свинцовые тюрьмы, некоторые древние замки в Германии и даже клоповники в Бухаре; а казематы Трубецкого бастиона при большевиках я испытал на самом себе.

От всего разнообразия этих мест заключения мне веяло совершенно одинаковым ужасом. Только испытанные кем-то и когда-то человеческие радости и счастье еще могут откликаться в нас своими оттенками.

Для человеческих же заслуженных или незаслуженных страданий у меня имеется лишь одно сливающееся чувство грубой физической боли. Еще не испытав тогда сам тюрем, а лишь читая о них, я переживал вместе с их узниками все ужасы Французской и других революций; но никогда мне заключенные не казались столь несправедливо несчастными, как именно в революционное время в переполненных тюрьмах, на фронтонах которых так часто были начертаны забавные для такого места слова: «свобода, равенство и

братство». Впрочем, мне и вообще эти слова казались, как я уже не раз говорил, ничтожными и даже смешными. Я презирал этот громкий призыв из-за отсутствия главного, единственно могущественного слова «Любовь».

Тем же глумлением и торжеством бунтующей улицы отличались и тюремные плакаты нашей Советской России с их хвастливыми утверждениями большевиков, что они «не мстят, а исправляют».

Мне была бы, пожалуй, более по душе другая старинная надпись, которую я как-то случайно прочел в нашем Плоцке на фасаде его старинной тюрьмы. Эта надпись была составлена почему-то на немецком языке и в своем переводе гласила:

«Вот здание, мимо которого каждый честный гражданин должен проходить с непокрытой головой. Оно оберегает его жизнь, честь и достоинство».

Но и об этой столь, казалось бы, ясной надписи я не переставал порою задумываться: мимо таких зданий слишком часто проходили с тем же благодарным почтением и «честные» убийцы-большевики, и не менее «честные» грабители-санкюлоты. Все революции, настойчиво упоминая о правосудии и справедливости, никогда не бывают близкими друзьями...

Король нас водил показывать и свой главный дворец, в котором он живет и устраивает приемы по зимам. В нем же помещают и приезжающих изредка в Норвегию иностранных монархов¹⁴¹.

¹⁴¹ Первоначально королевский дворец в Христиании использовался в качестве резиденции норвежского короля, короля единой

Дворец этот довольно обширный. Он красиво расположен на возвышении, в конце главной городской улицы, идущей, кажется, от вокзала.

Внутренность его комфортабельна, пространна, довольно красива из-за своей старины, но не роскошна.

Быть может, из-за тогдашнего тусклого, дождливого дня дворец мне показался холодным, серым и очень неуютным. Жить в нем я бы не хотел.

Ездили мы с королевской семьей и на выставку норвежских художников. Это была одна из очень немногих выставок последнего времени, которая мне действительно понравилась.

Близость норвежцев к природе, а с ней их здравый смысл и чувство меры и красоты сказались и на их художниках. В поисках «нового» они не дошли еще до чудовищного искажения действительности, чем так грешат их иностранные братья.

На всю обширную выставку было всего две-три картины, вызывавшие недоумение. Остальные можно было смотреть, многими можно было любоваться, а от некоторых даже подолгу не отходить.

На выставке была и лотерея картин. Я взял много билетов и, как всегда, ничего не выиграл. Принцесса Виктория, видя мое забавное разочарование, предложила вынуть для меня только один билет, утверждая, что надо лишь крепко, без малейшего сомнения верить, что

Швеции и Норвегии Карла XIV. Впервые он был использован в качестве постоянного места жительства в 1905 г. королем Хоконом VII, когда Норвегия стала независимой.

выиграешь, и всегда будет успех. Ее уверенность, видимо, помогла делу – на вытянутый ею билет я действительно выиграл тогда большую прелестную гравюру, изображавшую датский замок Кронеборг, в котором Шекспир заставил жить и действовать своего Гамлета.

За исключением этих немногих посещений да обеда с великим князем в нашем посольстве я почти не видал самого города.

Нашим посланником тогда был А. Н. Крупенский, а советником посольства Крузенштерн.

Наше долгое пребывание в Bigdo приходило к концу.

Королева Александра собиралась покинуть Копенгаген и звала к себе принцессу Викторию. Она также приглашала и моего великого князя поехать вместе с нею погостить на некоторое время в Англии.

Михаил Александрович с большой готовностью откликнулся на это приглашение, тем более что в самом Лондоне предполагалось прожить всего несколько дней, а затем уехать в Norfolk в Sandrindham – любимое имение короля и королевы.

Наш последний вечер на королевской даче был очень уютен и сердечен.

Мы долго сидели после обеда, не играли на этот раз в карты, а обменивались впечатлениями. Король и королева, видимо, искренно сожалели, что принцесса Виктория и Михаил Александрович их покидают. Маленький Олаф был также этим огорчен.

Перед тем как разойтись для сна по своим комнатам, король отозвал меня в сторону и, вручая мне красивый

норвежский Крест Св. Олафа с мечами, с обычным в таких случаях смущением сказал:

– Я хотел бы вам дать на память обо мне и о Норвегии более высокий орден, который соответствовал бы вашему положению, но я имею право лично распоряжаться лишь до этой степени... остальными владеет Стортинг и правительство.

– Тем более этот орден будет мне дорог, – отвечал я, – что идет лично от вас, а не от неизвестных мне людей.

Еще днем король, королева и маленький Олаф подарили мне свои фотографии с собственноручной надписью. Размашистой ручонкою крошки наследного принца при этом с большим терпением водила королева.

На другой день утром король и королева проводили нас на вокзал. Проводы были менее многочисленны, чем приезд, и улицы Христиании являли собой обычный вид.

Нам был предоставлен королевский вагон, устройством своих небольших отделений напоминающий наш обыкновенный вагон I класса.

Разместились мы в нем уютно и широко, и этот долгий путь прошел незаметно.

В память моего сопровождения ее и нашего совместного пребывания в Норвегии принцесса Виктория подарила мне небольшой, изящный портсигар с очень милой надписью.

В Копенгагене, куда мы добрались через Мальме, произошла обычная, родственная встреча.

Там мы узнали, что отъезд королевы состоится не ранее как через неделю.

Я воспользовался этим обстоятельством и просил великого князя отпустить меня к семье в Италию,

намереваясь прямо оттуда проехать в Англию, чтобы сопровождать Михаилу Александровичу при его обратном возвращении в Россию.

Но как мне сказал великий князь, а также и принцесса Виктория, у королевы в то время не было никого из мужской свиты, кто бы мог ее сопровождать в этом путешествии, и она очень надеялась на Михаила Александровича и на меня. Было поэтому решено, что я поеду в Леванто к своим лишь на короткое время и вернусь в Данию накануне их отъезда.

Тогдашние короткие дни, проведенные мною среди семьи в Италии, навсегда останутся у меня в памяти. Наше общее горе еще было очень живо в каждом из нас, но мы старались, как могли, не дать почувствовать о нем друг другу и нашим детям.

Заботы о восстановлении здоровья наших оставшихся маленьких и желание доставить им больше радости и тем отвлечь от тяжелых мыслей очень помогали нам держать себя в руках.

К тому же за те месяцы здоровье дочери и самого младшего начинало, к счастью, значительно улучшаться. Он загорел, повеселел, сделался живым и предприимчивым. Мы не только проводили время на морском берегу, катались на лодке, но и предпринимали всевозможные длинные прогулки и поездки в удивительно красивые прибрежные горы.

Дни стояли изумительные, солнечные, жаркие, особенно приятные после тогдашней сырости Норвегии и Дании.

Впервые после тяжких месяцев горя и тревог я почувствовал некоторое облегчение и немного успокоенный вернулся тогда в Данию.

Жена меня проводила, как всегда, до Генуи, а затем старалась возможно чаще уведомлять о здоровье детей и ее самой.

Начальник маленькой телеграфной станции в Леванто, смеясь, любил говорить моей жене, что никогда у него не было столько работы, как во время ее пребывания у них.

Эта чуткая заботливость жены – настоящее благодеяние для меня – помогала ей и впоследствии быть особенно находчивой. Не только ее телеграммы, но и все ее письма и записки находили меня вовремя всюду, несмотря на мои постоянно путанные передвижения.

То мне их неожиданно приносили в вагон на какой-нибудь маленькой заграничной станции, где, по расчетам жены, должен был останавливаться мой поезд, то вручали в многолюдных вокзальных буфетах больших городов, то я их получал, с тем же радостным изумлением, на таможне во время осмотра багажа. На всех них не было почтовых марок, они имели домашний вид, и все, несмотря порою на очень тяжелое состояние детей, вносили мне и успокоение, и надежду...

Те неизвестные ни мне, ни жене, утомленные, занятые нервной службой люди, которым писала моя Ольга с просьбой отыскать в пути меня и передать приложенное письмо, ни разу не отказали ей в этой услуге.

Ни одно из этих многочисленных писем, адресованных более или менее в пространство, не затерялось, и все они мне вручались в разных странах с довольной улыбкой человека, справившегося наконец с трудной задачей.

Вспоминая с горячей благодарностью всех людей, когда-то спасавших меня от смерти и помогавших мне жить, я не могу забыть и этих моих «друзей на мгновенье»...

Не видя ни разу ни меня, ни мою Ольгу, они уже стремились нам помочь! Все они были разной национальности, вероятно, принадлежали к различным политическим партиям и, наверное, обладали различными характерами. Но в них всех было то одинаковое человеческое, что всегда живет под густым слоем наносных всевозможных условностей и ждет только подходящего случая, чтобы пробиться наружу.

Мой случай был, конечно, маленький и сравнительно легкий, но я знаю, что, встретив меня одного, глаз на глаз, в беде, угрожающей жизни, каждый из них, забыв свою партию, не задумываясь, бросился бы на помощь, не ожидая никакой награды.

В многолюдной общественной обстановке, что зовется государственной или политической жизнью, те самые люди были бы уже другими.

Заметить мои страдания и спасти меня там помешали бы им не только их собственное скопление, но и их слишком практические рассуждения правительства или вожаки их постоянно озлобленных политических партий.

Вот почему всякий иностранный человек мне драгоценен лишь как отдельная, обособленная от других единица. Я еще могу любить горячим чувством отдельного итальянца, немца, француза, голландца или англичанина, потому что в каждом из них живет человеческая душа.

У их «народов», вернее, у их политических «вождей из народа» такой отзывчивой души нет, как нет и человеческой совести.

Вот что отвечал «народ» Каина, Гегеля, Гете, Шиллера в лице своего правительства (в частности, тогдашнего

министра иностранных дел Ф. Гинце), на протест с русской стороны против неслыханного террора большевиков:

«Императорское правительство воздержится от репрессивных мер против советской власти, так как то, что делается в России, не может быть квалифицировано как террор, – происходят лишь случаи уничтожения безответственных элементов, провоцирующих беспорядок и анархию...¹⁴²

Другие нации на мольбы о спасении даже не отвечали ничем...

Хитроумный политический расчет заставлял забывать и у них не только свое «христианство», но и свое, столь сильное даже у язычников достоинство, и свою собственную безопасность...

¹⁴² Цитата из письма министра иностранных дел Германии фон Гинце гетману Скоропадскому, просившему воздействовать на правительство Ленина для прекращения развернувшегося в то время в России «красного террора» (ответ украинского посла барона Штейнгеля из Берлина от 28 сентября 1918 г.). Возможно, что автор цитирует документ по вышедшей в Париже в 1921-1926 гг. книге (в 5-ти тт.) генерала А. И. Деникина «Очерки русской смуты» (т. 3., с. 84).

■ XIII

Мы выехали тогда в Англию на другое утро после моего возвращения из Италии.

Императрица Мария Федоровна оставалась еще ненадолго в Дании. Она приехала нас проводить на вокзал, так же как и вся многочисленная королевская семья.

Моя новая роль в качестве сопровождающего английскую королеву оказалась очень легкой, почти декоративной, если бы такое название могло действительно подходить к моей весьма скромной фигуре.

Все сношения с различными иностранными учреждениями, необходимыми для такого путешествия, были уже сделаны одним из небольших служащих английского двора – курьером королевы, человеком весьма опытным в подобных железнодорожных и морских путешествиях и до тонкости изучившим все привычки и обычаи, с которыми приходилось считаться.

Он побывал у меня накануне, чтобы представить свои соображения. Они оказались настолько практичными и продуманными до мелочей, что их можно было только одобрить и всецело отдался в его руки.

В единственном лице этого скромного человека заключалась вся наша громоздкая инспекция императорских поездов, и надо сознаться, что он справился со своей задачей не менее успешно.

Правда, для передвижений короля и его семьи как в Англии, так и за границей имелось всего 2 или 3 собственных вагона, прицеплявшихся к обычным пассажирским поездам,

и лишь в редких случаях снабжавшихся отдельными локомотивами для самостоятельной поездки.

Наш размах и в части придворного быта был несравним по своей широте ни с одной из наиболее могущественных стран.

Кроме королевы Александры, принцессы Виктории, великого князя Михаила Александровича и меня, с нами ехала еще престарелая фрейлина королевы – мисс Кноллис и трое или четверо лиц мужской и женской прислуги, а также неразлучные от своих хозяек японские собачки королевы и шотландский терьер принцессы Виктории.

Из Копенгагена мы выехали в очень скромном датском королевском вагоне, в нем же переправились на пароме через Большой и Малый Вельты, и в Frederick перешли в ожидавший нас там английский, предназначенный для заграничных путешествий королевский вагон.

Сопровождавший нас курьер уже заранее предвкушал удовольствие от того удивления, которое я должен буду испытать, войдя в «их» вагон.

– Вы увидите, какая будет разница! – говорил он мне, гордый всем тем, что касалось его страны. – Здесь нет даже горячей воды для умывания... А кровати!! – разве можно на таких спать?

Поверив его рассказам, я действительно ожидал чего-то необыкновенного и, конечно, разочаровался.

И английские королевские вагоны оказались намного скромнее наших императорских и, в особенности не давали в свитских отделениях ни того широкого пространства, ни многих удобств, к которым я уже успел привыкнуть в царских поездах.

Но отделение королевы было очень красиво и уютно и устроено с тем особым комфортом, на который способны только одни англичане.

Так как особой столовой не было, то в ее отделении мы и обедали.

Королева Александра, которую я знал немного и раньше, оказалась очень милой, любезной спутницей и чрезвычайно внимательной хозяйкой.

Со дня этого путешествия, а затем долгого совместного пребывания с нею в Англии я узнал ее ближе и навсегда сохранил самое благодарное воспоминание о времени, проведенном в общении с нею.

Ее внешний облик хорошо известен всем. В те годы ей шел уже седьмой десяток лет, но ее стройная, тонкая фигура, живые, большие, красивые глаза на приветливом, почти без морщин лице все еще говорили о неувядающей молодости.

Годы сказались на ней лишь небольшой, еще в те дни, глухотой.

С нею надо было говорить особенно громко, но и фразы, произнесенные обыкновенным голосом, ею понимались без особого напряжения.

И в разговоре, и в движениях она была намного оживленнее, естественнее и проще императрицы Марии Федоровны, а интонация ее голоса была менее грудной и более высокой, чем у ее сестры.

Мне она казалась более нервной, обладавшей менее сильным характером, более общительной и намного более откровенной. Она не могла с таким непревзойденным постоянством скрывать от других, как наша императрица,

свои внутренние волнения; но и она в тяжелых случаях являла перед посторонними выдержку изумительную.

Это тем более заслуживает внимания, что умение владеть собой почти всегда стоит дороже, чем выгоды, которые от него получатся.

Во всем остальном, что такой привлекательностью сказалось на окружающих, у них обеих было много общего, хотя и с оттенками, приобретенными каждой от долгой жизни в различных странах и в различной придворной и домашней обстановке.

В жизни обеих сестер было и много горя, и много радостей, но, конечно, неизмеримо больше душевных страданий выпало на долю нашей бедной императрицы, у которой единственным близким другом оставалась только ее сестра, а эта сестра всегда находилась далеко, когда приходили несчастья.

Королева Александра, как я ясно чувствовал, действительно переживала все удары судьбы, падавшие на императрицу, так, как будто бы они падали на нее саму, пожалуй, даже сильнее, ибо, сделавшись ее собственными, к ним прибавлялось еще и волнение за близкого человека.

Когда я смотрю на их совместную фотографию, подаренную мне когда-то государыней, с краткой надписью мне «*Les deux socurs*», я чувствую, что лучшей надписи, определяющей с такой верностью и горделивой простотой их личность и их положение в мире, они не могли бы мне дать.

Они действительно прежде всего и выше всего были лишь «сестры», со всею нежностью и сочувствием, которые входят в это великое понятие.

Звания русской императрицы у одной и королевы Англии у другой в их внутреннем, душевном сознании были совсем ничтожны.

Впрочем, эти высокие обязанности и родились намного позднее сестер.

Королева Александра была неимоверно популярна в Англии, заслужив по праву эту популярность своею любезностью, сердечным теплом и неустанным исполнением нелегких обязанностей королевы. В текущую политику она совершенно не вмешивалась, что также ставилось в большую похвалу.

Старшая сестра уже ушла из этого мира, ушла – окруженная в последние минуты своей семьей, но в отсутствие своего нежного друга. На ставшие совсем хрупкими плечи русской государыни-изгнанницы легло новое горе¹⁴³...

Императрица Мария Федоровна также уже скончалась поздней осенью 1928 года на своей villa Hvidöre около Копенгагена. Вот что писала мне великая княгиня Ольга Александровна о самых последних днях ее матери:

«...Господь в своей милости взял наконец и успокоил душу ее, и я верю, что она теперь с теми, которые были ей дороги. Здесь она мучилась последнее время, и мы все с нею страдали. Три последних дня была почти без памяти, не говорила и глаз не открывала. Ксения еще здесь. К похоронам наехало много народа, но теперь разъехались...

¹⁴³ Последние годы жизни королева Александра проживала в основном в Садрингемском дворце, в Норфолке. Вдовствующая королева умерла 20 ноября 1925 г. на руках у своей сестры, вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Теперь у нас с Ксенией много работы – столько бумаг и писем... Теперь все еще так неясно... Нвидöre должен закрыться через месяц и продается...

Для меня с кончиной Александры ушел человек, конечно, далеко не близкий мне по положению, но близкий по тем хорошим чувствам, которые он к себе во мне вызывал. Я не забуду ни ее гостеприимный дом, ни ее всегдашнее доброе внимание ко мне. В Англии за исключением двух родственников жены у меня теперь не осталось никого, кто бы меня туда особенно притягивал.

Все прежнее сближавшее там уже давно заменилось другим. Да, уходят постепенно все люди, когда-то такой теплой, волнующей приветливостью заполнявшие мое прошлое, и будущее становится уже совсем пустым, неинтересным и холодным. Не говоря уже о близких родных, сколько милых товарищей полегло на войне, сколько погублено большевиками, сколько погибло от болезней и тюрем. Остальные где-то живут, разбросанные во всем пространстве мира. Помнят ли они меня или нет, эти ушедшие и разбросанные, – мне теперь почти уже все равно!

Мне важно, что я их помню и что воспоминания о них мне дают еще столько хороших часов. В жизни, как и в природе, все исчезает, но многое и возобновляется.

Приходят на смену, даже в старости, и новые друзья, завязываются новые связи, быть может, еще более драгоценные на склоне лет и по обстановке бедствий изгнания.

Но с прежними друзьями мы общались еще в поэтические дни нашей весны и нашего горячего лета; в надвигающейся теперь осени даже в дружбе уже чувствуется элегия падающих листьев, да и те

скоро покроет снег. Что ж! В мировом ритме жизни так должно и быть: все погибает, но все после отдыха или разрушения и возобновляется. За холодом мертвой зимы наступит неизбежно весна. Снова станет пробиваться молодая, новая жизнь, пробудится и прежняя старая. Но кто знает, какие чувства сулит нам это пробуждение...

* * *

Через Гамбург и Льеж мы добрались на следующее утро до Кале, где французы устроили королеве торжественную встречу. Там же в порту нас уже ожидала маленькая собственная яхта королевы «Alexandra», подаренная ей недавно королем.

День был тихий, но море было покрыто густым утренним туманом. Отовсюду раздавались резкие звуки сирен. Переход предвиделся очень медленный и скучный. К счастью, пока перегружали наши вещи, туман начал рассеиваться, и большую часть пути нам удалось совершить при полном солнце и гладком как зеркало море, что случается крайне редком в этом узком, но бурном проливе.

Нас сопровождали, окружая для охраны, несколько английских «destroyers». Можно было удивляться той ловкости, с которой они маневрировали, но и той решительности, с которой они бросались на посторонние суда, приближавшиеся порою слишком близко, по их понятиям, к нашей маленькой флотилии.

Тогда, немедленно взвизвался предупредительный сигнал, за ним следовал холостой выстрел, и если неуклюжий мирный противник все еще медлил свернуть в

сторону и не открывал дорогу, то почти сейчас же раздавался для устрашения и боевой.

Королева не только любила свою яхту, но и гордилась ею. Она показывала ее во всех подробностях, водила в разные закоулки, открывала бесчисленные шкафики и столики. Яхта действительно оказалась прелестной, почти созданной для того, чтобы ею владела женщина.

Игрушка по размерам, она во внутреннем устройстве кают и палубных помещений благодаря хитро продуманным приспособлениям давала достаточно свободного места и целую массу удобства. Ход ее был все же тише «Victoria and Albert». Если бы не ее малый размер и другая окраска, она своей внешностью напоминала бы яхту Михаила Александровича «Зарницу».

У нее не было только боковых килей, так приятно уменьшающих боковую качку. Командиром ее был уже не молодой мороккой офицер, очень мне понравившийся своим серьезным лицом и хорошей искренней улыбкой.

На яхте был сервирован небольшой завтрак с чаем, в конце которого мы уже увидели маяки и меловые утесы Дувра.

В Дувре королеву встретило местное английское начальство с принцем Коннаутским (*Артур. – О. Б.*) во главе и одно лицо из ее мужской свиты.

Мы перешли в ожидавший нас небольшой экстренный поезд и через два часа уже высаживались на громадной лондонской станции «Victoria». На встречу прибыл король и очень небольшое количество официальных лиц, в числе которых был и адъютант короля, назначенный состоять при Михаиле Александровиче.

Но простой публики собралось целое море. Народ, видимо, очень любил королевскую чету, и сдержать его полиции стоило немалых усилий.

Такое оживление обыкновенно не свойственно сдержанным англичанам, и мне оно тогда невольно бросилось в глаза.

Когда мы выходили со станции, был уже вечер, из-за густого тумана электрические фонари давали мало света, и я, вступая в первый раз в жизни в Лондон, так его тогда и не заметил.

«Victorin Station» находится совсем близко от Букингемского дворца, и нашим автомобилям потребовалось не более пяти минут, чтобы очутиться у главного дворцового подъезда.

Внизу, в вестибюле, снова последовала, на этот раз небольшая, чисто домашняя встреча, без которой, кажется, не обходится ни один дворец мира.

Ко мне подошел королевский адъютант, усадил меня в лифт, мы поднялись с ним куда-то наверх и прошли длинным широким коридором. Рослые красивые лакеи распахнули какую-то дверь, адъютант предложил войти, сказал несколько любезных фраз и ушел, а я очутился в предназначенном мне помещении.

В громадной комнате, по размерам и количеству картин напоминающей наши гатчинские покои, ярко теплился камин, и горела не только большая центральная люстра, но все боковые маленькие. Свету, тепла и воздуха было много, что особенно приятно чувствовать после вагона и сырого туманного вечера.

Первое впечатление было превосходно. Я не успел еще хорошенько осмотреться, как появился кто-то из главной

дворцовой прислуги и доложил, что у Их Величеств в этот вечер будет семейный обед и что поэтому гофмаршал приглашает меня сейчас же к обеду за его гофмаршалским столом вместе с остальной английской свитой.

Так бывало везде, так бывало раньше и у нас. Но в России я был военный и благодаря этому преимуществу мог обедать в своей дневной одежде. В Англии это казалось бы преступлением не только во дворце, но и в самом скромном частном доме. Ни моего старика Лукзена, ни моего багажа, в котором находился необходимый фрак, еще не было.

Ссылаясь на подобную, слишком уважительную для англичан причину, а также и на усталость, я просил извиниться перед гофмаршалом, и если возможно, то подать мне обед в комнату. Со своим коротким «Yes, sir» посланный слуга исчез и через несколько минут появился снова, но без обеда. «Гофмаршал вполне понимает ваше положение, сэр, но все-таки очень просит вас прийти. Все будут рады вас видеть в дорожном костюме, так как обед без дам и в своей компании».

Хотя и было не очень приятно, но пришлось подчиниться, тем более что исключение, предоставленное мне, было необычайно любезно.

Своему англичанину оно, конечно, не было бы предоставлено ни в каком случае. Разными коридорами, залами и лестницами я добрался до большого зала внизу, где был накрыт стол. Небольшое мужское общество уже обедало и оживленно разговаривало. Мое появление у входа заставило их замолчать и не особенно находчиво уставиться на меня.

Если знать мою обычную застенчивость, почти полное незнание английского языка и принять во внимание, что я находился в совершенно незнакомом, элегантно одетом

обществе в своем запыленном сером дорожном костюме и опаздывал чуть ли не к середине обеда, то станет понятно то «милое» чувство, с которым я проходил под общими взглядами эту длинную залу.

Я был бы, вероятно, еще более смущен, если бы меня как гостя, по русскому обычаю, ожидали и не садились бы без меня за стол.

Невольно вспоминается при этом еще один подобный случай со мною уже намного позднее, в первые дни войны. Это было летом, когда Большой двор находился в Петергофе. Государь с семьей жил, по обычаю, в своем маленьком коттедже на берегу моря в Александрии почти замкнутою жизнью частного человека.

Комнаты для дежурного флигель-адъютанта там поэтому не было, и, окончив свои служебные обязанности во время приемов разных лиц, он должен был находиться в свободные часы, есть и спать в Большом Петергофском дворце, во фрейлинском флигеле, отстоявшем довольно далеко, в 20 минутах езды от Александрии, отделенной от городка громадным парком.

В Царском Селе было иначе. Там дежурная комната находилась в самом Александровском дворце, всего через несколько комнат и зал от кабинета государя и небольшой гостиной императрицы, где обыкновенно обедала и завтракала царская семья.

Большей частью дежурный флигель-адъютант приглашался там к высочайшему столу, и это приглашение передавалось заблаговременно, еще утром, через дежурного скорохода.

В Александрии государь все свободное от занятий время, которого все же было очень мало, старался проводить в

тесной домашней обстановке, и там приглашений никогда и никем не получалось.

Так было и в тот день, когда я был дежурным. Накануне петербургское население разгромило уродливый дом германского посольства¹⁴⁴, и к государю с докладами об этом волновавшем их событии являлись вне очереди министр внутренних дел Маклаков и петроградский градоначальник кн. Оболенский.

Прием их поэтому у государя затянулся и перешел час, предназначенный для завтрака. Окончив свою представительную службу, я поехал к себе, во фрейлинский дом, где меня уже ждал накрытый стол, сел завтракать и отпустил на несколько часов свою дежурную флигель-адъютантскую тройку.

Каково же было мое смущение, когда раздался телефонный звонок, и мне передали, что Их Величества приглашают меня сейчас же к завтраку¹⁴⁵. Скороход просил меня поторопиться, так как государь меня ожидает и не садится за стол. К счастью, вызванная мною снова тройка была подана довольно скоро, и я на ней помчался как сумасшедший в

¹⁴⁴ Здание германского посольства на Исаакиевской площади было воздвигнуто в 1911-1913 гг. Автор проекта – немецкий архитектор Петер Беренс. В ночь на 5 августа (23 июля) 1914 г. толпа «патриотических манифестантов» ворвалась в здание германского посольства, разгромила внутренние помещения посольства и сбросила с фронтона здания огромную бронзовую конную группу.

¹⁴⁵ В дневнике император Николай II 23 июля 1914 г. записал: «...Мордвинов (деж.) завтракал и обедал» (Дневники Николая II. 1894-1918. М., 2013. Т. II. Ч. 2. С. 48).

Александрию. Все же было около % второго, когда я входил в маленькую, узкую, но светлую столовую царской дачи.

Я опаздывал на целых полчаса, а может быть, и больше, и не знал, как оправдаться! Государь с семьей уже находился там и стоял у закуского стола.

Милые, всегда веселые великие княжны на этот раз казались серьезными, печальными, укоризненно качали мне головой и пугливо указывали глазами на государя. Это был их обычай, шутливый прием, когда они хотели меня еще более смутить, который, несмотря на повторения, им всегда почему-то удавался, а тогда удался особенно.

– Ваше Величество... – начал я.

– Знаю все, что вы скажете, Мордвинов! – перебил меня государь со своей присущей ему серьезной приветливостью. – Я сам виноват, что так вышло. Как, однако, вы быстро приехали! Я не ожидал вас так скоро. Простите, что забыл пригласить вас своевременно. Вспомнил, когда вы уже уехали.

– Ваше Величество – мне так тяжело видеть, что вы меня ждали!

– Ну, раз приглашаешь гостя, то следует его, конечно, и подождать, – закончил своим спокойным голосом государь. – Давайте теперь скорее садиться за стол. Вы, наверное, проголодались порядочно из-за меня.

Эти два случая довольно ясно показывают, насколько новичку можно легче себя чувствовать в домашней обстановке монархов, чем в такой же частной, вернее, полуслужебной обстановке их придворных.

Государи привыкли к смущению других и всегда с изумительным тактом приходят в таких случаях сами на помощь.

В многочисленном разнообразии случаев мне приходилось это лично испытывать сначала при нашем, а потом и при иностранных дворах. В их придворных обыкновениях уже не чувствовалось первое время простоты и доброжелательства, в особенности пока не сломлен был первый лед. Они как-то умели отдалять от себя своею деланою учтивостью.

Особый тон их чересчур вежливых фраз и порою совершенно ненужная предупредительность довольно ясно поэтому показывали, что надо держаться настороже, что на вас смотрят сверху вниз и что вас «пробуют».

Ни в том, ни в другом случаях мое самолюбивое «я» обыкновенно не нуждалось.

Такое отношение меня сначала сердило, потом забавляло, но почему-то всегда помогало быстро оправляться от смущения. Действительно, люди, прибегающие к таким вычурным приемам, чтобы выказать такие простые грубоватые вещи своей натуры, всегда не очень умны, не опасны и смешны. К счастью, у моих новых знакомцев англичан не оказалось ни ненужной, не к месту усиленной вежливости, ни нарочно подчеркнутой предупредительности.

Завидев меня, гофмаршал – еще совсем молодой человек – поднялся с конца длинного стола, сделал несколько шагов навстречу и с чисто товарищеской простотой и дружелюбием усадил на оставленное подле него место.

– Господа, – сказал он при этом, громко обращаясь к обедавшим, – мы все знаем, кто он, – а это... – и он назвал

мне по фамилиям, прибавляя иногда и уменьшительные имена, всех сидевших за столом.

Простота, с которой произошло это взаимное представление, и возобновившийся сразу же общий разговор помогли мне начать чувствовать себя совершенно свободно, тем более что мои соседи, сам гофмаршал Colonel sir Frederick (полковник сэра Фредерик. – О. Б.) и адъютант короля Colonel Legges, оказались чрезвычайно милыми и простыми людьми без всякой чопорности, с естественно свободными манерами и подкупающим добродушием.

Почти с первого взгляда можно было определить, что они были бы превосходными товарищами в моем прежнем полку, как, вероятно, и большинство остальных, которые сидели дальше от меня.

Насколько я помню, эти остальные были адъютанты короля – полковник Девидсон (sir Davidson), майор Понсонби (Ponsonby), моряки Фортескью (Fortescue) и Кемпбел (Campbell), личный казначей короля, престарелый генерал Дайтон-Пробин (sir D. M. Probyn), трое пожилых братьев фрейлины королевы Нольс (Lords Knollys), из которых один был личный секретарь короля, секретарь королевы Hon Gre-ville, и еще несколько лиц, фамилии которых я теперь забыл.

Разговор с моими соседями происходил на французском языке, что, видимо, очень раздражало сидевшего напротив меня одного из братьев Нольс. Он постоянно обращался ко мне по-английски.

Я кое-как ему отвечал, но старался возможно скорее переходить на французские фразы.

– Перестань же наконец играть свою комедию и притворяться! – сказал ему нарочно на том же языке и называя его

добродушно уменьшительным именем, гофмаршал: – Ведь ты отлично говоришь по-французски, а он плохо знает наш язык!

– Нет, он прекрасно его знает, – не унимался упорный англичанин. – Я отлично понимаю его... он находится у нас в Англии и должен говорить с нами на нашем языке. Почему вы не выучились хорошо по-английски?! – с шутливостью, за которой все же скрывалась досада, обратился он ко мне.

– Быть может, потому же, почему и вы не выучились по-русски, – отвечал, смеясь, я. – В моей школе вместо вашего языка меня заставили учить древнюю латынь, говорили, что это полезнее, а в военной академии на английский язык у нас давалось всего по 40 минут в неделю.

– Но ведь вы женаты на англичанке?

– Да, на англичанке, но на англичанке, рожденной и выросшей в России; на другой я бы, пожалуй, никогда не женился.

Раздался общий хохот.

– Вот до чего ты заставил его договориться, – смеялся и гофмаршал. – Если бы это слышали только наши дамы!

– Все равно – он должен и будет говорить со мной только по-английски, – не сдавался Нольс.

– Ну, хорошо, – ответил я с таким же забавным упорством по-французски, – вы мой хозяин, и если вам так нравится, то все известные мне английские слова будут мною вам сказаны в две минуты, а дальше будем молчать. Удовольствие, по крайней мере для меня, небольшое. Но все же дайте мне сейчас слово, что у нас, в России, вы будете также говорить только по-русски! Тогда будут у нас равные шансы!

– Вы должны дать это слово ему, Нольс, – раздалось со смехом со всех сторон. – Вы должны его непременно дать... а мы все постараемся, чтобы вас послали к нему в Россию.

Нольс тоже рассмеялся и заговорил совершенно свободно по-французски.

Это забавное препирательство англичанина с русским с немного бесцеремонным, но и товарищеским наименованием меня просто «он» помогло провести мне этот вечер в самой сближающей обстановке.

Мы долго сидели потом, по английскому обычаю, за столом, пили, курили и болтали на всевозможные темы.

До того я крайне редко встречался с англичанами; видеть их в их собственной стране мне тогда приходилось впервые.

К сожалению, в те дни более или менее близко я мог соприкоснуться с ними лишь в обстановке придворной жизни.

Михаил Александрович и я, мы покидали Букингемский дворец лишь затем, чтобы следовать в места, которые нам желали показать наши любезные хозяева, или чтобы погулять в соседнем Green parc.

Но уже с тех пор у меня составилось об англичанах впечатление, которое не могли изменить и мои позднейшие наблюдения.

Я нахожу, что из всех народов, с которыми нам приходится жить в Европе, наиболее близкими к русским по простоте отношений являются лишь немцы, а затем англичане.

Гораздо дальше от нас в этом отношении стоят, как это ни странно, скандинавские страны, а все романские нации уже совсем не подходят ни к нашему характеру, ни к нашему духу.

В немцах, в особенности северных и восточных, и саксонцах, безусловно, имеется значительная доля славянской крови, занесенной ими в свое время, может, и в Англию.

Ведь в Саксонии имелись области, населенные потомками старославянского племени вендов¹⁴⁶.

Очень отдаленное напоминание об этом родстве можно было угадать, наблюдая Colonel Frederick'a и Davidson'a. Типичные по внешности англичане, они, по чувствуемому своему внутреннему миру, являли многие достоинства и недостатки, присущие лишь русским. Было, конечно, много и совершенно различного.

О таком, быть может, слишком дальнем и чересчур уж смелом родстве душ все же нельзя говорить кратко, но часто мгновенные субъективные впечатления отдельного человека порою говорят ему больше самых длинных научных исследований. Об этом, конечно, можно долго спорить.

Я лично находил, что гостеприимство немцев и англичан по своему радушию, отзывчивости и, главное, по простоте намного ближе подходило к нашему русскому, чем в остальных странах, где его находишь крайне редко, а если и получаешь, то в более вычурной, осторожной, несмотря даже на веселость, всегда немного натянутой, а потому и всегда неприятной форме.

Наше русское «все что есть в печи, то на стол мечи» можно нередко испытывать в грубоватой, тяжелой на

¹⁴⁶ Венды (венеды или реже винды) – средневековое германское собирательное название всех соседних немцам славян.

остроумие, но добродушной, идущей быстро на сближение и знакомство Германии; в более живых, изящных, с большим блеском ума романских странах мне таких случаев не запомнилось.

Во Франции даже молодые девушки практичны и бережливы, и если вас приглашает француз, то большей частью не в свой дом, а в ресторан.

Это, конечно, удобнее и проще, но такая простота обыкновенно не привлекает русского сердца.

Как бы чопорны и холодны, на первый взгляд, ни казались англичане, и как бы они ни гордились своею сдержанностью и практичностью, в них все же не меньше сентиментальности, чем в нас и в немцах. Эта мечтательная мягкость только спрятана у них очень глубоко.

Они смеются над нашими чувствительными излияниями и считают их недостойными развитого человека и мужчин, а в глубине самих себя их переживают с тем же нашим славянским волнением и нашим сочувствием.

Достаточно знать, что им нравится в их собственной литературе, заметить их особенную любовь к детям и цветам, а также какие иностранные книги у них имеют успех, чтобы сделать открытие, пожалуй, трудное лишь для самих англичан.

Между Россией и Великобританией как между странами, конечно, слишком много разного. Вероятно, недаром Англия у многих народов из-за своей внешней политики заслужила название «коварного Альбиона». Но этот случай опять лишний раз показывает, насколько в политической жизни государств могут не отражаться самые привлекательные качества их населения.

В каждом отдельном англичанине столь же мало коварства, как и в любом русском, и столь же много желания помочь в беде другим, как и у славян. Только манеры и способы у нас разные, а чувство – одно.

Каждый англичанин, даже из средних слоев, всегда мужественен, ценит справедливость и особенно свою личную независимость. Это стремление к самостоятельности у него доходит до крайности. Житель большого острова, каждый англичанин, представляет собою, в своем внутреннем мире, отдельный островок среди остального населения с собственным домом, вокруг которого бессильно бушует житейское море. По своему характеру он является наиболее сильным и стойким противником коммунизма, даже будучи членом рабочей партии. Англичанин не может ни при каких обстоятельствах не сознавать себя одиноким. Это чувство ему порою самому бывает очень тягостно. Он стремится посещать общество, состоит всегда членом какого-нибудь клуба, любит денежные дела, спорт и путешествия, но и там, торгуя, смеясь, играя и переезжая с места на место, он остается существом все же обособленным от других, быть может, и потому, что глубоко внутри себя таит большую долю мечтательности, даже фантазии...

* * *

В тот же вечер гофмаршал Фредерик мне сообщил, что он потому так настаивал на моем сегодняшнем присутствии у них на обеде, что благодаря приезду королевы они почти все были налицо во дворце, и я мог скорее и ближе узнать моих новых знакомых. Но что, конечно, в следующие дни, если мне почему-либо будет удобнее обедать в другое время, то обед может быть мне подан когда угодно в мою комнату.

Он только просит всех собираться к утреннему завтраку, так как тогда уже выясняется распределение дня королевской семьи и легче будет сообщить каждому о касающихся его распоряжениях.

Он прибавил при этом, что в мое распоряжение предоставлен их придворный экипаж и такой же экипаж и для нашей русской прислуги.

Около полуночи я вернулся к себе наверх и мог осмотреться. Моя громадная, красивая и уютная комната, видимо, раньше не была предназначена для одинокого человека или для пребывания кого-либо из лиц свиты. В ней стояла большая двуспальная кровать со старинными украшениями, толстыми пуховиками и красивой покрывалом, а на некоторых бронзовых и других вещах письменного стола были выгравированы надписи, говорившие о принадлежности их кому-либо из ближайших родственников королевы Виктории.

Эта комната приходилась соседнею с помещением Михаила Александровича и, по словам принцессы Виктории, была мне отведена только потому, чтоб я был ближе к своему великому князю и не чувствовал себя одиноким – внимание и заботливость, которые особенно чувствуешь в положениях, сходных с моим.

Рядом с моей спальней находилась громадная ванна и уборная.

Днем мое помещение из-за больших четырех окон, дававших массу света, казалось не менее уютным, чем по вечерам.

Ох, уж эти английские окна, предмет моих постоянных мучений. Даже во дворцах открыть их еще кое-как можно, но закрыть их никому, кажется, не под силу. Более сложного и

менее удобного приспособления, конечно, придумать нельзя. У меня окна выходили на громадный парадный дворцовый двор, затем на памятник королевы Виктории и на окружающие дворец со всех сторон парки.

Во время следующего моего пребывания в Лондоне, весной, я слышал в самом центре этого многомиллионного города, а именно в королевском саду, удивившее меня пение соловья. Других птиц там также много.

По утрам, около 11 часов, на дворцовом дворе происходила обыкновенно смена караулов, назначавшихся поочередно от английской, шотландской и ирландской гвардии, а их оркестры играли некоторое время перед окнами королевской семьи.

На другой день нашего пребывания эта церемония происходила в особенно торжественной обстановке, а знамена караулов были украшены большими зелеными венками. Оказалось, что это был день победы англичан, одержанной ими во время нашей Крымской кампании¹⁴⁷.

Напоминание не особенно приятное для русского сердца и для русских гостей, но все же ничем не задевающее наше самолюбие.

Скорее напротив. Крым как был, так и остался нашим, а его геройская защита настолько казалась нашим противникам удивительной, что они, видимо, не могли ее забыть до сих пор!

¹⁴⁷ Крымская война 1853-1856 гг. – война России с коалицией Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинии за господство в бассейне Черного моря, на Кавказе и на Балканах.

О скольких еще более славных победах могли бы вспоминать русские войска и указывать на них ежегодно своему населению.

Но, к сожалению, это не в нашем обычае и не в нашем духе.

Мелочи ежедневного обихода в Букингемском дворце мало разнились от жизни иностранных гостей в наших дворцах. То же почти распределение дня, и то же внимательное заботливое отношение к ним как со стороны гофмаршальской части, так и самих хозяев. Дворцовая прислуга в Англии гораздо малочисленнее нашей, но вся подобрана из очень красивых рослых людей. Одета она в обычное, красивое, установленное для нее ливрейное платье, но парадная одежда наших дворцовых лакеев, хотя и менее изящная на отдельном человеке, в своей общей массе из-за обилия золотых позументов и гербов дает намного большее впечатление роскоши и блеска.

Там нет и наших декоративных придворных арапов и скороходов.

Из средневековых одеяний, еще сохранившихся в Англии, наиболее живописной является форма старых солдат, так называемых *of the guard*, поселенных в Тоуэре и своим назначением и преимуществами напоминающих нашу «золотую роту» дворцовых гренадер.

Так же как и в Норвегии, в английских дворцах имеется и обычная женская прислуга, предназначенная для уборки помещений свиты, чего у нас нет.

Королевская кухня превосходна и тонка; пожалуй, лучшая из всех тех, с которыми приходилось ознакомиться при остальных европейских дворах. В нее, как и у нас, входят

большею частью французские блюда и очень немного тяжелых и пряных английских.

Фрукты, вина и сигары, как и вся сервировка и украшения цветами стола, не оставляют желать ничего лучшего.

Нельзя того же сказать о конфетах и папиросах. Они, как всюду, намного хуже наших.

Впрочем, я никогда не обращал никакого внимания ни на еду, ни на напитки, и мои суждения в данном вопросе могут быть не только поверхностны, но и неверны.

Королевская конюшня, кажется, наибольшая из остальных дворов Европы по количеству своих экипажей, упряжных и верховых лошадей, все-таки составляла, вероятно, лишь одну двадцатую часть нашего придворно-конюшенного ведомства.

В отличие от нас при английском дворе, насколько я помню, не было и своего постоянного придворного оркестра, как и нашей многочисленной императорской охоты.

Но там, как и у нас, имелся отлично составленный хор церковных певчих, одетый в платье, очень схожее по краскам и форме с нашим.

Мне приходилось слышать этих певчих во время церковных дворцовых служб, и они могли, безусловно, с полным успехом состязаться в пении с нашей изумительной придворной капеллой.

Вот те небольшие особенности, которые мне запомнились с той отдаленной поры. Я, наверное, пропустил много других.

Мой старик Луксен был в восторге от того заботливого внимания, которое оказывалось английской прислугой своим русским гостям. Им отвели прекрасные помещения,

сажали за стол на почетные места, подавали кушанья первым и обильно поили вином, чего им в России не полагалось. К обеду они, так же как и их господа, обязаны были являться во фраках, ничем не напоминающих их служебное положение. Такого одеяния у нашей прислуги захвачено не было, и ее пришлось наспех купить.

Сам Букингемский дворец был очень удобен, красив, заключал много ценных произведений искусства и так обширен, что я в нем несколько раз блуждал и с трудом мог добраться до своего помещения.

Несмотря на свое долгое существование, сам дворец мне казался все же почему-то слишком современным, носившим частный характер и не был достаточно «дворцовым». В этом отношении Сен-Джеймский дворец и в особенности Виндзорский замок произвели на меня гораздо большее впечатление.

В последнем действительно чувствовалось, что находишься в жилище короля могущественной страны.

Охранялся Букингемский дворец намного проще наших. Около двух входов, пропускавших за решетку на парадный двор, находилось лишь по одному полисмену, а у трех подъездов самого дворца стояли обычные почетные часовые. Внутренних караулов я ни в Англии, ни в Дании, ни в Норвегии не заметил.

Наружные полисмены отлично справлялись со своими нелегкими обязанностями. Память на лица у них была изумительная. Они только раз видели меня выходящим из дворца в сопровождении королевского адъютанта и с тех пор, когда я возвращался уже один, ни разу не спрашивали меня и, отдавая честь, пропускали свободно во внутренность ограды.

У дворцовой решетки постоянно толпился народ, и всегда находились несколько фотографов, терпеливо выжидающих выезда короля или королевы, а в промежутках нацеливавших свои аппараты почти на каждого выходящего из дворца.

Эти фотографии затем неизменно появлялись в лондонских иллюстрированных журналах.

Ни в одной стране не уделяется столько почтительного внимания и любопытства к жизни двора, как в Англии. Это замечается во всех слоях общества, и у некоторых – правда, немногих, – доходит до снобизма.

Англичане вообще мало придерживаются теории, а более здравого смысла, и их преуспевание основывается как на этой практичности, так и на глубоком уважении к своему прошлому, а в особенности к своим традициям. Их либерализм так же консервативен, как консервативна, в сущности, вся страна. Отсюда нелицемерная верность английского народа своему королю, который политически действительно ничего не означает, но зато символически *все*... Их нередкий снобизм поэтому естественен, понятен и простителен, так как даже в нем чувствуется благородство нации.

Самые ничтожные события в придворной жизни, оставшиеся бы незамеченными в других странах, описываются там в газетах с самым подробным, но и самым скучным перечислением имен и фамилий.

На другое утро я прочел в газетах подробное описание прибытия королевы, причем в числе ее сопровождавших были упомянуты и моя фамилия, мой чин и моя должность при великом князе. Я не успел еще отложить газеты, как меня позвали к телефону. Незвестный англичанин

спрашивал меня, действительно ли это я, Мордвинов, нахожусь у телефона, и если да, то не прихожусь ли я родственником тому известному адмиралу Мордвинову, который более ста лет назад, при Екатерине Великой, был женат на англичанке miss Kobleу (*Коблей. – О. Б.*).

Я ответил, что этот адмирал действительно приходится мне родственником по боковой линии, но я не вполне понимаю, почему этот вопрос так интересует моего неизвестного собеседника.

– О, он очень меня интересует, – отвечал неведомый голос, – потому что в таком случае я прихожусь тоже вам родственником, и довольно близким. Я Boyd Carpenter (*Бойд Карпендер. – О. Б.*), сын епископа Риппонского (*Уильяма Карпендера. – О. Б.*), и моя жена является прямым потомком сестры miss Kobleу. Ваша фамилия очень почитается в нашем доме, и мы с женой так были рады узнать из газет, что один из Мордвиновых приехал к нам в Англию. У нас имеются и старинные миниатюры вашей английской родственницы в ее молодых годах до замужества, а также и в старости.

Узнать о существовании отдаленного иностранного родственника, не заинтересованно почитающего ваш род и обладающего редкими семейными портретами, всегда приятно, а для меня, любителя старины, было приятно особенно.

Мы сговорились с Boyd Carpenter'ом о свидании. Сначала он приехал ко мне с женой, а затем и я побывал у них.

Мне очень нравится английский обычай, по которому обыкновенно не приезжий делает визиты, а его делают те, кто желал бы с приезжим познакомиться.

Бойд Карпендер и моя новая родственница оказались еще очень молодыми, красивыми, общительными и

состоятельными людьми. Я провел с ними около часа в самом оживленном разговоре о сближавших нас по прошлому вещах. Побывал и у них в их милом доме. Расстались мы если и не горячо, по-родственному, то почти друзьями.

Они обещали мне писать в Россию и исполнили свое обещание. Я получил от них несколько писем и фотографий со старинных родовых портретов и в свою очередь послал им копии с имевшихся у меня.

Когда произошла революция и когда, после невероятных страданий, судьба забросила мою бедную жену в Англию искать заработка, она вспомнила о существовании этого родственника и, зная, что он состоит членом Карльтон-клуба¹⁴⁸, отправилась туда. В те часы его в клубе не оказалось, но он вскоре должен был, как сказали, прийти. Тогда жена оставила ему письмо, в котором просила лишь его содействия о приискании ей работы по писанию портретов. Никакой другой помощи она, конечно, не имела в виду. Но родственное имя жены уже не было напечатано тогда в придворной хронике, а с просто несчастной русской беженкой кому охота считаться. Письмо ее, таким образом, осталось без ответа до сих пор. На это, впрочем, и нельзя особенно сердиться: дружба обыкновенно не такова, как нам хотелось бы думать. Да и на совести каждого из нас всегда имеется несколько неотвеченных писем.

К чести англичан надо все же оказать, что Бойд Карпен-тер был единственным из наших знакомых, кто счел лишним

¹⁴⁸ Карльтон-клуб (the Carlton Club) – политический клуб в Англии в XIX в., основанный герцогом Веллингтоном.

откликнуться на наше русское горе. Остальные, даже совсем посторонние, были чрезвычайно внимательны к моей талантливой жене и с сердечной готовностью отыскивали для нее художественную работу.

Я никогда не забуду и по отношению к себе лично того чуткого, сердечного внимания, с каким отнеслась однажды к тяжелым душевным переживаниям неизвестного ей русского одна дама из английского общества. Она знала русский язык, ей понравились мои записки, и она перевела часть из них, касавшуюся отречения государя, на английский. Лично с нею я никогда не встречался, и о моем существовании она узнала лишь из книги «Русский летописец»¹⁴⁹.

Ее письмо, в одну из самых тяжелых минут моей жизни, доставило мне облегчение, как ничье другое.

Писать так мог только человек, переживающий с другим его горе. Когда мне указывают на чопорность, равнодушие и холодность английского общества, я сейчас же вспоминаю английских родственников моей жены и эту милую даму и с убеждением говорю себе и другим: «Нет, англичане холодны и равнодушны лишь по наружности – внутри себя, как и все культурные люди, они таят целую гамму тончайших отзывчивых ощущений. Они, правда, не любят свои чувства слишком часто выказывать, но если им захочется подойти ближе к постороннему человеку, хотя бы к иностранцу, – они подходят к нему с умением, искренностью и чуткостью,

¹⁴⁹ Автор не точен. Он имел в виду книгу «Русская летопись» (Париж, 7 тт. 1921-1925), где были опубликованы отрывки из его воспоминаний (1923. Кн. 5. С. 65-177, 1924; Кн. 6. С. 119-140).

которым мог бы позавидовать и самый сердечный славянин».

Я опять это говорю, конечно, только об англичанах, а не об английском правительстве. Люди, облеченные властью, как например Ллойд Джордж, там зачастую теряют общечеловеческие качества.

Несмотря на мои настояния, жена из-за своей хорошей гордости ни за что не хотела обратиться за приисканием художественной работы ни к королеве Александре, ни к принцессе Виктории, тем более что работы у нее оказалось достаточно. Ее портреты, к счастью, большинству нравились, и заказов было много.

Потеряв из вида, не по нашей вине, этого случайного английского родственника Мордвиновых, мы через некоторое время нашли в Англии, также случайно, других, из той же самой семьи Коблей, бывшего консулом в России в начале царствования Екатерины Второй.

По удивительной игре случая, они приходились родственниками не только мне, но и моей жене, о чем мы раньше не имели понятия, и узнали об этом, лишь отпраздновав нашу серебряную свадьбу (1924 г. – О. Б.). У них – в семье Хави-ленд – тоже оказались мордвиновские фамильные портреты и дагеротипы, которые теперь украшают наше беженское жилище, как единственная вещественная связь с отдаленным, уже давно безмолвным прошлым.

Впрочем, эти века вовсе уж не так немые и не настолько удалены от нас, как это нам представляется с первого взгляда. И оттуда могут достигать до нас живые звуки и свидетельства еще живых очевидцев.

В XX столетии еще можно было слышать своими ушами голос людей, раздававшийся когда-то и в XVIII веке.

В Москве, на столетнем юбилее нашей Отечественной войны (1912 г. – О. Б.), мне приходилось разговаривать с восемью старыми ветеранами, простыми людьми, большинство которых видело лично Наполеона, участвовало в Бородинской битве, вспоминало отчетливо пожар Москвы.

Одному из них было в то время даже 16 лет, и он описывал французского императора наивными, но довольно меткими штрихами.

Он ошибался только в его росте, называя его «агромадным», и преувеличивал его «пузо», но остальные подробности давали возможность верить, что он видел действительно Наполеона, проезжавшего верхом довольно близко от него.

Двумя годами раньше, на открытии памятника Скобелеву в той же Москве¹⁵⁰, я встретился с одним стариком из добровольцев, простым солдатом, которому, по удостоверению губернатора, проверявшего по просьбе великого князя его документы, было в те дни не менее 130 лет. По словам этого глубокого старца, его мать скончалась в 117 лет, сохранив половину своих зубов и хорошую память. Несмотря на свои года, старик выдержал на ногах всю длинную

¹⁵⁰ Автор не точен, говоря «двумя годами раньше». Конный памятник генералу Скобелеву был заложен в Москве 5 июня 1911 г. и открыт 24 июня 1912 г., то есть в тот же год, о событиях которого пишет автор. Памятник стоял на Тверской площади (переименованной в Скобелевскую) в Москве, напротив дома генерал-губернатора.

церемонию и затем еще бодро обходил с кружкой присутствовавших, собирая деньги на построение храма в его родном селе.

Я, значит, разговаривал с человеком, родившимся и сознательно жившим еще при Екатерине II и, вероятно, слышавшим своими ушами рассказы современников о Великом Петре!!!

* * *

Пребывание в Букингемском дворце длилось сверх ожидания уже более недели. Король и королева все были заняты и не могли ехать в свое имение. Принцесса Виктория, зная нерасположение Михаила Александровича и мое к городской жизни, утешала нас ежедневно обещаниями: «Теперь осталось недолго ждать – скоро поедem в Сандрингхам... Там будет совсем по-другому, вы увидите, как будет хорошо... Вам обоим наверно понравится».

В ожидании этого отъезда, чтобы нас занять, каждый день нас возили что-нибудь нам показывать. Все, что имеется интересного и замечательного в Лондоне, нам удалось видеть в подробностях, которые редко видят другие.

Нам только раз пришлось быть с Михаилом Александровичем в этом городе в русской обстановке – на обеде у нашего посла графа Бенкендорфа, с чинами посольства: Поклевским-козелл, Севастопуло, генералом Ермоловым, Голеевским и Николаем Бэр.

Этот кусочек России в Лондоне все же совсем мало напоминал нашу родину. Посольства Древней Руси были и намного самобытнее, и красочнее, как более красочна и

менее информациональна была тогда, конечно, и вся тогдашняя жизнь.

Впрочем, иметь привычки и облик запада и любить походить на иностранца еще не значит не быть русским и даже православным внутри. Один из этих дипломатов, Н. Бэр, сделался впоследствии прекрасным православным священником и принял облик самого скромного русского «батюшки».

Познакомился я в тот приезд ближе и с великим князем Михаилом Михайловичем, жившим из-за своей не разрешенной государем женитьбы постоянно в Лондоне¹⁵¹. Он посетил меня, и мы долго и откровенно говорили обо всем том, что его волновало и особенно тяготило. Жизнь на чужбине, несмотря на то, что она протекала в уютной семейной обстановке и была прекрасно обставлена, видимо, очень тяготила великого князя.

Главную причину постигшей его опалы он видел в появлении в печати книги, в которой он старался объяснить обстоятельства, вызвавшие его брак. «Не будь этой книги, – говорил он мне, – все было бы иначе»¹⁵².

¹⁵¹ Великий князь Михаил Михайлович в 1891 г. за границей вступил в морганатический брак с Софьей Николаевной Меренберг, старшей дочерью принца Николая Вильгельма Нассауского и графини Натальи фон Меренберг (дочери Пушкина). Брак не был признан императором Александром III. Великий князь был уволен от службы и лишен всех прав, с воспрещением въезда в Россию. Только в 1901 г. Николай II брак признал.

¹⁵² В 1908 г. великий князь Михаил Михайлович опубликовал роман «Never Say Die» («Не унывай»), посвященный своей жене.

Нередко мы с великим князем выходили и одни, чтобы побродить подольше в тамошних парках. Там их много, и они все действительно прелестны.

Когда я хочу вспоминать Лондон с приятным чувством, я прежде всего вспоминаю его парки и его Темзу.

Это одна из самых красивых городских рек, своей шириной немного напоминающая нашу Неву и Дунай в Вене.

Гостеприимная любезность англичан простерлась до того, что я получил приглашение от двух лучших из их клубов (одного военного) бывать у них в качестве члена на все время моего пребывания в Англии. Ни в одной другой стране я подобного гостеприимства не встречал.

Нам предложили присутствовать также и при парламентских прениях. Михаил Александрович поехал, а я, несмотря на уговоры, отказался. Мне тогда нездоровилось, да и само здание парламента я уже видел во всех подробностях, пережил в нем все историческое, что с ним связывается и что невольно в нем каждого охватывает, а слушать одинаковые почти всюду политические препирательства, и притом на плохо понимаемом языке, – было для меня уже совсем лишним.

Сознаюсь, что сцены перед началом Французской революции, сумасбродные речи наших двух «государственных» Дум и даже рукопашные схватки партий в большинстве парламентов во многом способствовали моему, быть может, очень невежливому упорству. Мне и без того слишком часто приходилось присутствовать в разнообразных людских

Роман затрагивал тему сословного неравенства в браке. Книга была запрещена в России.

собраниях, приходилось и самому принимать участие в прениях, и всегда интимные беседы и споры лишь с одним человеком представлялись мне намного более искренними, правдивыми и содержательными, чем такие же словопрения в многолюдных, хотя бы ученых или государственных собраниях.

Еще со школьной скамьи я вынес убеждение, что только отдельный человек может быть мудрым и творить великие дела, скопление же этих мудрых людей – никогда!

Самая ясная, великая, необходимая для жизни идея, отданная на рассмотрение парламента, даже составленного лишь из одних выдающихся по уму и знанию людей, неминуемо там теряет всю свою ясность и становится спорной и маленькой.

Я поэтому никогда не верил ни в необходимость, ни в спасительную силу парламентов или им подобных учреждений, находя и тысячи других, чисто субъективных оснований для такого крепкого неверия. Но главным образом я не любил парламентарную систему за все те надежды и за те разочарования, которые она постоянно приносила и будет приносить людям, а также и за то, что с подобной формой правления у правителей отсутствует самое важнейшее чувство – чувство единоличной ответственности.

Наше жалкое время дает тому бесчисленные доказательства. К сожалению, в совесть и способности отдельных людей во время их правления не особенно верят. Их обыкновенно – даже самых незаинтересованных – подозревают в самолюбивых стремлениях и всегда отдают под надзор и руководство многочисленной и более низкой среды депутатов.

Только во время огромных бедствий, когда большей частью становится поздно, а речи и голосования не помогают, сама жизнь заменяет этот многоголовый австрийский «гоф Кригсрат»¹⁵³, решительным правлением одного человека... Но уроки жизни забываются скоро, и люди, не научившись властвовать даже над самими собою, вновь стремятся хотя бы косвенно управлять другими. Кроме иллюзий и утех самолюбию, это ничего не дает...

Нашу русскую прислугу водили также показывать заседание Парламента. Мой старик Лукзен вернулся оттуда вечером очень взволнованный.

– Уж так было интересно, Анатолий Александрович, так интересно, что не знаю, как и сказать, – говорил он. – Вот-то жаль, что вы не поехали!

– Что ж там было такого замечательного? – спросил я.

– А как же не замечательно... ведь нам говорили нашіто провожающие, что оттуда они всей страной управляют... что прикажут своим министрам, то те и исполняют, не могут послушаться, а то их сейчас долой! И берут новых!.. Прямо удивительно. Правленье-то это ихнее действительно огромное – куда больше здешнего дворца, а комната, где сидят, небольшая. И народу набралось множество, все места как в театре заняты. А только, Анатолий Александрович, не понравилось мне, как они там управляют. Никакого то есть сочувствия к людям нет.

¹⁵³ Гофкригсрат – придворный военный совет Священной Римской империи германской нации, а затем Австрийской империи, заседавший в Вене с 1556 по 1848 г. В 1848 г. был преобразован в Военное министерство.

– Что ж так?

– А как же – как мы пришли, поднялся это один человек и стал таково жалостно говорить о своей нужде... Поверите ли, Анатолий Александрович, даже я, не понимая, и то прослезился. Нужда-то, видно, у него большая. Уж он говорил, говорил, и туда, и сюда поворачивался, и руками махал, а под конец как от горя закричит и кулаками даже в грудь застучал. А им хоть бы что – сидят, как в цирке, кто газету читает, кто между собой разговаривает, а на него и не смотрят. Уж так мне стало за него обидно, так обидно... И посейчас сердце щемит... человек-то больно хороший... сочувствия просил... а вот никакого ему внимания.

– Почему ж вы, Владимир Андреевич, знаете, что он хороший? А может, он злой? Да, может, еще глупости говорил, вот его и не слушали?

– Нет, Анатолий Александрович, – людей-то я видывал на своем веку порядочно. Этот не злой и не обманщик. Seriously так, жалостливо говорил. Когда просишь, уж до глупостей ли тут... А такого вот и не слушали. Какое уж это правление.

На другое утро я прочел в газетах, что очень длинную, возбужденную речь говорил в Палате общин один из ирландских депутатов. Вероятно, это был тот самый «больно хороший человек», который заслужил невнимание палаты и такое горячее сочувствие моего сердобольного старика. К сожалению, мне ни разу не приходилось слышать его суждений о нашей Государственной Думе.

Я до сих пор не перестаю изумляться, насколько ее существование было незаметным среди сельского населения, по крайней мере моей губернии и моего уезда.

Многие о ней вовсе не слышали, остальные о ней просто не говорили. Впрочем, из нашего уезда не было ни одного крестьянина-депутата.

Дума для крестьян нашей местности была лишь одним бесчисленным, мало им понятным государственным учреждением. Никаких особых надежд с ее существованием у них не связывалось. Все их ожидания были направлены, как и раньше, лишь в сторону царя. Мне думается, что так же было и в других губерниях. В этом совершенно прав был гр. Коковцов, когда в одном разговоре с иностранным государственным деятелем указывал, что «уже на расстоянии тридцати верст от русских городов никто и не вспоминает о Государственной Думе».

■ XIV

Наконец наступил и день нашего отъезда в Сандрингхам. Мы выехали туда одни с королевой, без короля. Он должен был еще посетить чей-то замок и через день присоединиться к нам.

Кроме уже знакомых мне королевы, принцессы Виктории, великого князя, фрейлины miss Knolles и адъютанта короля полковника Legga, в нашем вагоне ехали приглашенные также в Сандрингхам принцесса Патриция Коннаутская со своей молоденькой фрейлиной-подругой и одна чрезвычайно милая придворная дама графиня Герстфорд, полную фамилию которой я теперь, к сожалению забыл.

По некоторым намекам всезнающей словоохотливой miss Knolles и дружеским откровенным признаниям принцессы Виктории, я понял еще накануне, что королевская семья очень надеялась, что молодой, красивый и ловкий Михаил Александрович сумеет понравиться принцессе Патриции и что она, в свою очередь, покорит сердце моего великого князя для их обоюдного счастья.

Меня, любившего Михаила Александровича почти братской любовью, уже одно предположение о подобной возможности наполняло самыми хорошими ожиданиями.

Действительно, более подходящей пары, по внешности, было бы трудно сыскать. Михаил Александрович был очень красив, принцесса Патриция еще лучше. Она по праву считалась самой красивой принцессой в Европе, и даже самая завистливая и недоброжелательная из женщин не могла бы этого права у ней оспаривать. Молодые, высокие, сильные, но вместе с тем и изящные, они оба любили

верховую езду, всякого рода спорт, оба были не честолюбивы и предпочитали дворцовой жизни частную.

В характерах их, по правде, чувствовалось много разного, но того разного, что зачастую лишь бессознательно притягивает людей друг к другу, восполняет в совместной жизни недостатки другого и не служит препятствием ни для обоюдного уважения, ни для длительного счастья обоих.

Принцесса Патриция, как я чувствовал – то есть насколько я мог вынести впечатление из немногих с ней разговоров, – обладала намного большей силой воли, чем Михаил Александрович, больше его любила путешествия, очень ценила искусство, древности, книги, намного лучше него знала жизнь и вернее, чем он, разбиралась как в обществе, так и в единичных людях. Она была более спокойна, серьезна, совсем не застенчива и не так доверчива и мягка, как он. В ней, несмотря на сравнительную молодость и скромность, было много врожденной английской гордости и кажущегося холода, чем совершенно не обладал мой великий князь.

Как мне казалось, принцесса Патриция, видимо, хорошо знала себе цену в полную противоположность моему милому скромному Михаилу Александровичу, находившему у себя, за исключением некоторых физических преимуществ, лишь одни недостатки.

Многие явления русской жизни, столь понятные и естественные в глазах Михаила Александровича, ею, англичанкою, вероятно, никогда поняты как следует не были бы, но привыкнуть к ним, как и к нашей православной церкви, уже давно искавшей сближения с англиканской, она, конечно, могла.

Даже ходили упорные слухи, что она соглашалась перейти в католичество, когда года три назад поднимался вопрос о ее браке с испанским королем.

В этом ей, вероятно, помогли бы и известная широта взглядов, и их взаимное горячее чувство, если бы оно у них появилось.

В совместной жизни она, наверное, всецело подчинила бы его себе, и это руководство не шло бы ему, немного вспыльчивому, увлекающемуся, но колеблющемуся, во вред. С другой стороны, незаметное постоянное влияние его хорошей, чрезвычайно мягкой, сочувствующей натуры могло бы снять с внешнего облика принцессы Патриции весь остаток некоторого холодного безразличия, который иногда на нем появлялся, и сделать этот облик совсем прекрасным для русских глаз и еще более притягательным для русского сердца.

Но главное сближающее и теперь уже, казалось, было у них налицо: оба были красивы и изящны; обоих ни в чем не коснулись излишества жизни; оба тянулись к счастью и стояли еще лишь на пороге в заманчивое будущее.

Непритязательная деревенская обстановка Сандрингхама могла этому сближению только помочь...

Принцесса Патриция мне сразу понравилась, как только вошла в наш вагон. Я не ожидал увидеть ее столь обаятельной по внешности и вместе с тем настолько серьезной и простой.

Я знал, конечно, что мой великий князь не свободен, что его юное сердце уже занято другой, что он скептически относился к «разным принцессам», и тем более благословлял судьбу именно за эту дарованную ему встречу – настолько та, другая, не принцесса, совершенно меркла в сравнении

перед этой как своей внешностью, так, главное, и своим внутренним миром.

Правда, для моих невольно вспыхнувших мечтаний ни у Михаила Александровича, ни у принцессы Патриции пока не хватало самого главного – чувства взаимного притяжения; но это чувство, как обыкновенно бывает, могло родиться у каждого из них в любой день и в любую минуту.

Увлекающийся и в своем увлечении далеко не постоянный характер великого князя, его молодость и предстоявшее совместное пребывание в деревне превращали у меня это предположение почти в уверенность; хотя я, как и Михаил Александрович, всегда относился с особенно большим предубеждением ко всяким «устраиваемым бракам».

В жизни, а не только в романах обыкновенно стремятся к лучшему и, встретя это превосходное, быстро, почти безболезненно забывают прежнее, зачастую очень посредственное, но казавшееся случайно прекрасным лишь под чарами все золотящей мечтающей юности.

В этой встрече замешан был тоже отчасти случай, но, как мне казалось, случай особенно счастливый, благостный и решающий для будущности великого князя.

Одного ловкого шага со стороны принцессы Патриции было бы, пожалуй, достаточно, чтобы легко увлекающемуся, но и очень застенчивому Михаилу Александровичу дать то не воображаемое, а настоящее громадное счастье, которого он по своей чистоте так был достоин.

Не в нем поэтому, а в ней крылась главным образом эта возможность, столь заманчивая как для его родных, так и для его близких друзей.

Но было ли свободно ее сердце? И если нет, то насколько сильнее этого возможного друга мой великий князь мог

приковать к себе ее внимание? Вот вопросы, которые с того дня стали невольно занимать мои мысли и которые вскоре получили такой ясный и печальный для меня ответ...

* * *

Sandringham расположен далеко от Лондона, в Norfolk'e, и ехать приходилось на северо-восток, через Кэмбридж, до Kings Lyan'a, а оттуда около полутора часов на лошадях до самого имения.

Во время этой уютной поездки в нашем вагоне был сервирован завтрак, затем чай. Служившие за столом лакеи обратили на себя мое внимание своими необычными, совсем не украшавшими их ливреи красными шнурами, висевшими на них совершенно наподобие револьверных шнуров. Как мне разъяснили, это и были действительно шнуры от старинных пистолетов, которыми всегда во время путешествий снабжалась, по традиции, вся сопровождавшая поезд королевская прислуга. Это являлось напоминанием о тех отдаленных временах, когда старая Англия была наводнена разбойниками и дикими зверями, и путешествие даже для короля было небезопасно. Теперь в Англии не осталось ни одного волка, самые глухие проселочные дороги перестроились в железнодорожные, а разбойники превратились в мелких карманных воришек или экспроприаторов банков, и тем не менее этот обычай, как и многие другие, не кажется мне и сейчас забавным.

Кроме трогательной привязанности англичан к прошлому своей страны, он им невольно напоминает и о достоинствах их современной культуры. Они гордятся довольно сильно этой культурой, но и только.

Испытывая настоящую нежность только к детям и цветам, все свое уважение, свою поэзию, свою благодарность они отдают почти без остатка своему любезному минувшему и в этом отношении не опасаются казаться смешными.

И действительно такими не кажутся – настолько эти чувства у них искренни, благородны и заслуживают подражания. Если я и чувствовал когда-нибудь какую-либо зависть к Англии, то только лишь благодаря этой проникающей во все слои населения любви к традициям и привязанности к прошлому.

Люди, относящиеся с пренебрежением к своим предкам, высмеивающие их, не могут уважать и самих себя. У них не может быть славного и будущего. Таких не ценят и собственные дети.

Благодаря этой общей любви к традициям взаимоотношения «отцов» и «детей» не так обострены, как у нас.

В Kings Lyan'е нас ждали уже экипажи всевозможных размеров и всевозможных запряжек, в которых мы весело и разместились. Дорога в Сандрингхам и его окрестности, в общем, однообразна и скучна; море отстоит далеко, местность почти плоска. За исключением, как всюду в Англии, могучей растительности, яркого цвета зелени и живописных, обвитых плющом построек, эти окрестности не привлекли бы к себе внимания художника, но благодаря кустарникам, перелескам и обширным лугам являлись настоящим кладом для охотника и животновода.

Через час с небольшим через удивительно красивые кованые ворота мы уже подъезжали к громадному замку, поразившему меня своими размерами, но не особенно мне понравившемуся из-за своих красных кирпичных, всегда поэтому некрасивых стен. Стиля всей постройки мне

определить точно не удалось. Насколько мне помнится, замок этот не насчитывает многих столетий.

Странно, но об Сандрингхамском дворце, в котором мне пришлось сравнительно долго прожить, у меня сохранились лишь отрывочные, далеко не полные впечатления. Я там редко был предоставлен самому себе, да и впечатления следовали настолько близко одно за другим, что не давали мне возможности всматриваться хорошо в окружающую обстановку.

Довольно отчетливо мне вспоминается лишь моя уютная, полная всевозможного комфорта комнатка во втором этаже да красивая зала в индийском стиле с коллекцией всевозможного оружия диких племен.

Почему-то запомнилось еще помещение, где стояло чучело любимой лошади Эдуарда VII и находилась модель его парусной яхты, и в особенности та небольшая комната, кабинет или курительная короля, в которой он нас ждал по утрам и куда мы иногда задолго до завтрака приходили к нему, чтобы совместно обсудить программу дня. В этом же помещении находились и весы, на которых каждый гость должен был взвешиваться в день приезда и при отъезде, чтобы король мог знать, насколько пребывание в Сандрингхаме благотворно сказалось на здоровье приглашенных. Все это записывалось тщательно в одну книгу, а в другой собирались автографы гостей.

Запомнилась, собственно, не столько эта комната, сколько сам король. Он казался там таким уютным, в своем широком кресле, всей своей грузной, мягкой, неторопливой фигурой, одетой в полуохотничье платье, толстые длинные чулки и башмаки.

В его немного прищуренных глазах светилось столько ума и веселости, а в улыбке было так много добродушия и приветия...

«Настоящий добрый король из старинной сказки Андерсена», – думал я.

Тут же ему иногда приносили бумаги для подписи, или он сам читал и вникал в дела, совершенно не стесняясь присутствием других, а окончив свои занятия, снова оборачивался к нам, делился своими впечатлениями и заботливо расспрашивал о наших...

Запомнился мне и вход в громадный парк, охраняемый в течение долгих лет одним и тем же полисменом, и та громадная фигура какого-то индийского божества, которая находилась совсем недалеко от главного дома.

Смутно помнится и самый парк с его гигантской колоннадой сосен, обвитых доверху плющом, и изумительно красивое озеро.

В этом же парке была и длиннейшая аллея из домиков и клеток, в которых были собраны охотничьи собаки всех пород мира вплоть до наших хортых и густопсовых борзых. Тут же паслась и крошечная лошадка нашей вятской породы, а в другом месте находился и наш орловский рысак.

В этом же парке были построены недалеко один от другого два маленьких, почти игрушечных коттеджа «York Cottagen» и «Appleton Hous», предназначенных, один, совсем крошечный, для пребывания королевы Моод и короля Гаакона, другой, немного обширнее, для семьи наследного принца Уэльского.

Несмотря на такие ничтожные размеры, жить в этих домиках можно было уютно и довольно удобно.

Через несколько недель наступал день рождения короля, и обе семьи вскоре после нашего прибытия приехали также погостить в Сандрингхам.

Я впервые познакомился тогда с будущим королем Георгом V и его супругой (*Марией*. – О. Б.). Их дети были тогда еще совсем маленькими.

Принц Уэльский в те дни был действительно поразительно похож на нашего государя. Одетые в одно и то же платье, они казались бы совершенно близнецами, и их нетрудно было бы смешать, несмотря на более темную окраску волос у принца.

Но в интонации голоса, манерах, выражении глаз и улыбке чувствовалась уже большая разница; вероятно, различны были их характеры и привычки. Принц Уэльский, по рассказам придворных, очень любил, как и наш государь, море и моряков; говорили также, что он был очень замкнут и неразговорчив.

Последнего я лично не заметил. Во время наших совсем кратких неофициальных встреч он всегда был очень общителен, оживлен и весел.

Из остальных построек мне запомнилась еще небольшая каменная деревенская церковь, в которой королевская семья и мы бывали по воскресеньям, и очень смутно небольшая деревушка, приютившаяся сразу за парком.

Вот все то из обширного внешнего, что мне удалось сохранить в памяти за эти долгие годы. Если бы со мной находился сейчас мой старый Луксен, он сумел бы мне напомнить многое, что могло бы, быть может, показаться интересным и не для нас одних. Память на мелочи у него была изумительная, а наши путешествия его всегда преображали. Довольно апатичный, не любопытный, мало

чему удивлявшийся дома, он за границей оживал, всему удивлялся и, несмотря на свой русский патриотизм, от всего приходил в восторг.

В Италии его покоряли святыни, в Англии, насколько я помню, – еда и растительность.

– Ах, Анатолий Александрович, – говорил он мне несколько вечеров подряд, когда я ложился спать, – какие у них тут в парке деревья! Вот так деревья! Изумляться можно... все бы ходил их смотреть... прямо не оторваться.

– Ну что вы, Владимир Андреевич, – усовещивал я его, – разве забыли нашу Гатчину. У нас в дворцовом парке найдутся деревья и повыше, и потолще.

– Где таким у нас найтись, – убеждал он меня. – У нас климат другой.

– Да ведь вот растут!

– Что ж, что растут! Ну и пускай их растут, – бормотал он недовольно. – Все равно до таких не вырастут.

Как он мне напоминал своим увлечением за границей моих многих культурных соотечественников.

Но возвращение домой моего старика неизменно радовало:

– Хорошо-то тут, что и говорить, хорошо... и внимание оказывают, а дома все-таки лучше!

– Чем же лучше, Владимир Андреевич? – дразнил я его. – У нас вон и деревьев таких нет, да и баранина много хуже...

– Не с деревьями и баранами жить, Анатолий Александрович, – наставлял он меня, – а с людьми. Люди у нас куда лучше!.. Душевнее!.. Одно слово – свои; а это чужие и по-русски не понимают.

На другой день нашего приезда прибыл король и сразу внес оживление в деревенскую жизнь. Одновременно с ним приехали и очередные гости, которые обыкновенно приглашались в Сандрингхам на несколько дней и сменялись по два раза в неделю, кажется, по воскресеньям и средам.

Король умел подбирать своих приглашенных и составлять им очереди так, чтобы они могли чувствовать себя в подходящей компании. За время нашего пребывания в его имении перебывало несколько десятков человек, молодых и старых, людей различных партий, из светского и высшего служебного круга.

В числе их были и дамы, и епископы, и иностранные дипломаты.

Приезжал и наш посол, граф Бенкендорф, пользовавшийся у короля по праву большой симпатией. Это было время расцвета англо-русской дружбы, и Эдуард VII подчеркивал свое особенное к русским внимание.

Наиболее торжественною частью дня было время обеда. Он сервировался очень поздно, в большой красивой зале, в отличие от завтраков за одним общим длинным столом. Сервировка была обычно-дворцовая. Что было необычно, но и особенно изящно, это украшение стола не только цветами, но и большими ветвями деревьев и кустарников, уже расцвеченных всеми красками осени, – искусство и умение, которыми можно любоваться только в одной Англии.

Король выходил к обеду, имея в петлице фрака какой-нибудь цветок, каждый день особенный. Этим же преимуществом пользовались и остальные родственники королевского дома, и гости этого ранга.

Король посылал Михаилу Александровичу от себя тот именно цветок, который он должен был надеть вечером к своему фраку.

Вероятно, такую же любезность он оказывал и другим.

Необычайной была и та быстрота, с которой менялась посуда.

Благодаря очень находчивому приспособлению она как-то одновременно сдерживалась со всего стола, не произведя при этом никакого беспорядка и шума.

За обедом, а затем вечером играл приглашенный большой оркестр румын. Играл он превосходно, в числе других и русские вещи, так что можно было ими заслушаться.

В Сандрингхаме существовала и другая музыка, совсем особенная, длившаяся не более минуты, но своим внезапным вторжением и раздирающими звуками заставлявшая вздрагивать от неожиданности новичков и вызывать сочувствующую веселую улыбку короля. Происходило это обыкновенно около середины обеда и всегда неожиданно: раскрывались двери столовой, на пороге появлялся громадный шотландец в своем живописном национальном одеянии и начинал во всю силу легких дудеть в свою волынку. Затем, не отнимая волынки ото рта, он быстрым шагом обходил вокруг стола и так же быстро исчезал, как и появлялся.

Мое невольное резкое движение от неожиданности такого вторжения рассмешило моего соседа, очень степенного пожилого англичанина.

Хотя и не особенно ясно, он мне разъяснил, что этот обычай у них существует с давних пор и что во времена пиршеств у шотландских королей всегда появлялся такой

волынщик, чтобы своими звуками, как это, вероятно, подразумевалось в очень древние времена, напомнить пирующим о превратностях судьбы и о поджидающей каждого смерти. Впоследствии этому обычаю было придано уже совсем не мрачное значение – в нем выражалось лишь особо почетное приветствие короля и его гостей. В некоторых частных домах в Шотландии существует до сих пор такой же обычай...

Постоянных мест за обеденным столом не было. Ежедневно у каждого из нас, так же как и у короля и королев, менялись соседи.

В первый день Михаил Александрович сидел между королевой и принцессой Викторией. Напротив него приходилась принцесса Патриция, сидевшая рядом с королем. На второй день принцесса Патриция и великий князь сидели рядом. Они оба, конечно, с первого момента встречи догадывались о тех предположениях, которые строились на их счет, и усиленное внимание посторонних их, видимо, сильно раздражало; в особенности ее. Сдержанная и владеющая собой в совершенстве, она порою невольно выказывала неудовольствие.

Сознаюсь, что мне самому было за них обоих порядочно неприятно. Ничто так не мешает зарождению обоюдного чувства, как усиленные старания и любопытство других. Для гордых людей они невыносимы и способны убить это чувство в самом начале и навсегда.

В счастье любви, если можно это чувство назвать таким громким словом, дорожат только счастьем, завоеванным лично, а всякое посредничество и расхваливание друзей, как бы доброжелательны они ни были, всегда напоминают какую-то торговую сделку.

Принцесса Патриция и Михаил Александрович это чувствовали особенно сильно и нарочно показывали другим, что все старания их будут напрасны. В этот вечер они оба разговаривали только со своими соседями и почти не обмолвились ни единым словом между собою.

– Конечно, ничего с ними не выйдет, – шептала мне громко мало смущавшаяся miss Knollis. – Они даже не желают смотреть друг на друга. Я заранее это предвидела. Мысли у них заняты совсем другим. Те, о ком они оба думают, находятся далеко отсюда.

На третий день за обедом мне пришлось быть соседом принцессы Патриции. Она оказалась очень интересной и наблюдательной собеседницей. Мы оживленно разговаривали о совсем не «обыденных» вещах. Под конец зашел разговор о ее путешествиях. Ее всегда тянуло в малоисследованные страны, с еще недостаточно разъясненной культурой и своеобразными обычаями.

Европейские страны, кроме Англии, она недолюбливала. Они ей казались скучными и неинтересными по своему сравнительному однообразию.

Но на моей родине она никогда не была и расспрашивала о ее особенностях с интересом и даже сочувствием, которое меня уже радовало.

– Какая же страна после Англии вам могла бы показаться настолько интересной, чтобы вы могли в ней без скуки и сожаления жить? – спросил я ее почти невольно.

Я так надеялся услышать, хоть с небольшим раздумьем, слово «Россия», но получил сейчас же в ответ:

– Только Египет.

Через несколько дней, видимо, тянувшихся для нее долго, принцесса Патриция покинула Сандрингхам. Ее просили остаться еще на неделю, но что-то «важное» ее призывало домой.

Никто, я думаю, так не сожалел о ее отъезде, как я.

Все же моя надежда даже при таких обстоятельствах еще не исчезла совершенно – они оба, в конце концов, хотя бы украдкой могли, всматриваясь друг в друга, вдруг к изумлению узнать, что отворачиваться от обоюдного счастья им совсем было ни к чему.

Ведь жизнь всегда находит тысячи оснований для разъединения, но и ровно столько же, если не больше, для самых неожиданных увлечений!

Впрочем, в этом равенстве возможностей заключается и трагедия многих существований, так как совершенство находит не всякий, да и обольщение длится недолго. Настоящее счастье доступно, пожалуй, только тому, кто имеет возможность довольствоваться малым и не замечать по сторонам лучшего.

«Жалкое счастье для маленьких людей», – воскликнут многие. Да, жалкое для посторонних, но не для самих сильно влюбленных! Пусть будет всякий счастлив по-своему...

Обед в Сандрингхаме длился обычно долго. После него королева и дамы, по английскому обычаю, удалялись в гостиную, мужчины сдвигались ближе к королю, подавались кофе, вино, сигары, папиросы, и завязывался веселый, оживленный, а порою и очень серьезный разговор.

Король любил, чтобы около него все чувствовали себя непринужденно и весело, и устраивал это всегда с непревзойденным умением.

Я был порядочно застенчив и всегда старался быть не на виду, устраиваясь где-нибудь подальше от центра стола. Но король неизменно отыскивал меня глазами и с добродушной настойчивостью требовал, чтобы я как русский гость пересел поближе к нему.

Через некоторое время все переходили в гостиную к дамам, вели с ними недолгий общий разговор, слушали музыку, а затем почти все садились за карты, играть в бридж.

Я, как и Михаил Александрович, совсем не знал раньше эту игру и выучился ей тогда в Сандрингхаме лишь благодаря настояниям miss Knollis, чтобы составить партию ей, принцессе Патриции и ее молоденькой фрейлине. Играл я неимоверно плохо, но мои партнеры были также еще новичками, с другими я, конечно, не решился бы играть.

Михаила Александровича, несмотря на все старания, так и не удалось привлечь к нашему столу. Он предпочитал в одиночестве слушать музыку, достал свои ноты и просил румын играть любимые русские романсы и оперы. Я думаю, никогда в Сандрингхаме не раздавалось столько русской музыки, как за время нашего тогдашнего пребывания.

Так проходил вечер. Расходились по своим помещениям очень поздно, но зато и вставали не особенно рано.

Наутро нас ждало очередное развлечение, поездка по окрестностям, выезд на охоту в ближайшие замки или осмотр какой-нибудь интересной части имения. Ездили на автомобилях или на лошадях, очень часто ходили пешком.

Во всем этом принимали близкое участие королева и ее дамы.

Принцесса Виктория была права – мне действительно очень нравилось в Сандрингхаме благодаря новизне

впечатлений, деревенской обстановке и чрезвычайно внимательному отношению королевской семьи.

Почти весь день, с утра до вечера, мы были с нею вместе и жили самой простой непринужденной жизнью. Король и тут был очень мил по отношению ко мне, видимо, желая преодолеть мою застенчивость.

Показывая что-нибудь особенно интересное своим гостям, он всегда отыскивал меня, по обычаю прятавшегося где-то в окружавшей его толпе, и выдвигал вперед. «Не удаляйтесь, не удаляйтесь от меня, *bien cher monsieur*, – говорил он в таких случаях, добродушно посмеиваясь. – Право, нам будет обоим намного выгоднее: за их спинами вы ничего не увидите, а я не услышу вашего мнения о моем хозяйстве, которое я непременно хочу знать».

Такое милое внимание меня очень трогало; я его, конечно, относил не к себе лично, а к тому обстоятельству, что мы, кажется, с Михаилом Александровичем были первыми русскими, которым пришлось видеть Сандрингхам во всех его подробностях.

Имение короля было устроено действительно образцово, притом с широтою и роскошью, меня изумлявшими. Ничего подобного за исключением России и старой Франции мне ранее в других местах не приходилось видеть. Даже наши громадные дворцовые, прекрасно устроенные фермы, оранжереи и конюшни казались жалкими в сравнении с Сандрингхамом.

Из ослепительного моря цветов его оранжерей просто не хотелось выходить, а его фермы и молочная казались маленькими дворцами по тому материалу, из которого была устроена их внутренность.

Королева очень любила природу, молочное хозяйство и своих коров и овец. Только в Сандрингхаме в нашем демократическом XX столетии еще можно было видеть своими глазами те буколические сцены, которые когда-то переживались в Трианоне.

Королева Александра, хотя мало походила на Марию-Антуанетту, но была так же женственна и изящна, как та.

Мне до сих пор вспоминается прелестная лужайка перед фермой, залитая заходящим солнцем, и королева, окруженная своим выхленным стадом, в красивой старомодной шляпе, простеньком платье, но с роскошной, стиля Людовика XVI, большой корзиной в руках, полной моркови, хлеба и разных овощей, из которой она кормила своих любимцев.

Только группа придворных мужчин и прислуги мешала немного полноте впечатления. Их современное некрасивое одеяние совсем не подходило ко временам Версальского двора.

В этом отношении охоты бывали гораздо красочнее. Сама королева обыкновенно смотрела на охоту издали, но к ней приводили для ласки особо отличившихся собак и лошадей.

У королевы Александры в ее саду была устроена небольшая столярная мастерская, в которой работали и учились мальчики из окружающих деревень. Королева по праву гордилась своей мастерской. Работа ее учеников была действительно художественна, а инкрустация по дереву намного превосходила столь распространенные итальянские изделия этого рода.

Материалом обычно служили разные сорта деревьев, выращенных в Сандрингхамском парке и сваленных с корня бурей или погибших от каких-либо других обстоятельств. Как наша императрица, королева не выносила, чтобы даже самое уродливое дерево было срублено в ее парке для каких-либо утилитарных целей.

В память посещения этой мастерской королева подарила мне прелестный маленький столик для хранения писем и бумаг.

– Он вам, наверное, лучше других вещей будет напоминать Сандрингхам и меня, – говорила она. – Этот столик точная копия с того, который постоянно находится около моего письменного стола. Я его очень люблю. К тому же он сделан из дерева, выросшего в моем саду.

Чтобы отблагодарить королеву за такой милый подарок, я послал ей из России небольшую, довольно изящную шкатулку нашей кустарной работы. Но она не захотела остаться в долгу и прислала мне к Рождеству две прелестные серебряные вещицы для моего письменного стола с выгравированной подписью, а также и альбом с отпечатанными фотографиями из ее жизни в Лондоне, Сандрингхаме и во время путешествий. Мне особенно понравилась та фотография, где королева снята на рыбной ловле с удочкой, и за нею стоит тот рослый шотландец, который смутил меня неожиданными звуками своей волынки в первый вечер по приезде. Все эти памятные вещи, как и другие, погибли в дни революции от руки большевиков.

Незадолго до дня своего рождения¹⁵⁴ король как-то раз с немного таинственно-веселым видом отвел меня в соседнюю пустынную, полутемную комнату и вручил мне большой и красивый крест ордена Виктории, который был им недавно учрежден.

– Я так доволен, – сказал он, – что вы и мой племянник проводите эти дни у нас, и с особенным удовольствием даю вам на память наш английский орден.

– Ваше Величество, – отвечал я, – мне уже давно хотелось сказать вам, как я благодарен королеве и вам за ваше дорогое гостеприимство. Благодарю вас от всей души за этот Крест и в особенности за ваше постоянное милое внимание ко мне. В вашем доме я чувствую себя так хорошо и свободно!

– Я думаю, все-таки не так хорошо, как у себя дома, – улыбаясь, сказал король. – У вас при дворе не любят многолюдства, и это очень жаль. Ваш государь должен видеть чаще людей, приглашать их к себе, бывать в обществе. Он такой прекрасный человек. Надо, чтобы его знали близко не только министры и его свита, но и весь народ... в особенности люди из оппозиции – узнав его ближе, они, конечно, переменили бы свое мнение о нем, да и сами бы стали другими. Я много думаю об этом и о вас, русских.

– Ваше Величество, – отвечал я, – нашего государя ценят почти все русские, а революционеры и недовольные находятся всюду... Моя страна не такая, как другие. Наш простой народ даже не любит, когда его царь слишком часто

¹⁵⁴ 9 ноября – день рождения короля Эдуарда VII.

нисходит к нему со своего трона. Что касается до оппозиции и влиятельных людей из общества, то государь, вероятно, отлично осведомлен об их мнениях и желаниях... и не через одних только министров.

– Я в этом и не сомневаюсь, – возразил король, – узнать такие вещи совсем нетрудно. Важно не то, что он сам знает о людях, важно, чтоб его самого люди знали, и как можно ближе.

– О! В этом я совершенно согласен с вами, – сказал я с убеждением, но сейчас же подумал в самом себе: «А еще главнее, чтобы люди сами старались о нем узнать ближе, но не с худой, с предвзятой, а с его лучшей стороны».

Через день меня позвала к себе и королева. Она передала мне небольшую изящную булавку для галстука с ее инициалами.

– Король вам дал уже орден, – сказала она, – а это на память обо мне и о нашем совместном путешествии.

День рождения короля был отпразднован почти в обычной домашней обстановке. К этому дню съехались только ближайшие родственники королевской семьи и немного более приглашенных.

Утром отправились в украшенную зеленью сельскую церковь на торжественное богослужение, а затем был парадный завтрак, с музыкой, за отдельными круглыми столами.

Король, кроме бесчисленных телеграмм, получил в то утро со всех сторон массу подарков. Все они были разложены на длинных столах и наполняли собою целую комнату. Чего только тут не было.

Наряду с вещами громадной ценности, редкими по своей старине и художественности, находились самые скромные и наивные подношения.

Тут же стояла целая коллекция карикатурных изображений различных политических, вырезанных из дерева, которая своими красками и мастерством невольно привлекала внимание и очень забавляла короля.

Михаил Александрович в тот день подарил королю очень дорогой, но совсем не изящный ларец для папирос из нефрита, отделанный золотом и драгоценными камнями. Этот подарок мы приобрели еще заранее, в Лондоне, от Фаберже, и его выбор нам доставил немало затруднений. Меня при этом поразило, насколько в изделиях лондонского Фаберже, приноровленных к спросу в Англии, было мало вкуса по сравнению с нашим петербургским и даже парижским¹⁵⁵.

Он нам доставил для осмотра в Букингемский дворец массу вещей, затем присылал новые, и все они были настолько неизящны, что пришлось, по совету принцессы Виктории, остановиться на этом некрасивом ларце, оказавшемся все же лучшим из худших. Впрочем, он очень выделялся от других подобного сорта вещей, поднесенных королю.

Вскоре после празднования рождения последовал и наш отъезд в Россию. Мы уехали из Сандрингхама днем, сразу

¹⁵⁵ Фирма Карла Фаберже имела филиалы в Москве, Одессе, Киеве, Лондоне, Бангкоке, а также магазин на нижегородской ярмарке.

после завтрака, и обедали уже одни, поздно вечером, в пустом Букингемском дворце.

За прощальным завтраком Михаил Александрович находился около королевы, а король посадил меня рядом с собой за свой небольшой стол. В то утро он был особенно оживлен, очень сожалел о нашем отъезде, много рассказывал, расспрашивал, шутил и смеялся. Редко можно было встретить такого милого, интересного собеседника, как он. И главное, как всегда, ни одного злого слова, ни одной насмешки или намека на какое-нибудь презрение к другим не слышалось в его рассказах и замечаниях!

Мне он всегда казался олицетворением веселого добродушия, простоты, доброжелательства и наблюдательности, а в те часы особенно.

Такой человек уважает своих противников, старается сделать из них друзей, и ему, наверное, совсем была не по душе та роль, которую играла Англия во время нашей Японской войны, что он и доказал, пойдя первым на сближение с Россией.

За этот шаг я более всего ему благодарен.

«Горе вам, не имеющим врагов», – сказано где-то в одном из самых продуманных изречений, но и без друзей в современном хаосе отношений моей родине было бы трудно существовать.

Хотелось бы, конечно, чтобы эти друзья были искренни и отдавались вам, как и мы, по русской привычке, без всякой задней мысли и от всей души. Как я уже сказал, такая дружба по плечу только отдельным людям, для стран и наций она невозможна.

Одним из этих отдельных людей, искренно дружелюбно относящихся к русским, был в Англии Эдуард VII...

Меньше чем через два года мне снова пришлось быть в Англии. Мы выехали туда внезапно, с императрицей-матерью, получив известие о кончине короля¹⁵⁶. Вся страна была в трауре; искреннее горе чувствовалось и на улицах города.

В Букингемском дворце царствовала благоговейная тишина. Несмотря на множество народа, его наполнявшего, он казался совершенно пустым, как будто вымершим. Усопший король еще лежал в своей комнате, и королева находилась около него.

В одном из дальних темных внутренних коридоров я встретил гофмаршала полковника Фредерика. Он стоял, прислонившись к стене, закрыв лицо рукою. Увидя меня, он оживился. «Нет! Нет! Не идите туда, – зашептал он взволнованно мне. – Там только одна семья. Подождем лучше здесь, его сейчас пронесут в другую залу!» – и он снова закрыл лицо рукою.

Издали слышались чьи-то грузные от тяжелой ноши шаги, небольшая процессия медленно прошла мимо нас, и опять все стихло.

Это была моя последняя встреча с королем Эдуардом.

Вечером в одной из собственных комнат собралась вся королевская семья, ближайшая свита и вся дворцовая прислуга для заупокойной молитвы. Ее пели все присутствовавшие, на другой мотив, но со словами нашей православной панихиды. Говорили, что эти слова особенно нравились покойному королю и королеве, когда им приходилось слышать их в России. Нас позвали также туда.

¹⁵⁶ Эдуард VII умер 6 мая 1910 г. в Лондоне.

Королева подошла к стоявшему рядом со мной князю Шервашидзе и сказала:

– Он так любил русских... Мне очень хотелось, чтобы и вы, русские, вместе с нашей семьей помолились о нем здесь, пока он еще находится у себя в доме...

Дальше потекли уже обычные официальные траурные дни.

■ XV

В 1909 году осенью произошло наше, и для меня, и для великого князя совершенно неожиданное, переселение в город Орел.

В этом городе был расположен 17-й гусарский Черниговский полк, командиром которого был назначен Михаил Александрович¹⁵⁷.

Если не считать короткого командования великого князя Николая Михайловича одним из полков на Кавказе¹⁵⁸, это был первый случай, что ближайший родственник государя, и притом считавшийся правителем страны в случае кончины императора, назначался командиром армейского полка, стоявшего в далекой провинции.

Идея, положенная в основу этого назначения, была, в общем, очень хороша. Им хотелось нагляднее подчеркнуть особое внимание ко всем армейским частям, которые государь любил и ценил не менее своей гвардии. Он это высказывал неоднократно в интимных разговорах и старался показать при всяком случае.

Я не только думаю, но и глубоко убежден, что ни один монарх в мире не относился с такой душевной теплотой к своим войскам, как император Николай Александрович.

¹⁵⁷ Великий князь Михаил Александрович Высочайшим повелением от 16 мая 1909 г. был назначен командиром 17-го Черниговского гусарского ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны полка.

¹⁵⁸ Великий князь Николай Михайлович с 1894 по 1897 г. командовал 16-м гренадерским Мингрельским полком.

Надо было быть вблизи него, видеть его лицо во время объездов и посещений войск и слышать его суждения по окончании смотров, чтобы понять, насколько это чувство глубоко владело им и соответствовало всей его натуре.

Армия – это сколок с народа, с которым государю приходилось намного чаще соприкасаться, чем с остальным населением, и в его горячей любви к войскам сказывалась вся беспредельная любовь и гордость к России. Вне своей родины он действительно не мог бы долго существовать, и это были у него не только одни громкие слова.

Но во внезапном назначении великого князя в Орел мне чувствовалось еще и другое, совершенно интимное, но почти сразу понятное всеми – это желание уберечь Михаила Александровича от дальнейших сетей одной замужней дамы, юношеское увлечение которой составляло отчаяние всей его семьи и вызывало столько негодующих толков как в гвардейской полковой среде, так и во всем столичном обществе¹⁵⁹.

Великий князь стоял слишком близко к трону, и опасения всех были не только понятны, но и патриотичны. Я не буду здесь говорить подробно о том, что я переживал в особенно мучительные для меня месяцы и годы. Я не только искренно любил Михаила Александровича как брата, желал ему совершенно другого, но и невольно сознавал, что

¹⁵⁹ Речь идет о начавшемся в 1907 г. романе великого князя Михаила Александровича с Наталией Сергеевной Вульферт, женой его подчиненного, поручика лейб-эскадрона лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка Владимира Владимировича Вульферта.

большинством окружавших меня людей чувствовалась в этом отношении какая-то моя, хотя бы и весьма призрачная, но все же ответственность за то, что я его от таких искушений не оберег.

– Отдай мне мою жену, – сказал однажды, вбегая возбужденно в мою комнату, даже муж этой дамы. – Твой великий князь ее у меня взял!

– Пусть лучше твоя жена отдаст мне моего великого князя, – отвечал я возможно спокойнее ему, – это она отняла его от всех нас!

Все, что можно было высказать против этого казавшегося мне столь неестественным, притянутым за волосы, а потому и недолговечным увлечения, я высказывал Михаилу Александровичу неоднократно не только с дружеской настойчивостью, но и горячею резкостью, меня порою самого удивлявшей и на что, к сожалению, не решались его даже самые близкие родственники.

В этом отношении я исполнил свой долг перед великим князем, всей царской семьей, а следовательно, отчасти и перед родиной до конца. Моя совесть в этом деле совершенно спокойна – я ни в чем не могу себя упрекнуть.

Но иметь спокойную совесть еще не значит успокоиться совсем.

То, против чего я всем своим существом боролся, чего опасался, все же совершилось, и это не делает мои мысли даже теперь приятнее...

С той именно поры я начал писать свой дневник. Как я уже сказал, натолкнул меня на это мой разговор с молодой императрицей.

Когда мой дневник, быть может, дойдет до тебя, ты узнаешь все подробности тех тяжелых для меня годов и, наверное, так же близко примешь их к сердцу, как я их переживал и переживаю по сей час. Но я не хотел бы, чтобы, кроме тебя, мама, моего брата и великой княгини Ольги Александровны – моих единственных друзей, мнением которых я особенно дорожу, – кто-нибудь другой прочел бы страницы моих записей за то время.

Для остальных мои переживания в этой «обыкновенной истории», какой бы любопытной для многих она ни представлялась, всегда будут излишни, а порою и смешны.

Да и большинство весьма немногих, впрочем, людей, принимавших в ней участие и способствовавших некрасивым козням, еще живы. Революция достаточно дала всем страданий, и не мне переполнять моими каплями чашу их горя... Оно и без того у нас всех переливается через край...

Уменьшать огорчения друг друга, даже тех, кого не любишь, а не прибавлять к ним новых – вот в настоящее время долг каждого русского перед своими соотечественниками.

От такого молчания ничуть не страдает ни высшая правда, ни хотящая все знать история.

* * *

Назначение великого князя в Орел, столь неожиданное для нас обоих, все же не было, как оказалось к нашему удивлению, таким для остальных.

Еще задолго до объявления о нем в высочайшем приказе, когда, по наведенным мною и Михаилом Александровичем справкам, ни сам государь, ни военный министр еще и не

думали делать на этот счет каких-либо предположений, о нем уже настойчиво говорили в известных кругах.

Первым сообщил об этом орловский губернатор, милейший С. С. Андреевский, приезжавший ранним летом в Петербург по служебным делам и узнавший о таком предположении от лица, близко стоявшего к министерству внутренних дел.

Он тогда представлялся в Гатчине императрице-матери и зашел ко мне, чтобы проверить этот слух, являвшийся, по его словам, уже делом решенным.

Вспоминаю, как эта новость меня тогда удивила. Не менее был поражен и сам губернатор Андреевский, убедившись, что ни я, ни Михаил Александрович совершенно не знали о подобном предположении.

Вероятно, этот слух был пущен каким-нибудь «доброжелателем» со стороны лишь только в виде пробного шара и в конце концов получив свое одобрение.

Мне несколько раз приходилось в своей жизни замечать, как подобные слухи из совершенно неуловимого источника, появлявшиеся еще задолго до событий и считавшиеся совершенно фантастическими, тем не менее, к удивлению всех, получали порою все-таки свое полное осуществление. В событиях более или менее исторических их исполнение, конечно, возможно предугадать, с этим иногда и необходимо считаться, но там, где они касаются назначений каких-либо важных лиц или незначительных перемен, эта сила людских толков и сплетни невольно привлекает внимание.

Пожалуй, в числе бесчисленных влияний, из которых складывается порою общественное мнение, людские пересуды являются одними из наиболее сильных.

К ним или относятся с известным, в большинстве случаев заслуженным, презрением и тогда восстанавливают против себя большинство говорящих, или им без рассуждения подчиняются, считая сплетников «голосом народа», то есть «голосом самого Бога», и тогда нисходят на степень кругозора толпы со всеми печальными от того последствиями.

Оставаться к ним совершение безразличным и вести свою собственную, считаемую правдою линию дано лишь очень немногим...

Высочайший приказ о производстве великого князя в полковники и его назначении командиром черниговских гусар последовал, кажется, в июне или даже в начале августа.

До этого времени Михаил Александрович, чувствуя себя нездоровым, пользовался продолжительным отпуском от кирасирского полка сначала в Гатчине, а затем переехал на летние месяцы вместе с матерью в Петергоф.

Для меня лично это был особенно тревожный и «подвижной» год.

Здоровье моего младшего сына продолжало внушать сильнейшие опасения, и доктора настаивали на немедленной его отправке на итальянские озера, еще до наступления весны и таяния снега.

В самом начале марта вся моя семья уехала поэтому сначала в Luino, на берегу Lago Maggiore, а затем перебралась в Cannero.

К тому времени генерал Дашков покинул свою службу, и я оставался один при великом князе. Дела было чрезвычайно много, и воспользоваться продолжительным отпуском было немыслимо.

Все же мне удалось за эти месяцы съездить три или четыре раза к своим в Италию, но всего на несколько дней, не более недели каждый раз. Несмотря на долгий путь, эти поездки даже являлись для меня отдыхом. Я выезжал обыкновенно из Петербурга с комфортабельным Sud-Express'ом мимо Варшавы, Вены, Pontebba и через 2 дня и 3 ночи был уже на месте.

Я вспоминаю об этих моих тогдашних «налетах» в Италию с большим удовольствием. К невиданным красивым местам прибавлялась радость свидания со своими и несколько беспечных дней жизни в очаровательной местности.

Моему маленькому становилось там как будто лучше, температура стала почти нормальна, он загорел и мог даже предпринимать с нами продолжительные прогулки по берегам Lago Maggiore и его живописным окрестностям. В конце апреля жена все же захотела показать нашего Микки знаменитым швейцарским профессорам Комбу и Ру, и мне удалось проводить их до Лозанны.

Профессор Комб нас немного успокоил, посадил детей на свою любимую диету, а затем рекомендовал не море, а горы. Того же мнения был и профессор Ру.

Моя семья оставалась недолго в Лозани и, не выдержав строгого питания Комба, провела около двух месяцев в Швейцарии, в Chateau Doeux, а оттуда, отчаявшись в скором излечении, направилась на свою любимую riviere Lygure в Levanto.

Там они оставались до сентября, а затем переехали на осень в Wiesbaden. К несчастью, дети там заболели коклюшем, и их пребывание в отеле стало очень сложным. Все эти передвижения им приходилось делать без меня, и

только один раз мне удалось проехать вместе с ними от Генуи до Висбадена, в Lloyd Express.

Эта поездка запомнилась мне по редкому случаю, когда мы очутились в этом роскошном поезде совершенно одни. О его движении было объявлено недавно, и остальное население, видимо, еще не знало о его существовании. Помню, что мы долго гуляли вдоль всего длинного поезда, а повар любезно нас спрашивал, что мы особенно любим, чтобы нам приготовить к обеду и завтраку...

В конце июня 1909 года праздновался у нас и 200-летний юбилей Полтавской битвы. На открытие памятника и торжества по этому случаю приехал в Полтаву на несколько дней государь и все великие князья.

В особом великокняжеском поезде, кроме их собственной свиты, следовала тогда и вся многочисленная свита государя, в числе которой находились также и немцы из свиты германского императора граф Дона-Шлоббитен и морской агент флигель-адъютант фон Гинце.

Граф Дона-Шлоббитен был командирован Вильгельмом II, чтобы состоять при особе нашего государя, и в свою очередь от нас для такой же цели в то время был откомандирован в Берлин генерал Илья Леонидович Татищев, впоследствии расстрелянный большевиками в Екатеринбурге незадолго до убийства царской семьи.

Служба этих откомандированных лиц при обоих дворах была полудиبلوماسية-полупридворная. Они предназначались для взаимного осведомления обоих императоров о различных событиях, ускользавших от внимания соответствующих посольств, а также для непосредственной передачи своим государям особо интимных и важных поручений.

У нас они роли никакой не играли, их держали все время в тени, да, кажется, то же было и при германском дворе. Весь смысл их командировки, кроме известного представительства и обмена любезностями, был главным образом показной – показать наглядно традиционную близость, существующую с давних пор между обеими странами.

Даже в особо кипучее и тревожное время перед войной, когда их существование могло бы действительно принести пользу делу мира, оба монарха, вероятно, забыли, что они находятся около них, и пользовались для обмена мнениями не их посредством, а услугами телеграфа, конечно, как и оказалось, весьма ненадежного в те дни.

До сих пор еще недостаточно выяснен вопрос о пропавшей, не доставленной, искаженной или нарочно задержанной телеграмме государя императора уже после объявления мобилизации, самостоятельно отправленной и предлагавшей Вильгельму II, без ведома министра иностранных дел, самое миролюбивое и единственно еще возможное мирное разрешение вопроса¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Речь идет о телеграмме императора Николая II кайзеру Вильгельму II 16/29 июля 1914 г.: «...Благодарю за примирительную и дружескую телеграмму. Однако официальное сообщение, сделанное сегодня твоим послом моему министру, было составлено в совершенно иных тонах. Прошу тебя объяснить это противоречие. Было бы правильно передать Гаагской конференции австро-сербский вопрос, чтобы предотвратить кровопролитие. Полагаюсь на твою мудрость и дружбу» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 550. Л. 64). Но ни в одной из последующих телеграмм Вильгельма не было ответа на предложение Николая II передать рассмотрение конфликта в Гаагскую конференцию (то есть в Гаагский

Незадолго перед войной представителем германского императора при особе государя был назначен генерал его свиты Хелиус, пользовавшийся, как говорили, особым дружеским расположением Вильгельма.

Я не помню, чтобы он в те дни являлся к нашему государю с каким-либо поручением или желанием получить по собственной инициативе какие-либо от него указания и разъяснения. Я думаю, что он вряд ли напоминал о себе у нас в тогдашнее, полное ответственных решений время, хотя и не могу сказать об этом наверное.

Я с ним познакомился во время своего дежурства на смотре войск в Царском Селе в присутствии саксонского короля, приехавшего к нам недели на три до открытия военных действий.

Генерала Хелиуса я видел всего один раз, в течение лишь этих двух часов. На меня лично своею простотою, любезностью, чисто товарищеским добродушием и откровенностью он произвел тогда очень хорошее впечатление. Мне чувствовался в нем больше прямой военный, чем ловкий придворный или дипломат¹⁶¹.

международный трибунал). Это был единственный документ из личной переписки императора Вильгельма и Николая II, не опубликованный в «Белой книге» дипломатической переписки МИДа Германской империи осенью 1914 г., изданной в оправдание своей позиции накануне войны.

¹⁶¹ В октябре 1895 г. Вильгельм II пришел к заключению, что существующая в России германская агентурная сеть не дает полных данных о русских придворных настроениях. Он решил заполнить этот пробел следующим благовидным приемом. В письме к Николаю II от 25 октября 1895 г. он написал: «Принимая

во внимание наши близкие отношения и частый обмен письмами и сообщениями, чем постоянно и напрасно приводится в движение сложный механизм посольств, не хочешь ли ты возобновить старый обычай, соблюдавшийся нашими предками около ста лет, а именно – иметь каждому из нас при своем штабе личного адъютанта? Дела более интимного и частного характера могли бы идти, как и в прошлые времена, непосредственно через них, и отношения благодаря этому значительно упростились бы. Я бы с удовольствием принял в мой *maison militaire* (штат офицеров, находящийся состоящий при чей-нибудь особе. – О. Б.) кого-нибудь из лиц, которым ты действительно доверяешь, а ты не желаешь ли иметь Мольтке?» (Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894-1914. М., 2007. С. 277). Расчет Вильгельма был построен на том, что его «личный адъютант» по своим качествам гораздо больше принесет ему пользы, чем «личный адъютант» Николая – ему вреда. Вильгельм надеялся, что «личного адъютанта» Николая ему удастся прибрать, что называется, к рукам и если не превратить в своего осведомителя, то поставить его в такие условия, что он сможет доносить Николаю лишь то, что желательно будет Вильгельму. На это указывает хотя бы выдвигавшаяся Вильгельмом кандидатура Мольтке. Ясно, что такой крупный специалист предназначался не только для пересылки писем «интимного» характера. Николай, конечно, принял предложение Вильгельма, и обмен «личными адъютантами» состоялся. Интересно при этом привести характеристику, которой Вильгельм сопровождал назначение одного из этих личных адъютантов, назначенного в мае 1914 г., генерал-адъютанта фон Хелиуса. По словам Вильгельма, последний «провел несколько лет в Риме в качестве военного атташе. Он замечательный музыкант и играет на рояли не хуже Рубинштейна, д'Альбера и других великих артистов, очень мил в обществе, весьма сдержан и вполне достоин доверия... Он бегло говорит по-французски, по-английски, по-итальянски и на древнегреческом языке и является одним из

Быть может, срочная его поездка по собственному почину из Петергофа в Потсдам и возвращение оттуда и смогли бы сделать что-нибудь большее, чем та телеграмма государя, которая до сих пор витает где-то в пространстве, конечно, только «быть может!»...

В возникновении всякой войны повинен не один «Его Величество случай». С ним одновременно влияют причины хотя и более определенные и ясные для большинства политиков или историков, но тем не менее все же в своем корне остающиеся непонятными для самого пытливого человеческого ума!..

Фон Гинце был в России германским морским агентом и играл у нас более деятельную роль. Во время забастовки и беспорядков 1905 года он, говорят, во многом содействовал у нас беспрепятственному морскому сношению между обеими странами.

Гинце свободно говорил по-русски и старался всеми способами проникнуть не только в сферу, подлежащую его ведению, но и в нашу придворную, более или менее интимную обстановку.

Особыми симпатиями среди нас поэтому он не пользовался, но человек он был, безусловно, способный, настойчивый, тонкий и находчивый, за что его и особенно ценил император Вильгельм, давший ему сначала

самых близких моих друзей». Как видно, рекомендация блестящая, и фон Хелиус накануне войны 1914-1918 гг. ее вполне оправдал, давая Вильгельму весьма ценную информацию о русских мобилизованных мероприятиях (*Макдона Джайс. Последний кайзер. Вильгельм Неистовый. М., 2004*).

дворянское достоинство и сделавший его затем своим флигель-адъютантом. Я вспоминаю о Гинце именно в связи с моей тогдашней совместной с ним поездкой на Полтавские торжества и нашим пребыванием в Полтаве.

Он тогда старался, как только мог, разузнать от меня, увлекая для этого на длинные прогулки, подробности жизни Михаила Александровича и, как ему казалось, особо важные, но скрытые причины назначения великого князя в Орел.

Михаил Александрович в то время числился в списках не только нашего, но и германского флота, был также шефом немецкого уланского полка, и этот вопрос, по словам Гинце, его «естественно интересовал». Мне же это казалось далеко не естественным.

Мне стоило тогда немало усилий и своеобразной находчивости, чтобы выдержать это нелегкое для меня испытание и говорить с ним долго, даже оживленно, и вместе с тем не сказать ничего.

Еще задолго до войны Гинце был отозван из России, назначен, кажется, посланником в Пекин, а затем в качестве министра иностранных дел присутствовал при отречении германского императора¹⁶². На его незаурядные способности и находчивость возлагались в Германии во время войны большие надежды. Он затем вновь появился в России, уже при большевиках, прожил на нашей родине под вымышленной фамилией очень долго, как говорили газеты, около года, а затем вернулся домой.

¹⁶² Кайзер Вильгельм II подписал акт отречения от престола в замке Амеронген (Нидерланды) 28 ноября 1918 г.

В каких отношениях он был с русскими коммунистами и для чего он к ним приезжал, конечно, трудно сказать. Говорят, он домогался места графа Ранцау, германского посланника в Советской России.

Как для большинства немцев, так и для большинства русских и для остальных христианских народов дружелюбные сношения германского и других европейских правительств с большевиками навсегда останутся и непонятными и заслуживающими невольного презрения.

Какими бы сложными, якобы необходимыми для собственной страны побуждениями и дальновидностью их ни силились оправдать, все же нельзя соприкасаться с людьми, удивившими даже наше время своими преступлениями и своею нравственной грязью. С такими людьми не разговаривают, не жмут им рук и не помогают деньгами.

Не ищут с ними даже для виду и для запугивания своих противников дружбы – их только или наказывают, или от них с гадливостью отворачиваются. Но быть может, именно для подготовки этого наказания или для спасения невинных жертв и появлялся тогда в Советской России Гинце, как для того отчасти существует, по словам наивных мечтателей, и посейчас в Москве германский посланник?

Судить об этих слишком тонких вещах не берусь. Знаю только то, что «наказания» до сих пор большевикам не последовало, а выгодная лишь для них одних их дружба с Германией и другими странами только укрепилась.

Во всяком случае, я не встречал в печати голоса Гинце, протестовавшего бы против этой удивительной до позора дружбы.

Сами немцы ее объясняют материальными выгодами и одиночеством Германии, старающейся хоть у кого-либо

найти себе поддержку, но материальные выгоды и в связи с этим поддержка убийц и насильников вряд ли согласуется с какой-либо этикой и конечными выгодами. Настанет время, когда всем друзьям большевиков придется об этой дружбе пожалеть...

Полтавские разнообразные торжества протекли в особо торжественной обстановке и оставили во мне глубокое впечатление.

Вспоминаю, как меня поразили ничтожные размеры поля сражения, на котором тогда решилась судьба моей родины. Его можно, не преувеличивая, окинуть одним невооруженным взором.

Из Полтавы мы вернулись с Михаилом Александровичем прямо в Петергоф, куда переехал также и Большой двор и где жила уже вдовствующая императрица.

Небольшой домик государыни находился в том же парке Александрии, где был и коттедж государя, но в сравнительно далеком от него расстоянии. Он был построен еще в 30-х годах прошлого столетия и носил в своем убранстве все характерные признаки той довольно безвкусной эпохи. В нем постоянно жил летом император Николай Павлович, и с той давней поры обстановка дачи почти не изменилась. В небольшой прихожей еще лежала на столе книга, в которой расписывались различные исторические лица, являвшиеся к покойному императору по какому-либо случаю¹⁶³.

¹⁶³ Дворец Коттедж является частью дворцово-паркового ансамбля Александрии (Петергоф). Построен в стиле английской готики в 1826-1829 гг. императором Николаем I для своей семьи,

Мне почему-то запомнилась твердая подпись князя Паскевича Эриванского, приехавшего в Александрию после взятия Варшавы.

Небольшие размеры коттеджа императрицы не позволяли Михаилу Александровичу жить в одном доме с матерью. Великий князь помещался недалеко, уже в совсем маленьком домике, в котором жил в дни молодости великий князь Алексей Александрович.

Я вспоминаю, что в этих двух комнатках находилось много моделей лодок, кораблей и разных картин из морского быта.

Но домик был все же уютный, хотя в нем, как и во всех постройках Петергофа, было чрезвычайно сыро.

Ближайшая свита государя и императрицы-матери помещалась вне Александрии. Большинство жило в двух больших, так называемых фрейлинских домах, где было отведено очень уютное помещение и мне, или в отдельных, маленьких «каменных кавалерских домах»¹⁶⁴, находившихся вблизи Большого Петергофского дворца.

В одном из этих «кавалерских домиков», № 5, окруженном небольшим садом, обыкновенно жила летом и семья моей жены.

подарен императрице Александре Федоровне. Архитектор А. А. Менелас.

¹⁶⁴ Семь каменных зданий – Кавалерских домов – расположены вдоль ограды Верхнего сада Петергофа. Ансамбль сформировался к 1801 г. Шесть зданий – одноэтажные, седьмое выделяется двухъярусной квадратной башней со сквозными широкими арками и куполом.

Их там нередко посещал император Александр III, императрица Мария Федоровна, королева греческая и многие члены царской семьи.

Этот кавалерский домик мне особенно памятен, так как я провел в нем несколько счастливых дней, будучи женихом твоей матери.

В числе особенностей петергофских дворцовых помещений было также и то, что в них не было проведено электричество. Освещались они совсем по-старинному, даже не керосином, а маслом, которое наливалось в так называемые карсельские лампы. Их надо было для этого заводить ключом на манер часов, и мягкий свет этих ламп вместе с тихим приятным шумом накачивавшего в них масло механизма давали много уюта по вечерам.

Жизнь в Петергофе для свиты была более свободная, чем в Гатчине. Служебный день с докладами и немногими представляющимися кончался уже к полудню. Затем императрица Мария Федоровна ежедневно приглашала к себе в Александрию к завтраку, после которого все разъезжались по своим помещениям до следующего утра.

Обедала обыкновенно государыня без свиты, в семейной обстановке.

По воскресеньям и праздничным дням оба двора собирались в маленькой готической церкви, построенной в середине парка Александрии. Внутри ее находились лишь высочайшие особы; большинство свиты и молодых великих князей стояли снаружи у входа в сад.

После обедни в одной из старинных построек, на ферме, происходил высочайший завтрак, к которому приглашались все присутствовавшие за обедней.

Я пользовался в те месяцы вовсю свободным временем и исходил окрестности Петергофа, даже самые дальние, во всех направлениях. Побывал несколько раз и на знаменитых Петергофских концертах, где играл наш придворный оркестр, большинство музыкантов которого были или могли бы быть солистами.

Очень часто мы предпринимали с Михаилом Александровичем поездки, большей частью по направлению к Гатчине, которую великий князь любил намного больше Петергофа. В старом Петергофе была расположена и дача принца Петра Александровича Ольденбургского, женатого на великой княгине Ольге Александровне.

Я часто пользовался в то время ее милыми приглашениями, а нередко и сам являлся к ней без всякого зова. Из всех моих воспоминаний, связанных с придворной жизнью, воспоминания о днях, проведенных под дружеским гостеприимным кровом Ольги Александровны, больше всего наполняют меня каким-то теплым удовлетворяющим чувством.

Я знал ее задолго до ее замужества, еще девочкой с длинными волосами, неизменной спутницей и товарищем ее любимого брата, великого князя Михаила Александровича. Уже тогда во всем ее существе было для меня столько близкого, понятного и необычайно привлекательного. С годами моя привязанность к ней еще усилилась, и я считаю ее своей близкой, родной. Я очень люблю великую княгиню Ольгу Александровну и в своих воспоминаниях мог бы и должен был бы написать о ней бесчисленное количество страниц. Но боюсь, что они вышли бы слишком лирическими. Скажу поэтому только, что своим внутренним миром, открытым характером, необычайной простотой,

постоянным доброжелательством и прямоотой она больше других детей походила на своего отца, императора Александра III.

Некоторые черты лица указывали порою и на их внешнее сходство. Она всегда полна доброты и жалости, а стремление ее помочь всякому известно бесчисленному количеству людей. Великая княгиня очень религиозна, много читала, много думала. Она и чуткая и незаурядная художница. Судя по ее письмам, она должна обладать и литературным талантом. После всех испытаний революции ее духовный облик еще более вырос в моих глазах. К моему глубокому огорчению, пронесшийся над нашей родиной ураган разбросал нас в разные стороны, и прошло уже более пятнадцати лет, как я видел ее в последний раз¹⁶⁵. Но мы находимся с ней в постоянной переписке. Это был и остался для меня и моей семьи друг, в полном объеме этого слова, который действительно никогда не забудет и никогда не изменит.

Ее первого мужа, принца Петра Александровича Ольденбургского, я знал так же хорошо, часто и подолгу встречаясь с ним в его домашней обстановке, как столичной, так и деревенской. Жизнь, несмотря на его положение и материальную обеспеченность, из-за постоянного недомогания ему не очень улыбалась и в годы благополучия, а остаток ее ему привелось провести в изгнании, за

¹⁶⁵ Последний раз А. А. Мордвинов видел великую княгиню Ольгу Александровну в Киеве 28 и 29 октября 1916 г., куда приезжал Николай II вместе с цесаревичем Алексеем и сопровождающей свитой.

границей, где он и скончался в середине наших 20-х годов от скоротечной чахотки, на 56-м году от рождения.

В связи с его кончиною появились о нем в печати статьи писателей, немного узнавших его уже в годы после революции, – одна Алданова, другая Ив. Бунина.

Алданов его назвал «человеком совершенно исключительной доброты и душевного благородства», а Бунин говорил, что «более удивительного человека по простоте обращения, редкой нежности и верности в дружбе, по постоянному стремлению к тому, что дает сердцу мир, свет и радость», он не встречал¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Принц Петр Александрович Ольденбургский после февраля 1917 г. ушел в отставку и поселился в своем имении в Воронежской губернии. С началом красного террора вместе с отцом и матерью – князем Александром Ольденбургским и Евгенией Максимилиановной – бежал во Францию, где жил в Париже и на ферме под Байонной. В 1922 г. женился на Ольге Владимировне Серебряковой (1878-1953), урожденной Ратьковой-Рожновой. Занимался литературой и под псевдонимом «Петр Александров» опубликовал в Париже три рассказа из народного быта (*Петр Александров*. Сон. Париж, 1921. 46 с.). Иван Бунин в эмиграции часто общался с принцем Ольденбургским и после его смерти от скоротечной чахотки 18 марта 1924 г. написал (1931) о нем мемуарный очерк, озаглавленный «Его Высочество». Бунин познакомился с Петром Александровичем Ольденбургским в 1921 г. в Париже. «Меня удивил его рост, – пишет Бунин, – его худоба, [...] его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения». «Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу. [...] Писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. [...] Однажды на одном большом вечере, где большинство гостей были старые

К этим оценкам и я присоединяюсь от всей души, в особенности вспоминая его любовное, благородное отношение к государю. Хотя думаю, что если бы принц Петр Александрович был «простым смертным», то и Бунин, вероятно, прошел бы мимо его, совершенно его не замечая, как не замечаем слишком часто и все мы многих прекрасных людей, в своей скромности не выделяющихся из общего, кажущегося нам серым фоном.

Характером своим Петр Александрович не походил ни на кипучую, порывистую, не знавшую никаких препятствий, но столь же благородную натуру своего отца, ни на деятельный, принесший много пользы людям характер его матери. Все его прекрасные душевные качества оставались пассивными, замкнутыми в себе, не проявляясь ни в какой деятельности. Об них можно бы было, пожалуй, угадать по небольшой книжке рассказов из рабочего и крестьянского быта, написанных им в последние годы жизни.

Я их не читал и ознакомился с ними лишь по небольшим выдержкам из газет. Критика их считала чистосердечными, но очень неумелыми и наивными. В них действительно много сердца, но и мечтаний.

революционеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля [Николай II] никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!» [...]» «Некоторые, – пишет Бунин, – называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальны» (Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 130-140). Марк Алданов написал о нем посмертный очерк.

Главной причиной его пассивности и его неудач в личной жизни было, конечно, его постоянное болезненное состояние. Он страдал самой тяжелой формой неврастении, не говоря уже о многих других серьезных физических недомоганиях.

В последние годы, уже после революции, много толков вызвало его стремление не только к опрощению, своего рода «хождению в народ», но и к вступлению в социалистические русские партии. Но, кажется, ни в одну из них он так и не вступил. Еще до разразившегося над Россией урагана он удивлял многих своими «передовыми социалистическими воззрениями» и действительно критиковал все происходящее фразами, исходящими именно из этих кругов. Но в действительности он никогда ни революционером, ни социалистом не был, да и не мог им искренно быть. Для этого надо было обладать особенными специфическими качествами, присущими людям именно этих партий. Таких особенностей у него благодаря его рождению, воспитанию и его среде не было. Он был слишком барин по своим привычкам и вкусам и в своей жизни любил такие мелочи быта, которые одни вызвали бы своим противоречием презрение или насмешку у настоящих революционеров или социалистов.

Но в те дни кто мог устоять моде и не повторять фраз, которые повторяли почти все, не заботясь об их влиянии на судьбу Родины.

Повторяли их и многие другие родственники царской семьи. И надо было обладать слишком независимым

характером, как его отец¹⁶⁷, и глубоким знанием особенностей своей родины, чтобы удержаться от этого соблазна.

Но повторяя, не вдумываясь, революционные фразы, принц Петр Александрович не мог быть ни заговорщиком, ни настоящим революционером из-за своей искренней любви к государю и из-за того почтения, с которым он почти невольно всегда относился к царской семье.

Нет, упрек его среды и большинства монархистов в его «социализме» и в его «революционерстве», как и удовлетворение «передовых кругов» в его переходе якобы всецело на их сторону, надо с покойного принца Петра Александровича снять, как снимают пыль на картине, мешающую видеть ее сущность.

Любить и жалеть народ и желать ему блага могут не одни только революционные партии, и только в этом, он, веря в искренность этих партий, с ними, да и то поверхностно, соприкасался. А их пути к тому благу ему были органически противны. Незадолго до своей кончины он вступил во

¹⁶⁷ Со старым принцем Александром Петровичем Ольденбургским, когда-то грозой гвардейского корпуса, которым он командовал, мне приходилось также нередко встречаться. Он поражал меня своей кипучей, почти буйной настойчивостью во всех делах, за которые он брался, и своей удивительной прямоотой. О нем ходило много анекдотов, но не уважать его было нельзя, настолько личность его была значительна и не подходила к современному дряблему времени. Он много сделал для нашей родины и для культуры вообще. Судьба даровала ему долгую жизнь и спасла от большевистской расправы. Он умер в 1932 г., 89 лет от роду в Биаррице, где провел последние годы своей жизни. (прим. автора)

второй брак с г-жой Серебряковой, урожденной Ратьковой-Рожновой. Это событие, как всегда бывает в таких случаях, вызвало своею неожиданностью много толков в эмигрантской среде.

О них, конечно, не стоит говорить – интимная жизнь людей не подлежит ни всеобщему любопытству, ни пересудам. Нашел ли он в этом позднем браке спасение от своей тоски и своего одиночества, я не знаю. Знаю только по рассказам лично мне герцога Георгия Николаевича Лейхтенбергского, принимавшего близкое и деятельное участие в его похоронах, что он скончался в большой бедности, на французской Ривьере. Свою небольшую ферму, приобретенную им в изгнании, он завещал своему камердинеру-денщику, остававшемуся при нем до самого конца.

* * *

В Петергофе, к дневному чаю и обеду, гатчинская свита обыкновенно собиралась вся вместе. Во фрейлинских домах нас было тогда очень немного. Кроме князя Шервашидзе и меня – мужчин, там постоянно находилась лишь фрейлина графиня Ольга Федоровна Гейден, и крайне редко наезжали фрейлины графини Мария Васильевна и Аглаида Васильевна Голенищевы-Кутузовы и Екатерина Сергеевна Озерова.

В то лето у императрицы гостила и великая княгиня Ксения Александровна со своими детьми. Ее фрейлина Софья Дмитриевна Еврейнова и адъютант великого князя Александра Михайловича моряк Фогель также большею частью жили в Петергофе, в соседних с нами помещениях.

С графиней О. Ф. Гейден меня и мою семью давно связывали самые дружеские чувства. Она была изумительно добрый, простой, отзывчивый человек с небольшой, милой наивностью, вытекавшей именно из этих ее качеств. В ней не чувствовалось ничего придворного и было ко всем много доброжелательства и откровенности.

Мы ее называли «миленькой», по тому выражению, которое она неизменно употребляла в своих обращениях к другим.

К числу особенно хороших людей, с которыми меня так счастливо и подолгу сталкивала судьба, я постоянно отношу и ее. Я знаю, что она скончалась уже после революции, кажется, даже в Советской России; но как ей удалось пережить эти кошмарные дни, мне никто не мог сказать. Но я верю, что в том продолжении жизни, в котором ее духовное существо живет и сейчас, ей не в чем себя упрекнуть.

Она помогла многим, никому здесь не сделала зла и, кажется, даже невольно никого не обидела...

В начале августа императрица, по обыкновению, уехала в Данию, а Михаил Александрович, собираясь ее навестить лишь поздней осенью, переехал на время в Гатчину.

К тому времени уже состоялся приказ о его назначении, и я успел съездить два раза в Орел, чтобы подыскать дом для нашего жительства. Михаил Александрович очень хотел, чтобы это жилище находилось по возможности за городом и представляло бы собою небольшую, одинокую усадьбу. Такая идея была и мне очень по душе, но все мои поиски в этом направлении оказались неудачны.

Подходящих усадеб поблизости не было, и лишь благодаря содействию губернатора мне удалось найти на окраине

города довольно поместительный барский дом с большим садом и всевозможными службами, принадлежавший помещику Хвостову, дальнему родственнику будущих министров¹⁶⁸. Как и большинство поместительных губернских провинциальных построек, он почти до полного сходства своею внешностью напоминал губернаторский дом в Тобольске, где была впоследствии заключена Временным правительством царская семья. В нем имелся такой же открытый балкон во втором этаже рядом с кабинетом великого князя.

В ближайшем соседстве с этим домом находился прекрасно устроенный особняк, тоже довольно комфортабельный, который мы также наняли на случай приезда к нам великой княгини Ольги Александровны, а также и для помещения нашей многочисленной прислуги.

Своего особенного двора у великого князя в тогдaшнее время, да и впоследствии, не было. Он жил вместе с матерью и так же, как и она, пользовался прислугой и конюшней Большого двора. Теперь приходилось отделяться и составлять свой собственный «штат», на чем особенно настаивало Министерство двора.

Михаилу Александровичу это не очень нравилось, поэтому после моих долгих переговоров с гофмаршалом гр.

¹⁶⁸ Возможно, речь идет о Хвостове Алексее Алексеевиче (1859-1940), тайном советнике, сенаторе, помещике Орловской губернии. Однако, по архивным материалам, великий князь жил в доме известного орловского ученого-краеведа и литератора В. Н. Ляковского (1858-1938) на Борисоглебской улице («дом со львами») (Государственный архив Орловской области. Ф. 305. 1902-1913. Оп. 1. Д. 7. С. 41).

Бенкендорфом и министром двора было решено, что большая часть необходимой прислуги будет откомандирована к нам в Орел по-прежнему от гофмаршальской части.

Для каждого «малого двора» было положено с давних пор иметь свой особенный цвет как для ливрей прислуги, так и для некоторых принадлежностей экипажной упряжи. Цвета эти утверждались Министерством двора. «Малых дворов» у нас в то время было много, почти все цвета были уже разобраны, и на выбор Михаилу Александровичу оставалось немного. Он остановился на синем, которым в некоторых случаях пользовалась императрица-мать.

Строго говоря, на «отдельный двор» великий князь, не будучи женатым, не имел по закону права, но его предстоящая жизнь не в столице, а в провинции позволяла это исключение.

Командир конвоя также настоял, чтобы при великом князе и в Орле постоянно находился для выездов очередной ординарец из урядников конвоя государя, чего другим великим князьям не полагалось.

Для скромного, чуждавшегося всякой помпы и стремившегося «быть как все» Михаила Александровича все эти приготовления к особому почету казались совершенно излишними. Он сначала боролся, но потом уступил. По его словам, он удовольствовался бы самой бедной офицерской квартиркой в одну-две комнатки, лишь бы она была за городом и в ней имелась бы ванна.

Но Орловская губерния издавна считалась губернией дворянской, со всеми хорошими традициями, присущими этому сословию, да и остальное городское население, как в этом мне пришлось лично убедиться, отличалось самыми горячими монархическими чувствами. Переселение

единственного брата государя, бывшего ранее наследником, в Орел являлось для них беспримерным и радостным событием¹⁶⁹.

Какими бы притягательными ни представлялись в глазах многих и самого великого князя скромность и простота, ими, к сожалению, меньше всего могут пользоваться у нас в России лица, принадлежащие к царствующему дому. Они могут и, конечно, должны обладать этими качествами в самой полной мере (и они ими и обладали, за исключением очень немногих), но выказывать их им приходится крайне редко, лишь в общениях чуть ли не с глазу на глаз. Иначе их сейчас же перестают в народе ценить. Одного происхождения, ума и душевной теплоты в глазах народа – и не одного только простого народа, – к сожалению, еще мало. Люди любят, чтобы к ним приближались, но только от приближения к ним личностей, окруженных особым почетом, если не великолепием и блеском, они получают полное удовлетворение. В скольких разительных случаях мне приходилось в этом убеждаться как у нас, так и за границей. С этими

¹⁶⁹ Великий князь Михаил Александрович приехал в Орел 7 июня 1909 г. Орловский губернатор оповестил местных чиновников о прибытии великого князя следующей телеграммой: «В дополнение к предложению от 1 июня за № 3450 сообщаю Вам, милостивый государь, что согласно телеграммы, полученной от г. адъютанта его императорского высочества великого князя Михаила Александровича полковника Мордвинова, его высочество имеет прибыть в г. Орел 7-го сего июня в 8 час. утра и что прием депутации может состояться на вокзале тотчас по прибытии поезда» (Государственный архив Орловской области. Ф. 580. Стол 2. Оп. 1. Д. 3001. С. 5).

человеческими слабостями приходилось считаться скрепя сердце и Михаилу Александровичу.

Тот, кто жил в провинции и знает хорошо жизнь губернского города, поймет то радостное возбуждение, которое царило в тот год в Орле, и в особенности те надежды, которые тогда связывались в местном обществе с пребыванием среди него великого князя еще задолго до его приезда.

Все рассчитывали на особо блестящий сезон и на великолепные приемы, которые, «конечно, должен будет устраивать великий князь в ответ на обеды, балы и вечера, данные в его честь».

Хотя Михаил Александрович дал бы много, чтобы таких многочисленных приемов у себя не устраивать, его положение все же обязывало изредка приглашать к себе небольшое количество лиц, которых могло вместить наше довольно тесное помещение.

Дом Хвостова был меблирован лишь наполовину. В нем предстояли и некоторые переделки, а также расширение конюшен и служб.

Всем этим делом, по совету губернатора, я поручил заняться губернскому архитектору, обещавшему все работы закончить к поздней осени, когда и предполагался наш окончательный переезд в Орел.

В середине лета состоялась в Москве закладка памятника Скобелеву (5 июля 1911 г. – О. Б.), сооружавшемуся под высшим наблюдением великого князя, и Михаил Александрович решил оттуда проехать на два дня в Орел, чтобы принять полк от прежнего командира князя Урусова, уже отправлявшегося к месту своей новой службы.

В Москве, куда Михаил Александрович приезжал в первый раз официально, он был встречен с особым почетом, присутствовал на смотре войск на Ходынском поле и на закладке памятника, завтракал в собрании офицеров своего гренадерского Ростовского полка, которого он был шефом, а затем являлся своему будущему начальству в лице командующего войсками Московского округа и командира корпуса¹⁷⁰.

В Москве мы останавливались в Кремлевском дворце, которым заведовал тогда заботливо к нам отнесшийся князь Одоевский-Маслов, конногвардеец, бывший мой начальник по 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

Помещение великого князя было громадно, убрано прелестными гобеленами, но совсем неудобное. Эту же холодностью была полна и моя комната, находившаяся в другой, отдаленной половине дворца. Чем-то крайне нежилым, заброшенным веяло от всего громадного здания и от его причудливых переходов. В его покоях не было и той своеобразной, приятной пахучести, столь присущей старинным постройкам, даже давно необитаемым. В древнем, полном глубокой старины Кремле этот дворец мне казался совсем новым и лишним.

Долго жить в нем, да, пожалуй, и в самой Москве, мне лично было бы трудно и неудобно. Не знаю почему, но все московское за исключением старинного Кремля, двух-трех

¹⁷⁰ Речь идет о командующем Московским военным округом генерале от кавалерии Павле Адамовиче Плеве (1850-1916) и командире 4-го армейского корпуса генерале Антоне Васильевиче Новосильцеве (1850-1923).

церквей да удивительного вида с Воробьевых гор мне совершенно не нравилось. Не нравилась и вся тогдашняя московская жизнь и та неприятная настойчивость, с которой москвичи кичились своим «настоящим» русским обликом, не будучи даже в высшей торговой среде по духу уже давно русскими.

Правда, я останавливался в этом городе всегда ненадолго и мало знал его жителей. Говорят, что они отличались широким гостеприимством, были радушны и общительны. Но думается, что и при продолжительном моем пребывании среди них в Москве я находил бы ее улицы уродливыми, рубашки и бороды ресторанной прислуги отвратительными, одеяния рассыльных странными, а извозчиков и их экипажи просто смешными.

Все мне тут казалось клеветой на старинный хороший русский вкус.

Великий князь заезжал ненадолго и к великой княгине Елизавете Федоровне, которая была тогда шефом его черниговских гусар¹⁷¹.

Я впервые тогда увидел великую княгиню в ее полумонашеском одеянии. Я помнил ее еще совсем молодой, в полном блеске удивительной красоты, когда в 1890 или 1891 году она переезжала из Петербурга в Москву в генерал-губернаторский дом¹⁷². Она была в молодости даже

¹⁷¹ Великая княгиня Елизавета Федоровна была шефом 17-го Черниговского гусарского полка с 1907 по 1911 г.

¹⁷² Муж великой княгини Елизаветы Федоровны великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы 26 февраля 1891 г.

красивее и женственнее императрицы. Великая княгиня Елизавета Федоровна считалась нашей полковой дамой.

Ее муж, великий князь Сергей Александрович, числился в моем кирасирском полку, и поэтому все офицеры полка провожали ее тогда на Николаевском вокзале в Петербурге. Вспоминаю, каким очарованием веяло в то время от всей ее нежной и изящной фигуры.

Теперь передо мною была другая женщина, хотя и с прежними прекрасными главами, но изменившаяся почти до неузнаваемости, уже чуть-чуть согбенная и вся, до малейших движений, проникнутая не горем, а какою-то спокойною, даже красивою печалью.

И это непередаваемое покорное смирение, которое можно встретить только у некоторых, много горя переживших в миру и затем долго пробывших на молитве в монастыре, интеллигентных монахинь, меня тогда и взволновало, и необычайно привлекло – душевная красота всегда волнует сильнее наружной.

В ее внутренних стремлениях к покорности Высшей Воле чувствовалось, как я теперь вспоминаю, много схожего с императрицей Александрой Федоровной. Как и та, она более волновалась страданиями других, чем своими собственными. В ее натуре было много, вероятно, полученного также по наследству от матери и от собственных размышлений, мистицизма, но мистицизма хорошего, христианского. Я всегда удивлялся, когда в суждениях о молодой императрице, а отчасти и о государе им больше всего ставили в вину их особую склонность к такому настроению, которое даже называли болезненным. Я думаю, это последнее не верно.

Болезненность или здоровье, особенная нервность или полная уравновешенность почти не играют никакой роли в

мистическом настроении. Скорее именно там уравновешенность преобладает или должна преобладать.

Насколько я понимаю и мог наблюдать, всякий здоровый, уравновешенный, но и глубоко религиозный человек мог бы заслужить подобный, столь же не лестный в глазах общества упрек. Все религии, а христианская в особенности, в их высшем напряжении невольно должны впадать в мистику, то есть в область, где знание уже бессильно и где на помощь приходят только своя вера, а с нею и свое собственное настроение, обыкновенно непонятное и кажущееся странным другим.

Согласно утверждению Шопенгауэра, изучавшего глубже других эту сторону духовной человеческой жизни, «лишь в мистицизме получило христианство всю полноту своего развития и свою законченность. Мистицизм не только не противоречит Новому Завету, но даже всецело проникнут его духом и неотделим от него»...

Великая княгиня благословила тогда великого князя иконою на командование ее полком.

– Я жду уже давно, – сказала она мне, – чтобы Миша когда-нибудь заменил меня и стал шефом черниговских гусар вместо меня... Я очень люблю свой полк, но совсем не подхожу к этой военной роли... в особенности сильно я это чувствую теперь.

В тот вечер мы выехали из Москвы в Орел. Встреча, которую там устроили великому князю, превзошла своею сердечностью, искренностью и многолюдством все мои ожидания. Буквально весь город вышел на улицы, по которым следовал Михаил Александрович, и забрасывал путь его цветами.

Благословениям иконами, подношениям хлеба-соли и различных местных изделий и приветственным речам не было конца. Народ толпился до глубокой ночи у дома губернатора, гостеприимством которого мы тогда пользовались.

Кто-то о нас, русских, сказал, что мы «ленивы и не любопытны». Если первое, быть может, отчасти и справедливо, то второе уже ни на чем не основано. Любопытства, как у наших деревень, так и у наших городов, хоть отбавляй. Это чувство доходит у нас даже до тонкости, которой обладал лишь Виктор Гюго. По его словам, ему «была интересна даже сама по себе самая простая стена, за которой что-то происходит»...¹⁷³

Состоялся в Орле, как водится, торжественный обед у губернатора и не менее парадный завтрак у черниговских гусар.

В тот же день великий князь сделал визит прежнему командиру полка князю Урусову, а на другое утро принял от него полк.

Черниговские гусары были сформированы сравнительно недавно, но по своему преемственному названию имели очень долгое и славное прошлое¹⁷⁴. Красивый мундир и

¹⁷³ Автор цитирует книгу В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».

¹⁷⁴ 17-й Черниговский гусарский полк имел историю, начало которой возводилось к эпохе правления Алексея Михайловича Романова (старшинство полка с 1668 г.). Предком черниговских гусар считается один из Компанейских или Охоче-комонных полков при московском царе, сформированных гетманом

стоянка в одном из лучших городов центра России способствовали привлечению в полк офицеров из состоятельной и хорошо воспитанной среды.

Его офицерский состав почти не разнился от состава большинства гвардейских пехотных частей, а ввиду особенных традиций кавалерийской службы и во многом превосходил их по известной широте жизни.

Старшим полковником и помощником великого князя в полку был в то время полковник Блохин, бывший конногвардеец, а полковым адъютантом штаб-ротмистр Сабуров, бывший паж. Женатых офицеров было немного, и их семьи были очень милы и радушны.

Некоторые полковые дамы были настолько состоятельны, что для тогдашних городских и дворянских празднеств

Малороссии Демьяном Игнатьевичем Многогрешным. Во время Полтавской битвы компанейцы составляли личную охрану гетмана Ивана Скоропадского и принимали участие в преследовании шведов. С 1775 г. полк считается регулярным, а с 1779 г. получил название Черниговский легкоконный. Затем уже как Черниговский карабинерный принимал участие под общим командованием А. В. Суворова в делах при Фокштанах и Рымнике. Павел I трансформировал полк в кирасирский, а Александр I – в драгунский. Полк принимал участие в сражениях при Шенграбене и Аустерлице. Черниговцы также отличились в Бородинской битве, где полк потерял 17 офицеров и нижних чинов убитыми, а 104 – ранеными. В декабре 1812 г. полк был переименован в конно-егерский. Затем были заграничные походы, участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и «польских событиях» 1831 г. В 1833 г. полк был расформирован и восстановлен только 16 сентября 1896 г. в составе 6 эскадронов под названием 51-й драгунский Черниговский полк.

могли выписывать себе платья из Парижа. Все же первое время мне не раз приходилось выслушивать опасения: как бы командование великого князя не легло слишком тяжелым бременем на семьи неимущих офицеров. Опасения эти, впрочем, скоро рассеялись.

Непосредственным начальником великого князя являлся в то время командир отдельной бригады генерал Павел Александрович Стахович, местный помещик и бывший кавалергард, брат известных Михаила и Александра Стаховичей.

Полк представился своему новому командиру в блестящем виде, а офицеры немного напряженно и застенчиво. Как всегда, пожалуй, еще больше был застенчив и сам великий князь. Офицеры это быстро почувствовали и так же быстро пришли ему на помощь, а присущее Михаилу Александровичу обаяние сделало остальное.

К концу приема и нашего тогдашнего краткого пребывания в Орле установились с обеих сторон самые простые, естественные дружеские отношения, которые не прекращались и до конца командования полком великого князя¹⁷⁵.

Через три дня, провожаемые опять всем городом, мы вернулись в Петергоф, чтобы оттуда выехать вместе с императрицей-матерью в Данию. На этот раз мы отправлялись в Копенгаген не по железной дороге, а, как это часто бывало, морем на императорской яхте «Полярная звезда».

¹⁷⁵ Великий князь Михаил Александрович командовал полком до января 1912 г.

Императрица Мария Федоровна, хотя и с большим трудом выносившая морскую качку, очень любила море и жизнь на яхте. Она числилась шефом гвардейского экипажа¹⁷⁶ и, окруженная близко ей знакомыми моряками, чувствовала себя совершенно на ней непринужденно и могла как нигде отдыхать.

Мне до сих пор вспоминаются эти уютные плавания на «Полярной звезде», в особенности тогдашние вечера на море, тихие, ласкающие, с нежными переливами красок воды и неба.

В Копенгагене, где жизнь протекала по-прежнему, Михаил Александрович предполагал остаться с матерью не более двух недель.

Затем этот срок как-то продолжился. Я воспользовался этим обстоятельством и попросил великого князя отпустить меня на неделю в Италию для свидания со своими.

Они тогда перебрались уже из Швейцарии (из Chateau d'Oeuch) и находились опять на любимом генуэзском побережье в Леванто, где здоровье нашего маленького не только не ухудшалось, а становилось как будто лучше. Мы и не предвидели, что эти несколько дней были последними днями нашего еще не совсем разрушившегося счастья и относительного душевного спокойствия.

Я до сих пор вспоминаю наши тогдашние совместные с детьми прогулки и поездки по очаровательным окрестностям и мою длинную поездку с женой по заливу на парусной лодке в бурную погоду из Специи в Порто-Венере.

¹⁷⁶ Императрица Мария Федоровна была шефом Гвардейского экипажа с 22 июля 1892 по 2 марта 1917 г.

Моя Ольга опять проводила меня до Генуи, а оттуда я прямо направился в Данию, а затем с Михаилом Александровичем мы вернулись в Гатчину.

Государыня-мать в те дни была как-то особенно сердечна и откровенна со мной. Я вполне понимал все ее тогдашние волнения и тревоги, которые ее охватывали при мысли, что ее младший сын теперь отделяется уже совершенно от нее для самостоятельной, полной всяких искушений жизни.

Все матери в таких опасениях одинаковы и похожи во многом на мать того престарелого французского героя, которая всю жизнь не переставала волноваться, что ее закаленный в долгих походах и боях сын упадет как-нибудь по неосторожности с лошади.

Императрица в этом отношении представляла исключение еще меньше других, хотя никогда не выказывала это наружно. Кроме обычных тревог, у нее прибавились еще тревоги за престиж самого Михаила Александровича и всей царской семьи, и тревоги эти были не выдуманы.

В обществе государыню упрекали уже давно, что, несмотря на вполне зрелый возраст ее младшего сына, она старалась держать его около себя и сердилась, когда он выказывал какую-либо самостоятельность. В этих упреках было отчасти много справедливого, и такое положение вещей, невольно раздражая великого князя, способствовало лишь его стремлениям выйти, возможно скорее, из-под опеки матери и не делало их отношения, несмотря на существовавшую материнскую любовь, особенно сближающими.

Но императрица все же знала и понимала характер Михаила Александровича лучше, чем большинство других

людей, считая в том числе и государя. Ее волнения и раздражения не вытекали лишь из одного материнского, эгоистического чувства. Она не сумела только найти способов, посредством которых матери делаются незаметно лучшими друзьями своих уже взрослых детей.

Хотя таких способов и очень немного и хотя они просты, но, как все простое в теории, они чрезвычайно трудны в исполнении, в особенности для «отцов», так как «дети» крайне редко приходят в таких случаях им на помощь.

Если такое не вынужденное взаимное подчинение и взаимная вера друг в друга иногда и существует у отцов и детей на всю жизнь, то это по справедливости считают лишь чудом.

Все же приходится сказать, что характер самой государыни-матери был необычайно сложен. Не только я, но и большинство очень близко стоявших к ней людей и родственников не могли разобраться во всех его подробностях. Но некоторые главные черты невольно бросались в глаза даже посторонним.

– Лучше не говорите ему... это только его огорчит, и вряд ли он вас слушает... он так чист душой, что не верит в зло... но если уж так, по-вашему, необходимо, то скажите ему все... но не делайте ему слишком больно, – так говорила как-то государыня Родзянке, когда он приехал к ней «просить ее благословения сказать государю «всю правду» о Распутине»¹⁷⁷.

¹⁷⁷ Речь идет о встрече М. В. Родзянко с вдовствующей императрицей Марией Федоровной в феврале 1912 г. Из воспоминаний Родзянко: «Императрица сказала мне: «Я слышала,

В этих словах вся государыня и как женщина, и как мать. Она могла сердиться, даже негодовать на своих сыновей и одновременно ни на секунду не переставать их любить самой нежной, хотя и тщательно скрытой от других любовью.

В конце концов всегда выходило так, что она подчинялась желаниям своих детей, и хотя от этого очень раздражалась, но, как мне казалось, и не страдала особенно сильно.

О Распутине мне пришлось иметь с императрицей Марией Федоровной лишь один случайный, незначительный разговор. Он произошел за одним обычным завтраком в Аничковском дворце, кажется, года за два до начала войны. Я тогда уже был флигель-адъютантом государя¹⁷⁸.

За столом, кроме хозяйки, князя Шервашидзе, графини Гейден, графини Менгден и меня, никого не было. Государыня только что вернулась с посещения в выставки в Академии художеств и была в тот день менее задумчива и более оживленна, чем за последнее время.

что вы имеете намерение говорить о Распутине государю. Не делайте этого. К несчастью, он вам не поверит, и к тому же это его сильно огорчит. Он так чист душой, что во зло не верит» (*Родзянко М. В. Крушение империи. Харьков, 1990. С. 41*).

¹⁷⁸ Выставка в Академии художеств, о которой упоминает автор, проходила в феврале 1912 г. Флигель-адъютантом императора А. А. Мордвинов был назначен 13 марта 1913 г., то есть за 1 год 5 месяцев до начала Первой мировой войны. Так что описываемый разговор произошел до его назначения.

– Выставка у них в этом году имела большой успех, – говорил мне князь Шервашидзе. – Вы знаете, на ней уже перебивало более трех тысяч человек.

– Ну, для полуторамиллионного города это капля в море, – возразил я. – Не много же любителей искусства находится в Петербурге.

– Представьте себе, что это, наоборот, много, – ответил Шервашидзе. – Академическое начальство мне говорило, что оно бывало раньше довольно, когда число посетителей у них доходило до двух тысяч. Конечно, среди них знатоков мало. Даже в любой европейской столице их наберется не более сотни или двух. В этом году интерес на выставке был подогрет портретом Распутина, говорят, очень схоже написан¹⁷⁹.

Императрица весело улыбнулась:

¹⁷⁹ На выставке в Академии художеств был выставлен большой портрет Г. Е. Распутина работы художника А. Д. Раевского. Как написала «Петербургская газета» от 20 февраля 1912 г., «художнику потребовалось десять сеансов, чтобы увековечить популярного человека. Портрет, находящийся в правом античном зале, на отдельном мольберте, собирает толпы народа и является до известной степени «гвоздем» выставки». В настоящее время известно два портрета Г. Е. Распутина. Первый (картон, пастель, цветной карандаш) написан в 1914 г. выпускницей Императорской академии художеств Е. Н. Клокачевой. Хранится в Эрмитаже. Второй (масло) – написан в 1916 г. датской художницей Теодорой Краруп, которая проживала в Санкт-Петербурге в начале XX в. Портрет долгие годы был неизвестен, впервые выставлен на аукционе в США в 2008 г.

– Подумайте! – обратилась она ко мне. – Я так его и не видела. Они узнали, что я там буду, и поскорее убрали портрет... Вообразили, что мне будет неприятно его видеть. Конечно, этот ужасный человек, как говорят, отвратителен, но зачем было его прятать от меня... Точно я с ним знакома и это скрываю... А вы его когда-нибудь видели? – спросила императрица и пытливо посмотрела на меня.

– Нет, Ваше Величество, никогда не видел и видеть не желаю, – отвечал я.

– А почему? – снова заулыбалась она. – О нем так много все говорят.

– Вот именно потому, что о нем много говорят, я и знать его не хочу. И без меня ему слишком много уделяют внимания... это только преувеличивает его значение и его гордость.

– Ну, в вашем-то или моем внимании или невнимании он не нуждается, – вставил Шервашидзе. – Этот человек метит куда выше... без причин о нем бы и не говорили. Послушайте, что о нем рассказывают. Он у вас там теперь большая сила.

– Как вы думаете, – спросила меня снова императрица, – что он за человек? Правда ли такой опасный?

– Я его совсем не знаю, – говорил я, – и судить о нем подробно не могу. Кто его видел, рассказывают, что у него пронизательные, отталкивающие глаза и что хотя он очень хитрый, но совсем простой, безграмотный мужик... Вряд ли из-за этого его хитрость опасна... время деревенских колдунов давно прошло.

– Так, так! – поддакивал мне неодобрительно Шервашидзе. – Колдунов больше нет, а вот погодите, этот будет

почище любого вашего колдуна... Таких бед нам всем натворит, если так будет продолжаться...

– Если будут на него продолжать обращать внимание, его подталкивать и с ним считаться, то, конечно, натворит, как и всякий другой на его месте, – возразил я. – а сам по себе он, как я думаю, не может быть опасным. Слишком много было бы ему чести, а вот что имя его действительно становится опасным, как и все то, что с этим именем связывается, так это, князь, верно... я с этим с вами совершенно согласен.

– И я так думаю, – сказала задумчиво императрица и перевела разговор на другое...

* * *

Мне часто приходилось слышать, что императрица Мария Федоровна – в полную противоположность государю и остальным ее детям – предпочитала людей с титулами. Насколько это верно – не знаю. Такое мнение, довольно упорное, основывалось главным образом на случайной фразе императрицы при выборе кандидатов на какую-либо должность, по воспитательным учреждениям ведомства императрицы Марии. «Dommage quelle nest has titree», – сказала она действительно раз или два в подобных случаях, и все же это не препятствовало ей назначать на зависимые от нее и другие должности, как, например, управляющих Гатчинским и Аничковским дворцами, людей с самыми неродовитыми дворянскими именами, без всякого титула.

Она также с особенной теплотой относилась в своих общениях и к совсем незаметным людям, в особенности если эти люди казались несчастными и обиженными. Чем наиболее главным вызывалась у нее эта маленькая слабость

к титулу, сказать довольно трудно, но все же можно было вынести впечатление, что именно этих людей она считала и наиболее государственно способными, наиболее преданными престолу, как и более приверженными к традициям и лучше воспитанными. Конечно, так должно было бы всегда быть, если бы, к удивлению, как наша, так и иностранная история не противоречила бы этому бесчисленными исключениями.

Да и титул бывал титулу рознь и зачастую не всегда говорил о древнем высоком происхождении или о благородных заслугах. Но, без всякого сомнения, настоящая, хорошая порода даже в мире животных играет громадную роль, и ее всегда заслуженно ценят не только благодаря лишь ее физическим, но и духовным качествам.

Нельзя этого же сказать о нас все, даже на особый почет, посягающей демократии с ее не углубленной веками культурой, с большей частью поверхностным просвещением, без исторических, наследственных, обязывающих традиций, с ее постоянной, доходящей до холодной злобы завистью к вышестоящим.

Императрица, конечно, была права, не доверяя этому сорту людей, считая их малоспособными к управлению, и относилась к наиболее заносчивым из них с плохо скрытым отвращением.

Я не позволил бы себе касаться здесь тех отношений, которые существовали между государыней и ее старшим сыном. Как между мужем и женой, так и между матерью и детьми никто не судья. Но в печати и общественных толках уже столько раз появлялось утверждение, что императрица Мария Федоровна якобы совсем не любила государя в противоположность остальным своим детям и что холод,

якобы существовавший между обоими дворами, являлся лишь следствием этой главной причины.

А. А. Вырубова говорит в своих воспоминаниях, что «виноватым в отношениях двух государынь были окружающие»¹⁸⁰. Равным образом императрица-мать никогда не хотела уступать первого места императрице Александре Федоровне.

Быть может, внешность это отчасти и подтверждала. Приближенные обеих сторон, часто даже не из лиц ближайшей свиты, действительно нередко относились друг к другу с плохо скрываемой критикой, и отзывы о несовершенствах и неправильной политики молодого двора поэтому встречали хотя порою и молчаливый, но все же довольно сочувственный, как казалось, отклик со стороны вдовствующей государыни.

Но что это у императрицы-матери была только внешность, своего рода любезность по отношению к людям, с ней говорившим об этих вещах, в этом я убеждался неоднократно по многим признакам.

Кроме того, особой отчужденности между приближенными обоих дворов также не было, да, конечно, и не могло быть. Делить им между собою было уже нечего, да и большинство высших лиц из ближайшей свиты государя имело одинаковые служебные обязанности и по отношению к императрице-матери.

Если и существовал известный холод к некоторым единичным людям из ближайшего окружения молодой

¹⁸⁰ Автор цитирует по кн.: Вырубова А. А. Страницы моей жизни. Русская летопись. 4-я книга. Париж, 1922. С. 13-193.

императрицы, то этот холод в одинаковой степени разделяли и остальные лица обоих дворов.

Это последнее обстоятельство скорее их всех соединяло, чем разъединяло. Со своей стороны, государь очень любил и почитал свою матушку, советуясь с нею почти постоянно в наиболее важных государственных и семейных делах. Если бы существовал известный «холод», он мог бы легко ее избегать в подобных случаях.

Но он старался делать все возможное, чтобы исполнить ее желания, иногда ему неприятные, и когда отдавал об этом приказания, то уже в одном подчеркнутом тоне его фразы: «этого желает моя матушка», можно было чувствовать всю глубину его уважения и сыновней любви.

Конечно, скептики могли бы именно в этой подчеркнутости почувствовать, что лично сам государь этим желаниям не сочувствовал и только уступает просьбе матери. Но скептики односторонни и многого не замечают.

Напрасно также упрекать императрицу-мать, что она нарочно держала в тени молодую царствовавшую государыню, занимая первенствующее место на всех выходах и других торжественных собраниях.

Это являлось следствием не только правильно понятого этикета, но и твердого желания государя, да, я думаю, и чуткого понимания самой молодой императрицы. Если бы было наоборот, нападки на нее, конечно, еще более бы усилились, и ее обвинили бы не только в недостатке почтительности и такта, но и в особом честолюбии, на которое она уже никоим образом не была по своей натуре способна.

Не оставлявшая ее никогда большая застенчивость сильнее других обстоятельств заставляла ее по собственному

влечению невольно держаться в тени и невольно выдвигала на первое место государыню-мать с ее привычной и всегда находчивой любезностью.

Насколько я вспоминаю, одинаковое положение существовало и в царствования императоров Александра и Николая Павловича, когда вдовствующей императрице-матери предоставлялось первое место среди супругов царствующих тогда государей¹⁸¹. Это было так естественно, что никто тогда ее не упрекал.

Распространенное мнение, что императрица Мария Федоровна не любила совсем своего старшего сына, нагляднее всего показало свою несостоятельность в дни отречения государя от престола, когда он чувствовал себя особенно непонятым и одиноким.

Действительно, на него негодовали тогда все, и те, кто заставил его отречься, и даже те немногие близкие, ему горячо преданные и его любившие за то, что он отрекся.

Кроме его собственной семьи и сестер, лишь одна мать, в своем материнском чувстве, не находила к нему в те часы так мало упреков.

Не раздумывая об опасностях для нее тогдашнего длинного путешествия, она, не теряя ни одной минуты, появилась в Могилеве.

Я помню живо эти мучительные полчаса их встречи, проведенные в грязном дощатом, морозном железнодорож-

¹⁸¹ Автор имеет в виду мать императоров Александра I и Николая I вдовствующую императрицу Марию Федоровну, которая пережила своего мужа Павла I на 27 лет и умерла в 1828 г.

ном сарайчике, а также невыносимые минуты их последнего расставания.

Но помню и то, каким благодеянием сказались на государе все эти пять дней пребывания императрицы в могилевской Ставке¹⁸².

За ничтожными перерывами по утрам они не расставались друг с другом до позднего вечера. Без этих долгих часов, проведенных глаз на глаз с матерью, государь, я думаю, не выдержал бы так стойко посланного ему испытания...

¹⁸² Императрица была в Могилеве с 4 по 8 марта 1917 г.

■ XVI

В Гатчине и Петергофе мы с Михаилом Александровичем оставались тогда недолго. Ремонт и переделка нашего дома в Орле уже заканчивались; большая часть прислуги была гофмаршальской частью туда также отправлена, и ничто не мешало нашему окончательному переезду.

Незадолго до этого события вторым адъютантом к великому князю был назначен лейб-гусар штаб-ротмистр граф И. И. Воронцов-Дашков, сын бывшего министра двора и тогдашнего наместника на Кавказе.

По словам Михаила Александровича, его об этом назначении уже несколько лет просили, и этого же давно желала и императрица-мать.

Граф Воронцов-Дашков в том году из-за нездоровья вынужден был покинуть свою службу в лейб-гусарском полку, и такая должность, дававшая ему почти полную свободу, его чрезвычайно устраивала.

Он оказался прекрасным товарищем, и я с ним быстро, совершенно по-дружески сошелся. Он был большой любитель рысистого спорта и ружейной охоты; как товарищ обладал прекрасными душевными качествами, был совершенно далек от интриг, ни на что не навязывался и ни во что не вмешивался.

К сожалению, ему приходилось бывать в Орле редко, лишь кратковременными наездами, так как на руках его находилось все управление обширными имениями отца.

Насколько мне запомнилось, наше окончательное переселение в Орел совершилось в самом конце сентября

1909 года, чтобы день полкового праздника, 1 сентября¹⁸³, провести вместе с черниговскими гусарами.

С этих, собственно, дней и началась отдельная жизнь великого князя от матери. Вступал он в нее с понятным волнением. Все было для него ново и сначала очень неуютно – и роль ответственного самостоятельного начальника, и пребывание в незнакомом городе, где все глаза были обращены на него как на брата царствующего императора.

Приходилось быть не только командиром полка и представителем царской семьи, но по возможности не отдаляться и от местного губернского общества, ожидавшего от общения с ним многого.

Но создавшееся положение было новым и для самого этого общества, а также и для меня лично. Я мало знал губернскую жизнь, хотя много о ней читал, слышал и догадывался. Это, конечно, не то же самое, что собственный опыт.

Первые дни, и не только дни, но и месяцы, поэтому обеим сторонам приходилось присматриваться друг к другу. Великий князь, я и иногда приезжавший к нам граф Воронцов-Дашков были немногочисленны, и изучить нас в провинции, где все на виду, и всякий знает, что другой не только думает, но и ест, было чрезвычайно легко.

Нам же это далось намного труднее, а узнать все существующие в местном обществе взаимоотношения оказалось и до самого конца не под силу. Впрочем, я лично и не старался, по своему обыкновению, в это вникать. Ссоры

¹⁸³ Автор не точен. Полковой праздник черниговских гусар – 1 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем¹⁸⁴ вряд ли кому интересны, кроме них самих.

Более всего местных жителей занимали сначала вопросы, связанные с особым этикетом, которым должен был быть, по их мнению, окружен великий князь в Орле, о чем и происходили со мной длинные и частые совещания. Для Михаила Александровича, как я уже сказал, эти вопросы были всегда особенно неприятны, что он порою и старался демонстративно выказывать.

Но отделаться от всякого внешнего почета, ввиду положения великого князя, было ему, конечно, невысказано. Это не только бы огорчило, но и искренно обидело бы местных жителей. Получив «своего» великого князя, Орел желал иметь и «свой» маленький двор, и свою собственную придворную жизнь.

Там даже сокрушались, что Михаил Александрович не женат, и были чрезвычайно обрадованы, когда узнали, что к нам изредка будет приезжать великая княгиня Ольга Александровна и играть роль хозяйки. В случае отсутствия всякого декораума и замкнутости великого князя Орел никому не простил бы своего разочарования.

Во всех восторгах от простоты и доступности Михаила Александровича все же неизменно проскальзывали ему порицания именно за эти его «слишком большую простоту и доступность».

– Он не должен быть таким, – говорили в особенности старики. – Его высочество должен разбирать людей и не всем

¹⁸⁴ Герои повести Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

оказывать внимание... а то подумайте, он дольше всех говорил с Н. и тем обидел многих порядочных людей.

Но столичные жители напрасно все же смотрят с таким превосходством на своих провинциальных собратьев. Как я убедился, одна жизнь на петербургских улицах и в петербургском доме еще не делает сапожника искуснее, ученого учение, а человека из общества особенно занимательным.

В провинции встречается отнюдь не больше странностей, чем в обеих столицах, и там находится не меньше людей, которых следует глубоко уважать. В провинции только меньше возможности пользоваться всем тем, что дает современная культура и наука. Но иметь возможность пользоваться культурными достижениями и иметь способность их воспринимать – это, конечно, не одно и то же. Люди везде люди, и в высшем кругу столицы под покровом, быть может, более изощренного лоска и манер скрыто порою немало провинциального мещанства, удивившего бы многих умных людей из средних слоев уездного городка, а в любой губернии всегда можно найти достаточное количество постоянно там живущих или наезжающих туда жителей, ничем не отличающихся от петербургского high life.

Среди других городов Орел в этом отношении еще менее представлял исключение. В нем сохранилось много старинных дворянских семей, еще почти с прежним укладом жизни, столь памятным нам по тургеневским рассказам. В других провинциальных городах этот тип уже вымер окончательно.

Я до сих пор вспоминаю маленькую усадьбу на высоком берегу реки, на окраине города, в которой, по рассказам

старожилов, еще недавно жила семья, описанная Тургеневым в его «Дворянском гнезде»¹⁸⁵.

Мне называли ее фамилию, но я теперь забыл. К сожалению, за дальностью расстояния и неимением времени не удалось посетить и тургеневского «Спасского-Лутовинова», хотя меня туда и приглашала его теперешняя владетельница, жена орловского вице-губернатора Галахова, близкая родственница поэта Шеншина. По ее словам, усадебные постройки там пришли уже в ветхость, и она перевезла полностью весь тургеневский кабинет в свой городской дом.

Центральное место в нем занимал большой старинный диван – знаменитый «самосон», как его любил называть Тургенев. Как вся тогдашняя мебель, он был все же достаточно тверд и совершенно не располагал к сладкому сну.

Кроме общества офицеров своего полка, их семейств и административных лиц, великий князь изредка посещал дома Свербеевых, Андреевских, Галахова, Лопухина, Владимировых, Полозова, Шамшаевых, Плещеева, князя Куракина, графа Бенигсена и некоторых других, фамилии коих я теперь не могу, к сожалению, уже вспомнить. Несмотря на простоту и удивительное радушие хозяев, все же эти посещения обычно тяготили Михаила Александровича. Он предпочитал проводить свободное время дома, по

¹⁸⁵ Речь идет о доме-усадьбе на окраине Орла, на реке Орлик, по улице Верхней Дворянской. В середине XIX в. в нем жила Евдокия Коротнева, которая впоследствии ушла в монастырь, став в монашестве Макарией. В Орле этот дом называют «Лизы Калитиной», именем главной героини романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо».

возможности в саду, где мы устраивали с ним спортивные игры и состязания или предпринимали длинные прогулки верхом.

В этом саду у нас жил даже большой ручной медведь, подаренный великому князю офицерами полка. Это был сильный и очень забавный зверь, и Михаил Александрович любил с ним пробовать свою силу и бесстрашно боролся. После нашего отъезда из Орла медведь этот кончил свои дни в Московском зоологическом саду.

Довольно часто мы бывали в городском, очень недурном театре, где для нас была устроена особая, отдельная от других великокняжеская ложа.

В большие праздники и другие свободные от занятий дни великий князь пользовался всяким случаем, чтобы уехать из Орла хотя бы на короткий отпуск.

Эта наша относительная отчужденность и связанное с нею порядочное разочарование местного общества не ускользнули от наблюдательности поэта, бывшего лейб-гусара Мятлева, довольно часто и надолго приезжавшего в Орел из своего соседнего курского имения.

Его острого языка в городе очень побаивались. Я вспоминаю, какое беспокойное движение происходило всегда в театре, когда он там появлялся. Многие даже уходили из театра, опасаясь ему попасться на глаза.

Нашему пребыванию в Орле Мятлев посвятил очень длинное стихотворение, ходившее по рукам губернского общества и ставшее быстро известным и в петербургских гостиных. К счастью, оно было скорее добродушно, чем зло, довольно верно подмечало все слабые стороны как нашей личной жизни, так отчасти и командования великим князем полком.

Это шутивное стихотворение, передававшее почти полностью все ходившие на наш счет толки, я уже теперь забыл.

Помню только одну из его первых строф, касавшихся «свободы» Михаила Александровича: «Брат далеко и высоко, в Копенгагене мама.., и те строчки, которые касались лично меня:

Свое пенсне на нос надвинув,
Обо всем, в конце концов,
Позаботится Мордвинов
Иль, быть может, Воронцов.

Мятлев был раз и у великого князя, где читал нам, под аккомпанемент рояля, свои многочисленные остроумные стихи из жизни светского Петербурга.

Жизнь в те зимы в Орле, как и ожидали, была особенно оживленная. Обеды, вечера в частных домах и любительские спектакли сменяли друг друга.

Орловское дворянство тоже дало великолепный бал в честь великого князя и приехавшей к нам погостить великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Александровича Ольденбургского.

Больших официальных приемов у себя Михаил Александрович, за недостатком помещения, почти не устраивал. Только во время пребывания в Орле его сестры у нас собирались несколько раз к обеду или к завтраку довольно многочисленное губернское начальство и представители местного общества.

Танцевальные вечера большею частью происходили в офицерском собрании черниговских гусар, где главным

хозяином являлся великий князь, и это отчасти заменяло ожидавшиеся с таким нетерпением великокняжеские приемы.

Охраняла нас в Орле, и довольно рьяно, тайная полиция, присланная из Петрограда. Ее было немного, 3-4 человека, а ее начальник, жандармский ротмистр Лукьянов, оставался в Петербурге. Каждое утро старший охранник являлся ко мне с рапортом. И здесь, в Орле, больше всего боялись неожиданного налета Савонкова, по сведениям полиции, намеревавшегося тогда снова пробраться в Россию для новых убийств, хотя каждый шаг его и был известен охранным отделениям.

Кроме Орла, Михаилу Александровичу пришлось раза два или три побывать на разных торжествах в соседнем Ельце, одном из самых больших уездных городков, славившимся своей обширной хлебной торговлей. В этом городе стоял Нежинский гусарский полк, которому великий князь в первый свой приезд передал, по поручению государя, георгиевские серебряные трубы¹⁸⁶, пожалованные полку за отличия, оказанные в Японской войне.

В одно из других посещений вместе с великой княгиней Ольгой Александровной мы были на освящении храма, построенного местным состоятельным фабрикантом А. Н. Заусайловым в память предстоящего 300-летнего юбилея

¹⁸⁶ В июле 1909 г. состоялось награждение Нежинского гусарского полка за подвиги во время Русско-японской войны 12 серебряными трубами для полкового оркестра, которые были вручены великим князем Михаилом Александровичем осенью 1909 г.

дома Романовых¹⁸⁷. Оба раза мы останавливались в доме этого чрезвычайно радушного и отзывчивого на нужды бедных человека.

Вероятно, за это и за его крепкие монархические убеждения (он принадлежал также к обществу хоругвеносцев) большевики не пощадили ни его самого, ни его молодую красивую жену. Они оба были расстреляны в первые же месяцы после октябрьского восстания.

Наша обыденная жизнь с Михаилом Александровичем в Орле протекала изо дня в день очень однообразно. За исключением служебных занятий в гусарском полку и редких официальных посещений Орловского кадетского корпуса, местного института и некоторых других учреждений великий князь большей частью проводил время

¹⁸⁷ Из письма епископа Елецкого орловскому губернатору от 20 марта 1910 г.: «В последнее время г. Заусайлов, вступив в организованное в Ельце, состоящее под августейшим покровительством его императорского высочества великого князя Михаила Александровича общество хоругвеносцев, проявил настолько замечательную религиозно-патриотическую деятельность, что был избран в почетные члены сего общества и удостоен высоким вниманием со стороны августейшего покровителя общества, выразившимся в двукратном посещении дома Заусайлова, в первый раз – одним великим князем, а во второй – с великой княгиней Ольгой Александровной и августейшим ее супругом принцем Петром Александровичем Ольденбургским. Их императорским высочествам угодно было осчастливить хозяина, А. Н. Заусайлова, знаками своего внимания и благодарности». Храм во имя святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского в Ельце был освящен 11 февраля 1911 г.

у себя дома, вдвоем со мной, или уезжал часто в отпуск. Нередко ездил он тогда и в Гатчино для коротких посещений своей матушки.

Моя семья оставалась все время в Гатчине, и такие поездки меня всегда радовали. В те месяцы на душе у меня было особенно неспокойно. Я волновался и за обстоятельства, окружавшие моего великого князя¹⁸⁸, и за мою семью.

Здоровье моего младшего сына стало снова хуже, да и измученная жена чувствовала себя очень нехорошо. Жизнь отдельно от своих, переживавших мучительные дни, в то время как мне приходилось слишком часто присутствовать на разных празднествах, выказывать наружно спокойствие и приветливость, бывала порою невыносима.

В один из таких наших приездов в Гатчино, в мае 1910 года, императрица неожиданно получила телеграмму о кончине короля Эдуарда, и в тот день к вечеру или на другое утро мы выехали с нею, князем Шервасидзе и графиней Гейден в Англию.

На Михаила Александровича при этом государь возложил обязанность быть представителем Его Величества на похоронах.

Король скончался неожиданно от болезни – катара бронхов, перешедшего затем в воспаление легких, не представлявшее сначала опасности для жизни.

¹⁸⁸ Во время нашего нахождения в Орле у великого князя от г-жи Вульферт родился его единственный сын Георгий. Георгий Михайлович Брасов безвременно скончался 21 июля 1931 года в г. Sens во Франции во время поездки от несчастного случая. Его автомобиль перевернулся на полном ходу (*прим. автора*)

Королева была в отсутствии, но за несколько дней до кончины успела вернуться домой.

Я уже сказал где-то в другом месте о своих тогдашних впечатлениях, охвативших меня внутри Букингемского дворца. Помню то, что сейчас же по нашем приезде в Лондон меня позвала к себе принцесса Виктория, и я пробыл долго у нее. Такое внимание в дни ее сильнейшего горя меня тогда особенно тронуло.

Официальная церемония в Вестминстерском соборе и в Виндзоре протекла, как и все подобные печальные церемонии, в особенно торжественной и многолюдной обстановке.

На нее съехались все представители всех дворов Европы и Индии, а также отчасти и представители иностранного духовенства.

Присутствовал и наш епископ заграничных церквей – преосвященный Антоний (Путята)¹⁸⁹.

В Виндзоре на меня лично, да, видимо, и на остальных присутствовавших произвело сильное впечатление, когда в конце последней молитвы гроб короля при мертвой тишине стал медленно, без всякого прикосновения человеческих рук, как будто сам собою, опускаться в могилу.

Все затем проходили мимо отверстия склепа в полу капеллы, прощаясь последним поклоном с ушедшим навсегда королем.

¹⁸⁹ Автор не точен. Речь идет о епископе Владимире (в миру Всеволод Владимирович Путята) – см. именной указатель.

В те дни при нас состоял адъютант покойного Эдуарда VII, моряк Камбель, малолетние сыновья которого принимали также участие в печальной церемонии в качестве пажей.

В Англии, как и в других странах, нет нашего постоянно-го Пажеского корпуса, и в необходимых случаях в пажи выбираются дети из семейств лиц, приближенных к королевскому дому.

У нас это учреждение было более обширно и, пожалуй, более демократично.

В него могли попадать дети каждого военного служащего, если отец их или дед имели генеральский чин, особой родовитости для этого не требуется.

Перемена царствования в Англии в те первые дни для меня, постороннего, дала мало новых внешних впечатлений.

И сам Букингемский дворец, и большинство наполнявших его людей бывшего двора, за исключением траурных одеяний, напоминали мне еще живо прежнюю обстановку. Помню только, что за обычной воскресной службой в дворцовой капелле королева Александра тогда в первый раз надела свой вдовый головной убор и что на другой день после погребения происходило представление всех придворных, в том числе и иностранцев, новому королю.

Согласно тамошнему обычаю, в таких исключительных случаях все английские подданные-мужчины склонялись перед ним на одно колено, а дамы целовали ему руку. Как объяснили, с такой же особой почтительностью приветствуют англичане своего монарха и в последующее время, но только те из них, которые видят короля лишь в первый раз по его восшествии на престол.

Предоставив весь почет новой королевской чете, королева Александра вскоре переехала в Marlborough House вместе с нашей императрицей, а мы с великим князем через неделю или две вернулись домой.

Моя семья из-за болезни сына была опять лишена возможности в ту весну уехать в наше милое тихое Лашино, но далекое от всякой помощи докторов. Жена поэтому решила воспользоваться приглашением моего брата и во время моего пребывания в Англии переехала на лето в его имение в Виленской губернии «Колтыняны», сухой климат которого и обилие хвойных лесов считались особенно целительными для легочных больных.

Помню, что при нашем возвращении из Англии мне удалось повидать мою Ольгу, приехавшую из имения на станцию Ново-Свенцяны, где предполагалась кратковременная остановка нашего поезда.

Она вошла в наш вагон поздней ночью, когда все у нас уже спали, но этих пяти минут все же было достаточно, чтобы я успокоенный снова уехал надолго в свой Орел.

По словам жены, им в Колтынянах было уютно, местность очень здорова и чрезвычайно живописна, и они были убеждены, что пребывание там им принесет большую пользу... Надежда, которой и я не переставал себя тешить вплоть до последнего ужасного дня...

■ XVII

Начало лета 1910 года, несмотря на все свое однообразие, промелькнуло в Орле незаметно. В тот год, да и позднее, служебного дела у меня было особенно много.

Приходилось, за исключением небольшого времени, проводимого с Михаилом Александровичем, почти весь день не выходить из кабинета, принимая различных посетителей, и сидеть до глубокой ночи за письменным столом. Это меня отчасти отвлекало от мучительных дум о здоровье сына.

Количество поступающих на имя великого князя разных бумаг и прошений со всех концов России и даже из-за границы возросло настолько, что того небольшого отделения нашей канцелярии, которое я перевел в Орел из Петербурга, уже было недостаточно.

Пришлось его дополнить вольнонаемными чиновниками из местных жителей. Но и те, несмотря на то, что наши ответы на прошения были чрезвычайно кратки, жаловались на обременение работой.

Одновременно в те же годы производилась и полная реорганизация всех обширных имений великого князя, значительная земельная площадь которых год или два назад была уступлена по желанию Михаила Александровича, окружающим селениям.

Новый главноуправляющий Действительный] Статский] С[оветник] Клингель был выбран на эту должность еще моим предшественником генералом Дашковым. Он был ученый-агроном, автор многих трудов по земледелию, первый развел с успехом чайные плантации у нас на Кавказе, работал долго в уделах и стремился поставить имения и заводы великого князя так, чтобы они и при уменьшенной

площади владений не только увеличивали бы прежнюю доходность, но и служили бы показательными образцами местного населения.

Клингель был человек, безусловно, способный, проникнутый самыми горячими стремлениями, но как ученый, немного теоретик, фанатично преданный своим ученым идеям.

Ему приходилось нередко отменять распоряжения прежнего главноуправляющего (гофмейстера Лавриновского), высказываясь об их несостоятельности, что, конечно, было доведено разными доброжелателями из прежних служащих до сведения этого последнего.

Как всегда бывает в подобных случаях, тот не остался в долгу и в свою очередь стал жестоко критиковать деятельность Клингеля, указывая не только великому князю и мне, но и своим многочисленным орловским знакомым на весь вред и даже разорение, которые должны были неминуемо последовать от всех нововведений Клингеля.

Около вопроса об управлении имениями великого князя поднялась тогда целая буря – хотя буря в стакане воды, но все же доставившая мне лично немало неприятных часов и тяжелых колебаний. На эту должность главноуправляющего великокняжескими имениями, оплачиваемую окладом намного больше министерского, стремились попасть очень многие, и было трудно разобраться, насколько все нападки на нового главноуправляющего были вызваны его действительными промахами или лишь желанием некоторых людей стать на его место.

И великий князь, и я, так же как и мой предшественник генерал Дашков, относились как к Клингелю, так и его непосредственному начальнику, управляющему имуще-

ственными делами Михаила Александровича А. А. Измайльскому, также агроному, с полным доверием. Но ожесточенные нападки на них со стороны также уважаемых нами лиц, сознаюсь, сказались на мне порядочными колебаниями.

Я был непосредственным докладчиком великому князю по всем этим хозяйственным делам, находившимся в моем владении, и чувствовал всю перед ним ответственность.

Выслушать мнение противоположных взглядов, одинаково подкрепленных, казалось бы, беспристрастными цифрами, прийти к золотой середине было бы легко, но, конечно, слишком недостаточно. Как известно, цифрами зачастую прикрывается неуютная истина, да и самые тонкие расчеты не всегда оправдываются.

Надо было определенно стать на чью-нибудь сторону, а для того необходимо было обладать не только здравым смыслом и беспристрастием, но и специальными знаниями, каких у меня, хотя и помещика, не было.

Я вспоминаю, до каких мелочей доходил порою этот обоюдный страстный спор. В лесных имениях великого князя, после ежегодных лесных заготовок, оставалось большое количество куч хвороста, которые, продаваясь по сравнительно низкой цене на топливо, все же приносили Михаилу Александровичу ежегодный доход в несколько тысяч рублей.

Клингель распорядился эти кучи, в которых гнездились вредные насекомые, просто сжигать, доказывая возмущенным противникам, что пепел от этого хвороста, удобряя затем землю, будет настолько способствовать росту оставшихся деревьев, что этот прирост во много раз превзойдет стоимость сожженных куч.

Противная сторона с такими «учеными» доводами не соглашалась, считая, быть может, и не без основания, что «синица в руках, во всяком случае, лучше журавля в небе» и что «палить великокняжеское добро напоказ крестьянам не годится».

В другом, столь же мелком случае еще более страстный спор шел о мероприятиях Клингеля по семенному клеверному хозяйству. Это хозяйство приносило совсем мало дохода. Как известно, оплодотворение клевера совершается лишь при посредстве насекомых, главным образом пчел. Новый главноуправляющий считал, что наша обыкновенная русская пчела, обладая очень коротким хоботком, не позволяющим ей проникать во всю глубину цветка, совершенно не способна увеличить количество урожая семян и что для такого увеличения необходимо развести сильную кавказскую пчелу, с особо длинным хоботком. Выписка такой пчелы с Кавказа обошлась имениям великого князя в сравнительно ничтожную сумму, но возбудила новые негодования и указания на трату денег зря, на «смехотворные ученые опыты».

Я не говорю уже об остальных крупных мероприятиях Клингеля по реорганизации имений, вызвавших еще более ожесточенные на него нападки, а по вопросам о сроках рубки леса – даже посредничество одного из выдающихся московских ученых-лесоводов.

Этот профессор, совершенно независимый в своих мнениях человек, находившийся на казенной службе, ничего для себя не добивавшийся, признал верность доводов Клингеля, но сторонники прежнего главноуправляющего обвинили и этого профессора в приязни, каком-то «ученом

кумовстве» и даже в присущем им обоим якобы политическом либерализме.

Слабая сторона всех намеченных Клингелем нововведений действительно заключалась в том, что, обещая в недалеком будущем увеличение доходности чуть ли не вдвое, они требовали в течение ближайших лет громадных расходов на их проведение в жизнь.

Это обстоятельство более других вызывало у меня сомнения, и в своих колебаниях я не раз останавливался даже на мысли, что, пожалуй, самым лучшим и выгодным решением вопроса была бы продажа всех земельных владений великого князя. Стоимость их была громадна, но в лучшем случае они приносили Михаилу Александровичу не более 3 процентов в год, тогда как, превращенные в денежный капитал, они давали бы доход по крайней мере вдвое, и притом доход верный, ни с какими заботами, ожиданиями, приисканиями нужных людей, их домогательствами и вечными спорами не связанный. Тем более что значительную часть своих земельных владений великий князь уступил и без того соседним деревням.

«Имения дороги только тем, – думал я, – кто в них родился, в них вырос или в них подолгу жил, да отчасти и тем, кто в них работал; для остальных, в свои владения не заглядывающих, относящихся к ним равнодушно, земля является только источником дохода, далеко не постоянного, часто зависящего от градовой тучи, засухи или пожаров».

В свое оправдание я должен сказать, что у меня при этом мелькали и другие мысли, менее расчетливые. Я и тогда считал, что владение доставшейся землею все же сильно обязывает, что расстаться с нею и передать ее продажей в

чужую собственность в совершенно неизвестные и могущие ее испортить руки не всякому позволительно.

При этом обладание каким-нибудь имуществом всегда дает больше удовлетворения, чем обладание только одними деньгами, лежащими без движения в банке: освобождая от материальных забот, такой капитал обыкновенно освобождает и от всякой деятельности.

С ним, правда, легче приходить на помощь другим, но так же легко и забыть о существовании ближних. Его не трудно в короткое время разбросать по сторонам и ничего не оставить своим наследникам.

С другой стороны, положение Михаила Александровича не давало ему возможности жить постоянно в деревне и отдаться всецело сельскохозяйственной деятельности, как того требовала бы польза дела, а числиться хотя бы номинально в среде заводчиков и фабрикантов, по моему мнению, ему как русскому великому князю было «невместно». Меня еще в детстве неприятно поражала надпись на жестянках с леденцами, что эти конфеты сделаны на рамонской фабрике принцессы Ольденбургской. В те годы это было первое фабрично-торговое предприятие, принадлежавшее члену императорского дома, вызывавшее немало неудовольствия и у других.

Великий князь, по моим понятиям, должен был быть только великим князем, а не купцом, фабрикантом и заводчиком, имя которого могло «трепаться» на куляках с сахаром, бочках со спиртом и т. п.

Эти мои, быть может, «странные» доводы находили довольно сочувственный отклик и у самого Михаила Александровича. Он не был против продажи большинства своих имений, но предвидел, так же как и я, все те новые

затруднения, которые неминуемо должны были возникнуть с этим делом, в особенности с увольнением и пенсиями многочисленных служащих, имевших работу в имениях великого князя.

Было решено поэтому выждать некоторое время и посмотреть, как пойдет дело у нового главноуправляющего. Быть может, и в действительности не стесненный в средствах в своей работе на службе у Михаила Александровича он принесет большую пользу русскому сельскому хозяйству и будет примером окрестным деревням.

Самого Клингеля я почти не знал и с самого начала был скорее на стороне его критиков. Познакомился с ним я ближе впервые в Орле, куда он приехал к великому князю и ко мне, взволнованный всей возникшей против него травлей, и сразу поставил вопрос ребром о нашем доверии к нему. Я помню, в какое нелегкое положение он тогда меня этим решительным вопросом поставил.

Дело шло ведь не о моем личном имуществе, а об имуществе великого князя. Я привык обыкновенно с большим доверием относиться к неизвестным мне людям и не очень сердился на себя, когда бывали разочарования, но поступить с тем же «легкомыслием» и «наивной верой» в данном случае я считал себя не вправе. Доводы противников главноуправляющего были еще настолько сильны в моих глазах, что я немного замедлил с ответом. Мои колебания не ускользнули от напряженного внимания Клингеля. Он весь покраснел и как-то особенно горько, почти обиженно улыбнулся. Эта густая краска лица и чисто детская улыбка уже седого человека сразу помогли мне стать на его сторону.

Противники Клингеля никогда так не краснели и не улыбались. «Нет, искренность и истина должны быть у него, а не у тех, – сказал я сам себе. – Такому человеку можно и должно верить. Он может ошибаться, но не будет преследовать личных выгод. Ему столько же больно за себя, как и за те научные знания, в которых сомневаются».

Почти такое же очень благоприятное впечатление о Клингеле вынес тогда и сам Михаил Александрович. Новый управляющий уехал от нас из Орла успокоенный и, видимо, очень благодарный.

Первые два года его управления ясно показали нам, что мы оба не ошиблись в своих ожиданиях. Все расчеты нового главноуправляющего оказались настолько продуманными и осторожными, что имения дали даже больше дохода, чем он обещал.

Я не сомневаюсь, что, оставаясь Клингель на службе у великого князя долго, ему бы удалось поставить все имения действительно в достойный подражания вид. В особенности сельское хозяйство – к промышленным предприятиям он не чувствовал никакого влечения, и это был его маленький минус. Эти две отрасли деятельности все же довольно тесно связаны друг с другом.

К сожалению, женитьба Михаила Александровича поставила около него новых людей, по всем данным менее беспристрастно настроенных и умных.

В числе других прежних служащих ушел и Клингель, а затем нагрянула революция...

Заведование нашим маленьким «двором», хотя и было весьма несложно, также доставляло мне порою много скучных минут. Низший персонал командированных к нам придворных служителей был довольно многочисленный;

многие переселялись в Орел со своими семьями. Большинство из них были люди весьма избалованные и не только самолюбивы, но и своеобразно честолюбивы. Почти всякий хотел играть роль повыше той, которая была ему предназначена.

Высшей инстанцией, разбирающей их постоянные взаимные пререкания и недовольства, невольно приходилось быть мне одному, и это отнимало порядочно времени.

Непосредственно всеми служащими ведал у нас в Орле «дворецкий» Кондратьев, возведенный в эту временную должность из официантов высочайшего двора. Человек он был грузный, весьма неглупый, почтенный, очень религиозный, в совершенстве знающий свое дело, но и весьма обидчивый, постоянно жаловавшийся на недостаток уважения к нему со стороны его подчиненных.

Кондратьев очень любил вычурные, для вежливости выражения и уже в старости пристрастился к «писательству», которое, по его словам, ему доставляло единственное утешение в жизни. По собственному почину он начал вести дневник нашего пребывания в Орле, на манер обычного придворного камер-фурьерского журнала, только более еще подробный и своеобразно литературный. В нем он употреблял такие обороты фраз и выискивал такие переделанные на русский старинный лад иностранные словечки, что им мог бы позавидовать не только Горбунов, но и сам Лесков, написавший «Левшу».

В конце нашего пребывания в Орле он поднес мне этот свой объемистый труд в прекрасном переплете на память. Чтение его рукописи мне доставило действительно искреннее удовольствие.

Это был образчик литературы, мною до того времени не встречавшийся. Выдержать с таким постоянством при помощи лишь одних современных почтительных выражений торжественный стиль старинных грамот, говоря притом о самых обыденных вещах, удастся не всякому. К сожалению, большевики среди прочих ценимых мною документов уничтожили и этот любопытный, своеобразный гоффурьерский журнал...

Мне снова приходится просить прощения за это новое и опять длинное отступление от моего рассказа. Этих отступлений, и притом несущественных, так много в моих воспоминаниях! Но жизнь течет как река, с бесчисленными впадающими в нее побочными ручейками. Без них, без этих мелких, пожалуй, не было бы и самой реки, или она стала бы настолько неглубока и не живописна, что ей нечего бы было внести в то безбрежное море, которое скрывается за нашим земным кругозором. Конечно, все относительно, и не все житейские мелочи важны, но зато не все они и запоминаются. Но в тех, что приходят почему-то на память под старость, было, вероятно, что-нибудь значительное для каждого из нас – значительное не только когда-то в прошлом, но могущее, вероятно, сказаться и в неизвестном будущем. Иначе к чему бы задерживалось на этих смешных ничтожностях наше внимание, когда чувствуется уже близость всепоглощающей вечности?.. Нет, видно, и там, в этом вечном будущем, не все исчезнет бесследно. Все нам вспомнится, даже то, что мы постарались крепко забыть, но я верю, что по великой любви Бога многое, наверное, нам и простится...

■ XVIII

С середины лета 1910 года начались для меня снова тяжелые, полные невыносимого гнета дни. Моему мальчику сделалось неожиданно совсем плохо. Чтобы быть ближе к докторам, жена спешно перевезла его из имения брата в наше помещение в Гатчинском дворце.

Консилиум докторов, найдя признаки ужасной болезни, уже унесшей от нас старшего сына, признал его состояние угрожающим, но еще не совсем безнадежным. Этой мучительной сменой надежды и отчаяния мы жили до осени. Бедная жена совсем извелась.

Насколько возможно я старался быть около нее и нашего маленького. Михаил Александрович в те месяцы находился со своим гусарским полком на летних занятиях в Московской губернии в селе Клементово и не нуждался в моем постоянным при нем присутствии. Я только несколько раз короткими наездами побывал у него в лагере около Можайска и имел возможность остальное время жить в Гатчине, куда и направлялись деловые бумаги из Орла и Петербурга.

Милый, сердечный как никогда великий князь с искренним волнением переживал со мною наше горе... К осени болезнь нашего мальчика настолько усилилась, что доктора стали настаивать на его немедленной отправке за границу.

Мнения у них сначала разделились: одни требовали пребывания на берегу теплого моря или в Египте, другие – на высоких горах.

В конце концов остановились на Швейцарии. Это решение нам все же давало некоторую надежду на излечение – так как пребывание в теплом климате в данном случае, по

словам врачей, означало бы полную безнадежность и лишь недолгое продление жизни.

15 сентября, причастив накануне, в день Воздвиженья, в дворцовой церкви нашего мальчика, вся моя семья выехала из Гатчины в Vermala sur Sierre в Швейцарии. Их сопровождал туда и наш домашний врач, лейб-медик Калинин.

Из-за своих служебных обязанностей я должен был вернуться к великому князю в Орел, и присутствие среди моих Николая Николаевича Калинина меня немного успокаивало. Известия от них с пути и по прибытии на место были довольно хорошие; ухудшения от длинной дороги не последовало; маленький как будто стал бодрее, появился небольшой аппетит. Была найдена и удобная вилла в горах.

Мои надежды начинали увеличиваться. Так прошло несколько недель. В один ненастный октябрьский день, когда кто-то находился у меня по делам, я вскрыл поданную мне очередную телеграмму от жены и прочел: «Micky craignons meningite viens immediatement si possible appelons proffesseur Gooreve».

Через час я уже выехал из Орла через Петербург за границу. В Вержболове, в таможенном отделении багажа, мне подали другую телеграмму: «Профессор надеется впрыскиваниями остановить развитие болезни. Радуетсся скорому свиданию».

В буфета базельского вокзала меня ждала короткая записка жены: «Положение не хуже. В сознании».

Подымаясь из Sierre к Vermala по пустынной дороге в горы, к моему экипажу выбежал из попутной санатории человек в белом докторском одеянии.

– Я догадываюсь, кто вы, – сказал доктор Фишер торопливо мне, пожимая руку. – Вашему мальчику очень скверно, но он в сознании и вас узнает... мужайтесь...

Мой Микки действительно сразу меня узнал, несмотря на мое штатское платье, и очень обрадовался. Он сделал мне ласковый, даже веселый знак своей исхудалой ручкой, но сейчас же упал на свои подушки...

Четыре ужасных дня и четыре еще более ужасные ночи последовали за этим все же относительно легким мгновением. Среди этих дней было и несколько часов самой яркой радости и горячей веры, а затем, в ночь на 10 октября, все кончилось внезапно.

Остались лишь пустота и безысходное горе. После отпевания в русской церкви в Vevey мы перевезли нашего маленького из-за границы на родину и похоронили его на нашем сельском кладбище, Петровском, рядом с его старшим братом.

«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо их есть царство небесное», – написали мы на их маленьких памятниках.

Переживания последних месяцев, бессонные ночи, утомительный путь сказались на здоровье моей жены. Доктора настаивали на ее немедленной отправке на Ривьеру.

Так как Михаил Александрович собирался также в эти месяцы поехать за границу, совершенно инкогнито, под именем господина Брасова, и настойчиво не желал, чтобы

кто-либо его официально сопровождал¹⁹⁰, то мне легко было получить на это время отпуск.

Мы провели тогда с женой (ты оставалась тогда в Гатчине) два месяца в Beau Lien и Cannes.

Несмотря на тяжкое горе, сверкающая природа Ривьеры принесла нам обоим значительное облегчение. По предписанию докторов мы должны были много гулять и выбирали обыкновенно самые безлюдные тропинки приморских Альп, откуда видно море.

Благодаря новому, еще малоизвестному лечению местного доктора Bayfll здоровье жены настолько восстановилось, что она могла вернуться домой.

Великий князь со своей будущей женой находился по соседству от нас на Итальянской Ривьере, но мы с ним не виделись, изредка обмениваясь друг с другом короткими записками. Вблизи них находился делопроизводитель нашего Управления барон Н. А. Врангель, который в необходимых случаях и мог сноситься по денежным делам с Управлением.

Так как приближалось уже наше Рождество, то мы и решили с женой в конце заграничного декабря вернуться к нашей дочери в Россию, о чем я известил, по обычаю, дворцовую канцелярию. Почти накануне дня, назначенного

¹⁹⁰ 7 октября 1910 г. Мордвинов уведомил барона В. Б. Фредерикса, что великий князь Михаил Александрович 17-20 октября предполагает отправиться в двухмесячный отпуск за границу инкогнито, под именем М. А. Брасова. За великим князем Департаментом полиции была установлена слежка. Дело было поручено заграничному агенту Анри Бинту.

для нашего отъезда, я неожиданно получил длинную зашифрованную телеграмму от министра двора графа Фредерикса, уведомлявшего меня, что, по повелению Его Величества, мне надлежит находиться при великом князе во все время, пока он пребывает за границей, и ни в коем случае не возвращаться без него домой.

Эта телеграмма меня очень удивила, хотя я и понял сейчас же, какими опасениями она вызывалась; понял и то, что она была, вероятнее всего, послана по инициативе беспокоившегося графа Фредерикса, а не самого государя. Но при создавшемся тогда за границей положении вещей, когда я был лишен возможности жить совместной жизнью с великим князем, мое пребывание около него, лишь где-то по соседству, конечно, не могло ни уменьшить этих опасений, ни тем более свести их на нет.

Все, что было возможно высказать Михаилу Александровичу по этому поводу, я ему уже давным-давно высказал, с дружеской откровенностью и почти с братской настойчивостью, не опасаясь ни его гнева, ни нашей полной размолвки, и считал, что этим я исполнил свой долг как перед ним, перед его семьей, так отчасти и перед своей Родиной, до конца.

Михаил Александрович, понимая мою полную незаинтересованность и желание ему лишь добра, хотя порою и очень раздраженно, но терпеливо выслушивал мои доводы, а когда и соглашался с некоторыми из них. Но я желал ему лишь добра, тогда как он жаждал себе счастья – призрачного, по-моему, и вполне достижимого по его убеждению.

При таких обстоятельствах быть помимо друга еще каким-то ответственным опекуном взрослого человека и моего официального начальника я считал для себя совсем

лишним, о чем и телеграфировал довольно прозрачно графу Фредериксу, прося снова разрешения по домашним обстоятельствам выехать со своей женой в Россию.

На другой день я получил и ответ. Граф Фредерикс мне кратко телеграфировал, что, по докладе моей телеграммы государю, Его Величество не соизволил отменить свое первоначальное распоряжение.

О полученных указаниях я сообщил сейчас же великому князю, добавив, что решил на основании этого остаться за границей один, без жены, и прошу его сообщать мне его дальнейшие передвижения, чтобы я мог находиться возможно ближе к нему, на случай если бы я ему для чего-либо все-таки понадобился бы.

Михаил Александрович мне мило ответил, что он очень сожалеет, что из-за него я лишен возможности сопроводить мою жену домой, что в самом конце декабря он намеревается на некоторое время перебраться в Париж, куда и просит меня приехать.

«Вы, конечно, можете жить в Париже, где пожелаете, – добавил он, – только сообщите мне адрес вашего отеля, где вы остановились».

Я проводил мою жену до Генуи. Она дальше поехала в сопровождении барона Врангеля, а я вернулся обратно в Cannes.

В Генуе я схватил жестокую ангину с сильной лихорадкой, и это одиночество на чужбине в дни нашего Рождества с моими не прекращавшимися тревогами за судьбу великого князя было не особенно приятно. С таким же нелегким чувством я переехал вслед за великим князем в Париж, где оставался всю первую половину января 1911 года.

Наше посольство с Извольским во главе было очень недовольно и крайне озабочено подобными пребываниями Михаила Александровича во Франции, так как, по словам Извольского, на его плечи ложилось много лишней и крайне неприятной ответственности. В данном случае слова эти, конечно, не касались лишь одной обычной заграничной охраны высочайших особ.

Болезнь моя что-то не особенно поддавалась лечению, кроме того, я беспокоился очень за состояние здоровья жены, и потому пребывание в Париже мне казалось вдвойне бесцельным и тяжелым.

Я решил уехать оттуда в Россию и просил о том разрешения великого князя. Упомянул, и довольно прозрачно, о моих тревогах. «Конечно, совершенно спокойно поезжайте, – писал он мне. – Я сам собираюсь скоро вернуться домой».

Я снова телеграфировал об этом как полагалось графу Фредериксу и, не получив его ответа, запрещавшего бы мой отъезд, вскоре очутился среди своих в Гатчине.

Вскоре затем прибыл из-за границы и великий князь. Прожив несколько дней в Аничковском дворце вместе с императрицей-матерью, мы с Михаилом Александровичем вернулись наконец в Орел.

1911 год прошел в Орле еще однообразнее, чем предыдущий.

Великий князь в свободное от службы время опять очень часто уезжал в отпуск, и большую часть зимы и лета мне приходилось оставаться одному. Это имело лишь ту одну хорошую сторону, что мне удавалось довольно часто навещать, хотя и ненадолго, мою семью сначала в Гатчине, а потом и у себя в деревне.

Таким образом, наша разлука с женой на несколько лет, чего мы так опасались вначале, оказалась в действительности не столь уж ощутительной.

В то лето мне удалось снова побывать у великой княгини Ольги Александровны, на этот раз в ее новых владениях в Воронежской губернии. Я был там в ее «Ольгине» впервые, и тамошний недавно отстроенный усадебный дом мне показался еще уютнее, чем в ее «Домовичах» Новгородской губернии. Для приезжающих гостей там был построен отдельный, очень удобный домик, в котором я и ночевал.

Тем же летом, кажется, происходила и коронация английского короля Георга V¹⁹¹. Представителями от остальных государей на подобных торжествах принято обыкновенно посылать самых близких к иностранным престолом лиц. Сами коронованные особы на них по обычаю не присутствуют.

От нас туда, за малолетством наследника, как всегда, был назначен Михаил Александрович. Все необходимые для этого приготовления были уже сделаны, о нашем прибытии были извещены и английское правительство, и английский двор. Оттуда нам прислали программу торжеств, в которых было уже упомянуто имя великого князя, и целую кучу связанных с программой приглашений.

Но за два дня до отъезда великий князь заболел. У него от лошадиного пота и едкой пыли во время кавалерийских учений развился мучительный фурункулез, не позволявший надевать парадную форму.

¹⁹¹ Коронация Георга V проходила 22 июня 1911 г. в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Несмотря на полное нежелание вносить путаницу в распоряжения английского двора и сильнейшее неудовольствие императрицы-матери, пришлось все-таки отказаться от этой поездки, и в Лондон вместо Михаила Александровича был спешно послан в последнюю минуту заместивший его великий князь Борис Владимирович.

Осенью императрица-мать, по обыкновению, находилась в Дании, где уже давно ожидала Михаила Александровича.

Отправились мы туда опять морем, но на этот раз на собственной яхте великого князя «Зарница», недавно вернувшейся после своего полного ремонта из Англии. Яхта эта была еще приобретена покойным наследником Георгием Александровичем от богача Ушкова и досталась Михаилу Александровичу от брата по наследству¹⁹², так же как и

¹⁹² Паровая яхта «Зарница» (первоначальное название «Форос») была построена в Англии, спущена на воду в 1891 г. Принадлежала брату императора Николая II наследнику цесаревичу и великому князю Георгию Александровичу, а после его смерти в качестве наследства перешла во владение Михаила Александровича. Во время Первой мировой войны 21 мая 1915 г. судно было мобилизовано и включено состав Балтийского флота. «Зарница» участвовала в мировой войне (использовалась как посыльное судно) и Февральской революции 1917 г. 25 октября 1917 г., находясь на Неве в зоне Петроградского военного порта, судно перешло в подчинение Петроградского Военно-революционного комитета. С мая 1918 г. находилось в порту на хранении. С 24 октября по 28 ноября 1922 г. использовалось МПО ОГПУ, после чего было сдано в Кронштадтский порт на хранение. 23 сентября 1924 г. при наводнении было вынесено на береговой откос Военной гавани и затонувшую баржу, при спаде воды опрокинулось и

большая часть имений и большой дом на набережной¹⁹³. Государь, как мне объяснили, не может в качестве императора наследовать имущество от родственников.

«Зарница» обладала большим ходом, была снаружи красива, а внутри чрезвычайно удобно обставлена, и качка на ней благодаря боковым киям была не так ощутительна, как на остальных императорских яхтах.

Кроме великого князя, командира яхты князя Путятина, его помощника барона Шиллинга и меня, с нами никого не было. Путешествие и дальнейшее пребывание в Дании благодаря хорошей погоде и царившему среди нас хорошему настроению было одно из самых приятных.

В Копенгагене в то время стояла и яхта императрицы «Полярная звезда» с другой маленькой императорской яхтой, ее конвоиром. Образовалась значительная русская колония на море, и мы много времени проводили среди наших моряков.

В Дании мы тогда оставались недолго. В этом месяце стоявший в Киеве Бессарабский пехотный полк, шефом которого числился Михаил Александрович, праздновал свой 100-летний юбилей и ожидал посещения великого князя¹⁹⁴.

затонуло. 27 июля 1927 г. судно было поднято и продано тресту Рудметаллторг для разборки на металл.

¹⁹³ Речь идет о дворце на Английской набережной в Санкт-Петербурге (в настоящее время дом № 54).

¹⁹⁴ Речь идет о 129 пехотном Бессарабском полке великого князя Михаила Александровича. Полк был сформирован как Брестский пехотный в 1811 г., однако официальную историю вел от

Отправились мы туда на той же яхте «Зарница». Некоторую часть пути нас провожала императрица Мария Федоровна. Дойдя до Либавы, мы пересели в ожидавший нас там великокняжеский вагон и в нем доехали до Киева.

О нашем тогдашнем пребывании в Киеве у меня сохранилось смутное представление. Помню только, что население встретило великого князя не казенно, а сердечно, и что улицы во время его проездов в течение всех четырех дней пребывания были полны густой толпой народа, кричавшей «ура» и всякими способами старавшейся показать свое расположение.

Помню и то, что Киев, который я увидел тогда в первый раз, порастил меня неожиданной красотой, а пещеры Киево-Печерской Лавры оставили еще более глубокое впечатление, чем римские катакомбы.

Останавливались мы тогда в местном дворце, предназначенном для временных высочайших пребываний. В этом дворце в предреволюционные месяцы долгое время жила впоследствии императрица-мать. Здание дворца довольно обширно, но не уютно. Ни своим внешним видом, ни внутренним убранством оно совершенно не заслуживает такого громкого названия. Ведало постройкой Киевского дворца главное управление уделов, и он во многом напоминает те безвкусные лагерные дворцы в Красном Селе, построенные тем же ведомством¹⁹⁵. В нем великий князь и

1806 г. Великий князь Михаил Александрович был шефом полка с 1878 г.

¹⁹⁵ Мариинский (Царский) дворец в Киеве был построен на высоком правом берегу Днепра по заказу императрицы Елизаветы

давал парадный обед офицерам своего полка вместе с высшими представителями края, с киевским митрополитом и генерал-губернатором Треповым во главе.

Почему-то вспоминается, что обед этот благодаря полному неумению местной прислуги и непомерно длинным промежуткам в подаче блюд затянулся чуть ли не до полуночи. Бедный Михаил Александрович, чувствовавший себя к тому же нездоровым, вынужден был в течение долгих часов занимать разговором своих почетных гостей и чуть из-за этого не слег. Великий князь обладал большой физической силой, но, как ни странно, наряду с этим редко чувствовал себя совершенно здоровым. Даже небольшая тряска удобного императорского вагона и долгие придворные торжества сказывались на нем не только непомерной усталостью, но и недомоганием.

Усталые от всех празднеств, приемов и посещений, длившихся полнедели с раннего утра до позднего вечера, мы покинули Киев и, не заезжая в Орел, вернулись в Гатчину.

Оттуда уже поздней осенью, как и в прошлом году, великий князь уехал инкогнито, с разрешения Его

Петровны в 1744 г. Проект в стиле барокко был разработан архитектором Б. Растрелли. Возведен к 1752 г. В начале XIX века Царский дворец сгорел. В 1870 г. Александр II поручил архитектору Карлу Маевскому реконструировать дворец, исходя из старых планов и картин. После восстановления был переименован в Мариинский в честь императрицы Марии Александровны. Во время Первой мировой войны в Мариинский дворец переехала Мария Федоровна, которая курировала отправку санитарных поездов и лечение прибывших раненых.

Величества без всякого официального сопровождения за границу, обещая вернуться в Орел к Рождеству.

■ XIX

Наступало Рождество, а Михаил Александрович не приезжал.

В начале января я неожиданно прочел в «Русском инвалиде», что великий князь назначается командиром кавалергардского полка, о чем ему немедленно и телеграфировал. Назначение это не только для меня, но и для самого Михаила Александровича было снова полнейшей неожиданностью и, видимо, совершенно не отвечало его желаниям¹⁹⁶.

Какие силы, чьи советы и чьи надежды вызвали это назначение, мне так и осталось до сих пор неизвестным. Во всяком случае, с внешней стороны это был большой служебный шаг вперед, наполнивший бы всякого другого большой радостью.

Но Михаил Александрович отнюдь не торопился принять этот самый блестящий полк гвардии в свое командование. Его возвращение из-за границы откладывалось с недели на неделю и последовало лишь в феврале.

Для меня лично это долгое отсутствие великого князя являлось особенно сложным. Приходилось спешно ликвидировать наш «двор» в Орле и одновременно устраиваться на новом месте в Петербурге.

Требовалось ежедневно много указаний лично от самого Михаила Александровича, порою о самых мелочах, а

¹⁹⁶ Великий князь Михаил Александрович был назначен командиром Кавалергардского полка 1 января 1912 г.

сноситься было можно только письмами и телеграммами. В особенности много переписки вызвал вопрос о помещении великого князя.

Императрица-мать находила самым естественным, чтобы ее сын, командуя ее кавалергардским полком, жил бы с нею по примеру Гатчины в Аничковском дворце – что было бы, конечно, удобнее в смысле ненужности нового устройства, – а великий князь желал занять казенную квартиру командира полка.

Дело это еще осложнялось тем, что прежний командир полка граф Менгден долго не получал следующего назначения и ввиду такой неизвестности продолжал занимать свое казенное помещение.

По поручению великого князя мне несколько раз приходилось ездить в Царское Село к государю, чтобы испросить личные указания Его Величества и доложить о желаниях Михаила Александровича.

Это и был год моего первого, более близкого общения с государем. До этого я с ним хотя и часто как адъютант великого князя встречался, но в менее простой и не в домашней обстановке.

Уже тогда меня привлекли его удивительная «уютная» простота в одежде, немного грустное спокойствие и вместе с тем какое-то серьезное добродушие, с какими он умел встретить, беседовать, а затем и проститься с собеседником. Любой столоначальник бывал проникнут по внешности большей важностью своего значения, чем этот повелитель 160-миллионного русского народа...

С первых же мгновений свидания с государем мое обычное волнение меня совершенно покидало. Я сразу чувствовал, что ему можно все говорить, не подбирая

выражений, не думая об этикете, не боясь показаться смешным.

Можно было быть даже резким, но при обязательном условии полной искренности и незаинтересованности. Государь умел слушать как никто: серьезно, спокойно, не перебивая собеседника и стараясь вникнуть в смысл порою бессвязных фраз. Только в редких случаях приходилось во время доклада замечать, что мысли государя направлены куда-то в сторону. Но это случалось с близкими людьми. С посторонними он ничем не отвлекался во время разговора.

Заметив смущение собеседника, государь находчиво, почти незаметно приходил к нему на помощь, и все-таки я никогда не переставал чувствовать все величие его сана, но вместе с тем всегда одновременно его доброжелательство и сердечность самого простого человека, и поэтому мне с ним было так легко.

Впоследствии я часто перебирал в своих мыслях его политических противников, а также и громких критиков из общества, стараясь относиться к ним беспристрастно, и все же не только по государственному опыту, взвешивая, но и по душевным человеческим качествам, как и по житейскому такту, все они были намного мельче его.

В тот первый мой частный приезд в Царское Село государь сейчас же стал на сторону Михаила Александровича. «Конечно, ему естественнее жить в полку, – сказал он мне. – Это лучше для службы и сближает с частью и офицерами. Я вполне понимаю Мишу... Когда я сам начал службу в войсках, я тоже сначала жил в Аничковском и на себе испытал, как это неудобно во многих отношениях. Я понимаю и мою матушку – ей, конечно, приятнее, чтобы

Миша жил с нею. Но служба службой... Я еще поговорю с матушкой, и она, конечно, не будет ничего иметь против».

* * *

Комнаты Михаила Александровича в Аничковом дворце были, в общем, действительно очень неудобны, и благодаря промозглому петербургскому климату и тому, что они выходили хотя и на широкий, но застроенный двор, они были плохо освещены.

В кабинете, немного обширнее и выше гатчинского, стояла мебель очень хорошего, но современного мастера, что редко дает впечатление домашнего уюта и «насиженного гнезда», а скорее напоминает покои какого-нибудь роскошно отделанного отеля, предназначенного лишь для коротких остановок.

Перед кабинетом находилась самая обыденная, какая-то тусклая приемная, за ним шла скромная, очень пустынная и очень темная спальня; за спальней следовали две уже совсем бесцветные серые комнатки.

В одной из них, проходной, ставился иногда столик для наших обедов и завтраков, когда императрица отсутствовала, а в другой, выходявшей окнами на какой-то промежуточный двор, мне приходилось подолгу жить, когда великий князь оставался на более продолжительное время в Петербурге. У государя своего отдельного помещения в Аничковском дворце уже тогда не было. Когда Его Величество приезжал после какого-нибудь петербургского парада повидать свою матушку, ему обыкновенно приготавливали переодеваться в моей комнате, и я тогда на те часы оттуда «исчезал».

Кабинетом Михаила Александровича государь также иногда пользовался во время своих наездов в Петербург для приема разных лиц. Там, как я вспоминаю, происходил и последний доклад графа В. Н. Коковцова, о котором тогда много говорили.

В помещение Михаила Александровича можно было попасть по левой боковой лестнице с главного подъезда, но к нему вела и отдельная, чрезвычайно узкая винтовая лестница со двора, которой мы с великим князем обыкновенно и пользовались. Передняя там совершенно отсутствовала. Ее заменяла нижняя площадка, где можно было повесить не более 3-4 пальто.

Помещений для свиты императрицы, кроме двух комнат, где жила во время приездов бывшая воспитательница государыни *m-elle de Leskailles* (*де Лескаль*. – О. Б.), в Аничковском дворце не было. Князь Шервашидзе жил на частной квартире, а свитские фрейлины в Зимнем дворце.

Комнаты, где в предыдущее царствование помещался дежурный флигель-адъютант, были, в общем, довольно удобны. Теперь в них большую часть служебного времени проводила мужская свита императрицы и приходившие к ним по делам люди. Уютности этого помещения все же много мешало их положение. Они находились сейчас же налево от главного входа, и к ним надо было спуститься, как в полуподвал, двумя ступенями вниз. Когда-нибудь раньше эти комнаты, вероятно, были предназначены для швейцара или прислуги.

Представлявшиеся императрице по разным случаям лица собирались обыкновенно наверху, в довольно большом и красивом зале, непосредственно сообщавшемся с маленьким зимним садом. Жилые комнаты государыни

находились где-то наверху. Чтобы добраться до них, надо было пройти много узких длинных и путаных коридоров уже совсем не дворцового типа.

Вспоминается мне еще довольно отчетливо столовая комната, своим убранством отличавшаяся от остальных, и обширный, совсем скромно обставленный кабинет покойного императора Александра III.

В этот кабинет обыкновенно переходили после завтрака, чтобы поговорить и покурить. Помню также в одном из помещений громадную клетку с бесчисленным множеством маленьких птичек, большой любительницей которых была императрица.

Как и во всех дворцах мира, так и Аничковский дворец имел обширные подвальные помещения с различными переходами и лестницами. Парадные залы дворца уже достаточно всем известны и ничем особенно стильным или красивым не отличались. Аничков дворец, в противоположность Зимнему, окружал хороший, большой, тенистый сад.

Пожалуй, только одно это место могло напомнить старину. В царствование императора Александра III, переезжавшего обыкновенно на зимние месяцы из Гатчины в Петербург, в этом саду устраивались ледяные горы для молодой царской семьи.

Там же в течение трех зим подряд покойный государь, очень любивший физический труд, строил в часы отдыха вместе со своими детьми большую замысловатую снежную крепость, которую потом дети штурмовали. На память об этой работе в шутку были вычеканены даже медали; в первый год бронзовая, затем серебряная и золотая. На последней, имевшейся также и у отца моей жены, мне запомнилась надпись: «Наша работа – солнцу работа». Для

коллекционеров эти шуточные медали, вернее, жетоны могли бы представлять большую редкость, так как по числу участников их было роздано всего 7 штук.

Государыня очень любила свой дворец. С ним у нее было связано столько милых воспоминаний юности. Но дети ее его особенно недолюбливали, как и вообще всю петербургскую жизнь.

Мне лично этот дворец также совсем не нравился. Это был хороший, не особенно даже роскошный барский особняк, и только. Когда-то вначале он имел свою блестящую историю и, судя по старинным описаниям, был внутри красив. В свое время он строился во времена Екатерины под наблюдением одного из моих прадедов, генерала Мордвинова, с которым императрица часто сносилась депешами по поводу этого вопроса.

Каждые последующие четверть века, идя не к возрождению, а к упадку, отнимали постепенно от дворца все им не нравящееся, заменяли это прежнее своим и довели его до теперешнего неопределенного «серого», тусклого состояния...

* * *

В середине или конце февраля 1912 года Михаил Александрович наконец вернулся из-за границы. К тому времени я успел раза два съездить в Орел и сделать все необходимые распоряжения по перевозке нашего «двора» и казенного дворцового имущества в Петербург.

Почти всю обстановку в Орле, приобретенную на деньги великого князя, Михаил Александрович роздал по местным

благотворительным заведениям, а часть подарил прикомандированной к нам прислуге Большого двора.

С согласия государя эти люди гофмаршальской части продолжали в уменьшенном составе оставаться при нас и на время командования великим князем кавалергардским полком.

К тому времени очистил казенную квартиру и бывший командир полка граф Менгден, впоследствии зверски убитый большевиками.

Как и все подобные казенные помещения, она давно не имела ремонта и требовала долгого обновления. Всю меблировку, за исключением столовой в старинном русском стиле, устроенной еще в командование князя Юсупова, великий князь поручил Мельцеру, который к тому времени начал отделывать и дом Михаила Александровича на набережной, где жил раньше испанский посол, а также помещение дома в Брасове.

Несмотря на прекрасную работу отдельных вещей, квартира в кавалергардском полку вышла весьма пустынной, холодной и порядочно безвкусной. Обстановка графа Менгдена была намного уютнее. В этой полковой квартире на Захарьевской находились столовая, бильярдная, кабинет и спальня великого князя, две комнаты для меня и несколько для прислуги.

Так как отделка квартиры в полку заняла довольно много времени, то до середины марта великий князь жил в Аничковском дворце вместе с матерью.

За эти дни мы успели с Михаилом Александровичем съездить в Орел, где великий князь простился с черниговскими гусарами.

Внутренность нашего орловского «дворца» была уже к тому времени разрушена, и мы останавливались тогда у губернатора Андреевского, пользуясь его гостеприимством около трех дней.

Михаил Александрович к тому времени уже был назначен шефом черниговских гусар вместо великой княгини Елизаветы Федоровны. Гусары и город Орел проводили «своего» великого князя с большой задушевностью и искреннюю печалью. Хотя его пребывание в этом городе далеко не оправдало всех связанных с ним вначале ожиданий, оно все же не было ни для полка, ни для жителей будничным.

С окончательным выездом великого князя никаких новых чаяний в местном обществе в смысле придворных пожалований и большого разнообразия уже не могло больше возникать. Все входило опять в свою обычную, тягучую провинциальную колею...

Назначение командиром кавалергардского полка, как я уже сказал, видимо, было порядочно не по душе Михаилу Александровичу.

Он, как и его отец, ненавидел Петербург, где был расположен полк, и нелегко привыкал к новой обстановке, тем более что эта обстановка не должна была благоприятно относиться к обстоятельствам его тогдашней личной жизни.

Среда кавалергардского полка, среда нашего «Большого света», хотя во многих случаях весьма снисходительная к своим, но и весьма способна настойчиво указать на то, что именно ему не нравится.

Как очень чуткий человек, великий князь это тонко высказанное порицание его отношениям к г-же Вульфферт чувствовал постоянно. В часы, когда он находился один, я

редко видел его не задумавшимся и не раздраженным, и это не делало ни его жизнь, ни его службу привлекательными.

На новоселье к нам приехала обедать императрица-мать. На этот обед великий князь пригласил также своих сестер, 2-3 старших офицеров полка и числившихся в кавалергардском полку великих князей Николая Михайловича и Андрея Владимировича.

После обеда показывался кинематограф с картинами кавалерийской жизни Черниговского полка. Было все, в общем, необычайно скучно, напряженно и совсем не семейно, как я надеялся. Великий князь был мрачен, не находчив и не скрывал своего удовольствия, когда наконец все разъехались.

Интересна последующая история меню этого обеда со всеми подписями его участников, в том числе и моей. Оно принадлежало или великому князю Андрею Владимировичу, или Николаю Михайловичу и какими-то судьбами после революции из разграбленного большевиками имущества великого князя попало в Москву, в руки одного антиквара.

Там его купил, не знаю для чего, но по очень дорогой цене, в 1930 году какой-то путешествующий американец и привез с собою в Америку. В то время там находилась моя жена для своего художественного заработка. Американец этот знал случайно от своих знакомых о фамилии моей жены, и его поразило сходство этой фамилии с моей подписью на меню, написанной по-русски. Он обратился за разъяснениями к моей жене, и та переслала это меню ко мне. Таким образом, этот писанный кусочек прежней моей жизни, украденный большевиками, совершил длинное путешествие и кружным путем через Москву и Америку через 20 лет нашел меня в деревушке среди Баварских Альп.

Затем приезжал как-то в полк для обеда государь, потом происходили в полковом манеже два или три раза известные в свете кавалергардские карусели, и этим все небольшие «события» в короткое время командования великого князя закончились.

Все остальное время было наполнено обыденной службой да другими обязанностями, связанными с его саном. Крайне полезными помощниками великого князя по командованию полком были старший полковник князь Долгоруков, полковник Левшин и полковой адъютант барон Корф.

Собственно говоря, в их руках и находилось все управление. По воскресеньям и праздникам, а часто и в будни Михаил Александрович ездил обыкновенно завтракать в Аничковский дворец, куда императрица приглашала и меня.

14 мая скоростно, во время своего проезда, умер в Гамбурге брат императрицы, датский король Фредерик VIII¹⁹⁷. Государыня была в то время в Англии и сейчас же выехала оттуда в Копенгаген.

По приказанию государя Михаил Александрович также спешно выехал в Данию. Вместе с нами поехал также

¹⁹⁷ Во время возвращения из поездки по Франции в мае 1912 г. Фредерик VIII ненадолго остановился в Гамбурге, в отеле Hamburger Hof. Прибыв вечером в гостиницу, он инкогнито отправился на прогулку. По дороге с ним случился обморок, он упал на парковую скамью и скончался. Тело было обнаружено полицией и доставлено в больницу, где врачи констатировали смерть от приступа паралича.

почему-то остававшийся до того в Петербурге князь Шервашидзе.

Помню, что в Вержболове мы неожиданно встретились тогда с великой княгиней Верой Константиновной, королевой Вюртембергской, ехавшей навестить семью великого князя Константина Константиновича, и вместе с нею обедали в императорских комнатах вокзала.

Я с нею встретился тут впервые. Она была тогда уже очень пожилая и ни внешностью, ни, видимо, характером совсем не напоминала свою сестру Ольгу Константиновну, королеву Греческую.

Несмотря на чисто русские обороты фраз, в ней чувствовалось уже довольно много «иностранного», тогда как на остальных наших великих княгинях, вышедших замуж за границу, эта заграница ничем своим, даже под старость, не в силах была сказаться.

На пароходе-пароме между Варнемюнде и Данией я познакомился также и с женой греческого королевича Георга, принцессой Марией Бонапарт, и принцем прусским Фридрихом-Леопольдом, родственником Вильгельма, ехавшими также на похороны.

Насколько принц Фридрих-Леопольд был усиленно мрачен и угрюм, настолько принцесса Мария была приветлива и общительна. По словам князя Шервашидзе, весьма упорного в своих суждениях, знавшего ее давно, она являлась самой умной и наиболее исторически начитанной принцессой во всей Европе. Лично я судить об этом не могу, так как наш чисто дорожный разговор почти не затрагивал подобных серьезных тем.

В Копенгагене все было так, как бывает при подобных печальных обстоятельствах. Помню только, что траур

датского двора тогда удваивался, так как племянник покойного короля, молодой герцог Кумберлендский, спешивший на похороны дяди на автомобиле, разбился по пути насмерть.

Помещение мне отвели в те дни на самом верху Амелиенбургского дворца с чудным видом на Копенгаген. Как на Москву надо смотреть с Воробьевых гор, так и на остальные, даже приморские города следовало бы смотреть с какой-нибудь высоты. Видимые не с моря, а сверху и издалека, они выигрывают намного в своей красоте: все, порою изумительные детали города как-то быстро исчезают из памяти, но общий облик запечатлевается зато надолго.

В том же 1912 году происходил в Москве столетний юбилей Бородинской битвы и изгнания Наполеона из пределов России¹⁹⁸.

На юбилей прибыл весь двор и бесчисленное количество разных депутатов. Москва опять встречала своего государя всем народом: и встречала искренно, душевно, не по полицейской указке, как принято было говорить со времени хождения нашей интеллигенции в народ.

Меня всегда и смешили, и раздражали такие утверждения – полиция была бы в восторге, если бы собравшегося народа было возможно меньше. Впрочем, этим утверждениям верили только те, кто хотел в такое равнодушие или даже в такую враждебность населения к своему царю верить.

¹⁹⁸ Празднование 100-летнего юбилея Бородинской битвы началось 25 августа 1912 г. в Бородино, а 27 августа продолжилось торжествами в Москве.

Среди миллионов русских людей таких было вообще немного, а в Москве в те дни как будто не было и совсем.

На этом парадном военном торжестве государь не говорил никаких речей, да в них никто и не нуждался. Русский народ, создавший неимоверными усилиями великую страну, всегда изумлял меня своею скромностью, нелюбовью к громким фразам, а его представители, русские цари, в особенности. Так называемый огромный квасной патриотизм и фразы «шапками закидаем» были принадлежностью лишь обывателей, а не жителей обширной деревни.

За все тысячелетнее славное существование России в памятные исторические дни неписаное, а живое царское слово или не раздавалось вовсе, или раздавалось весьма скупое. Несмотря на то что мою Родину завистливо привыкли называть колоссом на глиняных ногах, ее могущество все же сознавалось всеми и не требовало поэтому никакого подчеркивания.

В те дни среди других родственников государя присутствовала в Москве и великая княгиня Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская, единственная сестра императора Александра III.

Она еще летом долго гостила у императрицы-матери в Гатчине, а затем переехала с нею в Аничковский дворец. В то лето я близко познакомился с нею впервые. Из всей многочисленной семьи Александра II она ближе – намного ближе, – чем ее братья, подходила к простому русскому характеру императора Александра III. Так же как и он, она была прямодушна и чрезвычайно национально настроена. Выйдя замуж за герцога Эдинбургского и проведя затем всю жизнь за границей, она сохранила все оттенки русской души, без всякого налета на нее иностранного. Над жизнью и

обычаями Запада – хотя и добродушно, но метко, – она постоянно посмеивалась. Видимо, нелегко далась этой русской душе узкая, полная условности жизнь на чужбине.

По случайности, у меня оказалось письмо, писанное к ней старшим сыном императора Александра II, скончавшимся в молодых годах наследником цесаревичем Николаем Александровичем. Письмо это попало в мои руки от одного известного собирателя рукописей (кажется, Модзалевского) с просьбой передать его по принадлежности великой княгине, что я тогда же и сделал. Оно было написано еще более полвека назад, с первого путешествия наследника по Волге¹⁹⁹, когда Мария Александровна была еще совсем крошкой и не умела даже читать. Такое заботливо-любовное внимание брата к своей малютке сестренке меня тогда поразило.

Видимо, дети Александра II жили дружною, сплоченною семьею и не любили расставаться друг с другом надолго.

Это было длинное письмо, на четырех страницах крупного размера, где Николай Александрович в шутливых, под старинный слог, выражениях описывал свои впечатления, могущие позабавить и поучить сестренку. Оно меня поразило столько же тонкостью наблюдения молодого неопытного путешественника, сколько и чистотою своего русского языка. Иностранных слов или им родственных там не встречалось вовсе, и это в то время, когда в нашем придворном обществе, да и в обществе вообще царствовал

¹⁹⁹ Путешествие по Волге было совершено наследником цесаревичем Николаем Александровичем, сыном Александра II, в 1863 г.

французский или немецкий язык, а по-русски было принято писать с ошибками.

Видимо, на Николае Александровиче сказались не только русское образование, но и русское воспитание. Наша интеллигенция, за исключением, пожалуй, славянофилов, в его дни была воспитана и думала по-другому, чем русские государи, и это являлось отчасти причиной их взаимного расхождения и даже непонимания.

Как это интимное письмо смогло от Марии Александровны попасть в чужие руки и сохраниться, не могла пояснить и сама великая княгиня.

В ту же осень Михаил Александрович опять уехал в разрешенный отпуск, без всякого официального сопровождения, за границу, а мне удалось снова побывать в Воронежской губернии у великой княгини Ольги Александровны и провести там несколько хороших дней.

У нее тогда гостила ее бывшая фрейлина м-ль Коссиковская и приехавший из Швейцарии ее бывший наставник французского языка Ф. Я. Тормейер.

Осенние дни тогда стояли великолепные, но не весело было у меня, да и у всех собравшихся на душе. Мы все очень любили Михаила Александровича, и все совершавшееся вокруг него и в нем самом наводило нас на очень горькие мысли.

Те осенние дни государь с семьей проводил в Скерневицах и в Спале, куда он крайне редко ездил на охоту. Тогдашнее пребывание в Польше почти с самого начала было полно для них самых мучительных переживаний.

Маленький Алексей Николаевич, прыгая неудачно в лодку, вызвал своим ушибом внутреннее кровоизлияние, на этот раз настолько сильное, что положение его одно время

казалось безнадежным²⁰⁰. К счастью, он затем начал постепенно поправляться, и в самом начале ноября, кажется, около 5-го числа, государь переехал с ним из Спалы в Царское.

В пути он неожиданно получил от Михаила Александровича известие, что тот повенчался браком с г-жой Вульферт²⁰¹.

Нервы у государя и императрицы из-за болезни наследника были и без того натянуты, и это сообщение взволновало и огорчило их необычайно. Взволновало и всех остальных – Михаил Александрович стоял слишком близко к трону, и такая женитьба грозила большими осложнениями, если бы хрупкое здоровье наследника не выдержало²⁰².

²⁰⁰ Цесаревич Алексей повредил ногу в Спале в начале сентября 1912 г. Неудачный прыжок в лодку вызвал большое внутреннее кровоизлияние. Тяжелейший приступ продолжался почти три недели.

²⁰¹ Император уехал из Спалы 4 ноября 1912 г., а уже находясь в Царском Селе 7 ноября получил «получил от Миши письмо из Канн, в кот[ором] он сообщает, что женился на особе, с кот[орой] жил пять лет. Повенчался в Вене в сербской церкви. Единственный брат и тот нарушил слово!!!» (Запись в дневнике Николая II от 7 ноября 1912 г. Дневники императора Николая II. 1894-1918. Т. II. Ч. 1. С. 703-704).

²⁰² Письмо великого князя Михаила Александровича императору Николаю II от 31 октября 1912 г. «Дорогой Ники. Я знаю, что мое письмо принесет тебе большое горе, и я прошу тебя заранее, выслушай и пойми меня как твоего брата. Мне тем более тяжело огорчать тебя теперь, когда ты без того так озабочен болезнью Алексея, но именно это последнее обстоятельство и мысль, что

меня могут разлучить с Наталией Сергеевной Брасовой, заставили меня обвенчаться с ней. Прошло уже пять лет, что я ее люблю, и теперь уже не могут сказать, что с моей стороны это было простое увлечение. Наоборот, с каждым годом я привязываюсь к ней все сильнее, и мысль, что я могу лишиться ее и нашего ребенка, мне слишком невыносима. Первое время я не думал о возможности брака с нею, но эти пять лет и в особенности последний год в Петербурге изменили мои намерения. Ты знаешь, что, несмотря даже на тяжелую двухлетнюю жизнь врозь (когда я был в Орле), у нас всегда была своя семья, я всегда смотрел на Наталию С[ергеевну] как на свою жену и всегда уважал ее, поэтому мне были страшно тяжелы те унижения и оскорбления, которые неизбежны при ее положении [и которые] приходилось ей переносить в Петербурге. Я тебе даю мое слово, что я не действовал ни под чьим давлением. Наталия С[ергеевна] никогда со мной об этом не говорила и этого не требовала, я сам пришел к сознанию, что иначе жить нечестно и надо выйти из этого ложного положения. Не скрою от тебя, что командовать кавалергардами мне было очень трудно и тяжело. Я чувствовал все время, что по своим привычкам, вкусам и стремлениям я совершенно не подхожу к ним, не говоря уже о том, что я не привык к городской жизни без воздуха и движения, благодаря чему я всю зиму хворал. Если б ты пошел навстречу некоторым моим желаниям, то ты во многом облегчил бы мне мое тяжелое положение. Я так просил мне не давать полка в СПб, зная заранее, что во время пребывания там Мама моя личная жизнь уже не может существовать. Все это, взятое вместе, заставило меня решиться на этот шаг и обвенчаться с Наталией Сергеевной. Наше венчание состоялось в Сербской церкви св. Саввы в Вене 16/29 октября. Я знаю, что меня ждет наказание за мой поступок, и заранее готов перенести его, только одно прошу тебя: прости меня как Государь, перед которым я нарушил формальный закон, и пойми меня как брат, которого я горячо

О себе лично я тут не буду говорить. Когда-нибудь, если найдется мой дневник, ты узнаешь из него все подробности, порою очень характерные, этого события, а также и все тогдашние переживания нашей семьи. Скажу только, что в тот же вечер по возвращении государя я был вызван к министру двора, объявившему мне в самых суровых суждениях о поступке великого князя.

Граф Фредерикс приказал мне на другое же утро явиться к Его Величеству. Государь, видимо, сильно раздраженный браком брата, приказал мне немедленно отправиться в Cannes, где находился в то время Михаил Александрович, и объявить ему высочайшую волю о запрещении ему возврата на Родину и требование, чтобы он подписал уже заготовленный акт отречения от всех своих прав на престол.

Благодаря советам окружавших его тогда частных, порою совершенно случайных лиц великий князь сделать это отказался.

Через долгое время, уже находясь в изгнании на чужбине, я познакомился случайно с доктором Apolant, содержанием известной санатории в Киссингене. В этой санатории Михаил Александрович находился незадолго до своей свадьбы со своей будущей супругой и ее московскими знакомыми. По словам доктора Аполанта, великий князь очень подружился с ним и с его женой за это время. Сам доктор чувствовал искреннее расположение к Михаилу Александровичу и сейчас же поехал навестить его в Cannes, как только узнал о состоявшемся уже браке. Его приезд как

люблю всем своим сердцем. Твой Миша» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1301).

раз совпал с моим тогдашним там пребыванием. По его словам – насколько они точны, не знаю, – это именно он, а не кто-либо другой, убеждал и убедил великого князя не отказываться от своих прав на престол.

Г-жа Брасова, как говорил Аполант, наоборот, настаивала, чтобы Михаил Александрович подписал присланную со мной бумагу.

«К чему тебе все это, Миша, – якобы говорила она, – только будут разные стеснения и неприятности, а так мы были бы совершенно свободными, делали бы, что хотели... путешествовали»... и т. п. Судя по письму Михаила Александровича к Аполанту от 24 декабря 1912 года, которое мне этот Sanitats Rat показывал и читал, великий князь так и не подписал требуемое отречение. «Бумага та все еще лежит у меня не подписанная», – писал он ему.

Я убежден, конечно, что Михаил Александрович советовался не с одним Аполантом. Во время моего пребывания в Cannes, когда я уже уезжал, в купе моего вагона вошел великий князь Кирилл Владимирович. Он очень интересовался всем происшедшим и в заключение мне сказал: «Так и знайте и сообщите Мише, что от меня в свое время требовали подписать такую же бумагу, но я остался тверд и не подписал».

Кажется, на Ривьере в то время находился и князь В. М. Волконский, который также встречался с великим князем, да и много других лиц из русского общества.

Оставался я в Cannes 4-5 дней, ежедневно видясь с Михаилом Александровичем в его «Hotel du Pare». Саму г-жу Брасову я видеть не хотел, о чем еще заранее заявил Его Величеству.

В конце ноября, получив отзывавшую меня личную телеграмму государя, я вернулся домой. На мой доклад о том, что бумага об отречении от прав осталась у великого князя пока не подписанной и что вряд ли он ее подпишет, государь ничего не ответил, а только задумался.

Но императрица Мария Федоровна мне при свидании сказала:

– И хорошо сделал, что не подписал... совсем ни к чему.

Упоминаю об этих словах только потому, что, судя по проникшим в печать известиям, государыня-мать якобы очень сердилась на графа Фредерикса за его настояния перед государем о необходимости иметь подписанным этот документ.

Граф Фредерикс, по его словам, сказанным лично мне, действительно очень печалился слухами о неудовольствии по отношению к нему императрицы Марии Федоровны, но говорил, что это была личная воля Его Величества, а не его настояния, и что государь исполнил только свой долг на основании бывших примеров и в назидание будущим.

Затем последовал 15 октября высочайший указ об исключении великого князя из военной службы, лишения его содержания из уделов и об учреждении над его лицом, имуществом и делами опеки.

Манифестом 30 декабря, кроме того, было объявлено во всеобщее сведение, что с Михаила Александровича слагается возложенная на него ранее обязанность быть правителем государства до совершеннолетия наследника в случае кончины императора Николая Александровича. Одновременно великому князю было запрещено возвращаться в

Россию. Он оставался поэтому за границей, наняв для себя обширный замок в Англии²⁰³.

Как всегда бывает в таких случаях, в нашем светском обществе царило всеобщее суровое осуждение великого князя, но было немало и лиц очень высокопоставленных, отнесшихся к этому событию с почти радостным возбуждением от скандала, а некоторые, потешаясь и осуждая, доходили одновременно и до удивительного заискивания перед молодой четой.

Для простого русского народа событие прошло незаметным, так как дело касалось не лично самого царя. Женитьба моего великого князя вызвала также на страницах иностранной печати много неверных и странных толкований.

Брак его, как известно, совершился 16 октября 1912 года в православной, но не русской, а заграничной сербской церкви в Вене, и именно с этим обстоятельством связывали за границей последовавшее вскоре увольнение со своего поста нашего посла ввиду якобы постигшей его жестокой опалы Его Величества.

Некоторые иностранные газеты даже впоследствии утверждали, что раздражение государя на Австрию объяснялось обстоятельствами именно этого брака, что и вызвало европейскую войну!!!

Стоит ли говорить, что такие утверждения были совершенно измышлены. Если государь и был на кого-либо в этом

²⁰³ Замок Небворд-Хауз (Knebworth House), располагающийся на территории 250 акров (около 100 га) сельской местности графства Хартфордшир.

деле раздражен, то лишь на самого себя, на свою доброту, доверчивость и благородство.

В феврале 1912 года начались торжества 300-летнего юбилея дома Романовых²⁰⁴, и Большой двор переехал из Царского Села в Петербург в Зимний дворец.

Мы с женой на эти дни переселились с согласия государя также из Гатчины в Зимний дворец, где нам на самом верху, в так называемом фрейлинском коридоре, было отведено помещение.

Попадать в него надо было с площади с комендантского подъезда, где имелся и лифт, так что его «высокое» положение было не особенно ощутительно. Наши комнаты выходили на дворцовую площадь и были, в общем, очень удобны. Неприятно было только старинное отопление калориферами с сухим жаром и запахом горелой пыли, несшихся из его труб. Комнатная меблировка свитских помещений почти не отличалась от меблировки свитских помещений в других дворцах и, как всегда, была немного сборной. Большинство вещей принадлежало к царствованиям Николая I и Александра II.

До этого времени я бывал в Зимнем дворце только в дни больших высочайших выходов или на балах, когда он весь

²⁰⁴ Всероссийские торжества по случаю 300-летия дома Романовых начались 21 февраля 1913 г., что, согласно «Высочайшему манифесту», данному императором Николаем II (опубликован 21 февраля 1913 г.), приурочивалось к дате избрания на царство в Москве Великим земским собором «в 21-й день февраля 1613 года» боярина Михаила Федоровича Романова.

был полон блестяще одетого народа, и жить в нем тогда мне приходилось впервые.

В дни торжественных собраний не думалось вовсе о прошлом, которое хранили его стены, да и сама наружная громада дворца не казалась такой подавляющей, как теперь, в особенности при возвращениях поздно по вечерам «домой», когда его бесчисленные окна были почти не освещены и лишь с высоты дворцовой крыши яркий столб света от прожектора бороздил и небо, и соседние улицы по всем направлениям.

Ночная мгла становилась от этого еще более мрачной, а размеры здания еще громаднее. Да и внутри по вечерам Зимний дворец из-за неполного освещения и величины помещений казался совершенно пустым и неудобным. Самый обыденный шорох или отдаленные чьи-то шаги представлялись поэтому невольно таинственными и бывали порою неприятны. Днем, конечно, такое впечатление совершенно пропадало, а текущая придворная жизнь лишь на короткое время позволяла переноситься мыслью в то великое или ужасное, чему бывал свидетелем этот дворец со дня своего основания. Впрочем, всякий старинный, даже не исторический дом заключает в себе столько же данных для раздумья.

Второй раз мне пришлось жить короткое время в Зимнем дворце уже во время войны, осенью 1916 года, когда к нам приезжал японский принц Канин²⁰⁵ и я был назначен

²⁰⁵ Японский принц Канин (Кан-Ин, Каньин) Котохито приезжал в Россию в конце сентября 1916 г.

государем состоять при нем на время его пребывания в России.

Принцу и мне было тогда отведено помещение в так называемой «запасной половине дворца», где обыкновенно жили и другие иностранные высокие гости. Комнаты запасной половины были громадны, стильно и красиво обставлены и своею роскошью и размерами намного превосходили помещения тех иностранных дворцов, где мне приходилось бывать.

Моя тогдашняя спальня в Зимнем дворце легко могла бы вместить пол-эскадрона солдат.

Тогдашние 300-летние юбилейные торжества начались молебном в Казанском соборе в присутствии Антиохийского патриарха (*Григорий IV. – О. Б.*) и своими дальнейшими картинами мало чем отличались от других подобных же красивых дворцовых торжеств.

Разве только великолепный бал, данный в честь Их Величеств петербургским дворянством в их собрании, разнообразил их течение и напоминал собою невольно подобные же картины из «Войны и мира».

Принесение поздравлений в Зимнем дворце длилось несколько часов. Поздравлявшие сначала целовали руку императрицы-матери, а затем подходили к молодой государыне. Обе императрицы к концу выглядели совершенно изможденными.

В память этого юбилея были учреждены юбилейные медали и особый романовский знак, жалованный всем

лицам обоего пола, имевших счастье лично принести в тот день поздравление Их Величествам²⁰⁶.

Знак этот было положено считать наследственным, переходящим лишь к старшему сыну или дочери.

Весной этого же года государь с семьей выехал по Волге в Кострому²⁰⁷ в свою «Романовскую вотчину», а оттуда прибыл в Москву, где юбилейные торжества и окончились.

Я никогда не забуду волнующего впечатления, вынесенного мною из тогдашних московских дней. Единение царя со своим народом в них сказалось наглядно – единение не только внешнее, но еще больше духовное.

В особенности осталась незабвенной картина, когда государь, сойдя с коня, направился пешком, по примеру своего предка, в Кремль в предшествовании, как было тогда, многочисленного духовенства.

Народ тогда прорвал шпалеры войск, бросился к государю, тесно окружил его и вместе с ним через узкий проход заполнил Кремль.

²⁰⁶ В числе царских наград был «Наследственный нагрудный знак для лиц, приносивших Их императорским Величествам личные верноподданные поздравления по случаю 300-летия царствования дома Романовых в дни юбилейных торжеств 21-24 февраля 1913 г...». Памятный знак, представлявший собой оксидированный ажурный герб дома Романовых, увенчан императорской короной и окруженный вызолоченным лавровым венком. Знак носился на правой стороне груди ниже звезд, но выше других знаков, которые носились на той же стороне груди.

²⁰⁷ Император Николай II и его семья посетили Кострому с 19 по 20 мая 1913 г.

Согнать такое невообразимое количество людей и заставить их быть такими искренними было бы не по плечу всей полиции мира.

Как могли государь и государыня до самой кончины не верить в искреннюю преданность и любовь к ним простого народа, когда такие картины им лично приходилось переживать неоднократно.

XX

Из моей флигель-адъютантской службы

Столь неожиданный и так нежеланный всеми брак моего великого князя с два раза уже разведенной г-жой Шереметьевской-Мамонтовой-Вульферт, как я уже сказал, отозвался на мне лично самым тягостным образом.

О моих внутренних переживаниях я не буду тут говорить – они, конечно, принадлежат только мне одному, да и в то особенно горькое время я не делился ими даже с самым близким мне другом – женою. Скажу только, что о своем дальнейшем служебном положении я тогда не думал.

Рушилось все то, с чем связывались мои мечты и стремления, и продолжать мою службу при опеке великого князя в качестве его лишь номинального адъютанта я совсем не желал, о чем и сообщил Михаилу Александровичу в своем прощальном к нему письме, прося его доложить государю мое прошение об отставке²⁰⁸.

На это письмо я не получил никакого ответа, хотя великий князь его и читал вместе с г-жой Брасовой.

Три раза затем я просил государя освободить меня от этой ставшей ненужной должности и от тяготивших меня обязанностей по опеке, но Его Величество не давал на то согласия.

²⁰⁸ В личном фонде великого князя Михаила Александровича (№ 668) в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) письма А. А. Мордвинова отсутствуют.

В начале марта 1913 года, вскоре после Романовских торжеств, я подал в четвертый раз через министра двора мою просьбу об увольнении, указывая, что все дела великого князя мною уже переданы высочайше над них учрежденной опеке и что в моем дальнейшем заведовании ими уже более не представляется надобности.

Вечером в субботу 13-го марта ко мне неожиданно в Гатчину позвонили по телефону от министра двора: граф Фредерикс просил меня возможно скорее к нему приехать, но по какому делу – не говорил.

Я вспомнил, что в субботу всегда бывал его обычный доклад у государя, и этот вызов относил к какому-нибудь новому и срочному распоряжению, касавшемуся великого князя. Такие распоряжения тогда получались часто и большей частью были неприятны.

Я быстро собрался и с первым же подходящим поездом уже поздно вечером приехал в дом министра на Почтамтской.

Граф Фредерикс встретил меня не как обычно, а с некоторой официальной торжественностью, с какой этот изящный, полный придворных традиций старик любил иногда передавать другим о лично им полученных повелениях государя. Он встал из-за стола, двинулся мне навстречу, остановился среди комнаты и выпрямился.

– Я докладывал сегодня Его Величеству ваш рапорт об отставке, – начал он. – Государь соизволил вас уволить от должности адъютанта Михаила Александровича, но Его Величеству не угодно, чтобы вы совсем уходили со службы. Государь говорил мне о вас в самых сердечных выражениях и повелел мне передать вам, чтобы вы оставались впредь при нем, в его свите, – и тут его голос зазвучал совсем громко, –

и пожаловал вас сегодня своим флигель-адъютантом. Примите от меня первого мои самые искренние пожелания... я очень радуюсь вашему назначению.

И милый старик, сам немного взволнованный от своей торжественной речи, обнял меня и поцеловал.

– Смотрите не ожидайте высочайшего приказа о вас, – добавил он шутливо, – а завтра же явитесь Его Величеству...

Это напоминание о существующем еще с давних царствований обычае – не позднее, чем на другой день после пожалования, являться в свитской для принесения благодарности государю, меня немного смутило.

Купить погоны с царскими вензелями и такие же флигель-адъютантские аксельбанты, а также сшить свитский мундир в течение суток было еще возможно, но изготовить все это в одну ночь, и притом на воскресенье, было, конечно, невысказанно. Обыкновенно в таких случаях пользовались мундиром кого-либо из полковых товарищей, числившихся уже в свите.

Но единственный, за исключением великого князя, в моем полку и в Гатчине флигель-адъютант полковник Дрозд-Бонячевский был громадного роста и намного шире меня в плечах. Я все же воспользовался его любезным предложением, кое-что мне дома в его одеянии успели сузить и укоротить, и наутро я уже был в Александровском дворце в Царском Селе.

Лица свиты государя имели преимущество являться Его Величеству в любой приемный день, не испрашивая на то предварительного разрешения. Их обыкновенно не заносили и в списки представлявшихся.

Государь встретил меня в своем кабинете с обычными простотой и приветливостью. Никогда не обращавший

никакого внимания ни на свою, ни на одежду других, он все же на этот раз улыбнулся на мой уж слишком мешковато сидевший мундир и спросил, от кого я его так быстро успел достать.

– Не благодарите меня, Мордвинов, – сказал затем серьезным голосом государь. – Мне было очень жаль, что вы решили покинуть службу при брате, и я сделал теперь только то, что уже давно хотел сделать для вас... Ваше настроение я отлично понимаю... Кто мог думать, что все это случится... Знаю, что вам нелегко – иначе и не может быть при таких печальных обстоятельствах. А мне, вы думаете, легче... Но вот что, Мордвинов... я все же прошу вас продолжать помогать опеке заведовать делами Миши... и князь Кочубей, и граф Фредерикс находят это необходимым. Действительно, ведь вы один в курсе дел Миши, не только имущественных, но и других.

– Ваше Величество, – отвечал я, – необходимости, право, в том никакой нет. Опека уже до малейших подробностей успела ознакомиться со всем, и, говоря откровенно, при враждебном отношении ко мне г-жи Брасовой мой неуход вызвал бы только лишнее раздражение у Михаила Александровича.

– Знаю! Все знаю, Мордвинов, – говорил с горечью государь, – но верьте мне, что так продолжаться долго не может. Миша поймет наконец, как он жестоко несправедлив к вам, и у вас восстановятся с ним прежние отношения.

– Ах, Ваше Величество, дай-то Бог, чтобы так было когда-нибудь... в глубине души и я на это иногда надеюсь, но все-таки чувствую, что теперь этого долго не будет. Освободите лучше меня совсем от тяжелой обязанности.

– Хорошо, я подумаю, – сказал, немного задумываясь, государь, – а пока все-таки продолжайте заниматься его делами... столько же для него, как и для меня лично – в качестве моего адъютанта. Так, надеюсь, вам будет намного легче. Я и сам стал во главе опеки, чтобы для Миши это было не так ощутительно. Никто лучше вас не обережет его интересов.

– Ваше Величество, – заговорил я, волнуясь и, как всегда в своем большом волнении, отрывисто и бессвязно. – Всею душою благодарю вас за такое доброе мнение обо мне... Вы не поверите, как мне самому тяжело уходить от Михаила Александровича, и я долго колебался, прежде чем написал ему то прощальное письмо. Не о том я мечтал... Служба при нем меня только радовала и удовлетворяла... Надеялся, пока живы оба, мы будем всегда вместе... А вот теперь... Никогда не думал, что придется испытать такое горе... Верьте, Ваше Величество, я на него не сержусь. Мне только очень больно. Не сердитесь и вы, Ваше Величество, на него очень. Виноваты тут главным образом его молодость, полная неопытность и всегдашнее доверие к людям... Его и было так легко подтолкнуть на этот шаг... Конечно, в начале своего увлечения он поступил совсем нехорошо и сильно виноват перед полком, перед вами, перед своим положением и Родиной, но ведь, в конце концов, судя по-человечески – «прикрыть грех»²⁰⁹, – его поступок все-таки благородный.

²⁰⁹ Автор под слова «прикрыть грех» имеет в виду рождение в 1910 г. у великого князя Михаила Александровича и Н. С. Вульфферт сына Георгия.

– Но он мне обещал, и я верил в искренность его обещания²¹⁰, – вставил не без раздражения государь.

– Ваше Величество, я думаю, что и самому Михаилу Александровичу страшно тяжело, что он нарушил свое обещание. Быть может, он и хотел бы назад, да уж пока не может. Ваше Величество, я никогда ни о чем ни у кого для себя лично не просил, и если вы хотите чем-нибудь вознаградить мою службу при Михаиле Александровиче, то простите его... разрешите ему вернуться в Россию... Кто знает, быть может, все еще и устроится как-нибудь... Ведь его молодое чувство всегда бывало очень изменчиво.

Государь ничего не ответил. Сам, видимо, взволнованный, он долго сидел задумавшись перед своим письменным столом, затем встал и протянул мне руку:

– Ну, до свидания, Мордвинов, меня ждут уже другие. Теперь вы здесь свой, и мы будем чаще видеться. Пройдите к Ее Величеству, она желала бы вас видеть... она, наверно, готова и находится в своей комнате.

Любимая гостиная императрицы находилась всего через коридор и одну проходную комнату от кабинета государя, рядом с их спальнею. Ее Величество сейчас же меня приняла, но ее разговор со мной в тот день был непродолжителен. Она только меня поздравила, сказала, что очень радуется моему

²¹⁰ Из письма великого князя Михаила Александровича брату императору Николаю II от 29 марта 1910 г.: «...Повторяю, что хлопочу о разводе Наталии Сергеевны только из-за ребенка, жениться же на ней, как я уже тебе сказал, я намерения не имею. Даю тебе в этом слово» (*Мироненко С., Мейлунос А. Николай и Александра. Любовь и жизнь. М., 1998. С. 327*).

назначению, и поговорила немного о Михаиле Александровиче. Его поступок не столько ее раздражал, сколько делал ей больно. Она была, так же как и я, убеждена, что все совершилось лишь из-за юношеского слепого увлечения, а не настоящей любви. Если бы это была настоящая любовь – любовь с обеих сторон на всю жизнь, – она бы извинила этот поступок, и ей не было бы так тяжело.

Моего великого князя, как я всегда чувствовал, она очень любила и отличала его, так же как и великую княгиню Ольгу Александровну, от остальных многочисленных родственников царской семьи.

С самого начала своей жизни в России она была с ним дружна и к нему внимательна. Ей нравились его простота, искренность и прямота; ей хотелось с ним сблизиться, чтобы найти в нем и для себя, и для государя поддержку в их становившейся все более обособленной, но все более сложной жизни. Чтобы выказать великому князю ее внимание, она собственноручно украсила рисунками и выжиганием по дереву его лагерную мебель, с заботливостью относилась и к другим мелочам его жизни и всегда радовалась, когда Михаил Александрович по какому-нибудь случаю гостил у них по несколько дней в Царском Селе.

Императрица вовсе не желала замкнутой жизни и не старалась избегать людей, как это было принято утверждать. Наоборот, с самого начала она старалась сойтись возможно ближе со своими новыми родственниками и со своей новой средой, столь не похожей на ее прежнюю. Делала она это, правда, неумело и крайне застенчиво и сама от своей ненужной застенчивости много страдала, да и новая обстановка и новые характеры так сильно разнились от ее прежнего герцогского и английского дворов.

Но если она не умела подходить к людям, то подойти к ней и найти у нее быстрый искренний отклик мог всякий, в ком она, довольно чуткая на этот счет, не подозревала ни малейшей хитрости.

Этими недостатками ни в какой степени не обладали ни Михаил Александрович, ни Ольга Александровна. Она чувствовала, что эти оба ее не критикуют, относятся к ней действительно по-родственному, и с ними она чувствовала себя не так «настороже» и натянуто, как с остальными.

К сожалению, Михаил Александрович за последние годы перед своей женитьбой очень редко появлялся в Царском Селе и, будучи также и флигель-адъютантом, довольно часто под разными предлогами пропускал свои очередные дежурства при государе, что очень огорчало и заботило императрицу.

Заботило столько же за самого Михаила Александровича, как и за государя. Ей очень хотелось, чтобы братья жили душа в душу между собой и имели друг от друга взаимную поддержку. Такие желания она высказывала мне и раньше неоднократно. Теперь с этой женитьбой великого князя ее надеждам было дано на долгий срок большое испытание. Но всегда, даже негодуя на Михаила Александровича, она, как и государь, не переставала его любить. Потому и негодовала, что он был им близок, и они желали ему добра.

«Верьте мне, – говорил один наблюдательный, хотя и стоявший вдали царедворец, – вашего великого князя, вы увидите, скоро простят. Строгости были необходимы, но они только для виду, для других, – внутри у брата живет другое чувство. Брасова его и двинула на такой шаг, потому что сама прекрасно все это сознает».

Я был такого же мнения, но не был убежден совершенно. Правда, опека над великим князем была настолько номинальна, что как будто бы ее вовсе не было. Все его желания, доходившие порою до очень больших сумм, всегда встречали полное согласие государя, да и в разговорах о Михаиле Александровиче у Их Величеств чувствовалась лишь печаль и не было прежнего раздражения.

«Брат-то, наверное, простит и уже давно простил, – думал я всякий раз, уезжая из Александровского дворца, – но сможет ли и имеет ли право его простить государь? И главное, дадут ли государю возможность простить его другие? То, что просто в обстановке обыденной семьи, становится сложным и неисполнимым в жизни императорской фамилии. Даже в своей личной жизни они на виду у всех... Всеобщее к ним внимание сказывается и всеобщей требовательностью. Вот Михаила Михайловича до сих пор не простили и держат в Англии, а он женат на почти с ним равной особе.

Пожалование флигель-адъютантом принесло мне невольно несколько отрадных, но и очень подвижных дней. Как и при назначении адъютантом к великому князю, пришлось снова являться всем великим князьям и великим княгиням и объехать всю многочисленную свиту государя. Последнее, при помощи автомобиля, было исполнить легко. Гораздо сложнее было представление малым дворам. Приходилось спрашивать предварительно у каждого на это разрешение, а иногда и дни и часы, назначенные одним великим князем или великою княгиней, совпадали с теми же, указанными другими.

Как и при назначении адъютантом к Михаилу Александровичу, я и на этот раз получил от полковых товарищей,

друзей и знакомых много искренних поздравлений. Были, конечно, среди них и неискренние, но я испытал это потом, а тогда они совсем не мешали мне находиться в самом благодарном, приподнятом настроении.

Получил я также в подарок со всех сторон, по установившемуся обычаю, целую массу погон с царскими вензелями и таких же аксельбантов.

Искренно радовался моему назначению и Александр Александрович Сиверс, помощник князя Кочубея по уделам, являвшийся его представителем в опеке.

Встречаясь часто по службе, я с ним быстро сошелся. Он был большой любитель старины, собиратель различных древностей и со страстью отдавался сухим и неблагодарным генеалогическим изысканиям. Но как человек он был совсем не сухой, очень отзывчивый, исторически начитанный и обладал душевным товарищеским тактом.

Для всегда в подобных случаях щекотливого дела опеки он был вполне человеком на своем месте.

Не знаю, каким образом и откуда А. А. Сиверс достал и вручил мне мой рапорт об отставке, на котором собственной рукою государя было написано, что он назначает меня своим флигель-адъютантом. Увы, и этот драгоценный для меня документ погиб при разгроме большевиками моей квартиры в Гатчинском дворце...

Флигель-адъютантов у государя, как я уже сказал, было много²¹¹.

²¹¹ К 1914 г. в свите императора Николая II числились 56 флигель-адъютантов (*Шепелев Л. Е.* Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 109).

Как и в царствование Александра II, так и в те дни, в каждом гвардейском полку их имелось по крайней мере по одному, а в некоторых и по несколько. Это почетное звание, продвигая отчасти в чинах (флигель-адъютантов производили в следующий чин до полковника, наравне с их старшими сверстниками), являлось венцом желания всех строевых офицеров и предметом зависти у многих.

Но из-за своей многочисленности они уже не пользовались тем особым вниманием в обществе и при дворе, как то бывало при Александре III, очень скупом дававшем такие пожалования. В этом отношении довольно показательным является один случай, о котором мне рассказывала одна старая свитская фрейлина императрицы-матери.

В бытность ее на каких-то придворных торжествах в Москве она находилась у другой свитской фрейлины молодой императрицы, когда этой последней доложили, что жена или молодая вдова одного из флигель-адъютантов государя очень желает ее видеть по весьма важному неотложному личному делу.

– Кто это такая? – сказала с неудовольствием хозяйка. – Где их знать, всех этих флигель-адъютантов, их такое множество, а тем более их жен. Передайте, что я очень занята, извиняюсь, но принять ее сейчас не могу.

Действительно, флигель-адъютантская служба не была влиятельна и не вводила сама по себе в замкнутые довольно прочно высшие придворные круги. Редко кому давались и поручения, требовавшие особого доверия. Она заключалась главным образом лишь в весьма редких в последнее время, не чаще одного раза в месяц, очередных дежурств при Его Величестве, наряд на которые велся военно-походной

канцелярией государя, извещавшей о наступившей очереди особой запиской.

Помимо своей полковой формы одежды флигель-адъютанты имели еще особую свитскую, очень красивую, с мундиром длинного русского покроя, широкими шароварами с генеральскими лампасами и белую барашковую шапку с красным верхом.

В назначенный для дежурства день, захватив небольшой чемодан с вещами, необходимыми для ночлега, очередной флигель-адъютант в «обыкновенной» свитской форме выезжал с утренним поездом в Царское Село или Петергоф, где на вокзале его ждала так называемая флигель-адъютантская тройка придворных лошадей в прекрасной русской запряжке и с лихим ямщиком.

Эта тройка всегда находилась в распоряжении дежурного флигель-адъютанта и в течение суток обыкновенно не распрягалась, чтобы иметь возможность быть поданной по его требованию в любую минуту.

Прибыв во дворец около 10 часов утра, новый дежурный флигель-адъютант направлялся в свою дежурную комнату и сменял старого. Смена происходила самым несложным образом: здоровались, обменивались несколькими фразами о том, что было у государя вчера и что предстоит на сегодня, затем «старый» дежурный флигель-адъютант прощался, не заходя откланяться к государю, и уезжал домой. Дежурная комната в Александровском дворце находилась в левом флигеле, по коридору, сейчас же у подъезда. Она была небольшая, но заключала в себе целое помещение: узенькую проходную столовую, более обширный кабинет, совсем темную и низкую без окон спальню и такую же темную ванную комнату.

Обстановка этого помещения была самая обыденная, и только две-три старинные вещи да такие же старинные картины на стенах могли немного напоминать, что находишься во дворце.

Но остальной дворец все же был довольно красив. Стены, двери, потолки и полы были стильны, и обстановка некоторых зал соответствовала этой своей оболочке. Но имелось и много «покоев», которые заслуживали название лишь простых комнат.

Мебель и материя в них были уже современны, правда, менее чопорны, пожалуй, более уютны, но, не соответствуя годом постройки дворца, были и порядочно уродливы. В этом отношении старина и новизна могут быть красивы только поодиночке. Соединенные вместе, они никогда не живут в согласии и всегда спорят, как большинство отцов и детей, о своих преимуществах...

Вскоре появлялся в дежурной комнате, в своем живописном, украшенном страусовыми перьями головном уборе дежурный скороход. Он приносил список как представляющихся в тот день Его Величеству различных лиц, так и министров, являвшихся для очередного доклада.

Согласно существующим правилам, представляться лично государю и императрице помимо всех чинов двора и свиты имели право только лица гражданской службы, не ниже действительного статского советника, а военной – полковника гвардии. Конечно, всегда бывали и исключения, а являвшиеся различные депутации имели в своем составе лиц всяких званий и состояний, в том числе немало и крестьян.

Скороход в службе дежурного флигель-адъютанта играл большую вспомогательную роль. Он был осведомлен обо

всем, что делалось и предполагалось делаться во дворце, предупреждал о готовящихся выездах Их Величеств, встречал и провожал представляющихся лиц, передавал приглашения к обеду и к завтраку у государя, исполнял поручения и вообще оказывал массу мелких услуг.

Должность его, в общем, по сравнению с остальной дворцовой прислугой была совсем не легкая, если подумать, что, несмотря на довольно замкнутую, монотонную жизнь самой царской семьи, суетливая придворная деятельность вокруг нее не прекращалась с раннего утра до позднего вечера.

Государь вставал рано, но прием у него начинался не ранее 10 часов. Выпив свой утренний чай у себя в кабинете – так как императрица из-за болезни сердца вставала намного позже – и проведя часть утра за работой, государь обыкновенно успевал до приема совершить небольшую прогулку в дворцовом саду.

Эта прогулка вызывалась не только потребностью подышать свежим воздухом, но являлась единственным свободным временем, когда государь мог спокойно обдумать наедине то, что его тревожило, или то, что ему предстояло особенно важное сделать. Спокойно обдумать все это он мог, конечно, и сидя в своем кабинете, но обдумать основательно и решительно мог, как и его брат, лишь во время движения.

Государя вообще редко покидала задумчивость. Даже во время оживленных прогулок по живописным окрестностям, когда порою его окружала разговорчивая свита и он сам участвовал в разговоре, мне всегда чувствовалось, что его мысли только на минуту задерживались на предметах разговора или на красоте природы, а затем он сейчас же опять уходил в самого себя.

Вынужденный большую часть времени проводить в рабочем кабинете, государь все же менее всего был «кабинетным человеком».

Но он не был, безусловно, и человеком обыденным, мимо которого все явления жизни скользят, не оставляя следа. Он задумывался много о жизни политической, общественной или народной, но еще более о тайнах жизни своей собственной и всего существующего.

Ключ к этим тайнам, как известно, дает не наука, даже не философия, а только религия, и именно она и преобладала постоянно в его задушевном внутреннем мире...

Являвшихся к нему лиц государь принимал в своем кабинете, одетый совершенно просто, по-домашнему – или в серой тужурке, или иногда в шелковой малиновой рубашке стрелков императорской фамилии, которую он очень любил, потому что она была не только легка, но и национальная русская.

В дни войны он неизменно носил очень некрасивую, но удобную защитную рубашку из довольно грубого толстого солдатского сукна.

Представляющиеся люди обыкновенно собирались в небольшой приемной комнате перед кабинетом. Сюда их вводил скороход, и тут их встречал дежурный флигель-адъютант. Обязанность его при этом была крайне несложна, почти декоративна. Ему предоставлялось или занимать разговор ожидающих своей очереди представляющихся, или молчаливо находиться в комнате во все время приема, что, конечно, было менее желательным.

Только в редкие дни, когда бывал в прежние годы так называемый общий прием или представлялись многочисленные депутации, дежурный флигель-адъютант обязан был

проявить некоторую деятельность и установить по старшинству чинов или по списку прибывших лиц. Обыкновенно во главе ставилось духовенство, затем шли военные, а за ними придворные и гражданские чины. В обыденное же время впускал к государю дежурный камердинер, всегда находившийся у дверей кабинета в приемные часы. Камердинеров у государя было несколько; частью они достались ему по наследству от покойного отца, а один из них – Чемодуров, поехавший в Сибирь, от дяди, великого князя Алексея Александровича. За небольшими исключением они были люди совсем простые и скромные, из бывших военных и матросов, и своею внешностью и манерами отнюдь не напоминали чванлых и важных прислуг из многих наших барских домов.

Прием оканчивался около часа, и дежурный флигель-адъютант или шел в свое помещение через длинные переходы и залы завтракать, или, если бывал приглашен к высочайшему столу, что бывало чаще всего, – то направлялся через коридор от кабинета государя в небольшую проходную комнату, приходившуюся рядом с любимой гостиной императрицы.

В проходной, неудобной, почти без мебели комнате стоял придвинутый к окну небольшой стол с закуской, но в ней никого еще не было. Лишь за дверьми гостиной слышались оживленный разговор великих княжон и шум от игры маленького наследника.

Через некоторое время появлялся из своего кабинета государь, здоровался с приглашенными, обменивался с ними на ходу короткою фразой и проходил, не задерживаясь, в комнату императрицы.

Оставался он там недолго – вскоре выходила к закусочному столу и вся царская семья. Закусывали коротко и стоя. Государь выпивал только одну небольшую чарку своей обычной настойки. Затем направлялись все для завтрака или обеда в любимую, рядом со спальней, гостиную императрицы, большую красивую комнату, полную цветов и всяких растений.

Здесь, сейчас же у входа, около кушетки стоял накрытый небольшой круглый стол. Ввиду болезни – расширения сердца – государыне приходилось часто и подолгу лежать²¹². Тогда она не занимала места за столом, а полулежала на кушетке, и кушанья ей подавались на отдельный низенький столик, стоявший рядом. Постоянное место за столом было только у государя и императрицы. Дети размещались каждый раз по-своему. Гость как-то сразу, без указаний, сам находил себе место – обыкновенно около наследника и одной из великих княжон.

Большей частью никого, кроме приглашенного дежурного флигель-адъютанта, не было, изредка присутствовал кто-нибудь из родственников, иногда, через долгие промежутки, приезжавших в Царское Село, но обыкновенно обед или завтрак проходили в самой непринужденной домашней обстановке. До войны императрица и великие княжны всегда переодевались к обеду в вечерние платья; во время войны они не снимали серой формы сестер милосердия, которая к ним очень шла.

²¹² В детстве императрица Александра Федоровна перенесла дифтерию, осложнением которой стали приступы ревматизма, постоянные боли и отеки в ногах, сердечная аритмия.

Императрица в кругу семьи или близких знакомых и императрица во время приемов или среди полужнакомого общества – это были две разные osoby. Неимоверно выигрывала первая, в особенности когда государыня чувствовала себя более здоровой – она необыкновенно хорошела и выглядела совершенно молодой. Дома ее покидала ее обычная застенчивость, она шутила, смеялась как с детьми, так и с приглашенными, оживленно принимала участие в играх, а в общем разговоре становилась очень находчивой.

Разговор большею частью велся на русском языке, которым императрица в последние годы владела совершенно свободно. Лишь изредка она обменивалась короткими английскими фразами со своими детьми. Говорили на всевозможные темы, иногда на отвлеченные и серьезные.

На эти темы особенно любила делиться своими мыслями императрица – чувствовалось, что она много читала и думала. Младшие великие княжны и Алексей Николаевич были еще очень молоды, и все их движения, и обороты фраз соответствовали этому возрасту. Но они все были чрезвычайно наблюдательны. Как я это где-то уже сказал, сплетня или даже намека на нее в разговорах семьи совершенно отсутствовали.

Великие княжны и маленький Алексей Николаевич, так же как и все дети Александра III, своею внешностью резко не походили друг на друга; сильно разнились и в своей внутренней жизни; но каждая из них была прелестна по-своему. Об их привлекательных особенностях я где-то в другом месте уже сказал. Здесь хочется только повторить, что для меня было одно наслаждение находиться в их среде.

С такою молодою искренностью и веселостью мне действительно ранее не приходилось встречаться. С отцом и матерью они держали себя совершенно по-товарищески; внутренне не только их любили, почитали, переживали с ними их огорчения, но, видимо, и побаивались, в особенности государя. Стоило ему только пристально посмотреть на расшалившегося наследника или младшую великую княжну, как они сейчас же утихали и краснели.

О характере государя и императрицы, какими я их знал, я также довольно подробно сказал в начале моих записок. Быть может, многие не согласятся с моими суждениями и будут указывать на впечатления, вынесенные другими лицами. Как бы то ни было, мне много приходилось выслушивать мнений по этому поводу, а еще более о них читать. Почти ни одна известная мне характеристика государя или императрицы, за исключением статей С. С. Ольденбурга и П. П. Стремоухова в «Русской летописи»²¹³, меня не удовлетворяла, а многие просто возмущали, настолько они были несправедливы или поверхностны, отражая в себе лишь ходившие сплетни.

Впрочем, сколько людей, столько и мнений, да и разобраться в ком-либо с исчерпывающей полнотою – вещь не только трудная, но и невозможная, в особенности когда речь идет о государях или лицах, живущих обособленной жизнью, а судит о них толпа или предвзятое общественное мнение.

²¹³ В «Русской летописи» (Париж, 1925, кн. 7) были напечатаны статьи: *Ольденбург С. С.* Император Николай II: опыт биографии. С. 3-40; *Стремоухов П. П.* Император Николай II и русское общество в конце его царствования, в освещении иностранцев. С. 41-172.

Правда, можно судить с известной определенностью об их личности по их поступкам, по отзывам близких лиц или прислушиваться к впечатлениям, вынесенным о них не обыкновенными людьми, а вдумчивыми, чуткими к движениям души писателями или беспартийными историками, привыкшими более пытливо разбираться не только в человеческих возможностях, но и в значениях монархов для жизни народов. Но и тут мнения порою расходятся до полной противоположности.

Когда я думаю о государе Николае Александровиче, мне невольно вспоминаются суждения о его отце императоре Александре III именно одного известного писателя и одного не менее выдающегося историка.

Писатель Тургенев при личном, правда, очень коротком знакомстве с этим императором в Париже успел вынести впечатление, что государь Александр III «был человек весьма посредственный»²¹⁴.

²¹⁴ Статья И. С. Тургенева «Alexandre III» была напечатана в *La Revue politique et litteraire*, 1881, № 13, 26 марта, с подписью «XXX». В Париже в 1879 г. произошло и личное знакомство Тургенева с Александром III, когда тот был еще наследником престола. М. И. Семевский со слов А. В. Топорова и И. И. Глазунова записал рассказ Тургенева об этой встрече (Красная панорама, 1928, № 28, с. 14). Из письма Тургенева к П. В. Анненкову от 27 октября (8 ноября) 1879 г.: «Недавно за завтраком у Орлова познакомился с цесаревичем и его женой. Он мне понравился: честное и открытое лицо. А впрочем... В других случаях Тургенев, характеризуя наследника, не ограничивался многозначительным: «А впрочем.., а пользовался более определенными выражениями. Лавров вспоминал, с какой «неподражаемой добродушной иронией говорил он о личностях из царской фамилии, с которыми ему пришлось встречаться в

Историк Ключевский, кажется, никогда лично не соприкасавшийся с этим императором, судит о нем уже иначе. В его глазах это была личность замечательная и выдающаяся. «Александр III, – говорит он, – способствовал сильнее других накоплению добра в нравственном обороте человечества, и только когда его не стало, Европа поняла, чем он был для нее»²¹⁵.

В искренности суждений обоих писателей, ничего не искавших для себя, трудно сомневаться. И так можно казаться, быть может, и не без оснований, весьма посредственным человеком в своей личной жизни, и быть в то же время даже великим и необходимым для жизни человечества.

Правда, такая двойственность по плечу только одним монархам милостью Божиею, вернее, лишь самодержцам, но в этом кроется как их значение, так и их возможности.

Император Николай Александрович, несмотря на все свое, безусловно, хорошее и душевное, обладал, как и всякий другой, вероятно, многими человеческими слабостями, быть может, и ненужными для выдающегося русского самодержца, и все же благотворное значение его не только для России, но и для всей Европы, да и для других стран

Париже», об их «ограниченности, невежестве и неловкостях» (Революционеры-семидесятники, с. 41). «Наследник произвел на него впечатление очень посредственного человека», – свидетельствовали А. В. Топоров и И. И. Глазунов (Красная панорама, 1928, № 28, с. 14) (*Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Т. 12. С. 182-194; Рабинович М. Б. О статье Тургенева «Alexandre III». Т сб, вып. 4, с. 207-212).*

²¹⁵ См. комм. № 109.

было громадно и незаменимо. Этого значения не поняли лишь те, кто его устранил.

Лишь став на его место, они сейчас же почувствовали свое бессилие... «Жалкий, маленький армейский полковник» – оказался великим по сравнению не только с ними...

В этом отношении весьма характерно мнение современного выдающегося политического мыслителя и писателя Гульельмо Ферреро, которого никоим образом нельзя заподозрить в монархических убеждениях. «В течение целого века, – пишет он в своей длинной статье, – на празднике всеобщего процветания Европа и Америка были только приглашенными и почти паразитами у русских царей. Эта огромная империя была также охранителем порядка и мира в Азии. Но теперь никто больше не думает о царской России, как будто бы она окончательно исчезла по примеру Римской или Византийской империй. И все же последствия ее крушения начинают давать себя чувствовать. Что особенно ужасно для всего мира, это не то, что Советы поселились в Кремле, а то, что там нет больше царей. Советы, вероятно, окажутся только метеором, но с тех пор, как в течение 15 лет цари России не дают Европе и Азии подарков мира и порядка, опасения войны и беспорядков только увеличиваются, а вечные приглашенные на празднество процветания рискуют умереть с голоду, когда их величественный хозяин разорился»... («Иллюстрасьон», 21 января 1933 г.)

Я лично постоянно чувствовал значение государя для моей родины и потому, общаясь с ним даже в самой непринужденной обстановке, чувствовал не только некоторую застенчивость, но всегда и порядочное смущение.

Мне думается, что и другие, даже ярые революционеры, вблизи него испытывали бы подобное же чувство. Но это смущение все же не мешало быть с ним откровенным, естественным и не заставляло опасаться навлечь чем-либо его недовольство – настолько человек, и человек всегда доброжелательный и простой, пересиливал в нем монарха.

Говорить с государем «от сердца» можно было о чем угодно, даже самое ему неприятное. Но только «от всего сердца» – на это он был чрезвычайно чуток и отзывчив – и также, чтобы он чувствовал, что тут нет никакой личной заинтересованности, политической или придворной интриги.

Всякие, порою искренние и убежденные, но холодные настояния, шедшие против его воззрений, его уже внутренне, а иногда и внешне сердили.

Государю также приходилось зачастую в частных беседах выслушивать наговоры на разных лиц, но он этого особенно не любил: они ему казались сплетнями или интригами. Он это сейчас же давал понять и менял разговор или становился как-то сразу безучастным.

Лишь три или четыре имени людей, относившихся к нему с несправедливою, явною злобою, заставляли его, по-человечески, короткою раздраженною фразою из двух-трех слов соглашаться с только что выслушанной о них нелестной характеристикой.

Но я знал, что стоило даже и этим людям добиться у него личного свидания, глаз на глаз, и высказать ему от всего их сердца (если оно у них было), почему они идут против него и что им в нем не нравится, как он перестал бы на них сердиться и все бы прежнее им простил. Но и простив им, то есть чувствуя искренность их личной незаинтересованно-

сти, – он не следовал бы их советам, если бы их настояния шли против его убеждений.

Многим казалось, что государь устранял от себя некоторых лиц, как и некоторых министров, благодаря именно наговорам, в особенности благодаря наговорам Распутина.

Мне кажется, что так думать ошибочно. Если всматриваться не затуманенными общим гипнозом глазами, то легко можно было вынести впечатление, что Распутин в политической жизни не имел никакого влияния на государя, да и в других областях также. Хотя Распутин и имел порою весьма редкую возможность влиять на императрицу, а она неукоснительно передавала его наговоры и советы своему супругу, то только тогда эти настояния имели видимый успех, когда они совпадали с давно продуманным без всякого распутинского старания личным мнением самого государя; всякий человек ведь никогда не воспринимает внушений, которых он не хочет воспринять, а государь не любил, чтобы им руководили другие, в особенности посредством сплетен, нашептываний и настояний. Часто поэтому этими стараниями достигалось лишь противоположное, в особенности тогда, когда он знал, что об этих воображаемых влияниях усиленно говорят.

Даже в опубликованных письмах императрицы²¹⁶ – его самого близкого, единственного по обстоятельствам жизни друга – на это можно найти немало указаний: «Происходят серьезные вещи, а я не знаю твоих намерений..», «Говорят о

²¹⁶ Автор имеет в виду «Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II», Т. 1-2. Берлин, 1922. (пер. с англ.: В. Д. Набоков).

перемене министров, а я ничего не знаю.., «Вот теперь Дума собирается, а друг просил ее созвать позднее.., «Все делается против его желания.., «Хотела бы наконец знать, какой ответ на мои просьбы», «Петербургской Думе надо дать резкий ответ», а государь отвечает этой Думе выражением искренней признательности.

Распутин против назначения Самарина и А. Ф. Трепова и некоторых других – а их назначают. Распутин «рвет и мечет», что флигель-адъютант Саблин получает назначение, удаляющее его из Ставки, и все же это ни к чему.

«Старец» уговаривает не ехать во Львов и Перемышль – едут.

Императрица настаивает, чтобы великий князь Димитрий Павлович по приказанию государя уехал, возможно скорее, из Ставки в свой полк, а он остается там месяцами и т. п., и т. п.

Распутину часто отказывают в таких мелочах, как в назначении его сына-солдата в собственный Его Величества полк. Он сам указывает на свое бессилие, говоря: «Хорошо репу есть, когда имеются зубы – очень жалею, что у меня зубов нет...

Вот в том-то и странность, скажут многие: «Зубов у него нет, ему отказывают в мелочах, а он все же и увольнял, и назначал министров».

«Вот Хвостов – история его назначения ведь всем известна...

Но именно говоря о Хвостове, Распутин выражал неудовольствие, что тот был назначен в его отсутствие.

Все говорили и о Протопопове как о распутинском ставленнике.

В особенности этим возмущались члены Думы, забывая, что именно председатель Думы Родзянко сам рекомендовал (24 июля 1916) Его Величеству Протопопова в министры, а прогрессивный блок выражал свое удовольствие по поводу его назначения²¹⁷.

Можно было бы указать и на другие бесчисленные примеры бессилия Распутина. Здесь я снова невольно остановился на нем лишь потому, чтобы еще раз показать, что, общаясь с государем в его частной, совершенно домашней обстановке, я лично ни разу не слышал ни от него, ни от великих княжон даже упоминания распутинского имени; не видел также и ни одной его фотографии в многочисленных альбомах царской семьи.

Конечно, такое молчание ничего еще не доказывает – самое интимное всегда молчаливо, но по многим и другим признакам чувствовалось довольно ясно, что в душевной жизни как самого государя, так и великих княжон этот человек совсем не играл большой роли...

«Мне стыдно перед Россией, – говорил, по свидетельству А. А. Вырубовой, государь, – что руки моих родственников обогреты кровью этого мужика»²¹⁸.

²¹⁷ А. Д. Протопопов был назначен 16 сентября 1916 г. управляющим министерством внутренних дел, 20 декабря был утвержден на посту министра. По воспоминаниям В. Н. Шаховского, на пост министра Протопопова рекомендовали председатель Государственной думы М. В. Родзянко и министр иностранных дел С. Д. Сазонов (*Шаховской В. Н. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава. 1893-1917. Париж, 1952. С. 84*).

²¹⁸ Фрейлина Ее Величества. «Дневник» и воспоминания Анны Вырубовой. М., 1990. С. 174.

В тот день, 17 декабря 1916 года, когда в штабе Ставки было получено известие об убийстве Распутина (оно пришло к нам сейчас же после нашего завтрака), мы вышли с Его Величеством на обычную нашу дневную прогулку в окрестностях Могилева. В 5 часов дня было назначено у государя совещание с вызванными с фронта главнокомандующими армиями, и потому прогулка продолжалась не более двух часов. Шли мы, как всегда, быстро, о многом говорили, но в разговоре государь ни словом не обмолвился о совершившемся.

Когда мы вернулись около 4 часов домой, некоторые товарищи по свите, бывшие с нами, мне настойчиво указывали: «А ты заметил, как государь был сегодня особенно в духе? Так оживлен и весело обо всем говорил. Точно был очень доволен тем, что случилось».

Это же довольное выражение лица заметил у государя и великий князь Павел Александрович, приглашенный в тот день к нашему дневному чаю после прогулки.

По правде сказать, ни особенно хорошего расположения духа, или какой-либо необычной оживленности я тогда у государя не заметил. Но отчетливо вспоминаю, что в те часы мне действительно не чувствовалось в нем ни сильного волнения, ни тревоги или раздражения. Он мне казался таким, каким бывал в самые спокойные, обычные дни.

Да, впрочем, иначе и быть не могло. В те часы государь еще совершенно не знал об «исчезновении» Распутина. Первое известие об этом, не упоминавшее еще об убийстве, он получил из телеграммы императрицы, пришедшей в Могилев, согласно опубликованным документам, лишь в 5 часов 10 минут дня, то есть после нашего чая и начала военного совещания, происходившего не в губернаторском

доме, а в помещении штаба. Поэтому телеграмму своей супруги он прочитал только вечером, вернувшись к себе домой, о чем и свидетельствует его весьма краткий ответ, помеченный 20 ч 5 мин. На следующий день, 18 декабря, были снова совещания с главнокомандующими фронтами, закончившиеся лишь в 4 часа дня, после чего мы немедленно выехали в Царское Село, как это и было решено заранее. Оба эти дня государь был настолько занят, что более подробное письмо императрицы о событии он смог прочитать лишь в вагоне императорского поезда²¹⁹.

Таким образом, все свидетельства очевидцев, указывающие на особенно хорошее настроение государя, вызванное якобы известием об убийстве «старца», основаны лишь на невольном заблуждении. Государь был всегда человечен, справедлив и не жесток душой. Я убежден, по многим личным впечатлениям, что он действительно мог почувствовать значительное облегчение и даже большое довольство от простого, безболезненного и длительного исчезновения Распутина из столичной жизни, но отнюдь не от его убийства, в котором к тому же были замешаны его родственники...

Вспоминается мне с тяжелым чувством затем и один вечер в Александровском дворце в декабре 1916 года, почти непосредственно следовавший за убийством Распутина и который я провел на своем дежурстве у великих княжон.

²¹⁹ Телеграммы и письма императора Николая II и императрицы Александры Федоровны от 17-18 декабря 1916 г. опубл.: Переписка Николая и Александры Романовых. 1914-1915. Т V. М. – Пг., 1925. С. 203-205.

Кто помнит те дни, помнит, конечно, и то, каким волнующим злорадством было наполнено тогда все окружающее, с какою жадностью, с какими усмешками и поспешностью ловились всевозможные слухи, с каким суетливым любопытством стремились проникнуть за стены Александровского дворца.

Дело ведь было, конечно, не только в Распутине – удар был направлен через него также и на императрицу, а через императрицу и на государя. Почти подобным же напряженным любопытством было полно настроение многочисленных служащих и разных должностных лиц и в самом дворце.

Царская семья это чувствовала, и на виду у других они все были такими же, как всегда. За домашним обедом и государь, и императрица были только более заняты своими мыслями, выглядели особенно усталыми, да и обыкновенно веселым и оживленным великим княжнам было как-то тоже не по себе.

– Пойдемте к нам наверх, Анатолий Александрович, – пригласили они меня сейчас же после обеда, – у нас будет немного теплее и уютнее, чем здесь.

Там наверху, в одной из их скромных спален, они, все четверо, забрались на диван и тесно прижались друг к другу. Им было холодно и, видимо, очень жутко, но имя Распутина и в тот длинный вечер ими не было при мне произнесено. Им было жутко не от того, что именно этого человека не было больше в живых, – а вероятно, ими чувствовалось уже тогда то ужасное, отвратительное и незаслуженное, что с этим убийством для их матери и с нею и для них самих началось и к ним неудержимо стало приближаться.

Я старался как мог рассеять их тяжелое настроение, но почти безуспешно. Мне самому, глядя на них, в те часы было не по себе; невольно вспоминалось все то, что я в последние дни слышал, видел, догадывался или воображал.

Взбаламученное море всяких страстей, наговоров, похвальбы и нескрываемых угроз действительно слишком близко уже подступило к этому цветущему, одинокому монастырскому островку.

«Отхлынет! Не посмеет!» – успокаивал я и самого себя. Как всегда, я верил в человеческое сердце и, как всегда, забывал, что у людской толпы этого сердца нет.

Вероятно, и на этот раз мое постоянное убеждение в ничтожном политическом влиянии Распутина на государя может показаться слишком субъективным или близоруким; сколько уж раз мне приходилось выслушивать подобные возражения. Но к этому же убеждению пришла и революционная комиссия после своего самого тщательного и пристрастного расследования²²⁰.

Впрочем, убедительнее всего о правильности моих свидетельств говорит сам государь в своем письме (от 9 сентября 1916) своему второму «я» – императрице: «Сердечно благодарю за твое дорогое длинное письмо, в котором ты мне сообщаем об указаниях нашего друга. Мне

²²⁰ Речь идет о деятельности «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного и морского ведомств», учрежденной 5 (17) марта 1917 г. Временным правительством после Февральской революции.

представляется этот Протопопов хорошим человеком, но он имеет много дела с фабриками и т. п. Родзянко мне его уже давно предлагал как министра торговли на место Шаховского. Я должен об этом вопросе еще обдумать, ибо он для меня совершенно неожидан. Мнения нашего друга о людях, как ты сама знаешь, порою бывают очень странны. Поэтому надо быть осторожным, в особенности при назначениях на высокие посты. По моему мнению, все эти перемены происходят слишком часто. Во всяком случае, они не хороши для внутреннего положения страны. Мне жаль, что мое письмо сделалось таким скучным, но я должен был ответить на твои вопросы»²²¹.

Как я уже сказал, в государе и помимо его сана всегда чувствовалось что-то особенное, какое-то внутреннее благородство, что заставляло даже злобно настроенных людей при личном свидании относиться к нему с большой почтительностью и сдержанностью.

Все напечатанные рассказы лиц, передававших с самодовольством известной заслуги о своих якобы крайне резких беседах с государем с глазу на глаз, мне поэтому представляются далекими от действительности.

Некоторые родственники царской семьи даже хвастались, что их резкость была намеренная, вызванная желанием вызвать самого государя не только на такую же ответную резкость, но и на тяжелое оскорбление. Но если такое намерение порою у них, может быть, и появлялось (спрашивается, для чего?!), то, во всяком случае, в

²²¹ Переписка Николая и Александры Романовых. 1914-1915. Т. V. М – Пг. 1925. С. 16-17.

действительности в разговоре с государем не могло осуществиться. Не могло по той простой причине, что даже ближайшие родственники государя его порядочно побаивались. В скольких, порою самых ничтожных случаях мне приходилось быть тому свидетелем и этому порядочно удивляться. Даже по своим личным маленьким делам они в большинстве случаев не шли прямо к нему, а прибегали к посредству его матери, брата, а иногда и сестер.

Даже в предреволюционные, безудержные дни в обычных разговорах с другими о государе в интонации их голоса, несмотря на сильное раздражение, все же ясно чувствовалась известная осторожность, иногда близкая к страху, а иногда и к врожденной почтительности. Уже одна эта интонация (ее надо было слышать) сводила на нет всю возможную при свиданиях резкость слов. Да и в разговоре с собой государь никому не позволил бы быть резким, несмотря на всю мягкость его натуры. В этом отношении рассказ А. А. Вырубовой как будто противоречит моим доводам.

В своих напечатанных воспоминаниях она говорит, что: «после убийства Распутина великий князь Александр Михайлович заявился со старшим сыном во дворец. Оставив сына в приемной, он вошел в кабинет государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия об убийстве; в противном случае он грозил чуть ли не крушением престола. Великий князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то даже и

дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын»²²².

В целях истины я должен сказать, что этот рассказ во многом ошибочен. Я сам был дежурным в тот день при Его Величестве и находился в приемной комнате рядом с кабинетом, где в те часы государь принимал великого князя.

Я могу засвидетельствовать, что дверь в то время была плотно прикрыта, что около нее, как обычно, стоял камердинер и что разговор происходил настолько негромко и, вероятно, сдержанно, что у нас не было слышно ни одного слова. Да и государь принимал тогда великого князя всего в течение нескольких минут. Когда Александр Михайлович вышел из кабинета, судя по его лицу и разговору со мной, он казался очень озабоченным, но отнюдь не возбужденным.

В то же утро приезжал к государю и великий князь Павел Александрович, желая пояснить, что его сын, великий князь Димитрий Павлович, хотя и был в Юсуповском доме, но физически лично в убийстве Распутина не участвовал, в чем, по словам великого князя, Димитрий Павлович и поклялся своему отцу на святой иконе и на портрете своей покойной матери. Это было в действительности верно и очень успокаивало Павла Александровича. Все же он был очень взволнован, удручен, но в разговоре с нами, находившимися в приемной, очень почтительно и, по моему искреннему

²²² Фрейлина Ее Величества. «Дневник» и воспоминания Анны Вырубовой. М., 1990. С. 175.

впечатлению, даже любовно относился к государю. Нельзя того же сказать о молодых, совсем юных князьях²²³.

В печати не раз встречалось утверждение, что государь не любил самостоятельных людей и «окружал себя бесцветными личностями, привыкшими из-за их любовного почитания беспрекословно исполнять волю их господина».

Если это касается только ближайшей свиты государя и если «бесцветность» выражается в неимении собственного мнения или боязни высказывать это мнение государю, то такое утверждение весьма не точно. Подобной «бесцветности» среди людей, окружавших государя, не было, да и не могло быть. Он бы их не уважал и не приблизил бы к себе. Как я уже сказал, у государя всегда было желание, даже потребность выслушивать искреннее мнение других и всегда имелось благородство не сердиться за такие мнения, даже если бы они были резкими, непрошеными и противоречили бы его собственным желаниям и убеждениям.

²²³ Великий князь Павел Александрович 19 декабря 1916 г. просил Николая II освободить сына, великого князя Дмитрия Павловича, заключенного под домашний арест по приказу императрицы Александры Федоровны. Но император уклонился, сказав дяде, что «не может сейчас дать ему ответ, но пришлет завтра утром». Из письма Николая II великому князю Павлу от 20 декабря 1916 г.: «Дорогой дядя Павел. Я не могу, к сожалению, отменить домашнего ареста Дмитрия, пока предварительное следствие не будет закончено. Приказал с этим торопиться, а также чтобы Дмитрия охраняли бережно. Все это больно и тяжело, но кто же виноват, как не он сам, что по неосторожности попал в такую передрыгу. Молю Господа Бога, чтобы Дмитрий вышел честным и незапятнанным ни в чем. Сердечно твой Николай» (*Мироненко С., Мейлунос А. Николай и Александра. С. 504*).

Я не помню ни одного случая, чтобы люди из ближайшего окружения государя за такие идущие от души и сердца мнения впадали в немилость. Мне будут указывать на опалу, постигшую и князя Орлова, и флигель-адъютанта Дрентельна, и фрейлину Тютчеву. Но удаление этих верных, любивших государя людей было вызвано такими сложными и тонкими интригами со стороны, о которых трудно сейчас кратко, да и не хочется говорить, а вовсе не их откровенными предостережениями.

И адмирал Нилов, и граф Фредерикс, отец Щавельский, и даже Воейков, и многие другие из ближайшей свиты в своих неоднократных интимных разговорах с государем приводили с не меньшей, а подчас и с большей определенностью те же доводы, что и князь Орлов, и А. А. Дрентельн, и фрейлина Тютчева, и от этого несколько не пострадали.

Я вновь повторяю, что и государю, и императрице можно было безбоязненно говорить все, но при условии, чтобы это шло от души, и в особенности чтобы об этих их настояниях не разглашалось по сторонам, с печалованием, что их не слушаются.

Многие в этом последнем случае были неосторожны, хотя должны были бы знать, что все их слова, сказанные на стороне, доходили до государя и императрицы с изумительной быстротой и часто искаженными.

Этим, конечно, пользовались люди, имеющиеся при всяком дворе и стремящиеся возбудить неудовольствие против другого. В подобных положениях как в частной, так и в особенности в придворной жизни невольно вспоминается любимая поговорка Чаадаева: «Un ennemi impuis sant est le meilleur de nos amis, un ami jalous est le plus cruel de nos

ennemis» («Бессильный враг – нам лучший друг, завистливый друг – злейший из врагов»).

Всеобщее убеждение, что одного слова против Распутина или распутинского кандидата было уже достаточно, чтобы впасть в немилость и подвергнуться удалению, также не соответствовало действительности.

Я вспоминаю как однажды, после назначения одного министра, как говорили, сторонника Распутина, я, зная о нем по делам, касавшимся великого князя Михаила Александровича, довольно резко выразился по его адресу, сказав государю, что этот человек меньше всего подходит под должность министра.

Это был, кажется, единственный случай моего вмешательства в дела государя, ничем плохим на мне не сказавшийся.

По другим вопросам более интимного, семейного характера мне приходилось говорить с государем совершенно откровенно, не стесняясь, понравится ли ему мое мнение или нет, и никогда государь не лишал меня за это своего расположения.

Император Николай Александрович вступил на престол очень молодым, когда ему было всего 26 лет. Он был на два года старше меня. Внешность его известна более или менее – ее довольно хорошо передают и разнообразные фотографии. Из имеющихся живописных портретов, всегда глубже, чем фотографии, схватывающих внутренний облик человека, – более схожий, пожалуй, был написан Серовым. Но он написан сравнительно давно и для последних годов нуждался бы в небольших исправлениях. Говорили, что этот

портрет не нравился императрице, знавшей, конечно, лучше и ближе, чем художник, внешний облик своего супруга²²⁴.

Несмотря на некоторые погрешности в сходстве, Серову все же удалось схватить и передать то главное, чем так часто было полно душевное настроение государя. Когда моя жена, чуткая портретистка-художница, увидела этот портрет на выставке, она, по ее словам, «не могла удержаться от слез при виде его кротких глаз и хватающей за душу скорби».

Как в юности, так и в зрелых годах государь постоянно казался намного моложе своих лет.

Мальчиком он был очень красив и привлекателен, немного женственен; потом он возмужал, подурнел, но остался таким же ловким и сильным, как в молодости. Мне приходилось встречаться с ним в ту его юношескую пору, когда он еще не носил бороды, а лишь почти незаметные «баки» около висков. Тогда он очень напоминал своим лицом, но не фигурой, конечно, юного графа Л. Н. Толстого из 50-х годов, изображенного артиллерийским офицером (в

²²⁴ Портрет Николая II в тужурке был написан В. Серовым в 1900 г. Тогда же им была сделана авторская копия. Феликс Юсупов, портрет которого впоследствии писал Серов, вспоминал, что «по натуре он был независим и бескорыстен и не мог скрывать того, что думает. Рассказал мне, что, когда писал портрет государя, государыня поминутно досаждала ему советами. Наконец он не выдержал, подал ей кисть и палитру и попросил докончить за него» (*Князь Феликс Юсупов. Мемуары в двух книгах.* М., 1998. С. 69). При штурме Зимнего дворца матросами и солдатами в 1917 г. портрет Николая II в покоях императрицы был проколот штыками, вместо глаз остались лишь дыры. В Третьяковской галерее с 1914 г. находится авторская копия.

накинутой шинели)²²⁵. Это сходство было для меня совсем неожиданным.

Бородка, хотя и небольшая, по-моему, в общем, государю не особенно шла. Но любя до болезненности, как и его отец, все свое национальное, он считал бороду принадлежностью всякого русского человека.

Почти никогда не обращавший внимания на свою внешность, ни на внешность других, он все же сильно не одобрял возникшую среди многих гвардейских офицеров тогдашнюю англо-американскую моду сбривать себе дочиста усы. Насколько я помню, высшим гвардейским кавалерийским начальством было даже отдано распоряжение, чтобы офицеры не следовали этой чужеземной моде, а предоставили бы ее «штатским».

О глазах государя, глубоких, грустных и постоянно задумчивых, также упоминалось в печати не раз. Каждый видел в них то, что ему хотелось видеть, а политика, и тут вмешиваясь не в свое дело, бывала зачастую «неправедным судьей». Многие даже утверждали, что государь, кроме религии и своей внутренней жизни, был «равнодушен ко всему», что взгляд его поэтому «был холоден и скользил лишь поверхностно по всему окружающему» и что «он редко смотрел прямо в глаза» собеседника.

Все это совершенно не верно, особенно когда говорится о «равнодушии ко всему». Основной, плохо скрываемой чертой характера императора Николая Александровича, как

²²⁵ Автор имеет в виду фотографию Л. Н. Толстого 1856 г., на которой писатель изображен в военном мундире с накинутой на плечи шинелью.

я уже сказал, была жалость, а жалость – ведь это испытываемая боль от страдания других.

Государь Николай Александрович, за полным исключением всякой грязи жизни, интересовался более или менее всем и охотно делился с другими своими впечатлениями. Привлекало его и все бытовое, народное.

Он был от природы очень наблюдателен и необычайно быстро схватывал особенности собеседника, по своей незначительности ускользавшие от других, даже очень наблюдательных людей. В его глазах можно было зачастую, в особенности в часы непринужденного общения, уловить и очень много иронии, но иронии всегда добродушной, тонкой и, как мне казалось, справедливой. Совершенно ложны утверждения, что государь якобы избегал смотреть прямо в глаза тех, с кем говорил.

Всякий, кто близко соприкасался с государем, знал и его любимую привычку: при первой встрече с незнакомым ему человеком, которому он хотел оказать милость или дать какое-нибудь важное поручение, отводить того для разговора ближе к окну или располагаться так, чтобы на лицо собеседника падало возможно больше света, дабы иметь возможность его лучше рассмотреть.

Во время такой, как мы называли, «испытующей беседы» глаза государя настойчиво не покидали глаз того, с кем он говорил. Выдержать такой пытливый взгляд государя многим бывало нелегко.

Но он часто уже с детства задумывался, и действительно в такие минуты можно было подумать, что он не замечал окружающего.

Все движения императора Николая Александровича были спокойны, как-то размеренны и казались медленными.

Он никогда не торопился, но никогда и не опаздывал. Был очень точен и любил порядок в своих вещах и бумагах. И характер его внешне казался ровным и спокойным.

Только один раз за все время, что я его знал, я видел его особенно рассерженным и возвысившим голос – дело касалось неисполнения отданного им несколько раз личного распоряжения. Но даже и тогда, когда он внутренне волновался или сердился, краска не выступала на его лице. Некоторая застенчивость, донесенная с детства, все же не покидала его до последних годов царствования. Но он мог, если хотел, казаться строгим. К сожалению, это желание у него никогда почти не появлялось, а если изредка и появлялось, то всегда или в шутку, или лишь на одно мгновение, когда надобности в нем уже не было.

Меня всегда поражала его удивительная снисходительность, я порою ею даже возмущался. В некоторых случаях я объяснял ее снисходительностью монарха, каким, несмотря на всю его скромность, все же чувствовал себя государь; в других – уже мне совсем непонятных – единственно особенною незлобивостью его сердца.

Поражала меня и та изумительная выдержка, которой лишь одной объяснялось его наружное спокойствие в тяжких случаях жизни.

Я бы сказал, что я перед нею преклонялся, если бы это выражение не представлялось мне столь вычурным и избитым.

Выдержка ведь обходится всегда самому себе дороже, чем те выгоды, которые ею достигаются, в особенности человеку нервному. А государь и раньше, хотя менее, чем его братья, был нервен и только силою воли, как и те, умел подавлять свою нервность.

Для меня лично он был, безусловно, человеком души и сердца, а от этих качеств в наши дни нервы только натягиваются, а не делаются толще.

Как ошибались те, кто изумлялся в дни отречения государя его «тогдашнему полному равнодушию». Действительно, он в те дни как бы «застыл».

А между тем это «ледяное спокойствие» вызывалось лишь нестерпимой душевной болью от всего происшедшего. Такое противоречие многим покажется более чем странным. Но на чутком, душевном, справедливом государе обрушившиеся на него испытания сказались с такой неимоверной силою, что он впал от них почти в полное забытие.

– Только теперь, – сказал он сам графу Бенкендорфу в апреле 1917 года, то есть спустя полтора месяца после Псковских и Могилевских дней, – я начинаю понемногу приходить в себя. Тогда я ничего не соображал, что делалось и говорилось вокруг меня. Все было в каком-то густом тумане²²⁶.

«Человек с деревянной душой», конечно, не дошел бы даже и в те дни до такого состояния и намного быстрее привел бы себя в равновесие. Об этой особой впечатлительности государя даже лицам ближайшей его свиты было трудно догадаться, настолько его наружное спокойствие это

²²⁶ Приведенные автором слова императора Николая II, сказанные в апреле 1917 г. графу П. К. Бенкендорфу, воспроизведены в книге воспоминаний генерала Д. Н. Дубенского «Как произошел переворот в России» (Русская Летопись, Париж, 1922. Кн. III. С. 11-111).

умело скрывало. Лишь порою по его собственным, всегда крайне редким, очень скупым и отрывистым рассказам можно было составить себе некоторое представление о том, насколько сильно он переживал то или иное событие своей или народной жизни.

Даже самые официальные, казалось бы, мелкие случаи отражались на нем как-то особенно повышенно.

Мне вспоминаются его личные впечатления при открытии памятника императору Александру III в Петербурге, на Знаменской площади, когда государь в каком-то неожиданном для других и для самого себя порыве стал во главе войск и провел эту частицу русского народа перед памятником, благодарно отдавая честь бронзовому изображению своего отца²²⁷.

Вспоминается и его рассказ о первых днях его восшествия на престол, когда ему, впервые как императору, пришлось принимать войсковой парад гвардии. Под влиянием охватившего его в те часы волнения он даже забыл, как было принято, поблагодарить или похвалить проходивший мимо него первый батальон Преображенского полка, которым он еще так недавно командовал в

²²⁷ Памятник императору Александру III работы Паоло Трубецкого был открыт в Санкт-Петербурге на Знаменской площади 23 мая 1909 г. «Государь обнажил шашку и сам скомандовал: «На караул»... Войска стали строиться к церемониальному маршу, а государь со всеми особами императорского дома обошел памятник. Во главе войск, салютуя памятнику, прошел государь и, остановившись, пропустил мимо себя войска» (Джунковский В. Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 396-397).

подчиненной роли, а преображенцы были очень смущены и долго недоумевали, чем они могли заслужить такое наглядное неудовольствие своего императора.

Императрица Александра Федоровна еще живее, чем государь, как-то порывистее воспринимала все вокруг нее совершающееся, но многим посторонним людям из-за своей сильнейшей застенчивости казалась еще более холодной и замкнутой, чем государь. Она действительно не умела поддерживать пустой светский разговор, столь необходимый во многих случаях для лиц ее положения; не умела и улыбаться приветливой улыбкой во все стороны. Все деланное ей было, видимо, не по душе. Люди, ее мало знавшие, считали ее гордой, а некоторые светские дамы даже обвиняли ее в слишком якобы надменно протянутой им руке для поцелуя и хвалились (конечно, лишь на словах), что «больше не появятся на ее придворных приемах». Но той надменной гордости, которая в данных случаях подразумевалась, в ней не было и помина. Причиной и тут являлись лишь ее смущение, неловкость и стремление держаться прямо, несмотря на всю ее необычайную женственность. Но в ней было много справедливого чувства достоинства за себя и за свою семью. Она редко обижалась, но если обижалась, то только за свой сан и за сан своего супруга. Ее религиозное чувство не позволяло ей обижаться за себя лично. Будучи от природы вспыльчивой, она порою и резко отзывалась, но сейчас же спохватывалась и прибавляла: «Впрочем, это не по-христиански, пусть лучше Бог их простит, но заставит покаяться».

Императрица часто, слишком часто бывала задумчива и даже в домашней жизни, когда ничто ее не стесняло, не могла долго быть оживленной. Грустное, какое-то покорное

выражение лица ее тогда не покидало. Уже одно это показывало, что она не была поверхностной.

Она, видимо, много задумывалась над смыслом и обязанностями жизни и своего положения и в этих вопросах была намного общительнее, «сложнее», чем государь, но государь был намного «начитаннее» ее исторически.

Они оба знали, конечно, и имена выдающихся философов, но их учений почти не знали – пробел, скажут, довольно ощутительный для каждого развитого, думающего человека. Но для них, как и для всякого верующего, вся высшая философия жизни заключалась только в религии и в Евангелии, и они оба в своей горячей вере возвышались порою до мистицизма, потому что ни одна религия, и в особенности православная, без мистицизма не завершается.

Мистицизм, конечно, бывает всяких родов, но упрекать, как их упрекали за мистицизм христианский, столь же странно, как и упрекать за христианскую веру.

В Риме в папском восточном институте существует даже особая «кафедра мистицизма». Странная все же кафедра, вероятно, изучающая то, что никогда не поддается изучению. Впрочем, даже не говоря о религии, если вдуматься, можно даже сказать, что все то, что совершается во вселенной, полно мистики. Этого могут не замечать лишь очень поверхностные или очень самоуверенные и чересчур прозаические люди.

И государь, и императрица очень любили чтение, но длинных газетных статей не читали. У них не было на это времени. Государь довольствовался, правда, очень длинными и подробными агентскими телеграммами, которые ему доставлялись без всякой цензуры по несколько раз в день.

Да и газет в комнатах Их Величеств было немного, всего две: «Новое время» и «Русский инвалид», напечатанный на особенно толстой и глянцевиной бумаге. Эти газеты всегда лежали на столе или на фортепиано в комнате императрицы, и государь после завтрака обыкновенно подходил к ним и бегло, стоя, с ними знакомился. В кабинете государя, кроме того, находились московские «Русские ведомости», а также доставлялись и вырезки из других газет.

Выпив кофе и кончив чтение газеты, государь удалялся на короткое время для занятий в свой кабинет, а оттуда на прогулку.

С его уходом расходились и все остальные. Императрица шла в соседний салон, где ее ждал обыкновенно кто-либо из представляющихся, или если ей здоровье позволяло, то выезжала в экипаже, чтобы подышать свежим воздухом. Но чаще она оставалась отдыхать дома.

Во всех случаях при ней всегда находилась очередная великая княжна. Это заботливое дежурство при матери учредили сами великие княжны, не желая, чтобы императрица даже на короткое время могла почувствовать себя одинокой.

Государь на свою дневную прогулку выходил обыкновенно лишь с остальными великими княжнами. В крайне редких случаях приглашался иногда и дежурный флигель-адъютант из числа более знакомых.

Гуляли обыкновенно в обширных дворцовых парках, нередко выходя далеко за их охраняемую ограду. Очень часто ездили на автомобилях по направлению к Павловску, в Стрельну или в другие, еще более отдаленные места.

Иногда в эти же часы государь любил ездить верхом. Для великих княжон эти часы прогулки были самыми

оживленными, и они всегда ждали их с нетерпением. Во время войны прогулок у них почти не было, и все свободное время они отдавали лазаретам.

Дежурный флигель-адъютант, если не был приглашен сопровождать государя, отправлялся обыкновенно сразу после завтрака принимать просителей. Просители, желавшие подать свои прошения в собственные руки государя или лично изложить свою просьбу Его Величеству, собирались не во дворце, а в особом помещении при канцелярии дворцовой полиции, где их выслушивал очередной адъютант государя.

Особых дней на это положено не было, и прием происходил ежедневно. Каждый желающий, если не был злоумышленником, имел свободный доступ на этот прием, и полиции всех родов было строго запрещено оказывать какое-либо противодействие этому праву или «фильтровать» в своих видах прибывших просителей: дворцовая полиция действительно этому и не препятствовала, в чем я смог убедиться еще ранее по моей прежней продолжительной должности адъютанта великого князя Михаила Александровича.

Великий князь был окружен намного большей доступностью, чем государь. К нему стекалось всевозможными путями бесчисленное количество просьб и жалоб на всех лиц и все учреждения, в том числе и на полицию, и по всяким, порою ничтожным поводам.

Но ни в одной из них я не встречал жалоб на то, чтобы дворцовая полиция или охрана препятствовали бы подаче прошения Его Величеству в его дворец через его дежурного флигель-адъютанта.

Такая сравнительно свободная доступность порою граничила с неосторожностью, так как в дворцовые помещения иногда проникали люди, больные самыми ужасными заразными болезнями.

Я вспоминаю, как во время моего дежурства при государе в Ливадии, в Крыму, явился проситель, тайно сбежавший из колонии прокаженных, чтобы умолять государя дать ему средства на поездку в Италию, где он надеялся по новому способу излечить свою ужасную болезнь. Эти средства были ему даны.

Другой случай со мною, сохранившийся в моей памяти, был в Гатчинском дворце, куда явился с просьбою откуда-то с границы Индии человек, по его словам, еще недостаточно залечивший свои язвы после бубонной чумы. Чтобы разжалобить меня, он эти язвы мне показывал и только потом сказал, что именно от бубонной чумы...

Знали ли о такой легкой возможности широкие круги населения? И верили ли крепко, что поданное таким порядком прошение дойдет до самого государя? На эти вопросы мне трудно ответить с достаточной убедительностью. Думается, что и знали, и верили, но как в том, так и в другом случае – недостаточно.

Иначе количество прибывающих на прием просителей было бы намного значительнее, не было бы столь частых подач прошений, как во время проездов Их Величеств по улицам столичных и провинциальных городов, так и другими, уже совсем сложными и обходными путями²²⁸.

²²⁸ Нередко подавались, как и при всех дворах мира, прошения через камердинеров государя и другую близкую дворцовую

Впрочем, большинство людей не только в этих случаях верят в большую успешность обходных путей и сильно сомневаются в путях прямых, но надо добавить, что в данном случае сомневались без всякого основания.

Принесенные во дворец или адресованные по почте на имя дежурного флигель-адъютанта прошения действительно доходили в тот же самый день непосредственно до самого государя.

Дежурный адъютант ставил на них только свой штампель о дне получения и вписывал их по порядку в особую ведомость, излагая в ней для облегчения чтения государю краткое содержание просьбы или жалобы. Затем все прошения в подлинниках вместе с ведомостью вкладывались в конверт, запечатывались сургучной печатью, адресовались в «собственные руки Его императорского Величества» и посылались с дежурным скороходом в кабинет государя. В случаях особо важных или не терпящих отлагательства дежурный флигель-адъютант обязан был немедленно лично доложить о том Его Величеству.

К числу несложных обязанностей дежурного флигель-адъютанта, унаследованных еще от доброго старого времени, принадлежала и обязанность будить государя при получении ночью известия о пожаре одного из дворцов или какого-либо большого правительственного или общественного здания.

В таких случаях императоры Николай Павлович и Александр II обыкновенно лично выезжали на место

прислугу. Неудивительно, что и Распутин обладал подобным же доверием со стороны просителей (*прим. автора*).

бедствия. Сообщать во дворец о таком пожаре было вменено в обязанность соответствующему городскому начальству. Получив сообщение, дежурный флигель-адъютант должен был сначала лично, на месте, удостовериться о размерах пожара и только в случаях, когда он начинал угрожать большому числу людей или касался полной гибели какого-нибудь исторического сооружения, докладывать о нем государю днем или будить для этого Его Величество ночью.

За время последнего царствования таких пожаров, кажется, не было, а одна ложная тревога при мне все же была.

Мне вспоминается, как однажды во время моего дежурства летом, в Петергофе, я был среди ночи разбужен тревожным известием по телефону комендантом, просившим доложить Его Величеству, что горит исторический «Монплефир».

Выглянув в окно дежурной комнаты, я действительно увидел над этим сооружением Петра Великого большое зарево и слышал топот и звонки несшейся пожарной команды. Я приказал подать себе тройку и поехал на место пожара. Но уже по дороге туда я встретил возвращавшиеся назад пожарные команды и вызванные в помощь им военные части. Тревога оказалась напрасной. Все смятение вызвала лишь одна восходящая луна! Поднимаясь в те часы сзади «Монплезира», со стороны моря, из-за разорвавшихся черных туч она своим необычайно тогда красным светом вызвала полную иллюзию пожарного зарева.



Во время начала войны государь с императрицей и великими княжнами часто ездили в Петербург для посещения лазаретов и по другим случаям и обыкновенно заезжали проведать и императрицу-мать. Дежурная фрейлина иногда при этом отсутствовала, но дежурный флигель-адъютант сопровождал всегда. Он входил в свой так называемый свитский вагон императорского поезда, но оставался там недолго. Его вскоре приглашали в вагон Их Величеств, и дальнейший путь все совершали уютно вместе. Иногда в это время сервировался чай.

В Петербурге, у Императорского павильона, дежурного флигель-адъютанта ждали его тройка или придворный автомобиль, в котором он и следовал непосредственно за государем.

В кануны и дни праздников Их Величества никогда не пропускали церковной службы. В Царском Селе они ездили почти постоянно в их любимый, красивый Федоровский собор, а в Петергофе – в маленькую готическую церковь, расположенную в Александрийском парке, настолько небольшую, что внутрь ее обыкновенно входили лишь государь с императрицей и несколько лиц. Все остальные, в том числе и великие князья, помещались снаружи, под открытым небом.

В Александровском дворце имелась также небольшая домовая церковь, скорее походного характера, устроенная в одном из зал, но служба в ней совершалась крайне редко, на моей памяти не более двух раз.

Дежурный флигель-адъютант приезжал в Федоровский собор отдельно от государя, к началу службы, и оставался

там до конца, встречая Их Величества лишь при выходе из церкви. Обыкновенно в это время одна из милых великих княжон, здороваясь с ним, отдавала ему свою просфору, только что полученную ею от священника.

Обедня длилась недолго – положенный придворным обычаем один час. Церковь была полна молящихся, как солдатами, так и другой публикой. Во время службы пели поочередно то изумительный по голосам хор придворной капеллы, то хор конвойцев или сводного полка.

Но «Отче наш» и «Верую» пели, по настойчивому желанию государя, сообща все присутствующие в храме.

Не только государь и государыня, но и другие члены нашей многочисленной императорской фамилии отличались особенной религиозностью.

Перебирая в моей памяти всех тех, кого я сравнительно ближе знал – а я знал почти всех, – я не могу найти из них никого, кто был бы равнодушен к религии. В этом отношении меня всегда особенно привлекало спокойное, но сосредоточенное и очень глубокое выражение императрицы Марии Федоровны, когда она молилась.

Ее внимание никакими случаями не отвлекалось по сторонам.

Православным обычаям она следовала так же, как и императрица Александра Федоровна, с серьезностью и убежденностью выросшего в православии человека. Во время церковных служб она часто опускалась на колени.

Говорят, что к молитве особенно влечет только очень счастливых или очень несчастных людей. Несколько это верно, конечно, трудно судить, но если религиозность наследственна, то государь Николай Александрович

наследовал свою горячую веру столько же от своего отца, как и от своей матери.

Свой дневной чай в Царском Селе государь и государыня пили обыкновенно одни, в своей семье, без приглашенных. Иногда в это время у них бывала А. А. Вырубова, порою кто-нибудь из моряков со «Штандарта» или кто-нибудь из родственников.

Последние приезжали в Александровский дворец, впрочем, крайне редко и оставались недолго. Чай сервировался так, как это, вероятно, бывало и в дни Екатерининского царствования, без самовара, в серебряных чайниках.

К обеду, особенно когда императрице нездоровилось, приглашались также не все, а лишь те из дежурных флигель-адъютантов, с которыми Их Величества были ближе знакомы.

Как водится в придворной жизни, и по этому признаку некоторые судили о степени приближенности того или другого флигель-адъютанта, и у многих такое выделение возбуждало не только неудовольствие и ревность, но и зависть. Но совершенно напрасно. Особых «любимцев» у государя не было, то есть таких любимцев, на которых подобное выделение сказывалось бы каким-либо быстрым повышением в чинах или блестящей служебной карьерой.

Скорее наоборот – все те лица, которые с большой натяжкой подходили бы под такое определение, очень медленно двигались вперед, если не застывали совершенно в своем положении.

С большим расположением относилась вся царская семья к морякам – в особенности к офицерам яхты «Штандарт», с которыми их быстро сблизила частая совместная жизнь на

яхте и которых она называла «своими». Все это были действительно очень милые, скромные, воспитанные люди с чувством собственного достоинства, отнюдь не стремившиеся чем-либо использовать свое «выделение».

Я думаю, они и нравились потому, что не были «пронырливы», «навязчивы» и были далеки от всяких интриг.

Около 6 часов дня у государя снова начинался прием различных лиц, большею частью тех, беседа с которыми обещала быть более продолжительной или более частной. Затем после обеда государь занимался в своем кабинете до поздних часов ночи.

Свободное время у дежурного флигель-адъютанта, если он не был приглашен на прогулку, таким образом, имелось лишь в короткие часы перед дневным чаем да самый чай. Сидеть одному было скучно, и я всегда пользовался этим временем и отправлялся пить чай к знакомым фрейлинам императрицы, княжне С. Орбелиани, баронессе Буксгевден и графине Гендриковой.

Из всей ближайшей свиты – лишь они одни жили в самом Александровском дворце – остальные – мужчины – находились в Большом Екатерининском дворце и Лицее.

Как почти всем фрейлинам всех дворцов мира, так и им было отведено помещение на самом верху. Подняться к ним было все же легко посредством лифта, находившегося в коридоре, совсем рядом с моей дежурной комнатой.

Баронесса Буксгевден и графиня Гендрикова жили в непосредственном соседстве друг с другом, а бедная, парализованная, прикованная к кровати княжна Орбелиани немного поодаль.

Помещения всех трех были обширны и благодаря собственным фотографиям и безделушкам давали некоторое впечатление домашнего уюта.

Царскосельская дворцовая жизнь свитских фрейлин императрицы Александры Федоровны была, в общем, крайне однообразна и порядочно скучна. В полную противоположность двору императрицы-матери или малым дворам, им, находившимся под одной кровлей, почти не приходилось жить общей жизнью с царской семьей.

Лишь изредка выезжали они с императрицей на прогулку и сопровождали Ее Величество только в официальных поездках.

Завтракали, обедали, пили чай и гуляли почти всегда без них.

Только пребывание в Ливадии, в Шхерах или во время коротких наездов в Могилев, когда все жили в поезде, могло назваться «совместным».

Я не знаю, как складывалась их жизнь в более ранние годы, но при мне это было так.

Когда я теперь, из своего заброшенного угла на чужбине, переношусь мыслью в Александровский дворец, наряду с дорогими, незабвенными обликами царской семьи часто возникают у меня милые образы и этих трех фрейлин. Благодаря не столь частому общению я с ними сжился намного меньше, чем со свитскими фрейлинами императрицы-матери, но признательное, душевное чувство к ним у меня до сих пор велико.

Я чувствовал, что они относятся ко мне с полным дружелюбием и всегда искренно были рады моему приходу не из-за одной только дворцовой скуки.

Сколько хороших, уютных часов я провел с ними – часов, когда не чувствовалось зависти, злорадства или скрытой насмешки. Полная простота, искренность и доброжелательность так редки в жизни, а в особенности в придворной, что там их особенно замечаешь и не перестаешь за них благодарить.

Теперь из всех трех только одна баронесса Буксгевден осталась в живых и находится где-то в пространстве здешнего мира²²⁹.

Где именно, я не знаю, но, вероятно, очень далеко от меня. Ее, быть может, удивляет и огорчает мое молчание и что я не стараюсь ее разыскать и вновь повидать. И по правде, все это должно удивлять, если не огорчать. Но пусть она меня простит, как и раньше прощала за многое, и не думает очень скверно о моей забывчивости.

Все, что связано с теми хорошими днями, забываться не может. Оно постоянно живет в моей памяти, и только дни отречения моего государя, а с ним и кружения моей Родины сделали меня таким физически усталым, невежливым и совсем не предприимчивым.

²²⁹ Баронесса С. К. Буксгевден прожила в эмиграции долгую жизнь и умерла в возрасте 73 лет в Лондоне. Она написала три книги воспоминаний (все вышли на английском языке): «Жизнь и трагедия Александры Федоровны, императрицы России», (Лондон, 1928); «Минувшее. Четырнадцать месяцев в Сибири во время революции. Декабрь 1917 – февраль 1919 г...» (Лондон, 1929) и «Перед бурей» (Лондон, 1938). Полное издание воспоминаний баронессы С. К. Буксгевден «Жизнь и трагедия Александры Федоровны, императрицы России» было издано в Москве в 2012 г. (издательства Книга, Вече, Грифъ).



Почти всегда во время моего дежурства в Александровском дворце я проводил значительную часть времени с Их Величествами, приглашался не только на прогулки и завтраки, но и к обеду Их Величеств и оставался там по вечерам. Те же скромность и простота и та же непринужденность, как и днем. Только императрица и великие княжны надевали в эти часы вечерние платья. Государь же оставался по-прежнему в своей серой тужурке или малиновой шелковой рубашке.

Вообще пышный российский императорский двор, так изумлявший иностранцев своею непревзойденной роскошью и великолепием, был действительно роскошен и блестящ только в дни особых придворных торжеств. Домашняя же обстановка всех русских императоров в отличие от церемонных времен русских царей изумляли свою скромностью и полною неприхотливостью.

Даже блестящий век Екатерины и столь любившей внешность и наряды Елизаветы Петровны не представляли в этом отношении исключения.

Домашний обед императора Николая Александровича был обычный «дворцовый», дошедший по инерции в своей сервировке и меню еще из времен прежних царствований. Его блюда часто повторялись, в особенности соусы, и мало чем отличались от обедов хорошего, а иногда и очень посредственного ресторана.

Любители тонкой еды, а таких среди свиты было порядочно, никогда не приходили от этих домашних придворных обедов в восхищение, а всегда указывали на

превосходство действительно искусного повара императрицы-матери – Максимова.

Сама императорская семья не обращала никакого внимания на еду и мирилась со всем тем, что ей подавалось. Государь все же предпочитал русские блюда, в особенности с жареным луком, и когда эти кушанья изредка, к его удивлению, появлялись на его столе, тогда они были действительно хороши. Любил он так же, как и вся семья Александра III, простоквашу и все молочное. Был доволен, когда появлялись устрицы. Любимым блюдом великих княжон был, кажется, только черный хлеб с маслом и печеный картофель, испеченный ими самими на костре во время прогулок. Ко всему остальному они были более или менее равнодушны.

За обедом Его Величество выпивал опять не более одной рюмки вина.

Курил государь много и, еще не dokonчив обеда, доставал папиросу и приглашал гостя сделать то же самое. Папиросы его были из особого турецкого табака, доставлявшиеся ему целыми ящиками в подарок от турецкого султана. Он их очень ценил и редко предлагал своим гостям.

В полную противоположность императрице-матери государыня Александра Федоровна курила совсем мало, да и то когда не было посторонних. Можно было бы сказать, что она не курила совсем. Старшие великие княжны, иногда, в отсутствие матери, брали в виде шутки от отца его папиросы, их закуривали, но сейчас же бросали с гримасой.

Побыв обыкновенно очень недолго в общей комнате, государь после обеда уходил опять заниматься в свой

кабинет. Все другие оставались в той же гостиной императрицы, откуда лишь выносился обеденный стол.

Большая часть разговоров с императрицей происходила именно в это время. Обыкновенно она располагалась с какой-нибудь ручной работой полулежа на кушетке или читала письма и тут же на них отвечала. Писала она необычайно быстро, не стесняясь тем, что вокруг нее шел оживленный разговор. Великие княжны большей частью находились в эти часы с матерью. Они также занимались рукоделием, или играли на рояле, или «возились» и шалили с маленьким наследником, оживленно делясь с императрицей и со мной своими впечатлениями. Но даже и во время игр они не переставали заботливо посматривать на мать, было ли ей удобно лежать, спрашивали, как она себя чувствует, и т. п.

Со мной, да, как я заметил, и с другими императрица почти никогда не говорила о текущей политике, а если и говорила, то отрывочно и в большинстве неодобрительно, всегда с большой иронией.

Так называемая «политика» начала ее занимать, как и всех, лишь во взбудораженные дни нашей первой смуты и в особенности в дни войны, когда началась столь самоубийственная «осада власти» и уже чувствовалась опасность для самой царской семьи. Ни одна жена и мать не могла и не имела права остаться равнодушной в такое время. Но императрица – я говорю это искренно – и в те дни в неимоверно меньшей степени стремилась «управлять государством», чем другие жены других мужей как из «общественности», так и в особенности и из тогдашнего светского общества.

Правда, у ней бывали, да и то крайне редко, два-три министра и некоторые люди, облеченные маловлиятельной правительственной властью, но это не она вызывала их к себе, чтобы «властно» руководить ими, а они сами шли к ней в отсутствие государя со своими тревогами, жалобами, осведомлениями и затаенными надеждами на ее помощь в проведении некоторых им желательных мер.

Она их принимала, больше их выслушивая, чем ими руководя, соглашалась в большинстве с их доводами, говорила и писала о них государю, как писала и обо всех маленьких просьбах, до нее достигавших, ничего политического не имеющих, но и только. В дальнейшем она была уже бессильна, так как, по ее же словам, «ее советов плохо слушались» или по тысяче разных причин «не случались совсем».

Я удивляюсь, как мог генерал Дубенский записать в опубликованном (не им) своем дневнике, что «государь в полном ее (императрицы) подчинении. Достаточно было их видеть четверть часа, чтобы сказать, что самодержцем была она, а не он. Он на нее смотрел, как мальчик на гувернантку, – это бросалось в глаза»²³⁰. В данном случае Дубенский повторял лишь дословно то ложное ходячее мнение, которое сложилось у людей, никогда не видевших ни государя, ни императрицу в их частной жизни. Впрочем, он и был из числа именно таких. Он видел царскую семью только в официальных случаях, когда такое подчинение, если бы оно даже существовало, при всем желании его видеть уж никоим

²³⁰ Падение царского режима // Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в России. Ленгиз, 1925. Т. VI. С. 383.

образом и никому не могло броситься в глаза. Как и большинство остальных, он, видимо, толковал все, что касалось царской семьи, даже не по видимости, а лишь по своему настойчивому желанию.

Еще более удивил меня сенатор Завадский²³¹, когда он в своих воспоминаниях утверждал, что ему «было еще при царе известно, что в последнее время императрица присутствовала при докладах министров, иногда внося заметки в свою записную книжку, то вызывала министров перед их всеподданнейшими докладами к себе и осведомлялась, о чем они будут докладывать государю». Стоит ли говорить, что такое утверждение от начала до конца явно не соответствовало действительности и что ни Завадский был введен в заблуждение непроверенными рассказами каких-либо чересчур уж словоохотливых людей. Как я уже сказал, императрица никогда не вызывала к себе министров, а это они сами добивались возможности быть у нее. Равным образом я не запомнил ни одного случая, чтобы императрица присутствовала бы при докладах министров у государя. Это было бы так необычайно и настолько противоречило бы прочно соблюдавшимся правилам, обычаям, а главное, характерам государя и императрицы, что сейчас бы стало известным всем лицам ближайшего окружения государя, в том числе, конечно, и мне. Впрочем, вне революции слуги любят выдумывать «правду» как о себе, так и о своих противниках. Когда во время революционного судилища над несчастной королевой Франции ее «публичный обвинитель» стал утверждать, что она имела на

²³¹ *Завадский С. В.* На великом изломе. Архив русской революции. Берлин, т. XI. С. 5.

своего мужа настолько сильное влияние, что могла добиться, безусловно, всего, чего бы она ни пожелала, Мария-Антуанетта ему с достоинством ответила: «Одно дело, если человеку дать лишь совет, совершенно другое, если настаивать на их исполнении». Совершенно подобный же ответ могла бы дать и русская государыня своим многочисленным обвинителям.

Кругом нее все бурлило, волновалось, осуждало, грозило, сплетничало и устраивало заговоры. Все это она чувствовала, все это доходило до нее. Ко всему этому она раньше относилась с достоинством, присущим ее сану, и с брезгливым равнодушием незапятнанной женщины; но теперь, во время войны, дело уже шло не о ней одной, а о более для нее святом и высоком.

Но и в те дни своего невольного негодования, она, вопреки ходившим слухам, о каком-то перевороте в ее пользу, не стремилась властвовать и управлять. Она лишь желала укрепить в сознании государя необходимость большей властности и меньшей снисходительности. В данном случае она, конечно, была совершенно права, как верно и то, что тот, кто сам желает властвовать и управлять, не стремится, конечно, так настойчиво к увеличению власти другого, хотя бы самого близкого по положению человека. Но то время, когда можно было твердою рукой удержать начинавшуюся главным образом от сплетен и клевет смуту, было уже давно пропущено. Какое-то поветрие всеобщего самовнушения, действовавшего даже на дальние расстояния, уже овладевало почти всеми.

Когда читаешь или слышишь обо всех тех интригах, вожделениях, обидах самолюбия, угрозах, клеветах и наговорах, с которыми приходится в дни смуты считаться

царствующему государю, или в особенности самому при этом очень недалеко присутствовать, невольно становишься на сторону монарха как слабейшего, более правого и более ответственного. Борьба обыкновенно в такие дни бывает неравна. Монарху приходится иметь дело с неуловимым и по многочисленности более сильным противником, всегда неразборчивым в средствах и притом воодушевленным всевозможными человеческими страстями. Ему, ничего в смысле карьеры не добивающемуся, думающему только о благе родины, ответственному перед Богом и лишь иногда думающему о своем имени в истории, приходится иметь дело с людьми, упорно стремящимися к своему все большему возвышению или значению. Такая борьба, хотя бы носящая название «политической», оставляет после себя очень скверный осадок с обеих сторон.

Но если у одного – осажденного со всех сторон – это только разочарование и горечь, то у бесчисленных других это уже злоба долгая и беспощадная, рождающая не только слепоту, но и незаслуженное противником презрение.

Один очень опытный и вдумчивый дипломат иностранец (фамилию его я теперь забыл) всегда утверждал, что «для всякого наблюдательного человека ясно, что ключ как к внешней, так и внутренней политике находится всегда лишь в «высшем свете» всякой страны».

Если и не во всех, то в громадном большинстве случаев подобное утверждение является совершенно верным и для моей Родины.

Ключ к тогдашней политике и тогда не лежал в руках одинокой государыни, а скрывался в обширных слоях тогдашнего русского общества, уже охваченного давно смутю.

Глава его – наш «высший свет» – не любил императрицу уже давно, почти с самого начала, еще мало зная ее, и императрица за исключением немногих людей перестала в конце концов любить наше высшее общество. Она слишком чувствовала его неискренность в малом, чтобы верить в его мудрость и искренность в большом. Стоит только прочесть затем дневник (*жены. – О. Б.*) Богдановича, чтобы понять, насколько суждения людей, толпившихся в его гостиной, ей не могли казаться привлекательными.

Расхождение, как я сказал, началось давно, и причин для этого расхождения, как известно, было много.

Главными, конечно, были несправедливые нападки не только на императрицу и государя, но и на наш исторический, приноровленный к особенностям государства строй, верности которому присягал не только сам император, но и его подданные.

Но как бы ни судить о причинах возникновения смуты, приходится признать, что эта смута получила всю свою силу лишь тогда, когда она сумела затуманить сознание и высшего слоя столицы, и высших чиновных лиц. Лить только под напором именно этого авторитета она смогла просочиться в самые низшие слои, обыкновенно не доверявшие никаким политическим партиям и смеявшиеся над мечтаниями поучавших «интеллигентов».

Странное порою получалось впечатление от отношений нашего High Life к царской семье. Его суждения о ней в своей среде были одни, его поступки, как только он с нею соприкасался, были уже иные. И это было самым непривлекательным в те непривлекательные годы.

Несмотря на высказываемые резко порицания, государь и его ближайшая семья являлись центром, к которому этот

круг людей все-таки, несмотря на всю свою клевету, даже в революционные дни неуклонно стремился, стараясь всякими путями возможно ближе к нему стать. В громадном большинстве случаев дело тут менее всего шло о захвате какого-либо «полезного» влияния.

«Дети кичливой суеты», как их назвал современный светский поэт, они, хотя далеко и не все, довольствовались малым – получение возможно высокого придворного звания, приглашение на какой-нибудь более или менее интимный праздник, более продолжительный разговор с ними, а не с другими, оказание какого-нибудь внимания на виду у всех и т. п., и т. п. их уже наполняло своеобразным удовлетворением.

Но Японская, а затем и европейская война, увеличившееся недоумение императрицы, болезнь наследника, в промежутках частый придворный траур – все это уже не давало прежней возможности часто показывать себя при дворе и другим в нем показаться.

От этого возникло первое, впрочем, небольшое, неудовольствие в этом кругу – неудовольствие с его стороны понятное и отчасти справедливое, так как постепенное отдаление и замкнутость семьи государя проходили тогда еще не по вине самого общества, а от причин, указанных выше – «Свет», хотя и сплетничал, по-прежнему стремился в Зимний, Царскосельский и Петергофский дворцы и желал принимать в своих особняках, как бывало раньше, царскую семью, понимая все значение для себя близости к царствующему дому.

Значение это не было только воображаемым. Оно поддерживалось не только родовыми традициями, но и всем укладом политической, общественной жизни. В своем

громадном большинстве, за очень малым исключением, наш высший свет, как и иностранный, светил мало своим собственным, а всегда более ярко отраженным светом от двора. В этом была его главная притягательная сила для более низко стоящих. Она сильно сказывалась даже и тогда, когда монархии превращались в республики, а королей и императоров уже давно не было.

Сен-Жерменское предместье во Франции, высшее общество в теперешних Германии, Австрии, Венгрии, Испании и Португалии до сих пор живет или старается жить, освещенное этим отдаленным отблеском прежнего императорского или королевского двора, вызывая свою обособленностью не только раздражение, но и известную притягательную силу с плохо скрытой завистью у многих современных республиканцев.

Такова уж жизнь с ее вечными стремлениями к неравенству и выделению себя от других, особенно ярко ощутимыми именно в демократиях.

Постепенная замкнутость семьи государя произошла не только от высшего общества, но затем и от большинства остальных членов императорской фамилии.

В противоположность почти полному родственному одиночеству Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II родственников у русского императора в царствование Николая Александровича было очень много. Императорская фамилия, кроме самого государя, состояла из 55 членов²³². Все они благодаря своему более скромному

²³² На начало 1917 г. Российский императорский дом насчитывал 65 членов.

положению и своим личным, порою неприхотливым вкусам легко, а в последние годы особенно охотно и близко соприкасались с высшими и не высшими слоями тогдашнего русского общества и невольно почти слились с ним в своих порицаниях и требованиях, а это, конечно, меньше всего могло способствовать их сближению с главой дома.

Может казаться, что именно у них была большая возможность разобраться в справедливости бросаемых государю и императрице обвинений, а не повторять их с такою настойчивостью, убеждая своим авторитетом других.

Но, к сожалению, те времена и обычаи, когда, как в царствование Николая Павловича и в начале Александра II, все родственники обязаны были ежедневно по утрам в назначенные часы являться хотя бы ненадолго для свидания с императором, уже давно прошли.

И они соприкасались с царской семьей не чаще, а благодаря неудовольствию к ним государя даже реже, чем кто-либо другой.

За эту замкнутость больше всего обвиняли императрицу, и в последние годы войны редко кто из семьи относился к ней с теплым чувством, выдумывая о ней небылицы и подозревая во всем.

«В сущности, мы одни из семьи любим Аликс», – говорила как-то великая княгиня Елизавета Маврикиевна своему мужу великому князю Константину Константиновичу, тогда уже тяжело больному. И он только кивнул ей утвердительно головой. Они, конечно, немного ошибались.

Кроме них, императрицу любили и великая княгиня Ольга Александровна, Дмитрий Константинович, отчасти великий князь Павел Александрович и довольно долго, до своей женитьбы, Михаил Александрович.

Но простые смертные, немногие, кому удавалось в те дни подходить к ней, хотя бы ненадолго, близко, начинали сейчас же ее любить и уважать. Таких людей, впрочем, было мало: несколько десятков раненых офицеров и солдат из ее лазаретов, кой-кто из дворцовой прислуги и служащих в ее санитарных поездах и других учреждениях, связанных с ее именем и ее непосредственной деятельностью.

Правда, эти люди были незначительны по своему положению, и их восторженное отношение заглушалось всеобщей враждебностью остальных.

Но это был сколок с того же самого тогдашнего русского общества, со всеми его достоинствами и недостатками, имевший только счастливую возможность ближе узнать императрицу, а узнав ближе, ее и полюбить.

Как все могло бы быть иначе, если бы эта возможность была бы предоставлена и остальным!

Впрочем, в отравленные упадком дни даже близкое общение с возможно широкими общественными кругами не спасает избранную безумием жертву ни от злобных наветов, ни от гибели. Это и неудивительно, так как историю делают люди, и их мелкие страсти остаются неизменными, несмотря ни на разницу культур, ни на протекшие тысячелетия.

Очень общительный характер королевы Марии-Антуанетты, схожий с характером тогдашнего французского общества, резко отличается от стесняющейся, задумчивой натуры русской государыни, а между тем отношение высшего общества к ним, притом общества весьма боявшегося революции, было поразительно одинаковым.

В этом отношении слова Стефана Цвейга о судьбе французской королевы²³³ могут быть отнесены с тою же исчерпывающею полнотою и почти не оспариваемой верностью и к несчастной, благородной императрице Александре Федоровне. «Революция, – говорил он, – кричала на улице только то, что было выдуманно и посеяно гостинными, а слова общественного обвинителя в революционном трибунале были ему давно подсказаны королевскими придворными. Нож, который вскоре опустился на голову королевы, был тихонько подсунут в грубые руки палача нежными, украшенными перстнями пальчиками ненавидевших ее аристократов...

Даже данные обеим клички «австриячки» и «немки» были в своем смысле одинаковы и преследовали те же самые цели.

Много общего можно также найти, сравнивая судьбы моего государя с судьбою Людовика XVI.

Историк Французской революции академик Франсуа Минье так говорит о невинно погибшем французском короле: «Он был, быть может, единственным из остальных владетелей, которые, не обладая никакой страстью, не имел и страсти властвования и соединял в себе оба качества, столь необходимых для хорошего короля: веру в Бога и любовь к своему народу. Он погиб, будучи жертвой страстей, которых никогда не разделял: страстей своего окружения, бывшего ему всегда чуждым, и страстей сборной толпы, которую он не раздражал. В памяти имеется мало королей, столь же

²³³ Речь идет о книге Стефана Цвейга «Мария-Антуанетта: портрет ординарной личности» (1932).

примерных, как он. История скажет о нем, что с немного большею силою характера он был бы единственным среди их всех...²³⁴

Все же о каком-то немецком влиянии, существовавшем при Большом дворе, у нас до войны совершенно не говорили, да и смешно было бы о нем говорить.

Надо было слышать интонацию голоса государя, когда он говорил о преимуществах всего русского, или видеть, с какой искренностью и привязанностью относилась императрица ко всем нашим русским обычаям, чтобы убедиться, что такого влияния не было.

Но с началом войны в числе многих небылиц стали упорно рассказывать и о существовании немецкой партии, руководимой императрицей. Никто, конечно, не задавал себе вопроса, что если такой партии не существовало в мирное время, то каким образом она могла вдруг появиться во время войны, когда быть «немцем» или приверженцем немцев в те часы было самое невыгодное, бросающее на себя тень, и кто из придворных или особо влиятельных, даже носящих немецкую фамилию, решился бы на такое самоунижение?

Было поэтому много лиц даже не придворных, переменивших свои немецкие фамилии на русские.

В России было действительно всегда много, как в войске, в гражданской службе, так и при дворе, людей немецкого происхождения, в особенности из наших балтийских провинций. За ничтожным исключением все они многими

²³⁴ Автор цитирует книгу Франсуа Минье «Histoire de la Revolution fran^aise». Paris, 1824. V. 1-2.

поколениями сжились с Россией, считали ее искренно своей родиной и остались ей и трону верными до конца.

Пролитая ими обильно кровь за Российское государство и своего императора наглядно доказывала как их верность своему долгу, так и горячую привязанность к Родине. Вместо признательности, как известно, коснулись и этих людей в те омраченные дни неразборчивое подозрение и клевета. Надо сказать откровенно, что такое отношение не ложится очень светлым пятном на совесть нашего тогдашнего общества или, вернее, тогдашней нашей главной квартиры, в командование великого князя Николая Николаевича.

Государыня и государь все это чутко сознавали. Им были неприятны огульные преследования в большинстве невинных и достойных людей только благодаря лишь их рождению, без разбора заподозренных в какой-то «измене». Для них и во время войны все верные подданные были равны, несмотря на их нерусские, хотя бы даже немецкие фамилии.

В угоду молве они не удалили этих верных Родине и престолу людей из своей свиты и не одобряли драконовских мер великого князя Николая Николаевича, но это, конечно, не значит, что они подпали под их «скрытое немецкое влияние». Сильнее, чем кто-либо, они сознавали себя русскими и обладали всем благородством русского характера. Быть может, они и не раз бывали обмануты своими противниками, но оставались верны своим русским идеалам – справедливости и жалости – до конца.

Но вернусь наконец к своему рассказу.

Случаи, когда государь давал дежурному при нем флигель-адъютанту какие-либо особые поручения вне

дворца во время самого дежурства, бывали крайне редки. Мне лично они вспоминаются в количестве не более 2-3 раз.

Но вообще лица свиты довольно часто посылались в командировки, как внутрь России, так и за границу. В последних случаях их обязанность бывала присутствовать в качестве представителей русского императора во время каких-либо торжественных или печальных событий при иностранных дворах.

Ко всем пребывающим в Россию иностранцам, монархам или принцам, также обыкновенно назначались лица из государевой свиты.

На меня такая обязанность выпала лишь один раз – состоять при двоюродном брате японского императора, прибывшего к нам уже во время войны. Я не предполагал, что такое поручение, столь не сложное на первый взгляд, окажется в действительности таким утомительным по своей непрерывной напряженности.

Японский принц оставался у нас довольно долго, был крайне любознателен и неутомим в своем желании все видеть, знать и по возможности изучить. Жил он у нас в Зимнем дворце, где и мне было отведено помещение.

Я вспоминаю огромную залу с громадной кроватью, служившей мне тогда очень неудобной спальней и кабинетом.

Принц ездил из Петербурга в Киев, чтобы навестить государыню-мать, был в Ставке, в Могилеве, у государя, и в Москве.

Если добавить к этим путешествиям его собственные приемы в Зимнем дворце, где он жил, и многочисленные приемы в честь его у разных лиц и учреждений и его неутомимое желание видеть возможно больше нового, то

станет понятным, насколько трудным и утомительным оказалось втиснуть все это в рамки его тогдашнего пребывания.

Все время было буквально распределено по минутам. Свободными оставались у меня только несколько поздних, почти ночных часов, да и те были заняты или отчетами для нашей гофмаршальской части, или распределением подарков и орденов, предназначенных японцами для раздачи от имени их императора. Очень скучная обязанность, особенно неприятная при царящей всюду человеческой слабости к иностранным отличиям. Обиженные в таких случаях всегда бывают, и так трудно уверить этих обиженных, что виновником в подобном невнимании к ним является не лицо русской свиты, состоящее при иностранном госте, а лишь небольшое количество орденов, привезенное иностранцами.

Сам принц Кан-Ин, как и его большая свита, видимо, остались очень довольными от пребывания у нас. На меня лично этот наш недавний враг произвел также самое хорошее впечатление как своею серьезною скромностью, так и своим часто выдаваемым уважением к России.

В лице его и его свиты я столкнулся с лишь по книгам мне известной культурой и с совсем уже неизвестными обычаями, настроениями и привычками. Многое мне поэтому казалось у них непонятным, но не странным.

Уезжая, принц пригласил меня погостить у него в Японии и участвовать в своеобразной охоте на уток, но война, а затем и революция помешали воспользоваться его любезным приглашением.

Кроме этих чисто представительных обязанностей, на лицо свиты нередко возлагались государем поручения

весьма серьезного и доверенного характера. Свита с давних царствований всегда считалась как бы личными «глазами и ушами государевыми», и командированным в подобных случаях лицам свиты предоставлялись права, преимущества и почет для лиц, командированных по личному высочайшему повелению.

Вот область свитской службы, где можно было при торжествующем всюду бюрократизме принести много пользы и своим ближним, и правде! На меня лично, в особенности в годы войны, выпадали нередко такие высочайшие поручения, о которых когда-нибудь придется сказать особо, так как некоторые случаи были очень характерны и довольно сложны.

Иногда для выполнения таких командировок требовалось очень много времени, сношений с интересными людьми и порядочно длинного пути. По окончании командировки обыкновенно представлялся письменный доклад на имя Его Величества, а копии с него препровождались соответственным министрам, ведомства которых касалось исполненное поручение. Всегда требовался при этом и словесный личный доклад государю.

Его Величество любил, чтобы этот доклад был по возможности краток, но «обстоятелен». Слушал он его всегда внимательно, редко вставляя свои замечания, и если доклад, даже из-за ненужных порою подробностей, затягивался, никогда не выказывал нетерпения. Я всегда удивлялся, с какою легкостью и мудростью (именно мудростью!) государь разбирался в самых запутанных положениях, какие ставит порою жизнь человеку, предугадывая причины заранее, еще не ознакомившись с подробностями с места.

Лишь в редких случаях его первоначальные, высказанные еще до поверки через посланных лиц свиты предположения не оправдывались. Он, «огороженный китайскою стеною от всех», видимо, прекрасно знал достоинства и недостатки этих всех. Он знал также, к чему может повести владычество канцелярии и бумаги, несдержанное «самоуправление» земства и городов и слепое придерживание закона, в котором, как его великой предок учил, «лишь порядки писаны, а времен и случаев нет». Знал государь и постоянную завистливую борьбу между различными министерствами.

Откуда знал он все это? Он – так мало соприкасавшийся с «действительною» жизнью. От своей вдумчивости, врожденной наблюдательности и главным образом от тяжелого опыта своего более чем 23-летнего царствования.

Если он стоял благодаря своему высокому положению невольно обособленно от других, то благодаря именно этому положению и его беспартийности к нему стекалось широким потоком почти все, с удивительной находчивостью пробивая воздвигаемые другими, а не самим государем препятствия.

«Давай ответственное министерство, а не то отрекись, – требовали от него. – Ты ничего не знаешь и нам только мешаешь». И когда он дал наконец это вырванное от него ответственное министерство и, умывая руки, отрекся, еще громче закричали: «Теперь поздно! Нам не сдержать народных страстей и всеобщего негодования!»

Каких страстей? Чьего негодования?!

Этим «облеченным доверием всей страны» захватчикам царской власти в России взбунтовавшиеся петербургские запасные и фабричные искренно казались всем русским народом, а петербургская улица – всей Россией! Но государь

лучше других знал государственные способности и этих людей, прекрасно разбирался в их нравственных качествах и вожделениях. Знал и цену тогдашнего «всеобщего доверия» к ним.

Жестокая действительность и тут показала всем, что его чуткость и знание родной страны были намного тоньше и глубже, чем поверхностная предвзятость вождей политических партий.

1914 год – год начала кровопролитной войны – начался лично для меня самым спокойным и, если не считать моих внутренних печальных переживаний, я бы сказал, почти мирным образом.

Но даже горечь от потери моих маленьких и от размолвки с Михаилом Александровичем хотя порою и давала знать о себе довольно сильно, в те дни начала постепенно улегаться. Время действительно оказалось довольно хорошим целителем. Ничто не предвещало мне той катастрофы, которая через несколько месяцев разразилась над всею Европою, да и почти над всем земным шаром.

Я был уже второй год флигель-адъютантом государя, но моя личная служба при Его Величестве сначала ограничивалась лишь редкими при нем дежурствами да немногими совместными поездками в Крым или в Шхеры.

Меня всегда радовали и даже успокаивали эти дни, проведенные в Александровском дворце или Ливадии. Царская семья продолжала относиться ко мне с искренней добротой, и мое чувство ко всем им только крепло.

Я думаю, что никто, кроме них, великой княгини Ольги Александровны, императрицы-матери и моей семьи, так чутко не понимал моего тогдашнего внутреннего состояния. Для всех других все совершившееся с великим князем казалось «самой обыкновенной историей», которая, «конечно, при таком попустительстве и не могла быть иной», – для меня, именно из-за своей грубой неестественности и продолжавшемся острым недружелюбии Михаила Александровича, оно бывало часто невыносимым.

Великий князь, исключенный тогда приказом из военной службы, лишенный чинов и обязанности быть правителем государства на случай кончины своего старшего брата, находился со своей морганатической женой в изгнании в Англии, а я, по настойчивому желанию государя, продолжал ведать его имущественными делами под надзором учрежденной над ним опеки, главным опекуном в которой был сам государь.

Я несколько раз просил государя освободить меня от этой тяжелой обязанности, которую при создавшемся положении я считал для себя совершенно излишней. Просил и лично сам, и через князя Кочубея, и через министра двора, но Его Величество всякий раз отклонял эти просьбы.

– Никто лучше его не знает дел моего брата, – говорил он про меня графу Фредериксу. – Никто лучше его не обережет при подобных печальных обстоятельствах его интересов. Передайте это ему и скажите, что он должен оставаться на своем месте, как бы ему это неприятно ни было.

– Я вас понимаю вполне, Мордвинов, – говорил государь и мне лично, – но потерпите еще... Я убежден, что Миша наконец поймет, как он жестоко несправедлив к вам, и у вас будут с ним прежние отношения... Верьте, что это только она и все те, кто их теперь окружает, восстанавливают его против вас, да и против нашей семьи.

«Оберегать интересы» великого князя, конечно, мог и всякий другой, а не только я, но мысль быть ему чем-нибудь полезным – быть может, возможностью облегчить его положение, несмотря на мое невольное раздражение, все же не казалась и мне тогда очень уж притянутой за волосы, я все еще продолжал верить, что Михаил Александрович сумеет пересилить влияние жены, что все постепенно между нами

уляжется; даже был убежден, по многим данным, что его увлечение скоро пройдет, а с этим и его судьба повернется к лучшему.

Как всегда, я надеялся на какой-то счастливый случай, и, как всегда, эти мои надежды остались только мечтами.

Неожиданный случай, даже катастрофа в виде войны, действительно вскоре представился, но повлек за собой сначала только разрешение великому князю вернуться на родину и зачисление его вновь на военную службу, оставив все остальное, в том числе и опеку, пока по-прежнему.

Императрица-мать, понимая мое настроение, продолжала относиться ко мне с усиленным вниманием. Во время моих нередких служебных посещений Аничковского дворца она неизменно призывала меня к себе, оставляла завтракать, а потом долго и откровенно беседовала со мною обо всем том, что ее как мать и императрицу удручало.

Это внимание не укрылось от окружающих и близких к императрице лиц. У них явилось предположение, что государыня-мать думает меня взять к себе на должность состоящего при Ее Величестве вместо внезапно скончавшегося кн. Н. Д. Оболенского. Этот слух держался довольно упорно и, как всегда бывает в подобных случаях, вызвал и зависть, и раздражение с небольшими интригами у одних, и очень милое теплое чувство ко мне у других, правда, менее многочисленных, но зато близко стоявших к императрице.

Но меня лично все эти толки очень удивляли и еще больше раздражали. Я совершенно не домогался этого места, тем более что государыня в своих интимных беседах мне об этом не намекала ни одним словом, да и Михаил Александрович еще более вознегодовал бы на свою мать, если бы она взяла меня к себе.

На все эти обстоятельства я убежденно указывал и князю Шервашидзе, и другим, но они продолжали почему-то в мое назначение к императрице упорно верить.

Вообще люди, с которыми мне приходилось часто сталкиваться, и впоследствии нередко прочили меня на ту или другую дворцовую должность, обыкновенно не подходившую ни к моему довольно независимому ленивому характеру, ни способностям. Большинству из этих расположенных ко мне людей было непонятно, как я, пользуясь таким милым вниманием Их Величеств, не стремился устроить получше свою карьеру. Но, говоря откровенно, чего же больше я мог тогда еще желать.

Состоя в личной свите государя, я имел много свободного времени, был независим, имея своим начальством только одного государя – самого лучшего из начальников, каких я до того знал.

Я имел и большую возможность из-за своего положения приносить посильную помощь людям. К сожалению и стыду, я эту возможность использовал слишком мало.

Для успеха надо было бы иметь больше находчивости, упорной настойчивости и даже нескромной надоедливости, которыми я совсем не обладал. Все мои товарищи по выпуску из корпуса и академии, даже младшие в смысле карьеры и чинов, ушли намного дальше меня и занимали давно видные должности.

Как-то в случайном разговоре по поводу чинов и повышений государь шутливо сказал мне:

– Я надеюсь, Мордвинов, что вы-то не очень печалитесь, что вы только полковник. Ведь чин, в сущности, кроме тщеславия, ничего не дает, а человек остается таким же,

каким и был. Я и сам вот остался такой же полковник, как и вы.

– О, конечно, Ваше Величество, – отвечал я, – большего, чем оставаться вашим адъютантом и поэтому иметь возможность видеть часто вас во время своих дежурств, я и не желал бы. Генеральский чин²³⁵ мне в том только бы мешал.

В начале апреля вся моя семья из-за расстроенного здоровья жены и дочери уехала на несколько месяцев на южный берег Англии, в Корнваль, и я намеревался через несколько недель, получив отпуск, присоединиться к ним.

Узнав об этом, государыня-мать призвала меня к себе и предложила сопровождать ее в предстоявшей ее поездке в Англию, к сестре, говоря, что по приезде в Лондон я могу сейчас же уехать к своим и вернуться с ними обратно в Россию, когда захочу.

Я с радостью принял это милое, внимательное предложение императрицы, являвшееся снова в глазах многих явным доказательством моего предстоящего назначения.

Вспоминаются при этом лица и намеки провожающих нас тогда на вокзале Царскосельской императорской ветки в Петербурге. Они так характерны для всякого двора и для всякого завистливого и ревнующего человека.

Выехали мы в самом начале мая поздним вечером. Кроме князя Шервашидзе, графини Менгден и меня,

²³⁵ Генерал-адъютанты и генералы свиты ежедневно дежурили только во времена Екатерины II. В последующие царствования они назначались на дежурство только на часы церемоний во время больших торжеств (*прим. автора*).

императрицу в этом заграничном путешествии сопровождала и бывшая воспитательница государыни m-elle de Les Kailles (*де Лескаль*. – О. Б.), ехавшая с нами до ее родного города Брюсселя.

M-elle de Les Kailles была премилая старушка, живо интересовавшаяся всем происходящим – очень наблюдательная и вдумчивая. Она сердечно относилась к моей жене и мне особенно нравилась своим прямым характером и независимыми, подчас очень резкими суждениями. Не всегда, но довольно часто я чувствовал в ней, в иностранке, что-то наше, русское, старинное, даже порою помещичье.

Она воспитывала и остальных дочерей Христиана IX, но, кажется, больше всех любила нашу императрицу, отвечавшую ей не менее теплым чувством. M-elle de Les Kailles сильно недолюбливала придворную жизнь, но тем не менее часто приезжала в Россию, чтобы погостить у государыни, всегда радовавшейся ее приезду...

Несмотря на довольно безмятежно протекавшую в те дни наружную политическую жизнь, все же и тогда в ней чувствовалось известное напряжение. Все народы жаждали тогда «одного только мира» и, желая этого мира, по-старинному и, как говорят, мудрому правилу готовились к войне. Готовилась к ней, пожалуй, упорнее других и Германия – у нее для этого было и больше, чем у других, и посторонних завистников, и своих собственных вождельцев.

Я вспоминаю, как нам тогда бросались в глаза обширные платформы для высадки войск, устроенные немцами заранее на границах Бельгии, и как мы, указывая на них, дразнили m-elle de Les Kailles, говоря, что ее Брюссель непременно будет вскоре занят немцами и что ей придется очистить свой дом для победителей, германских офицеров.

Государыне не нравились наши шутки, и она порядочно на них сердилась. Но кто из нас мог думать в те дни, что такая шутка могла оказаться когда-нибудь пророческой! У императрицы же даже такое напоминание, видимо, связывалось с ее постоянным беспокойным предчувствием!

Со дня захвата Пруссией принадлежавших Дании земель – что государыне лично пришлось пережить в ее молодости – она действительно не любила немцев, высказывая это неоднократно в беседах с близкими людьми. Но ее нерасположение распространялось главным образом лишь на правительственные круги, а не на само население. Она все же сознавала, что и в ее датских предках было много немецкой крови. Мне вспоминается, как часто, проезжая по Германии, императрица любила во время остановок выходить к собравшейся на платформе любопытной немецкой толпе, в числе которой всегда бывало много детей. Она им задавала всевозможные добродушные вопросы и обыкновенно щедро оделяла их вынесенными из ее поезда конфетами и фруктами... Впрочем, она делала это и в других странах. Она по праву не смешивала население с политикой верхов...

В Берлин наш поезд прибыл тогда довольно рано²³⁶. Остановки в нем на этот раз никакой не предполагалось, что очень успокаивало государыню-мать. Она всегда волновалась и не любила встречаться с императором Вильгельмом, обыкновенно старавшимся оказывать ей всякими способами свое особенное внимание, бывшим

²³⁶ Императрица Мария Федоровна приехала в Берлин 19 февраля (3 марта) 1914 г.

чрезвычайно к ней любезным и очень разговорчивым, но всегда, как ей казалось, преследовавшим при этом какие-то ей неведомые, пугавшие ее политические цели.

Но у Силезского вокзала поезд неожиданно остановился, нам доложили, что император Вильгельм со своей супругой, императрицей Августой, прибыли на станцию, чтобы приветствовать русскую государыню.

Они вошли в наш салон-вагон, и поезд сейчас же двинулся далее. Несколько коротких минут германская чета оставалась наедине с нашей императрицей, а их небольшая свита, в том числе генерал Мольтке, находилась с нами. Затем мы все соединились вместе в вагоне государыни.

Это был последний раз, что я видел императора Вильгельма и общался с ним в течение этого короткого переезда (они сопровождали нас все же довольно долго, в течение не менее V часа, через весь город, до Шарлоттенбургского вокзала, где была долгая остановка) несколькими незначительными фразами.

Насколько сам Вильгельм был тогда непринужденно оживлен, настолько его супруга была чрезвычайно застенчива и необычайно молчалива. Во все время она, кажется, не произнесла ни одного слова.

Впрочем, говорил главным образом почти один германский император, обращаясь к нашей государыне, остальные большей частью молчали. Разговор его был очень любезен, светский и совершенно не касался политики. Наша императрица поддерживала его с присущими ей умением и приветливостью.

Это было также и последнее свидание вдовствующей государыни с императором Вильгельмом. Кто мог думать, что через каких-нибудь два месяца, при возвращении на

Родину, нашей императрице была уготована в Берлине уже другая встреча, уже совсем не рыцарская.

Ей не было разрешено продолжать путь по Германии. Ее заставили повернуть обратно и избрать далекий кружной путь, через север Швеции и Финляндии, где ей даже приходилось ехать на очень неудобных санях²³⁷.

Говорят, что суровые законы войны всегда мало вежливы, так как вызываются необходимостью; но какую опасность для Германии мог представлять этот ночной переезд старой болезненной женщины от Берлина до русской границы?

²³⁷ Из дневника императрицы Марии Федоровны от 20 июля (2 августа) 1914 г.: «Когда мы въехали в Б[ерлин] – отвратительное место, – в поезде появился Свербеев и сообщил, что объявлена война, а также что не разрешено пересечь германскую границу. Он сам был как помешенный. Видно было, что он совершенно потерял голову и уже не был послом. Он сказал мне, что м[аленькая] Ирина находится здесь с семьей Юсуповых и что все они арестованы. Слыхано ли что-то подобное! Какие подлецы! Потом появился немецкий господин, чиновник, который заявил, что я должна вернуться назад и ехать домой через Англ[ию], Голл[андию] или Швейцарию или, может быть, я предпочла бы Данию. Я протестовала и спросила, что случилось. На что он ответил: «Россия объявила войну». Я ответила, что это ложь, а также то, что мобилизация начата ими [германцами] тайно и проводится уже в течение четырех лет, в то время как Р[оссия] только и только теперь заявила об этом официально. «Но это, – сказала я, – еще не означает начало войны». В конце концов через 2 часа мы наконец-то выбрались из всей этой грязи и уже находились на пути в Вамдруп» (Дневники императрицы Марии Федоровны. М., 2005. С. 46-47).

Какие военные тайны она или ее окружающие могли выдать противнику?! Только болезненная подозрительность, охватившая в те ненормальные дни все и вся, могла заставить забыть даже средние века с их обычным уважением к даме.

Англичане в этом случае были любезнее и пропустили одну из немецких принцесс к себе на родину. Это полнейшее отсутствие доверия ко всем и ко всему являлось отчасти и одной из главных причин самой войны. Где-то в другом месте я кратко уже сказал о своих личных впечатлениях, вынесенных мною о германском императоре Вильгельме II. Его я знал мало, впрочем, почти не знал совсем, встречаясь с ним крайне редко, но личность его меня всегда интересовала в связи с думами о судьбе моей Родины. Мне много поэтому приходилось о нем слышать и читать, а также отчасти и лично наблюдать.

Вильгельм II показался мне во время этого последнего свидания сильно постаревшим, но не осунувшимся – присущая ему выправка и самоуверенность, как в манерах, так и словах, оставались прежними. Его особа всегда подвергалась большой критике не только в других странах, но и в самой Германии. В нем находили слишком много «самообожания», мелкой гордости, даже суетного тщеславия; говорили, что его представление о своем особенно великом призвании совершенно не соответствовало ни идеям времени, ни его силам, что его громкие речи если и не были порою смешны, то приносили лишь один вред. В особенности восставали против его желания всем управлять и во все вмешиваться и находили его убеждение, что он все лучше других знает и понимает, совсем не соответствующим действительности. О том, что многие его считали даже ненормальным, я уже не говорю.

Мне лично не хочется принадлежать к числу всех этих строгих критиков – я, повторяю, слишком мало знаю германского императора и никогда не придавал большой цены ни человеческим толкам, ни в особенности «идеям нашего времени». Эти идеи, несмотря на громкие фразы, мне всегда казались слишком связанными с вожделениями толпы, да и какой монарх имел счастливую возможность избежать нападков известных, не только демократически настроенных, но и аристократических кругов. Кроме того, уже давно сказано, что «чужая душа – потемки».

Если вдуматься, то действительно мы ни о ком ничего как следует не знаем и не можем знать. Человеческая внутренняя жизнь остается для постороннего всегда тайной, тем более загадочной, что люди не живут все время в какой-то лишь им одним присущей, застывшей форме, позволяющей угадывать все их поступки.

В этом отношении и Вильгельм II не представлял собою исключения. Судя по всему тому, что мне о нем приходилось слышать, читать и даже лично наблюдать, в его натуре было немало противоположностей, в которых было трудно разобраться. Только самоуверенный человек мог бы с резкой определенностью судить о внутренних причинах его поступков. Все же можно было явственно чувствовать, что, несмотря на «бряцание мечом», в глубине своей души Вильгельм II не любил и страшился войны.

Совершая демонстративно свои политические путешествия, говоря порою свои угрожающие, почти что зажигательные для поддержания значения своей родины речи, он в конце концов как-то инстинктивно всегда отступал перед призраками кровопролития, и... не отступил как раз перед европейской войной!.. В этом отчасти и

заключался трагизм тогдашних дней – все надеялись, что кто-то другой, а не он должен отступить.

Впрочем, Сербия тогда и отступила, но в разгоревшихся страстях великих держав она, такая маленькая, в счет уже не шла²³⁸.

С внешней стороны германский император любил подчеркивать свой сан и был чрезвычайно любезным, внимательным и, безусловно, интересным собеседником и обладал живым умом. Вероятно, он много читал если не в зрелых годах, то в юности, был духовно одарен и, несомненно, религиозно настроен; умел быть в подходящих случаях простым, шутливым и предупредительным; неудивительно, что многие иностранцы даже в республиканской Швейцарии, когда он туда приезжал, бывали им зачастую очарованы. Я не говорю уже о большинстве простого германского народа, без всякого сомнения, несмотря на своих социалистов, любившего своего кайзера

²³⁸ 28 июня 1914 г. член сербской националистической группировки «Млада Босна» Гаврила Принцип застрелил австрийского эрцгерцога, наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его супругу, которые совершали визит в Боснию, присоединенную к Австро-Венгрии в 1908 г. Австро-венгерское правительство предъявило Сербии ультиматум с требованием наказать виновных и допустить своих представителей к расследованию. Условия ультиматума были выдержаны в резких тонах. Сербия приняла все условия ультиматума, за исключением шестого пункта – об участии австрийцев в расследовании убийства Франца Фердинанда, поскольку оно затрагивало суверенитет страны. Отрицательный сербский ответ 25 июля был расценен австрийцами как неудовлетворительный. 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии.

или бывшего ему преданным. В дни изгнания мне приходилось даже слышать от одного убежденного социалиста-сапожника, что низвергнутый император был намного лучше всех вновь явленных властей.

Конечно, такое отношение к нему оставалось бы и впредь, если бы война немцами не была проиграна. Теперь обаяние его в средних германских кругах, да также и в высших, сильно померкло (побежденный всегда не прав) – но все же у очень многих не исчезло совсем. Либеральная интеллигенция продолжает его с еще большею силою не любить. Говорят, что, кого боятся, того не любят... Но сильная в своей единодушной злобе ко всему монархическому, она, как и везде, зачастую становится смешною в своих преувеличенных опасениях и жалкою, когда на нее падают заслуженные ею удары ее противников.

Во всяком случае, как бы ни судить о Вильгельме II, все же приходится признать, что среди современных ему правителей он был наиболее оригинальным, даже красочным монархом, сумевшим, несмотря на свои странности, высоко держать знамя своей страны и много сделавшего для ее развития. Зачастую он бывал намного дальновиднее своих министров.

В отсутствие кайзера Германии приходится переживать намного более тяжелые дни. И, конечно, не одна проигранная война является тут причиной.

Мне не кажется смешной его крепкая вера в свое высокое призвание, как и его упорное нежелание держаться в тени. Человек, недостаточно высоко ставящий свои обязанности, не верящий в их особую святость, не имеет и права управлять обширной страной. Он не только может, но и обязан как ответственный правитель своей страны идти

против идей своего времени, если идеи эти – всегда преходящие – ему представляются малопродуманными, опасными для государства и для всей исторической жизни народа, ему врученного. Правда, в большинстве случаев борьба бывала в наши смутные дни неравна – заманчивые, но призрачные возможности «народоправства», внушенные кем-то безответственным большинству, обыкновенно временно побеждали. Но это, конечно, еще не означает, чтобы правда, бескорыстие, совесть и вдумчивость были на стороне таких победителей.

Стремления императора Вильгельма II быть самостоятельным мне всегда поэтому нравились, да и не мне одному – монарх, призванный властвовать на благо страны, для успешности такого властвования необходимо должен стремиться быть самодержавным, в особенности когда начинают замечаться признаки смуты. Пока идет все гладко, можно и забавляться самоуправлением, но только не в дни народных бедствий.

Это понимает и демократическая Америка, давая в таких случаях всю полноту власти своему президенту. Наполеон, рожденный «освободительной» революцией, в подобных случаях любил повторять: «Никаких клубов и никаких партий! Никаких теорий, народных правительств, фраз и речей идеологов! Им просто дают какую-нибудь игрушку, с которой они забавляются и проводят время!»

Эти слова, наверное, находили живой отклик в душе не одного только Вильгельма II. Но в его дни, как и в дни современных ему монархов, единственной игрушкой, с которой желали «проводить время», являлся только парламент и своя партия, а немецкий Рейхстаг тогда был

еще достаточно ловок, чтобы по всякому поводу желать стать поперек всем стремлениям своего кайзера.

Сам император Вильгельм II не имел ни характера, ни ловкости Эдуарда VII, умевшего подчинять парламент своим желаниям, как не был и Кавуром, который мог утверждать, что «никогда он так самодержавно не управлял, как при парламенте».

Он чувствовал себя и слишком прирожденным монархом, чтобы проникнуться заветами политических вождей типа Кемаль-паши, после своей 20-летней успешной деятельности в таких словах признававшегося своему другу: «Лишь в собственном, глубоком сознании, что ты не велик, а очень мал и слаб; что ты не имеешь поддержки ни от кого и ниоткуда, ты в конце концов сможешь восторжествовать над всеми препятствиями. И если из-за этого тебя будут называть великим, ты можешь таким людям просто смеяться в лицо...

Но Вильгельм II все же являлся человеком, от которого зависело многое в окружавшей тогда извне мою Родину обстановке.

В годы перед европейской войной он являлся верховным правителем страны, славившейся ранее своей традиционной дружбой с Россией и с которой Россия действительно в течение целых 150 лет находилась в полном мире.

Правда, берлинский конгресс вызвал у нас не только глубокое разочарование, но и всеобщее возмущение. Россия не могла простить и забыть, что ее «друг» стал неожиданно

на сторону ее врагов в таком святом деле, как освобождение христиан²³⁹.

Моя Родина искренно не желала тогда никаких завоеваний для себя. Это был крестовый поход России, по своему конечному значению, при поддержке остальных христианских народов, быть может, более знаменательный, чем все крестовые походы средних веков: Иерусалим с Гробом Господним, вероятно, недолго бы оставался после разгрома турок в руках неверных. Теперь же этот город – святая святых христианства – отдан христианами же в руки евреев...

Вильгельм II, видимо, понимал наши настроения, чувствовал их справедливость, как и необходимость для себя тесного союза с нами, и потому, несмотря на то, что Россия уже давно находилась в прочном союзе с враждебными Германии странами, старался вновь оживить прежнюю

²³⁹ Автор имеет в виду Берлинский конгресс 1878 г., который проходил по инициативе Англии и Австрии. На конгрессе был пересмотрен Сан-Стефанский мирный договор, заключенный между Османской империей и Россией по окончании Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и имевший огромное значение для освобождения балканских народов от османского ига. Конгресс принял решения об ограничении российской экспансии на море; о предоставлении независимости Черногории, Сербии и Румынии; о санкционировании оккупации Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины; о сокращении на треть территории Болгарии и передаче Кипра под временное управление Великобритании. Спустя 36 лет Болгария вступила в Первую мировую войну 14 октября 1915 г. на стороне центральных держав, объявив войну Сербии. Болгарией правил царь Фердинанд, всецело ориентировавшийся на Австрию и Германию.

дружбу, хотя бы первоначально лишь между обоими дворами. Надо сказать, что этого, несмотря на полную разницу в характерах монархов, он отчасти достиг, и притом без помощи своих дипломатов. Отношение к нему императора Николая II стало во много раз более доверчивым и сердечным, чем при Александре III. Политическая обстановка тогдашних годов значительно ему в этом помогла, как помогли и крепкие монархические убеждения, по отношению к России испытывавшиеся обоими.

Его доброжелательные поступки во время Японской войны, а также в дни нашей первоначальной смуты, почтовой и телеграфной забастовок, когда благодаря стараниям Вильгельма II являлась почти единственная возможность поддержки наших сношений с внешним миром, доказывали, что ему можно было начать верить и на него в трудную минуту положиться.

Это же дало возможность осуществиться и тому, что случилось во время свидания обоих императоров в Бьёрке²⁴⁰.

²⁴⁰ В июле 1905 г. Вильгельм II нанес визит Николаю II, отдыхавшему на о. Бьерке в финских шхерах (близ Выборга). Ему удалось уговорить Николая II подписать договор о взаимной военной помощи в случае нападения на Россию или Германию другой европейской державы. При этом Вильгельм II намекал, что здесь имелась в виду Англия, а не Франция, которая, возможно, примкнет к этому договору. Однако по своему смыслу договор был направлен против Франции, что лишало Россию ее основного союзника и кредитора. По своей форме договор был оборонительным и вступал в силу по окончании Русско-японской войны. Этот договор носил характер личного соглашения двух монархов без ведома их министров иностранных дел. С. В. Витте, прибывший из

Насколько я помню, это событие произошло в июле 1905 года, уже в месяцы начинавшейся у нас первой смуты, накануне Ольгина дня. Обстоятельства и цели этого свидания были долго никому не известны, объяснялись простым обменом любезностей, и оно прошло тогда для большинства совсем незаметно. Только после войны и революции оно стало достоянием большой публики и вызвало злорадные толки.

Но, упоминая о «событии» во всех подробностях, вплоть до настроений и перечисления всех присутствующих и опубликование интимных писем кейзера и государя, почему-то совершенно не упоминают о великом князе Михаиле Александровиче, приглашенном государем нарочно на эти дни на яхту. Это приглашение последовало, несомненно, по желанию германского императора, желавшего присутствием великого князя – тогда объявленного будущим регентом за малолетством наследника – еще более упрочить и надолго предполагавшееся соглашение.

Я помню, что великому князю, всегда любившему море, но не любившему такие официальные поездки, это

Портсмута после подписания мира с Японией, и министр иностранных дел В. Н. Ламздорф после долгих уговоров царя убедили его дезавуировать договор: формально не отказываясь от него, внести в него ряд таких поправок и условий, которые сводили бы его на нет. В ноябре 1905 г. Вильгельму II было сообщено, что обязательства России в отношении Германии не распространяются на случай войны Германии с Францией. Это было дипломатическим отказом, и договор не вступил в силу, что укрепило отношения России с Францией.

приглашение было совсем не по душе, и ему очень не хотелось уезжать из Гатчины, от именин своей сестры.

– Ну что, ваше высочество, – спросил я его, когда он вскоре оттуда вернулся, – насладились ли своим морем?

– Какое там, – отвечал с полушутливым раздражением Михаил Александрович, – не до моря было... Пришлось быть главным свидетелем при дипломатических переговорах. Так несносно!

– Какие же это были переговоры и чем хорошим для нас кончились? – спросил я его.

– Никому не могу ничего сказать, даже и вам... связан самой глубочайшей и наисекретнейшей дипломатической тайной... – еще шутливее, но и раздраженнее отвечал он.

Так как все было задумано и проведено лично германским императором без ведома и обычного вмешательства наших дипломатов, то дипломаты не только обиделись, но и возмутились. Возмутились и другие влиятельные и «ответственные за политику» люди, и, как известно, уже состоявшееся и подписанное с обеих сторон соглашение было потребовано государем обратно «ввиду выяснившейся невозможности выполнить один из его главнейших пунктов.

Правда, то, что было решено в Бьёрке, выходило из пределов обычных норм, так как было проведено без предварительного согласия Франции, было слишком для тогдашнего времени самостоятельным, оригинальным и потому многим «по меньшей мере» казалось «странным». Но дело ведь шло все-таки о сближении и о мире народов, а не об их разъединении и войне.

Одним из самых настойчивых стремлений государя – создателя Гаагской конференции мира – и одной из самых любимых мыслей его было желание примирить через

посредство России нашего союзника Францию с Германией, постоянно всему миру угрожавших; поэтому государь и пошел с известной отзывчивостью на столь неожиданное предложение германского императора, полагая по своему убеждению, что оно могло принести только пользу союзной с Россией Франции. Бьёркское свидание, как бы над ним ни потешались одни и на него ни негодовали другие, преследовало все же, без сомнения с обеих сторон, высокие и благородные цели, отдаляя войну на долгое время.

Конечно, такие высокие цели ни при каких обстоятельствах не нуждаются в низкой всегда тайне, и только эта ненужная таинственность, потребованная германским императором, в моих глазах – глазах не политика, а просто обывателя, – бросала известную тень на полезные для мира переговоры в Бьёрке.

Что бьёркское свидание приносило лишь громадные заслуги делу европейского мира и самой Франции и России, это понимал и такой изворотливый политик, как граф Витте, если судить по словам, сказанным им через полтора месяца после этого события Эйленбургу и самому Вильгельму II. «Бьёрке – это было самое большое облегчение моей жизни, – говорил он, – и единственная возможность устойчивой политики. Все то, что в шхерах произошло, наполняет мое сердце радостью!» Правда, в своих более поздних воспоминаниях Витте пишет уже иное и говорит, что, когда он узнал о подробностях внезапного договора, он пришел в ужас и как мог старался убедить государя отказаться от этого

соглашения, точно дело заключалось именно в подробностях, а не в самом главном²⁴¹.

²⁴¹ С. Ю. Витте, возвращаясь из Америки после подписания Портсмутского договора в Россию, по повелению императора Николая II в сентябре 1905 г. приехал в Германию, где состоялась его встреча с Вильгельмом II. Так описывает эту встречу С. Ю. Витте в своих воспоминаниях: «Вечером я выехал к императору, который находился в своем охотничьем замке Роминтен около русской границы... На вокзале меня встретил граф Эйленбург, человек пожилых лет, который приветствовал меня от имени императора и представился как лицо, находящееся в свите Его Величества и как бывший германский посол в Вене. Когда мы подъехали к замку, меня перед замком встретил сам император со своею крайне малочисленною свитою. Через несколько времени после того, как я очутился в своей комнате, ко мне пришел граф Эйленбург и продолжал начатый разговор во время переезда с вокзала в замок. Разговор касался общего политического положения, отношения России и Германии между собою и к другим державам. Граф мне сказал, что император вспоминает о том разговоре, который Его Величество имел со мною, когда он был в Петербурге и где я проводил мысль о том, что континентальная Европа, по крайней мере великие державы континента должны соединиться и прекратить взаимную борьбу для того, чтобы Европа продолжала играть доминирующую роль на земном шаре, иначе пройдут сотни, а может быть, только десятки лет, и Европа будет играть второстепенную роль во всемирной политике. Я ему сказал, что очень сожалею, что тогда разговор этот не имел никаких практических последствий. На это граф Эйленбург очень неопределенно заметил, что, может быть, мое чаяние гораздо ближе к осуществлению, нежели я думаю... Кроме моей деловой беседы с императором глаз на глаз после завтрака, я имел такую же беседу, в тот же день, перед обедом. Император, сказав несколько

Где был Витте более искренним, в охотничьем замке германского императора или в Петергофе, судить трудно, да, конечно, и не стоит, как о всякой человеческой двойственности.

Но вряд ли эта непоследовательность была у одного Витте – ею была заражена и вся последующая германская дипломатия. Приходится с горечью узнать, что, когда и государь, и Вильгельм II продолжали все же мечтать о союзе Франции и Германии через Россию, немецкий канцлер Бетман-Гольвег мечтал «о союзе Германии, Англии и

слов о моем громадном успехе в Портсмуте, заговорил со мной о политическом положении Европы и перешел к тому разговору, который я имел с ним во время пребывания в Петергофе (в Петербурге, в германском посольстве, после завтрака) и который я несколько часов тому назад вел с графом Эйленбургом, то есть о союзе континентальной Европы. Его Величество мне сказал, что он совершенно разделяет это мое убеждение, что он рад, что я остался верен этой идее, и что моя идея получила осуществление в Бьорках при последнем свидании его с моим повелителем. Он прибавил, что передает мне об этом секретном деле с разрешения моего государя, и затем спросил, доволен ли я этим, на что я ему радостно и с полным убеждением отвечал, что очень доволен. О том же, в чем именно заключалось соглашение в Бьорках, он мне не сказал и, очевидно, уклонялся меня посвятить в детали этого соглашения, то есть просто дать мне его прочесть. Я подумал, что, вероятно, император Вильгельм считает корректным предоставить это моему государю» (*Bumte С. Ю.* Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 457-461). Вильгельм II о поведении С. Ю. Витте во время этого разговора писал, что тот плакал, крестился и «благословлял небо» за то, что ему довелось дожить до заключения русско-германского договора (Красный архив. Т. V. Die Grosse Politik. № 6241 (письмо Вильгельма II Бюлову от 27 сентября 1905 г.).

Франции против варварской России». Еще в феврале 1912 года он предлагал французскому послу заключить тесное соглашение с Францией, но якобы президент Пуанкаре в этом отказал²⁴².

Несмотря на сильное разочарование от несостоявшегося в финляндских шхерах соглашения, германский император продолжал с прежнею предупредительностью относиться к нашему двору, да и государь сохранял к нему как внешне, так, видимо, отчасти и внутренне прежнее расположение, и переписка с ним продолжалась.

Правда, это расположение было значительно охлаждено, если не замерзло совсем, окончательным захватом Австрией при поддержке Германии Боснии и Герцеговины²⁴³.

²⁴² Автор не точен. В феврале 1912 г. немецкий канцлер Бетман-Голь-вег встречался с английским военным министром Холденом в Берлине. Германия предлагала Англии заключить соглашение о нейтралитете в случае войны между Германией, с одной стороны, и Россией или Францией или обеими этими странами вместе – с другой. Соглашение не было достигнуто.

²⁴³ Берлинский конгресс 1878 г. передал Боснию и Герцеговину под власть Австро-Венгрии. Босния и Герцеговина все более оказывалась в центре соперничества между хорватами и сербами. Борьба за Боснию и Герцеговину достигла своей кульминации в 1903 г. с приходом на трон в Сербии Петра I Карагеоргиевича. В обстановке растущего сербского национализма и младотурецкой революции Австро-Венгрия аннексировала в 1908 г. Боснию и Герцеговину. После уплаты компенсационной суммы Османской империи австро-венгерское правительство объявило об аннексии провинций. Это вызвало острое недовольство всех слоев населения – как мусульманского, так и христианского. Правительства Сербии и Черногории также выразили протест и обратились к великим

Я помню живо то возбуждение, которое охватило все наше русское общество при получении этого известия. Но в допущении этого захвата было сильно повинно и наше тогдашнее министерство иностранных дел, легкомысленно поверившее обещаниям Австрии открыть для нас Дарданеллы – вопрос, решение которого зависело главным образом, конечно, от Англии и отнюдь не от одной Австрии или Германии²⁴⁴.

Как бы то ни было, несмотря на нахождение в противоположных лагерях, дружественная связь между обоими дворами продолжала поддерживаться, тем более что об аннексии Боснии и Герцеговины сам Вильгельм, как он говорил, узнал чуть ли не последним, и, как рассказывали, был «вне себя» от этого шага своего союзника.

Вильгельм II числился у нас не только шефом двух армейских, но и одного гвардейского полков, а незадолго до войны даже германская императрица Августа была

державам с требованием не признавать аннексию. Боснийский кризис резко ухудшил отношения Сербии и Австро-Венгрии.

²⁴⁴ Автор имеет в виду встречу в Бухлау, где 15 сентября 1908 г. состоялось свидание министра иностранных дел России А. П. Извольского и министра иностранных дел Австро-Венгрии барона А. Эренталя. Между ними было достигнуто устное соглашение. Австро-Венгрия обязывалась не возражать против открытия проливов Босфор и Дарданеллы для русских военных судов: взамен этого Россия соглашалась на аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией (см.: *Лунева Ю. В.* Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой мировой войны (1908-1914). М., 2010).

назначена шефом лейб-гвардии Гродненского гусарского полка²⁴⁵.

Я помню, что императрица прислала по этому случаю в дар своим русским гусарам вышитые ею собственноручно юбилейные ленты на полковой штандарт. Все это было, конечно, до известной степени простым обменом любезностями, существовавшим почти в той же мере и по отношению к другим иностранным монархам, хотя подобных любезностей могло бы и не быть, но не в пример отношений к другим дворам при обоих монархах для более близкой, интимной связи состояли прикомандированными лица из личной свиты обоих императоров.

Обменивались по семейному и давнему обычаю и подарками на Рождество. Мне вспоминается по этому поводу одно забавное происшествие, случившееся за полгода до войны. Я был как-то дежурным при государе, в сочельник 1913 года, когда в моей дежурной комнате Александровского дворца появился германский фельдъегерский офицер. За ним внесли огромную, обвязанную веревками дорожную корзину. Офицер доложил, что он прибыл от императора Вильгельма с рождественскими подарками Их Величествам и царским детям.

Прежде чем направить эти подарки в комнаты государя, я приказал открыть в присутствии немецкого фельдъегеря

²⁴⁵ Кайзер Вильгельм II был шефом Нарвского 13-го гусарского полка (с 1907), Выборгского 85-го пехотного полка (с 1884), лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фридриха-Вильгельма III полка (с 1888). Императрица Германская и королева Прусская Августа Виктория была шефом лейб-гвардии Гродненского гусарского полка (с 1910).

привезенную корзину. Каково же было смущение и отчаяние бедного посланца, когда на самом верху ее оказался чей-то зонтик, за ним последовало подержанное пальто и еще какие-то, совсем непривлекательные одеяния. Как оказалось, на Царскосельском вокзале в предпраздничной сутолоке ошиблись в выдаче багажа и совершенно сходную с немецкой корзину какой-то дамы, ехавшей в Киев, выдали германскому фельдъегерю, а корзину с подарками от его императора направили дальше.

К счастью для совершенно угнетенного немецкого офицера, все же удалось, при посредстве телеграфа и телефона, задержать через две станции блуждающие подарки и доставить их поздно вечером по назначению, когда царская елка была уже потушена...

* * *

В Германии многие, в особенности люди из «передовых кругов», продолжают обвинять Вильгельма II за его бегство за границу в дни революции, вызванной или поддержанной ими же!²⁴⁶ Им, конечно, хотелось бы, чтобы враг, которого

²⁴⁶ Ноябрьская революция 1918 г. в Берлине и других городах Германии застала Вильгельма II врасплох во время пребывания в штабе императорской армии в Спа, в Бельгии. Вильгельм согласился на отречение только после того, как генерал Э. Людендорф был смещен с поста генерал-квартирмейстера. Его место занял Вильгельм Гренер, который информировал императора о том, что армия могла бы вернуться под контроль властей только под командованием П. Гинденбурга, но они против возвращения Вильгельму трона. Убежденный монархист

они стремились всеми силами побороть, оказался бы прочно и надолго в их руках, чтобы быть затем при удобном случае «уничтоженным навсегда». Их негодование поэтому понятно, но непонятны лишь их некоторые слова.

Как могут эти люди говорить о стыде, о чести, об измене своему дому, и сами столь наглядно и малодушно изменившие присяге своему императору, олицетворявшему для большинства германцев их Родину... На негодование таких людей-политиков, не желающих оглянуться на самих себя, конечно, не стоит обращать внимание. Мысль невольно направляется не к ним, а к оставшимся верными своему

Гинденбург был вынужден советовать императору отказаться от престола. После этого немецкие консерваторы не могли простить Гренера. На следующий день бывший император пересек границу Нидерландов, где нашел себе последний приют в изгнании. После разработки и утверждения текста Версальского договора в начале 1919 г. статья 227-я прямо предусматривала выдачу Вильгельма II как главного военного преступника для осуждения его в нарушении мира и покоя в Европе. Но королева Нидерландов Вильгельмина отказалась выполнить требования союзников о выдаче бывшего немецкого императора. Сначала Вильгельм поселился в Амеронжене, затем 16 августа 1919 г. он приобрел небольшой замок в Доорне. Однако сам он никогда не отказывался от своего титула и все еще надеялся вернуться в Германию в будущем. В 1920-х гг. активно переписывался с фельдмаршалом Гинденбургом, с которым у него были дружественные отношения. Он приветствовал приход фельдмаршала к власти в 1925 г., когда Гинденбург был избран президентом Веймарской республики. В 1931-1932 гг. принял в своем имении Г. Геринга. Умер 4 июня 1941 г. в оккупированных Германией Нидерландах. По приказу Гитлера погребен в Доорне с отданием воинских почестей.

кайзеру и суждения которых об этом «удалении за границу» также не лишены большой горечи и известного упрека. И вот снова возникает вопрос, столь мучительно задаваемый многими, во всех, когда-то процветавших монархиях, превратившихся за этим в мутящиеся, бедствующие республики: «Кто же кого покинул в тогдашние черные дни? Покинул ли монарх свой народ? Или народ покинул своего природного монарха?» Ответ на этот вопрос каждый из современников дает по-своему, соответственно своему развитию, складу характера, даже партийной политической выгоде, но и «беспристрастная история» вряд ли сможет ответить на него с достаточной справедливостью. Уже само понятие «народ» в данном случае весьма растяжимо; еще меньше присуще сравнивать чувства этой великой, сложенной из миллионов, неопределенности, с чувствами и поступками, принадлежащими лишь отдельным человеческим единицам. Правда, история и современники говорят о «любимых» и «нелюбимых» монархах, но и это столь, казалось бы, определенно названное человеческое чувство, «народ» проявляет с такой несправедливой, оскорбляющей отдельного человека причудливостью, что приходится лишь удивляться. Так, иногда «народ» (то есть выходцы из народа) убивает своего благодетеля и освободителя, и этот же «народ» горько плачет о кончине своего жестокого грозного правителя. Исторические примеры подтверждают такую непоследовательность чуть ли не на каждом шагу. Одному все прощается, даже самое ужасное, другому – всякая мелочь явно несправедливо ставится в вину!!!

Случаи спасения монархов за пределами их стран всегда бывали в истории многочисленны. Судя по запискам тогдашних современников, симпатии большинства были

всегда на стороне именно этих «бежавших» от насилия, но и спасенных часто для будущего правителей. Человечность подобного чувства, конечно, очевидна. Даже Пруссия, столь гордящаяся своими солдатскими добродетелями и понятиями о воинской части, не обвиняла будущего объединителя Германии Вильгельма I за его поспешное укрытие за границу во время «народных» беспорядков в 1848 году²⁴⁷.

Во Франции на бегство короля Людовика XVI²⁴⁸ негодовали лишь те, кто затем его и убил. Остальные, бесчисленные, только сожалели, что это бегство не удалось. Пребывание Людовика XVIII в укрытии за границей не помешало ему занять королевский престол²⁴⁹. О многих примерах из других

²⁴⁷ В марте 1848 г. по Германии прокатилась волна выступлений, в том числе с уличными боями в Берлине, с требованием политических свобод и единой Германии. Наследник принц Прусский Вильгельм выступил за решительные меры по подавлению волнений (за что был прозван «картечным принцем») и стал настолько непопулярен, что негодующая толпа народа едва не разнесла его дом. Король Пруссии Фридрих Вильгельм IV приказал ему покинуть страну. Опасаясь расправы, Вильгельм сбрил усы и бежал в Англию под именем почтальона Леманна.

²⁴⁸ В июне 1791 г. французский король Людовик XVI с семьей пытался бежать из революционной Франции, но недалеко от границы, в Варенне, беглецы были опознаны и задержаны.

²⁴⁹ Будущий Людовик XVIII в 1791 г. бежал из Франции в Брюссель, далее жил в разных странах. В 1792 г. он воевал против революционного правительства на стороне интервентов. В 1793 г., после казни Людовика XVI, Людовик объявил себя регентом при его малолетнем сыне (который содержался в тюрьме в Париже). Россия приняла его в 1797 г., изгнала в 1801 г., снова приняла в

стран, где правители спасались из плена или «от плена», я уже не говорю. Упреки и горечь верных подданных, таким образом, сводятся, в сущности, не к самому поступку спасения за границу или отречения, а к тому, насколько тот или иной монарх сумел до конца исчерпать все свое значение и все вытекающие отсюда возможности для подавления не возмущения всей нации, а – как всегда в начале бывает – лишь бунта немногих. В этом отношении как равнодушная история, так и записки переживавших на себе события современников говорят с одинаковой суровостью: «Нет, не сумели и всех средств, находившихся в их руках, не использовали». Подобное обстоятельство настолько часто повторяется при всех «удавшихся переворотах», что его или считаешь просто роковым, или о нем невольно задумываешься и ищешь сравнений.

Когда я читаю воспоминания очевидцев или слышу их рассказы о начале германской революции, я поражен изумительным сходством обстоятельств отречения императора Вильгельма с отречением моего государя. Даже мелочи, вплоть до тонких настроений лиц главных квартир, сходятся до полного совпадения. Обстановка и картины дня,

1805 г. и вновь изгнала после Тильзитского мира. После короткого пребывания в Швеции поселился в Англии. Когда сенат Франции 6 апреля 1814 г. провозгласил реставрацию Бурбонов и конституцию, Людовик отказался признать конституцию. Только после усиленных настояний императора Александра I, заявившего, что, пока Людовик не даст формального обещания ввести конституционные порядки, Александр не допустит его въезда в Париж, Людовик подписал декларацию с обещанием конституции и торжественно въехал в Париж 3 мая 1814 г.

в том числе и завтрака 9 ноября 1918-го в Спа, это точные, до полного совпадения оттенков копии и с наших картин 2 марта 1917 года в Пскове, а затем и в Могилеве. А между тем какая глубокая разница в натурах и мировоззрениях как обоих императоров, так и их окружавших. Не доказывает ли это, хотя лишь отчасти, насколько события не во власти отдельных людей и насколько натура человека, стоящего в центре событий, на которого обрушиваются совершенно неожиданно для него «измена, трудность и обман», не играют никакой роли, как бы властен, решителен, умен, находчив и дальновиден этот человек ни был...

В особенности роковым образом это сказывается на лицах, заранее опутанных хотя и тонкой, но липкой паутиной не только лишь предательства и коварства, но также еще и сплетни, клеветы, и даже некой насмешки. Этой сетью монархи окутываются своими предусмотрительными противниками исподтишка и задолго, чтобы затем во время «мировых» событий выставить свою жертву в глазах ее ярых защитников «трусливой», «забывшей свой долг» и «достойной лишь ее жалкой участи»...

Пусть поэтому обвиняют и Вильгельма II лишь гиганты духа его времени, если таковые тогда были. Остальные, ничем ему не помогавшие, не имеют ни малейшего права бросать в него камень. Мне лично как русскому хотелось бы пожать ему в несчастье крепко руку не только из-за одного сострадания, а главным образом за то, что его рука до сих пор не сжимала přátельски руку убийц и грабителей большевиков, чего, к ужасу, нельзя сказать о многих благополучно и «с достоинством» царствующих монархов и не скрывавшихся президентов республик.

Мне сейчас же возразят: принимал ли кайзер Вильгельм лично особенно деятельное участие в возникновении у нас революции. Я не знаю. Знаю только, что он с большим презрением отзывался о русских революционерах. Вероятно, о подготовках к ней со стороны его военного главного командования или гражданского управления он был хорошо осведомлен. И все же хочется думать, что ему как убежденному стороннику монархии вся эта «необходимая военная мера» его штаба была внутренне противна и должна была вызывать известные опасения и за себя лично. Действительно, согласно имеющимся в печати свидетельствам, германское правительство (вряд ли с полного одобрения кайзера) всякими способами старалось вызвать у нас возмущение против трона и деятельно поддерживало русских революционеров вплоть до тайной посылки им не только денег, но и оружия и снаряжения.

Как всегда, когда другому копают яму, сами легко в нее падают. Так было и в данном случае. Посылка оружия русским революционерам была поручена германским правительством своим специалистам, причем самыми ревностными исполнителями этого поручения оказались «социалисты-независимые». Их сердцу, конечно, была ближе собственная революция, чем революция русская. Переправляя поэтому на нашу сторону лишь незначительную часть полученного оружия и снаряжения, они большую часть припрятывали в тайных местах для себя, для окончательной борьбы со своим законным правительством. Таким образом, вооружая русских революционеров, Германия вооружала еще в более сильной степени своих!!! Весть о германской революции и об отречении Вильгельма II дошла до меня на удивление скоро, когда я уже давно находился в большевистской тюрьме в Петербурге.

Вспоминаю, насколько она всем нам, заключенным, казалась тогда неправдоподобной и, «безусловно, выдуманной» нашими тюремщиками-большевиками лишь для их собственного возвеличения.

И все же и это «невероятное» даже для того «невероятного» времени случилось с легкостью не менее поразительной, чем и у нас. И там было слишком мало веры в доблесть оставшихся верными войск, и совсем не было презрения к людям, изменившим присяге. И там ожидали много пользы от отречения!

В мае 1924 года великая княгиня Елизавета Маврикиевна получила письмо от принца Макса Баденского и очень просила меня его прочесть. Я знал немного этого последнего канцлера Германской империи, когда он, еще совсем молодым человеком, приезжал в Петербург и жил в доме великой княгини Ольги Александровны, ибо приходился близким родственником ее мужу принцу П. А. Ольденбургскому. На меня он произвел тогда прекрасное впечатление милого и отнюдь не поверхностного человека. Письмо его к великой княгине было очень длинное, искреннее, порою даже трогательное, с подробным объяснением его роли как канцлера при отречении императора. Была приложена и его известная брошюра по этому поводу. В своем письме принц Макс Баденский писал, что он сам отнюдь не хотел настаивать на отречении, но что его заставили это сделать, и он вынужден был тому подчиниться. Он очень долго колебался, и это-то промедление и было, по его мнению, единственной большой ошибкой, в которой он теперь кается. Подобное мнение также высказывали ему и другие, утверждая, что отречение якобы необходимо было вызвать намного раньше, а не тогда, когда уже взбунтовались войска.

В таком случае можно было бы еще спасти династию и страну?!!

Удивительное по наивности утверждение, и еще более удивительное отношение к своему законному и любившему свою родину императору!!!

■ XXII

На южном берегу Англии мы провели тогда целый месяц, полный самых прелестных впечатлений об океане и английской деревне, и в начале июня 1914 года через Лондон и Остенде мы все вернулись домой. Моя семья проехала прямо к себе в Лашино, а я оставался из-за своей службы в городе.

Время при дворе было тогда самое тихое, и только приезд саксонского короля (Фридрих-Август III. – О. Б.), вызванный столетним юбилеем Лейпцигской битвы, внес некоторое разнообразие в монотонную жизнь Царского Села.

Король приехал в двадцатых числах июня и оставался у нас не более двух-трех дней. В честь его был назначен парад войскам Царскосельского гарнизона, на котором я был дежурным при Его Величестве.

Парад этот и выправка наших войск произвели на саксонцев, по их выражению, «незабываемое впечатление»²⁵⁰.

²⁵⁰ Король Саксонии Фридрих-Август III приехал в Царское Село 6 июня 1914 г., где был встречен императором Николаем II. 7 июня перед Большим дворцом в Царском Селе в присутствии двух монархов прошел военный парад. Из дневника Николая II: «В 11 час. король приехал к нам, мы сели на коней и начали объезжать войска по улице и на дворцовой площадке. Церемониальным] марш[ем] проходили два раза. Этот парад в зимней форме на фоне дворца напоминал картины прежнего времени. В 12.50 парад кончился. Завтрак был с начальством в большой зале... Поехали вчетвером в 8 час. в Павловск на фамильный обед с саксонским корол[ем]. Слушали в саду измайловских балалаечников»

За обедом, поднимая бокал в честь короля, государь в искренних выражениях напомнил о долгом братстве по оружию между русскими и немцами.

В тот день мне пришлось провести почти все время в общении с немногочисленной свитой короля и играть по поручению гофмаршала роль гостеприимного хозяина.

Я вспоминаю, с какой искренностью говорили иностранные гости о нашей военной мощи и желании навсегда жить с нами в традиционной дружбе.

Помню и то, что они приглашали меня усиленно к себе, и я дал им обещание посетить их при первой же моей поездке в Саксонию.

Видимо, надвинувшаяся через три недели гроза так же искренно не чувствовалась ими, как и у нас. В те дни я познакомился и с только что прибывшим к нам и назначенным состоять при особе нашего государя генералом свиты германского императора Хелиусом.

Это был еще молодой человек, кавалерист, пользовавшийся, как уверяли, особым расположением Вильгельма II. Он был, кажется, командиром гвардейского гусарского полка, где император в молодости проходил свою службу в строю.

Мне почему-то он сразу понравился своим непринужденным, веселым товарищеским обращением, искренностью и отсутствием того типичного чопорного «прусского», что нам, русским, так особенно не нравится в германских офицерах.

(Дневники императора Николая II. 1894-1918. М., 2013. Т. II. Ч. 2. С. 36).

Он мог бы, наверное, довольно хорошо исполнять у нас возложенные на него деликатные обязанности, так как в нем не чувствовалось ничего дипломатического, что только ухудшает и зачастую портит всякое положение. Но в том единственном случае именно в дни перед объявлением войны, когда ими действительно можно было полезно воспользоваться, о нем и не вспомнили.

Вероятно, таким не политиком, а лишь солдатом был и саксонский король. Как утверждают, он по возвращении домой настойчиво уговаривал императора Вильгельма всеми силами стараться жить в дружбе с Россией. Этого же добивался настойчиво, как говорят, и адмирал Тирпиц. Кроме них, кажется, никого не было в Германии на стороне русских.

Эта была моя последняя мирная и даже дружеская встреча с будущими врагами.

Приезд нашего тогдашнего друга и союзника президента Пуанкаре ожидался не ранее как через полторы недели; дел по опеке великого князя было мало, мое следующее дежурство при государе еще было далеко, и я уехал на это время к себе в деревню.

Помню те прекрасные жаркие дни, которые стояли в то время. Все было так мирно и красиво кругом. Никогда очарование родной деревней не охватывало меня с такой силой, как именно в эти предвоенные дни.

Помню и то, что в середине этого короткого пребывания, вечером 30 июня, возвращаясь с рыбной ловли со своего далекого озера, я неожиданно получил телеграмму из военно-походной канцелярии, призывавшую меня немедленно вернуться в Петербург, так как государю было угодно, чтобы я сопровождал Их Величества в Шхеры.

Отбытие из Петергофа было назначено уже утром через день, 2 июля²⁵¹, и при отдаленности моего Лашина от железной дороги задача оказалась нелегкой. Надо было ехать более 75 верст на почтовых, всегда измученных лошадях и по ужасной, тряской, песчаной, часто болотистой дороге. Все же мне это как-то удалось, и за полчаса до прибытия государя я был уже на Петергофской императорской пристани.

По дороге в Шхеры мы зашли тогда в Кронштадт, чтобы посетить новый док и голландский крейсер «Seeland», на котором прибыл в Россию супруг нидерландской королевы принц Генрих, брат нашей великой княгини Марии Павловны.

Сам принц находился тогда в Москве, и государь осмотрел его корабль в его отсутствие.

Благодаря счастливой случайности через 16 лет принц Генрих посетил мой скромный домик на чужбине, и я провел с ним 2-3 дня в оживленных разговорах. Память его на лица, фамилии и события далекого прошлого меня поразила; с простотой и добродушием непередаваемыми он делился со мной мелочами и впечатлениями, вынесенными им из тогдашних дней нашей русской как придворной, так и общественной жизни. Он покинул Россию всего за несколько дней до начала войны. В его рассказах, во многом оживлявших мою память, было все то, что я уже знал и сам пережил. Но одного я тогда не знал – это то, что наши

²⁵¹ См. комм. № 129. Автор не точен. Согласно дневнику императора Николая II, выехал из Петербурга на яхте «Штандарт» 30 июня 1914 г., 1 июля посетил Кронштадт.

придворные толки о Распутине казались многим иностранным коронованным особам, в противовес донесениям их послов, очень преувеличенными. Сам принц Генрих совершенно не верил в силу влияния Распутина, и он, иностранец, более чутко понимал натуру нашего государя, чем большинство русских.

Назначение сопровождать Их Величества во время их отдыха в Шхеры или в Крым являлось для флигель-адъютантов государя знаком особого к ним внимания и расположения. Брели туда лишь немногих, обыкновенно одних и тех же лиц, к которым более чем к другим успела привыкнуть царская семья.

Во избежание каких-либо иронических предположений хочется тут же сказать, что эти лица отнюдь не отличались от остальных своих товарищей какими-нибудь особенными способностями забавлять или стараниями особенно понравиться. Таковыми же «совсем не придворными» были и офицеры яхты.

Эта была уже моя третья туда поездка с царской семьей, и я вспоминаю, как еще при первом таком назначении отношение ко мне, новичку, ближайшей свиты государя и государыни почти внезапно стало другим.

Одни стали относиться с подчеркнутым дружелюбием и откровенностью, другим, как это я сейчас же почувствовал, такое предпочтение было не особенно приятно, хотя и они продолжали оставаться прекрасными товарищами, несмотря на свою эту придворную ревность.

В эту поездку двух лиц из самой ближайшей свиты государя не взяли с собой. Все это связывалось в толках с влиянием императрицы и с именем Распутина, на которого

перед самым нашим отъездом было произведено известное покушение Гусевой.

Мне не думается, чтобы их резкая неприязнь к этому человеку являлась единственной причиной такой, как говорили, особой немилости, так как и все остальные бывшие с нами на яхте, за исключением разве А. Вырубовой, относились к Распутину с тем же обычным и хорошо известным всей царской семье нерасположением. Причины их удаления были иные и более сложные, о чем я уже сказал где-то в своих записях²⁵².

²⁵² Лица ближайшей свиты, о которых я здесь упоминаю, были князь В. Н. Орлов и флигель-адъютант А. А. Дрентельн. Рассказывая в своих воспоминаниях об этом случае, А. А. Мосолов говорит так: «Был назначен отъезд на «Штандарте». Когда Орлов туда явился, царица позвала Фредерикса и заявила ему, чтобы граф приказал князю съехать с яхты, ибо Ее Величество не желает его видеть. Фредерикс пошел к государю, но тот подчинился воле супруги. Орлова просили, правда, под каким-то предлогом сойти. Только доводами военного времени удалось удержать князя от подачи в отставку!»

Этот рассказ в своих подробностях очень неточен. Все это, как я уже сказал, происходило не в дни войны, удержавшей якобы князя от подачи в отставку, а раньше, именно в ту последнюю поездку в Шхеры, перед самым приездом в Россию Пуанкаре. Графа Фредерикса в то время не было с нами на яхте, и Ее Величество не могла его призывать к себе и заявлять графу, чтобы он приказал князю Орлову съехать со «Штандарта». Насколько мне помнится, князь и не появлялся тогда на яхте. Было поступлено намного менее резко, менее обидно для князя и почти обычно, хотя, вероятно, смысл и оставался тот же. Я говорю «обычно», так как перед всякой поездкой военно-походной канцелярией подавался Его Величеству список лиц свиты, в котором государь лично и

Покушение на Распутина²⁵³ дало новую пищу толкам, и его обсуждали со всех сторон.

Маленький Алексей Николаевич в те дни из-за неосторожности ушиб себе ногу, появилось обычное у него кровоизлияние, он сильно страдал, и, как ни странно, это случайное ухудшение здоровья наследника многие связывали с положением почти смертельно раненного «старца»²⁵⁴.

отмечал тех лиц, кто должен был Их Величества в данном путешествии сопровождать, ибо никакой очереди не бывало. На этот раз – не в пример прежним – в списке не были отмечены для сопровождения ни князь Орлов, ни А. А. Дрентельн под предлогом, чтобы дать возможность и помощнику князя Орлова К. А. Нарышкину иногда сопровождать Их Величеств в Шхеры. Что касается до А. А. Дрентельна, то он был, насколько мне помнится, в то время болен, повредив себе перед самой поездкой ногу (*прим. автора*).

²⁵³ 29 июня (12 июля) 1914 г. на Г. Е. Распутина в селе Покровском было совершено покушение. Его ударила ножом в живот и тяжело ранила Хиония Гусева, приехавшая из Царицына. 3 июля Распутина перевезли на пароходе в Тюмень для лечения. В тюменской больнице Распутин оставался до 17 августа 1914 г. Следствие по делу о покушении продлилось около года. Гусеву в июле 1915 г. объявили душевнобольной и освободили от уголовной ответственности, поместив в психиатрическую лечебницу в Томске. 27 марта 1917 г. по личному указанию А. Ф. Керенского Гусеву освободили.

²⁵⁴ Из воспоминаний воспитателя цесаревича Алексея Николаевича П. Жильяра: «Когда мы поднимались на борт корабля [30 июня 1914 г.], цесаревич неудачно прыгнул и ударился лодыжкой об основание лестницы, ведущей на палубу. Сначала я

Вообще влияние так называемых «распутинцев» на будущие судьбы России в те дни начало уже заметно возрастать. Но не в том узком смысле, как это понимали тогда и многие еще продолжают понимать до сих пор.

подумал, что это небольшое происшествие не приведет к серьезным осложнениям, однако к вечеру у мальчика начались боли, и состояние его быстро ухудшилось. Все указывало на то, что нас ждет серьезное обострение болезни. Я спустился в каюту Алексея Николаевича. Он провел очень тяжелую ночь. При нем неотлучно находились царица и доктор Деревенко, но они были бессильны облегчить его страдания. День прошел в унынии и тянулся очень медленно. Еще накануне я заметил, что придворные как-то взбудоражены. Я спросил полковника Д., в чем дело, и узнал, что на Распутина было совершено нападение и его жизнь в опасности. Он уехал в Сибирь две недели назад и по приезде в свою родную деревню Покровское получил несколько ударов ножом в живот. Нападавшей была молодая женщина. Раны могли оказаться смертельными. На борту корабля царило возбуждение, все шепотом обсуждали случившееся и выдвигали самые невероятные версии. Однако разговоры смолкали, едва только на горизонте появлялся кто-либо, в ком можно было подозревать сторонника Распутина. Все втайне надеялись, что наконец-то избавятся от его тлетворного влияния, но никто не осмеливался слишком явно выражать свою радость. У зловещего мужика, казалось, было девять жизней, и вполне вероятно было, что он выживет... 19-го мы вернулись в Петергоф, куда вскоре должен был прибыть президент Французской республики. Наш круиз был прерван по этому поводу, а возобновить его мы смогли только после его отъезда. В последние два дня состояние Алексея Николаевича несколько улучшилось, но ходить он еще не мог, поэтому с яхты его снимали на руках» (*Жильяр П.* Император Николай II и его семья. М., 1991. С. 93-95).

По моему глубокому убеждению, «распутинцами» должны были бы называться, с одинаковым почти правом и одинаковыми заслугами, как те немногие, кто верил в особенную святость Распутина и прибегал к его «помощи», так и те бесчисленные, что с той же искренней верой были убеждены в его могущественном, хотя и тлетворном влиянии на политические дела.

И те, и другие, несмотря на явно притянутые за волосы факты, конечно, заблуждались, но это заблуждение стоило дорого моей Родине.

Когда-нибудь история, говоря о возникновении нашей революции и влиянии ее на несчастья всей Европы, назовет обе эти наивные разновидности русских «распутинцев» одинаково безумными.

Людей, печаловавшихся сильно о внимании царской семьи, хотя бы из-за болезни наследника, к грубому и хитрому мужлану, но совершенно не веривших в его политическую силу, было совсем немного. Их печалование было естественно и понятно, и я о них не говорю.

То, что я высказываю теперь здесь, по прошествии долгих лет, я высказывал нередко и тогда в тесном кругу своих близких и знакомых. Надо мной только смеялись, называли блаженным и близоруким... Я думаю, что будут смеяться и впредь...

Алексей Николаевич уже на яхте почти поправился, но поездка длилась не более 5 дней и протекала, как все такие поездки, в своем обычном течении. Государь отдыхал во время нее вполне, хотя и сюда приезжали ежедневно фельдъегеря с громадными пакетами бумаг и докладов.

Только императрица казалась более озабоченной, задумчивой и очень печальной. По словам бывшей с нами А.

А. Вырубовой, государыню мучили смутные предчувствия, и она часто повторяла, что уверена, мы последний раз находимся все вместе на яхте.

Жизнь на «Штандарте» проходила в тесном общении с царской семьей. Ежедневно съезжали на берег, на окружавшие острова, где играли в теннис, устраивали пикники и совершали длинные прогулки. Государь также любил катание на байдарке по беспокойному морю и в особенности купание. Это купание происходило в самой непритязательной деревенской обстановке. Никакой купальни устроено не было. На берегу стояла врытой простая тесовая скамейка, и вместе с Его Величеством тут же купались и некоторые матросы с яхты и желающие лица свиты.

Государь физически был очень силен и ловок, прекрасно плавал, нырял и мог подолгу оставаться даже в очень холодной воде.

По вечерам после обеда, к которому приглашались и все офицеры яхты, государь играл с кем-нибудь из них в домино или на маленьком бильярде. Императрица с ручной работой сидела невдалеке и беседовала с окружающими, а около великих княжон собиралась оживленная кучка молодежи.

Вся царская семья очень любила эти поездки и «свой» «Штандарт», чувствовала себя на нем совершенно непринужденно и всех его офицеров считала «своими». Среди них были действительно очень милые, скромные люди.

– Мы все здесь как одна семья, – любил говорить о них государь.

Мне лично также очень нравилась эта полуморская жизнь, полная комфорта, непринуждения и общения с красивой природой.

Сам «Штандарт» был устроен великолепно, с роскошью, возможною только на русских императорских яхтах. Но «Полярная звезда» – яхта, которой обыкновенно пользовалась императрица-мать и на которой мне приходилось также подолгу плавать, – мне лично казалась намного уютнее. В ее помещениях, не менее роскошных и обдуманных до мелочей, чувствовалось более домашнего и менее «морского».

Но наследник и великие княжны и слышать не хотели, когда я высказывал им такое предпочтение, – лучше «Штандарта» они ничего не знали на свете.

Со Шхерами у меня связывается и мое первое, более близкое знакомство с молодой царской семьей в ее простой домашней обстановке. Было это в конце июля 1912 года. Михаил Александрович в то лето уже командовал кавалергардским полком, находившимся в Красном Селе. Жили мы с ним там в небольшом, но уютном деревянном лагерном дворце, полном еще разных мелочей из личной обстановки императора Александра III и его супруги, постоянно останавливавшихся там во время пребывания в Красном Селе.

Но дни, свободные от лагерных занятий, великий князь, а с ним и я большей частью проводили в Петергофе, где жила летом его матушка. Государь в те дни находился в финляндских Шхерах.

Приближался день именин вдовствующей государыни, и императрица, не желая, чтобы государь из-за нее нарушил

свой отдых и приехал ее поздравлять, неожиданно решила провести эти дни с молодой царской семьей в Шхерах.

Императрица, как датская принцесса, с детства любила море той же поэтичной, горячей любовью, которую унаследовали именно от нее ее сыновья, а Михаил Александрович, кроме того, – и особенную любовь к конному спорту. Государыня-мать в молодости была неутомимой и смелой наездницей и принимала участие в больших конных охотах.

Вышли мы тогда в море на «Полярной звезде» за день или за два до 22 июля. Именины предполагалось отпраздновать в домашней обстановке. Из свиты никого, кроме графини Менгден, князя Шервашидзе, князя Оболенского и меня, не было.

Но Михаил Александрович, желая выделить этот день, втайне от своей матери погрузил на «Полярную звезду» весь громадный оркестр кавалергардского полка.

Помню, мы прибыли тогда в Шхеры поздней ночью и тихо бросили якорь рядом со «Штандартом». На нем уже все спали, и наше прибытие, по крайней мере для царской семьи, произошло незаметно.

Наутро, как только встали, к нам прибыла вся царская семья, оживленная нашим появлением, и принесла матери и бабушке свои подарки, а затем все остальное время мы проводили вместе.

Сначала все завтракали у нас на «Полярной звезде», а потом гуляли по островам, катались на шлюпках, мужчины купались с государем, а потом все отправились обедать на «Штандарт». Неожиданное появление кавалергардских трубачей навело на мысль сейчас же после завтрака устроить импровизированные танцы на палубе «Полярной звезды», в

которых принимали участие великие княжны, фрейлины молодой императрицы и офицеры яхты. Было очень непринужденно и весело. Государыня-мать очень любила своих внучат, сожалела, что их молодость проходит так замкнуто, и всегда старалась, когда они приезжали к ней, устроить им какое-нибудь развлечение. Правда, эти случаи бывали всегда крайне редки, но зато великие княжны веселились на этих маленьких празднествах вполне.

Они уже и тогда, в своем отроческом возрасте, были чрезвычайно красивы, женственны, изящны, но каждая из них была прелестна, естественна и застенчива по-своему. Многочисленные фотографии, передавая довольно хорошо внешние особенности каждой из сестер, все же не могли передать того оживления, которое почти не покидало их лиц.

При всякой смене настроений, даже в минуты раздражения или сильного горя, их лица могли оставаться красивыми.

Но что меня удивляло больше всего, это то, что ни одна из сестер упорно не хотела сознавать себя красивой и не делала никаких усилий, чтобы понравиться, что так присуще каждой молодой девушке и даже подростку. В них не было намека на какое-либо кокетство, и они совсем не думали о своей внешности.

Одеваясь по вечерам к обеду и в других торжественных случаях, по настоянию матери, с изысканным вкусом, они не боялись показываться во все остальное долгое время в самых простых, очень некрасивых, из дешевой материи платьях, а во время любимых прогулок с отцом носили неуклюжие высокие мужские сапоги и очень не элегантные шляпы.

Но и это к ним шло, как может все идти к тем счастливым людям, сумевшим сохранить и в юношеском возрасте всю свежесть и душевную простоту детства.

Несмотря на полнейшую разницу в характерах, все они были связаны между собою самою нежною дружбою.

Я много видел на своем веку хороших дружных семей, но такой сплоченности и такой сильной взаимной любви, которая сразу же чувствовалась всяким, попавшим в домашнюю обстановку царской семьи, мне, говоря по совести, еще ни разу не приходилось встречать.

Наиболее красивой из сестер, по отзывам большинства, считалась вторая дочь государя, великая княжна Татьяна Николаевна, более других походившая фигурой и серьезным, пылким характером на мать.

Наиболее резвой, находчивой, забавно подмечавшей слабые стороны окружающих была самая младшая – великая княжна Анастасия Николаевна. В ней было и много живого ума. Она была в возрасте моей дочери и мой большой друг. Я очень ее любил и ценил ее ко мне расположение.

Старшая – великая княжна Ольга Николаевна – была наиболее независимой, чрезвычайно способной к учению, легко все схватывавшей и, как отец, очень любившей чтение. И внешним, и внутренним обликом она напоминала в очень многом отца, но без его обычной задумчивости.

Наблюдательны, необычайно добры, но и весьма застенчивы они были все без исключения.

Третья дочь – великая княжна Мария Николаевна – была полнее других, более медлительная в движениях и самая добродушная, жалостливая и самая простая из всех сестер.

Каждая из них, как я уже сказал, была прелестна по-своему, и трудно было отдать какое-либо предпочтение одной перед остальными, но меня лично особенно притягивал как внешний, так и внутренний облик именно великой княжны Марии Николаевны. Со своими огромными серыми, лучистыми глазами, хотя округлым, но правильным овалом лица, со спокойными, почти медлительными движениями, она мне казалась типом настоящей славянской красавицы со всеми привлекательными особенностями, присущими только особенно хорошей русской девушке. Если ее сестры по праву заслуживали именование русских великих княжон, то она одна должна была бы называться русской царевной.

В ней невольно чувствовался и наш старинный терем с его хорошими привычками, и наша прежняя православная душа.

Весь ее внутренний мир, несмотря на молодость, был освещен именно этим тихим светом нашей бытовой народной религии, что и делало ее такой изумительно кроткой и сострадательной.

О печальных особенностях здоровья маленького наследника (гемофилия) писалось и говорилось слишком достаточно, чтобы стоило об этом повторять. Скажу только, что в год перед революцией внутренние кровоизлияния, вызванные ушибами неосторожного мальчика, становились все реже и реже; его немного сведенная раньше нога совсем распрямилась, и Алексей Николаевич по виду и движениям не отличался нисколько от совершенно здоровых детей его возраста.

Я вспоминаю, с какой ловкостью он участвовал в буйных играх своих сверстников, набранных из всех слоев

могилевского населения во время его частых пребываний в Ставке.

Это был изумительно красивый мальчик, стройный, изящный, смышленный и находчивый. На него нельзя было не залюбоваться, когда он шутливо становился на часы у столовой палатки государя, ожидая прихода туда отца, или показывал ружейные приемы своим крошечным ружьем – даже искусный унтер-офицер из образцового полка времен императора Николая I не смог бы проделать эти упражнения сноровистее и изящнее.

Наряду с внешними привлекательными качествами маленький наследник обладал, пожалуй, еще более привлекательными внутренними качествами.

У него было то, что мы, русские, привыкли называть «золотым сердцем». Он легко привязывался к людям, любил их, старался всеми силами помочь, в особенности тем, кто ему казался несправедливо обижен. У него, как и у его родителей, любовь эта основывалась главным образом на жалости. Царевич Алексей Николаевич был хотя немного и ленив, но очень способный мальчик (я думаю, потому и ленив, что способен), легко все схватывал, был вдумчив и находчив не по годам.

Застенчивость его в последние годы благодаря частому пребыванию в Ставке почти прошла. Несмотря на его добродушие и жалостливость, он, без всякого сомнения, обещал обладать в будущем твердым, независимым характером. Уже с раннего детства он не очень любил подчиняться и сравнительно легко сдавался, как и его отец, лишь на те доводы, которые ему лично казались основательными. Так же как и его отец и сестры, он чрезвычайно любил природу своей Родины и все русское. «Вам будет с ним

труднее справиться, чем со мной», – сказал как-то о нем государь одному из министров.

Действительно, Алексей Николаевич обещал быть не только хорошим, но и выдающимся русским монархом. Его здоровье, как я уже сказал, в последние годы войны почти совершенно восстановилось, и казалось, что основная болезнь, вызывавшая столько тревог, наконец будто его начинает покидать. Эта болезнь – гемофилия (усиленная склонность ко всяким кровоизлияниям), загадочная до сих пор по своему происхождению, все же давала порою и загадочные случаи если не полного исцеления, то продолжительной жизни. Она зарождалась внезапно в различных местах земного шара среди совершенно здоровых семей и тогда сразу же становилась наследственной. О ее первых случаях – в одной из испанских деревень – упоминалось еще в XII столетии. В XVII веке она появилась сначала в Баварии, а затем очаги ее перебрасывались в Англию, Северную Америку и Южную Германию. В XIX столетии она внезапно выявилась в английской королевской семье и среди испанских Бурбонов. Леопольд – герцог Альбани, 4-й сын королевы Виктории, как известно, страдал этой болезнью и скончался в 14 лет.

Через его совершенно здоровую сестру принцессу Алису, вышедшую замуж за Людвига Гессенского и ставшую матерью нашей молодой императрицы, она передалась и нашему наследнику. Страдают гемофилией исключительно лишь лица мужского пола; женщины ей совершенно не подвержены. Если женится подобный больной на женщине со здоровой кровью, то все его сыновья будут здоровы, что так важно для престолонаследия. Иначе обстоит дело с его дочерьми. Внешне они также будут совершенно здоровы, но будут иметь склонность, выходя замуж, передавать зачатки

этой болезни своему потомству, и притом таким образом, что половина их поколения, как мужского, так и женского, останется совершенно здоровой, а половина будет страдать гемофилией. Распознать же заранее, которая из девушек принадлежит к здоровой половине и которая к половине, обреченной на наследственную передачу болезни, – невозможно²⁵⁵.

* * *

Между собою и отцом дети говорили только по-русски. Девочки с матерью часто по-английски, но в последние годы и они с нею говорили большею частью на русском языке.

В семье маленький наследник был общим любимцем и отвечал своим такой же нежной любовью. Мне часто

²⁵⁵ У потомства королевы Англии Виктории 6 женщин – носительниц больного гена и 11 мужчин, больных гемофилией. Автор ошибается – сын Виктории, Леопольд, герцог Олбани, умер от гемофилии в возрасте 31 года. Его дочь была переносчиком больного гена, а внук – Рупрехт, принц Атлонский, болен. Дочь Виктории принцесса Беатрис была носительницей гена, а ее сыновья Леопольд и Мориц, принцы Баттенбергские, – больны гемофилией. Дочь Беатрисы принцесса Виктория-Евгения была носительницей, ее сыновья Альфонсо и Гонсало, инфанты испанские, – больны. Третья дочь Виктории, принцесса Алиса, – носительница гена, ее сын Фридрих умер от гемофилии в три года, дочь Ирена была носительницей, ее сыновья принц Генрих умер в четыре года от гемофилии, принц Вольдемар дожил до 56 лет, но умер от гемофилии; дочь Алиса (Гессенская) – переносчик гена, вышла за императора Николая II, их сын Алексей был обречен заболеть гемофилией.

вспоминается серьезное, почти молитвенное выражение его детского личика, с каким он, будучи еще совсем маленьким, отправляясь ко сну, крестил широким крестом своих родителей и сестер, да и всех тех, кто находился при этом в комнате.

Быть может, многим мои суждения о царской семье покажутся слишком хорошими, а потому и неправдоподобными. Но, спрашивая свою совесть, я снова нахожу, что мои суждения о них справедливы. Я очень любил государя и императрицу, и в их детях, с которыми был дружен, находил благодаря их общительной молодости с большей откровенностью все те качества, которые слишком часто были прикрыты у их родителей.

Пришлось бы много писать о тех стараниях и обстоятельствах, благодаря которым создалась, по моему мнению, такая удивительная, завидная семья.

Но в обществе все же много говорилось о якобы недостаточном образовании царских детей, об их плохих манерах. В особенности указывали на вред постоянного присутствия около наследника простого матроса в качестве его дядьки²⁵⁶; удивлялись и на полное отсутствие при великих княжнах особой воспитательницы и гувернантки. Действительно, после ушедшей фрейлины Тютчевой при них никого не было.

Сознаюсь, что мне тоже в свое время казалось странным, что великие княжны росли без приставленного к ним постоянного надзора, лишь под наблюдением хорошей, но

²⁵⁶ Автор имеет в виду боцмана А. Е. Деревенько – см. указатель.

болезненной матери; такова уж сила привычки к создавшимся обычаям жизни в состоятельных семьях.

Эту мать, императрицу Александру Федоровну, несмотря на все любопытство, которое ее окружало, все же мало знали, а потому и мало любили. К сожалению, как я уже сказал, наше общество и не стремилось ее ближе узнать.

Считая ее не обладающей нужными качествами для русской государыни, ее считали еще менее обладающей качествами воспитательницы.

А она была прежде всего и выше всего только мать, и притом мать в полном объеме этого священного слова, не слепо любившая своих детей, а сознававшая свой долг перед ними и ее новой Родиной.

Она, правда, бывала порою очень снисходительна к их шалостям, но была часто и очень строга, и, несмотря на строгость, она, как и государь, сумела остаться до конца любимым другом своих детей – счастье, которое дается не многим родителям.

Меня часто спрашивали, как отразилось полученное при подобных условиях образование на царских детях? Были ли они достаточно развиты?

На это я отвечал постоянно также вопросом – «что значит «достаточное» развитие?! и куда оно влечет?».

По моему мнению, достаточного развития нет ни у кого – оно у всякого и всегда недостаточно. Чем больше знаешь, тем сильнее осознаешь необходимость дальнейшего знания и вместе с тем глубже понимаешь, что и оно не в силах открыть самую волнующую человека тайну, и его надо заменить чем-то другим.

Я чувствовал только то, что как великие княжны, так и наследник крепко верили в Бога, и почти не разбирая любили людей. Этого, главного в жизни, пожалуй, не могли бы дать им сами по себе и самые высшие университетские курсы. Эта вера, любовь и жалость проявлялись у них часто наивным, но всегда особенно милым, привлекательным образом.

В скольких случаях мне приходилось быть тому свидетелем.

Они умели находчиво делать добро и подходили к людям с простотою и сердечностью удивительными. Больше всего их притягивали к себе дети, почему-то главным образом дети деревни или низших служащих.

Впрочем, и они сами в своей душе оставались детьми, несмотря на свой уже юношеский возраст, наблюдательность, а порою серьезную вдумчивость.

С тревогой и болью за них я присматривался к зачинавшейся революции. Так хотелось верить, что надвигающаяся буря, ломая деревья, пощадит хоть эти полевые цветки...

Человеческой злобе было угодно другое...

Но довольно – нахлынувшие воспоминания опять отнесли меня слишком далеко в сторону от моего рассказа.

В ту поездку в Шхеры я был для великих княжон еще вновь, и они немного меня чуждались, но к вечеру они уже со мною совершенно освоились.

После обеда на «Штандарте» состоялся оригинальный спектакль.

Маленькие Анастасия и Мария Николаевны играли небольшую французскую пьесу, и играли, по-моему, великолепно, как настоящие актеры, вошедшие в свою роль.

Когда я им это искренне высказал, они смутились, покраснели и бросились от меня в сторону. Они и потом очень не любили, когда их кто-нибудь хвалил.

Вечером, когда мы гуляли с государем по палубе, Его Величество, указывая мне на громадного, толстого, неуклюжего матроса, сказал:

– А вот, Мордвинов, главный друг моего Алексея; Алексей почему-то очень к нему привязан, да и этот толстяк тоже к нему неравнодушен.

Это и был знаменитый боцман Деревенько – сделавшийся впоследствии дядькой маленького наследника.

В тот день я познакомился впервые и с Анной Александровной Вырубовой. Она оказалась моей соседкой за обедом на «Штандарте». Еще на «Полярной звезде», во время танцев, я обратил внимание на очень полную, с простоватым лицом девушку, танцевавшую с большим увлечением. Она часто покидала танцующих, подбегала, как любящая девочка-дочь к матери, к молодой, ласково ей улыбавшейся императрице и делилась с ней своими радостными переживаниями. За столом она была очень со мной любезна, разговорчива, также по-детски весела и порядочно наивна. Помню, что в конце обеда она подарила мне на память «о «Штандарте» и о нашем первом знакомстве» большой пучок роз, находившийся около ее прибора.

Михаил Александрович тогда мне о ней сказал: «Вот, Анатолий Александрович, та особа, про которую так много говорят и которую все почему-то так не любят. Как вы ее находите? По-моему, она совершенно безобидная. Какая-то безалаберная и ветреная, но откровенная. В ней есть много хорошего. Она искренно любит мою belle soeur и брата. Нет,

правда, она совсем не опасна. Не верьте тому, что о ней говорят».

Пребывание в Шхерах в 1914 году длилось всего 5 дней – 7 июля ожидался уже приезд французского президента, и для этого надо было возвращаться накануне в Петергоф. По окончании всех торжеств предполагалось снова немедленно вернуться в Шхеры, так что почти весь наш багаж оставался на яхте.

Я упоминаю об этом мелком обстоятельстве только потому, чтобы показать, что надвинувшаяся через несколько дней война никем из нас не только не ожидалась, но даже и не предчувствовалась – настолько событие, непосредственно вызвавшее ее, казалось ничтожным, чтобы прибегнуть к такому безумному средству.

А между тем выстрел в Сараеве экзальтированного серба стоил жизни не только одному австрийскому эрцгерцогу, а миллионов жизней других людей, хотя и разных стран, но близкородственных и своей культурой, и своими одинаковыми христианскими верованиями.

Вероятно, все это было ничто в сравнении с человеческою злобою, завистью, жадностью и взаимным недоверием; таким образом, эта война по праву названа кем-то «гражданской войной Европы», и этим объясняется и ее жестокость, и ее безумие.

Конечно, причина причин и этого кровопролития спрятана в глубине тысячелетий, и было бы напрасно, как и несправедливо искать истинных виновников его только в менее отдаленном прошлом.

Наше время, при всех его остальных, весьма неважных качествах, все же возвышается даже над близким к нам

концом XIX века. Войны теперь, действительно искренне, не желают почти никто.

Но войны, как и революции, не зависят от желаний большинства, столь могучего, как уверяют, в остальных случаях.

Тут руководят другие, загадочные, глубоко упрятанные в человеческой природе причины. Древняя история Каина и Авеля лишь отчасти проливает на них свет.

Что касается до внешних обстоятельств, непосредственно вызвавших тогда войну, то они выявились вкратце следующим, довольно характерным образом.

Первый выстрел европейской войны, как известно, раздался 15/28 июня 1914 года в Сараеве. Император Вильгельм узнал об этом во время Кильской недели²⁵⁷ и собрался немедленно ехать к Францу-Иосифу, но из Вены его просили почему-то не приезжать, и он, чтобы подчеркнуть свое миролюбивое отношение к создававшемуся положению, уехал на отдых в норвежские фиорды.

Если верить тогдашним газетам, даже в самой Австрии сначала не произошло ровно ничего. Только почти через две недели, 24 июня / 7 июля, собрался австрийский Совет министров, и в отсутствие императора, находившегося в Ишине, постановил произвести строгое юридическое расследование, стараясь выяснить, насколько в убийстве

²⁵⁷ Кильская неделя – большое событие в мире парусного спорта и одновременно большой летний праздник на севере Германии. Кильская неделя проводится в Киле ежегодно в последнюю неделю июня. Впервые состоялась в 1882 г.

эрцгерцога Франца-Фердинанда могло быть замешано само сербское правительство²⁵⁸.

²⁵⁸ «На другой день после убийства эрцгерцога в Вене царила полная растерянность. Начальник генерального штаба Конрад фон Гетцендорф требовал войны против Сербии. Его поддерживал и министр иностранных дел, легкомысленный аристократ граф Берхтольд. Однако премьер Венгрии граф Тисса выступал против «военной партии» – а этот государственный деятель пользовался немалым влиянием. Престарелый император колебался. Весь опыт его долгой жизни научил его одному: высшая политическая мудрость, по его мнению, заключалась в том, чтобы, по возможности, никогда не принимать никаких ответственных решений. В этой обстановке колебаний и нерешительности, вполне понятных ввиду внутренней непрочности Габсбургской монархии, было, конечно, совершенно естественным запросить мнение союзника. Даже Конрад фон Гетцендорф полагал, что без помощи со стороны Германии нельзя идти на риск войны. На этом первом этапе кризиса вопрос о войне и мире фактически решался в Берлине. Вильгельму II было послано личное письмо Франца Иосифа и меморандум венского правительства по поводу балканской политики Австро-Венгрии. Эти документы повез секретарь Берхтольда граф Голос. В своем письме Франц Иосиф допускал, что в сараевском деле «будет невозможно доказать соучастие сербского правительства. Тем не менее, – продолжал император, – по существу, нельзя сомневаться, что политика сербского правительства направлена на объединение южного славянства и, следовательно, против владений габсбургского дома». Император приходил к заключению, что Сербия должна быть «устранена с Балкан в качестве политического фактора». Пока Тисса возражал против войны, начинать ее было немыслимо. Нельзя было воевать, когда глава правительства одной из двух составных частей государства заявлял, что он на это не согласен.

Но этого явного участия установлено не было, да оно, конечно, и не могло иметь места – время, когда официальные правители стран пользовались наемными убийцами для уничтожения своих внешних соперников, давно прошло. К тому же сербское правительство было не о двух головах, чтобы использовать такое вызывающее средство.

К этому средству, вероятно, прибегли другие, всегда далекие от правительства люди. Как показало австрийское судебное разбирательство, к этому делу было прикосновенно и международное масонство. Чиновник австрийского правительства фон (фамилия неразборчива. – *Ред.*), командированный для расследования преступления с политической стороны, доносил в Вену через 3 дня: «Соучастие сербского правительства в преступлении не только нельзя доказать, но даже предположить. Наоборот, многое говорит за то, что это соучастие следует считать исключенным»²⁵⁹.

Позиция Тиссы объяснялась тем, что в случае победы он опасался аннексии славянских областей, замены австро-венгерского дуализма австро-венгерско-славянским триализмом и умаления роли Венгрии. В случае поражения он ждал гибели старой Габсбургской монархии. Лишь с большим трудом сторонникам войны удалось переубедить графа Тиссу. Когда этого достигли, наступила уже середина июля» (История дипломатии, ОГИЗ. М – Л., 1945. Том 2. С. 238-266).

²⁵⁹ В настоящее время продолжают споры историков о том, было ли сербское правительство прямо причастно к Сараевскому убийству. Согласно одной из версий, заговор с целью убийства эрцгерцога был разработан под руководством начальника сербской разведки, который к тому же возглавлял тайную террористическую организацию «Черная рука». Эта организация якобы планировала

Только в воскресенье 6/19 июля, когда мы находились в Шхерах, был созван в Вене второй совет министров, на котором тайным постановлением было решено послать резкий ультиматум Сербии, уже заранее рассчитанный на его полную неприемственность. К удивлению всех, ответ Сербии был не только благоприятен, но даже в высшей степени предупредителен. Она почти всецело шла навстречу австрийским домогательствам и предлагала весь печальный случай передать на рассмотрение международного суда в Гааге или на рассмотрение других великих держав.

Таким образом, Австрия действовала не под влиянием мгновенно и бурно вспыхнувшего негодования, что было бы извинительно.

У нее был почти целый месяц, чтобы успокоиться и хладнокровно обсудить создавшееся положение, и потому приходится именно только ее одну, если отбрасывать все отдаленные причины, обвинять в сознательном желании нарушить европейский мир.

Эти свои воинственные намерения австрийское правительство к тому же очень долго сохраняло в тайне. Как уверяют сами австрийцы, граф Берхтольд даже не попытался в доверенных переговорах с остальными дружественными

покушение на жизнь не только Франца Фердинанда, но и болгарского царя и греческого короля. Сербское правительство якобы знало о готовящемся преступлении, но не приняло никаких мер для его предотвращения. Согласно другой точке зрения, покушение на жизнь Франца Фердинанда было осуществлено членами националистической организации «Млада Босна», с которой ни сербское правительство, ни «Черная рука» не были связаны.

Австрии державами выяснить их взгляды на создавшееся положение. Они все были поражены неожиданным ультиматумом.

Даже союзные с Австрией правительства ничего не знали заранее, что, по словам Чернина, произвело страшно тяжелое впечатление на Италию и Румынию.

Из окружавших императора Франца-Иосифа и членов австрийского совета министров только граф Тисса настойчиво предупреждал против резких выступлений и требовал, чтобы, несмотря на всю твердость австрийской ноты, она могла бы быть приемлемой Сербией, и только в противном случае должен был, по его мнению, последовать резкий, ведущий к войне ультиматум. «Для всякого человеческого предвидения, – писал он своему императору, – ясно, что подобное нападение на Сербию вызовет вмешательство России, а с ним и мировую войну».

Остальные австрийские деятели, к сожалению, верили в то, во что хотели верить и чего уже давно не могло быть в действительности, – после берлинского конгресса и аннексии Боснии и Герцеговины Россия уже не могла с прежнею, удивлявшей всех покорностью подчиняться австрийским и германским желаниям, да и Франция, хотя постепенно забывала, не могла все же совершенно забыть 70-й год.

Убежденные расчеты тогдашних германских и австрийских дипломатов на полный нейтралитет Англии в равной мере принадлежали лишь к числу самоубаюкивающих средств. Англия еще никому не позволяла безнаказанно увеличивать морскую силу в ущерб ее собственному военному флоту. И не только не позволили бы это сделать

английские дипломаты и правительство, но и весь английский народ.

Соревнование в постройке все новых и новых судов ложилось слишком тяжело на спину каждого англичанина, чтобы он не желал, воспользовавшись случаем, раз и навсегда положить этому предел.

Правда, англичане, как бывало не раз, могли бы спокойно предоставить другим уничтожать или уменьшать для них германский флот, но всякий мог понимать, что при сложившейся обстановке без содействия сильного великобританского флота такая возможность была почти исключена.

Несмотря на предупредительный ответ Сербии и искренние стремления Англии сохранить мир, австрийский посланник²⁶⁰ в субботу 12/25 июля покидает Белград, а 14/27 июля Франц-Иосиф подписывает объявление войны Сербии²⁶¹. Престарелый император долго и мучительно колебался перед этим решением. Против войны был и его близкий генерал-адъютант граф Паар²⁶².

²⁶⁰ Речь идет о бароне Владимире фон Гизле – см. указатель.

²⁶¹ Вечером 25 июля император Австро-Венгрии Франц Иосиф подписал приказ о мобилизации армии против Сербии. 27 июля с ним был согласован проект объявления войны Сербии и в 11 часов утра 28 июля был передан открытой телеграммой через Бухарест в Белград, ибо прямой провод между Веной и Белградом был прерван.

²⁶² «На 84-м году жизни, – говорил граф, – не подписывают объявление войны» (*прим. автора*)

Вильгельм II, как уже сказано, находился в это время в Норвегии. Об истинных намерениях австрийского двора он, как говорят, совершенно не знал. За все решающие дни он получил 5 июля 1914 года якобы только одно письмо от Франца-Иосифа, в котором говорилось, что нити убийства ведут к Белграду и что Австрия потребует самых обширных удовлетворений, и если они исполнены не будут, то австрийские войска войдут в Сербию²⁶³.

Но Сербия подчинилась ультиматуму, и война все-таки ей объявлена!

Испугавшись такого вызывающего поведения Австрии и надвигавшихся событий, Вильгельм II в тот же день, 14/27 июля, вернулся из Норвегии домой и, как рассказывают очевидцы, проявил кипучую деятельность.

²⁶³ Автор ошибается в своей оценке Вильгельма II и его незнании ситуации. Из донесения австро-венгерского посла в Берлине Сегени министру иностранных дел Австро-Венгрии Берхтольду от 5 июля 1914 г.: «Берлин. Собственноручное письмо императора Франца Иосифа и приложенный меморандум я передал Его Величеству. Император читал в моем присутствии с величайшим вниманием оба документа. Сначала он меня заверил в том, что ожидает с нашей стороны серьезного выступления против Сербии. По мнению императора Вильгельма, нельзя мешкать с этим выступлением. Позиция России будет во всяком случае враждебной, но он к этому готовился в течение ряда лет, и если даже дело дойдет до войны между Австро-Венгрией и Россией, то можем не сомневаться в том, что Германия выполнит свой союзный долг и будет стоять на нашей стороне... (Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов. М., 1940. С. 259).

16/29 июля он пригласил к себе в Потсдам всех главных военачальников и с места же им объявил: «Я совершенно не знаю и не понимаю, чего австрийцы еще хотят... Ведь сербы на все, до мельчайших подробностей, согласились. После 5 июля австрийцы мне ничего не говорят, чего бы они еще желали».

Справедливое раздражение на своего союзника ясно слышится в этих громких словах, но что говорил и что интимно советовал в следовавшие затем роковые часы императору Францу-Иосифу кайзер Вильгельм II, в точности вряд ли когда будет известно²⁶⁴.

Несомненно только одно, что его советы и настояния должны были бы быть решающими. Без поддержки

²⁶⁴ Опубликованные в 1920-1940 гг. дипломатические документы говорят о том, что кайзер Вильгельм II был главным подстрекателем войны Австро-Венгрии с Сербией. Из донесения германского посла в Вене фон Чиршки (Чиршского) министерству иностранных дел Германии от 24 июля 1914 г. «Вена... Для того чтобы демонстрировать свои хорошие намерения по отношению к России, граф Берхтольд вызвал к себе сегодня русского поверенного в делах, чтобы с ним подробно поговорить об отношении Австро-Венгрии к Сербии. Он заявил, что Австрия отнюдь не претендует на сербскую территорию. (Пометка Вильгельма: «Осел! Санджак Австрия должна взять, иначе сербы подойдут к Адриатическому морю».) Берхтольд далее заявил, что он не помышляет об изменении существующего соотношения сил на Балканах и в Европе. (Пометка Вильгельма: «Это изменение придет и должно прийти само собой. Австрия должна получить на Балканах господствующее положение по отношению к другим меньшим странам за счет России, иначе не будет покоя».) Чиршки» (Международные отношения 1870-1918 гг. С. 271).

Германии, конечно, Австрия не была бы в состоянии вести войну с кем бы то ни было. Она была вынуждена выслушивать не только советы, но и приказания своего сильного союзника.

Таким образом, как будто вся ответственность решения рокового вопроса ложилась на плечи обоих императоров (главным образом на Франца-Иосифа), так как противная сторона с особенной готовностью соглашалась на предложение Грея передать весь вопрос на решение конференции держав, что Австрия отклонила²⁶⁵.

Еще Ришелье говорил, что «30 квадратных футов королевского кабинета» его «заботят сильнее, чем вся поверхность Европы».

Это было верно, пожалуй, несколько веков назад, но уже не подходит к нашему XX веку. Решения, к сожалению, не зависят от одних государей или их советников. В возможностях своевременного прекращения войны они также бессильны, как и наиболее ловкие дипломаты или конференции наций... В их власти, да и то не всегда,

²⁶⁵ Речь идет о предложении Великобритании от 27 июля 1914 г. о созыве конференции четырех держав в Лондоне. Из воспоминаний после Великобритании в России Дж. Бьюкенена: «В своем стремлении сохранить мир Сазонов не отклонил ни одного из сделанных ему предложений. Он последовательно соглашался на проведение конференции четырех, посредничество Великобритании и Италии и на прямые переговоры между Россией и Австрией. Германия и Австрия, напротив, либо целиком и полностью отвергали эти предложения, либо не давали им осуществиться, отвечая уклончиво» (*Бьюкенен Дж. Моя миссия в России. М., 2006. С. 164*).

имеются лишь возможности оттянуть на некоторое время надвигающуюся катастрофу. Подобное бессилие монархов особенно чутко сознавал мой государь и с благородством души относился к своим коронованным противникам.

– Бедный старичок, – говорил мне как-то государь при получении известия о тяжелой болезни императора Франца-Иосифа, – как ему тяжело умирать, сознавая на себе всю ответственность за эту ужасную войну, а еще больше чувствуя все свое бессилие ей помешать!

Действительно, несмотря на все заманчивые мечтания, вряд ли наступит время, когда все мечи навсегда перекуются на плуги. Как и раньше, еще долго меч будет открывать дорогу плугу, да и сам плуг, когда не будет другого оружия, станет, несмотря на все запрещения, снова превращаться в меч или просто обратится в палку, когда захочет продвинуться дальше.

Спасение лишь в развитии всеобщей любви и довольстве малым.

Дает ли возможность расцвета этих великих чувств все умножающееся население земного шара – весьма сомнительно... И все-таки это не так уж невозможно.

Будем поэтому верить с тобой в углубление христианских идей, а с ними и в начало золотого века человечества...

Но как бы то ни было, какие бы причины ни позволили императору Вильгельму с достаточной силой повлиять на своего заносчивого союзника, приходится все же, к удивлению, вспомнить, что не Австрия, а именно Германия объявила первая России войну, а не мы Германии. Она сама признавала впоследствии все несчастье, которое произошло из-за этой поспешной «ошибки».

Конечно, подобной ошибки не было бы, если бы Германия, заранее уже предоставляя своему слабосильному союзнику полную свободу действий, сама не сделалась пленником безумной австрийской политики. Настойчивые, даже резкие советы германского канцлера Бетман-Гальвега, чтобы Австрия приняла английское предложение о посредничестве, остались в Вене без всякого внимания. Доброй воли к мирному решению вопроса было поэтому и в Германии достаточно. Этой воли, к сожалению, не было только у одной Австрии...

XXIII

Броненосец «La France» прибыл с президентом Пуанкаре в Кронштадт в понедельник 7 июля после полудня. Государь в морской форме вместе с французским послом Палеологом, Сазоновым и Извольским выехал встречать его на маленькой яхте «Александрия» и привез своего гостя на ней в Петергоф.

Помню, что незадолго до этого разразилась сильнейшая буря. Молнии, почти не переставая, бороздили все небо, что казалось многим дурным знаком для нашего союза. Но к прибытию Его Величества на пристань засияло солнце, и море успокоилось.

Встреча, оказанная президенту дружественной страны, была торжественна и, несмотря на торжественность, даже сердечна.

Петергоф, этот русский Версаль, в те роскошные летние дни был действительно необычайно красив со своим старинным дворцом, ниспадающими от него каскадами шахматной горы и далеким видом на море. Все фонтаны в парке были пущены, и Пуанкаре следовал от пристани до дворца по красивой аллее, среди шпалер войск, звуков музыки и бесчисленных, высоко бивших в небо струй воды, искрившихся на солнце.

Обыкновенно все старания человека дополнить и украсить природу только ее портят. В тот раз я изменил это прочно сложившееся у меня убеждение.

Вечером, как полагается, был обед в старинном Елизаветинском зале Большого дворца – великолепнее которого, по словам французов, они не видели ни при одном дворе мира.

Что бы они сказали, если бы им пришлось присутствовать не на этом маленьком приеме, а на каком-нибудь балу или выходе в нашем Зимнем дворце.

Помню, что государь произнес тогда, по имевшейся у него записке, очень твердым и громким голосом свою известную приветственную речь и что ему отвечал Пуанкаре с еще большим подъемом и определенностью.

Все эти 4 дня пребывания у нас французов я оставался в Петергофе, где мне было отведено помещение во фрейлинском доме, и принимал участие во всех торжествах.

На следующий день Пуанкаре уезжал в Петербург, вернулся только поздно ночью. Но до своего отъезда он виделся утром с государем и завтракал у него в Александрийском коттедже, в домашней обстановке.

В среду 9 июля в Петергофском дворце был торжественный завтрак для президента и для прибывших с ним французских моряков.

Завтрак был без дам, так как императрица по нездоровью не могла присутствовать. Сейчас же после этого последовал отъезд в Красное Село на Зарю с церемонией, затем обед в лагере у великого князя Николая Николаевича и спектакль к Красносельскому театру.

Вечер в день Зари был тихий, но необычайно душный. Государь был на коне. За ним следовала в коляске императрица с президентом и старшими великими княжнами. Свита следовала верхом по обе стороны царского экипажа.

Объезд бесчисленных войск, выстроенных впереди лагерных помещений, и последовавшая затем Заря длились очень долго и были из-за жары утомительны, но их картина по своей непередаваемой красоте, как и бывшего на

следующий день парада войскам, до сих пор осталась у меня памяти. В особенности этот красносельский парад – последняя красивая военная картина старой России. Он был так величественно показателен и наполнял меня как русского такими гордыми уверенными переживаниями.

Да, как я наблюдал, и не меня одного.

Я был дежурным в тот день при Его Величестве, находился вблизи него и видел, что и он был охвачен не менее волнующими чувствами, чем я.

Пуанкаре все время находился без шляпы, не отрывая глаз от проходивших мимо русских войск, и из-за этого лишь изредка, почти не оборачиваясь, обменивался короткими впечатлениями с сидевшей около него императрицей.

Тот, кто с иронией отзывается о всяких военных парадах и говорит, что они лишь пустое препровождение времени, ничего не показывают и ничего еще не доказывают, все же во многом не прав.

Если такое торжественное прохождение перед своим верховным вождем многочисленных войск действительно еще не может доказать их особенное мужество, военное искусство и выносливость, то все же эта картина невольно волнующа. Она наглядно показывает всю красоту цвета нации и явленную этой нацией возможность ее сплоченности, а следовательно, и ее силы.

Ни одно из столь любимых в наши дни показательных шествий «пролетариата» с красными флагами и плакатами или других невоенных корпораций, как бы многочисленны они ни были, не дает и намека на подобное впечатление. Толпа всегда останется толпою, какою бы организованностью или пафосом она ни обладала.

Уже в одних несомых ею плакатах, несмотря на их громкие фразы, чувствуются лишь самолюбивые побуждения материального свойства. Это обыкновенно не призыв к единению и возвеличению Родины, а крик зависти, злобы и раздора. В сравнении с незыблемой святостью войсковых знамен и штандартов подобные плакаты справедливо заслужили название «тряпок».

В тот же день, в четверг 10/23 июля, после красносельского парада вечером последовал прощальный обед, данный Пуанкаре в честь Их Величеств на броненосце «La France» и отбытие французского президента, как предполагалось, с ответными визитами в Стокгольм, Копенгаген и Христианию.

Переезд на этот обед, на рейд в Кронштадт, в полном составе, но без наследника, царская семья совершила опять на «Александрии». Маленькая яхта на этот раз была переполнена, так как государь пригласил следовать с собою и остальных великих князей и княгинь.

Помню, что тогда с нами ехали: великие князья Николай Николаевич, Николай Михайлович, Павел Александрович; великие княгини Мария Павловна, Анастасия и Милица Николаевны, французский посол Палеолог и, кажется, Извольский и Сазонов.

На яхте же находился и представитель (даже, кажется, сам директор) французского телеграфного агентства.

Небольшая буря, бывшая опять днем, вскоре улеглась. Теплый вечер с ласкающим ветерком делал этот морской переход особенно приятным. Все были хорошо настроены, оживленно обменивались впечатлениями, и только среди прибывших на яхту французских представителей печати и

директора телеграфного агентства мы, свита, заметили какое-то смущение и непонятное нам беспокойство.

Помню, что над их бросавшимся в глаза замешательством мы даже немного посмеивались и говорили шутя, что, «вероятно, при существующей во Франции борьбе партий получилось известие, что Пуанкаре больше не президент, и вместо него выбран другой, или что-нибудь подобное в таком роде».

На самом деле, как я это теперь сопоставляю, это и был тот момент, когда французы первые получили тогда известие о вручении Австрией ультиматума Сербии. Судя по рассказу бывшего австрийского посланника в Сербии генерала Гизль, ему было предписано по телеграфу из Вены отложить вручение ультиматума до 6 часов вечера²⁶⁶, чтобы французский флот успел уйти из Кронштадта, и тем не дать возможности России и Франции немедленно сговориться об ответе.

В данном случае австрийцы были плохо осведомлены и ошиблись на несколько длинных часов. Впрочем, и сама эта уловка была довольно наивна и недостойна серьезного положения: в те часы, да и позже Россия и Франция могли только сговариваться о способах сохранения мира.

Помню и то, что, вступая на яхту, мне передали как дежурному флигель-адъютанту для вручения Его Величеству без всякого предупреждения толстый пакет, заключавший

²⁶⁶ Первоначально было гр. Бертольд приказано вручить этот ультиматум Сербии на час раньше, то есть в 5 часов дня (*прим. автора*)

пачку, как казалось, обычных в этот час агентских телеграмм.

Государь в то время был занят разговором на палубе с великими князьями и Палеологом и сказал мне: «Пожалуйста, Мордвинов, положите эти телеграммы пока в каюте на мой стол. Это, вероятно, агентские. Вряд ли в них имеется что-нибудь важное».

Но в них на этот раз было, как мне думается, не только важное, но и роковое.

Прощальный обед происходил на палубе громадного французского броненосца и, надо сознаться, был великолепен как своим роскошным, продуманным убранством, освещением, так и изысканным меню.

Всю обстановку для него, употреблявшуюся только в исключительных случаях, французы привезли с собою из Парижа. Часть ее, наверное, помнила еще французских королей.

Число приглашенных было сравнительно велико. Стол был длинный, и над ним высились жерла громадных морских орудий. Лишь одни эти пушки напоминали мне в то время почему-то назойливо о войне и казались мне совершенно лишними в этой мирной гармонии цветов и запахов тихой ласкающей ночи.

Моим соседом по столу оказался chef de Protocol. Перед тем как сесть за стол, он озабоченно почему-то посматривал на меня и вдруг воскликнул:

– Как?! В такой памятный для французов день, находясь у нас, вы, адъютант императора, не имеете ордена Франции? Неужели вам его не успели вручить при входе на корабль... Какая непростительная оплошность с нашей стороны. Я знаю, что орден вам пожалован. Но мы сейчас это исправим.

И он снял со своей груди имевшейся у него орден Почетного легиона и прикрепил его на мне...

Chef de Protocol оказался очень милым и оживленным собеседником. Он был в искреннем восторге от всего того, что видел у нас. О Сербии и Австрии он даже не упоминал, а интересовался нашими придворными обычаями и распорядками и очень просил послать ему в Париж все русские газеты и журналы, описывавшие пребывание у нас президента Французской республики.

Я это, конечно, обещал и, к сожалению, обещания не исполнил. Нахлынувшие затем события заставили надолго забыть и многое другое, более важное.

Обед, в противоположность обычным большим официальным обедам, казался довольно оживленным, но, встав из-за стола, государь был, видимо, чем-то очень озабочен. Он предложил Пуанкаре перейти с ним на верхний мостик, где не так мешала громкая музыка, чтобы переговорить на прощание. Их разговор длился довольно долго, и только через полчаса выстроившийся у схода французский почетный караул показал мне, что Их Величества покидают корабль. Государь пригласил следовать с собою и французского посла, и тот стал поспешно спускаться по сходням за императорскою четой.

Пуанкаре после прощального разговора сохранял свой оживленный вид и казался не озабоченным. Он стоял на палубе и с шутливым упреком кричал вниз Палеологу:

– До скорого же свидания, мой дорогой посол во Франции. Вы так спешите следовать за императором России, что забыли даже проститься с вашим уезжающим президентом, а я не мог даже пожать вам на прощание крепко руку.

Сейчас же после нашего отбытия французская эскадра подняла якорь и стала медленно удаляться от «Александрии».

Адмирал Нилов подошел к государю и спросил указаний, куда Его Величество желает следовать.

– Знаете что, – сказал государь, обращаясь к окружающим, – ночь настолько приятная, что, право, жаль возвращаться домой. Не сделать ли нам небольшую прогулку по морю? Надеюсь, мои спутники не будут иметь ничего против?

Я и раньше часто замечал, что государь, как и его брат, великий князь Михаил Александрович, в часы, когда их что-нибудь тревожило или приходилось о чем-нибудь особенно серьезном обдумывать, всегда старались находиться не в замкнутых стенах комнат, а предпочитали открытую природу и усиленное движение на свежем воздухе.

Только эта неожиданная прогулка в столь поздние часы да некоторая рассеянность французского посла при отбытии с «La France» на мгновение подсказали мне, что события, связанные о Веной и Сербией, вовсе уж не так маловажны, какими они представлялись ранее.

Но это показалось мне только на одно мгновение. Государь был не один и казался спокойным.

После короткого разговора с Палеологом²⁶⁷ его окружили великие князья. Все они обменивались оживленными

²⁶⁷ «Усадив меня около себя, на корме яхты, император рассказывает мне про беседу, которая у него только что была с Пуанкаре:

– Я в восторге от моего разговора с президентом, мы удивительно сговорились. Я не менее миролюбив, чем он, и он не менее, чем я, решительно настроен сделать все, что будет нужно, чтобы не допустить нарушения мира. Он опасается австро-германского движения против Сербии, и он думает, что мы должны будем на него ответить тесным и прочным согласием нашей дипломатии. Я думаю так же. Мы должны будем показать себя столь же непоколебимыми, как и объединенными в поисках мировых сделок и необходимых средств к примирению. Чем труднее будет положение, тем более объединенными и непоколебимыми мы должны быть.

– Эта политика кажется мне самой мудростью. Я боюсь, чтобы нам не пришлось применить ее в скором времени.

– Вы все еще тревожитесь?

– Да, государь.

– У вас есть новые причины беспокойства?

– У меня есть по крайней мере одна – неожиданное возвращение моего коллеги Сапари и холодная, враждебная осторожность, в которую он замкнулся третьего дня перед президентом Республики... Германия и Австрия готовят нам взрыв.

– Чего они могут желать? Доставить себе дипломатический успех насчет Сербии? Нанести урон тройственному согласию? Нет, нет. несмотря на всю видимость, император Вильгельм слишком осторожен, чтобы кинуть свою страну в безумную авантюру... А император Франц Иосиф хочет умереть спокойно.

впечатлениями о приеме, оказанном французским президентом. Да и мы, свита, в разговоре между собой говорили лишь вскользь, что Австрия не о двух головах, чтобы идти на разрыв с Россией, и одобряли сказанные за обедом твердые слова Пуанкаре, что «Франция при всяких обстоятельствах будет на стороне своего союзника».

Вернулись мы к себе домой в Петергоф только во втором часу ночи.

На следующее утро было 11 июля – день именин моей жены и великой княгини Ольги Александровны. Моя семья находилась в деревне, а потому, сменившись с дежурства, я поехал в Старый Петергоф завтракать к великой княгине, которая все те дни чувствовала себя нездоровой. В тот день я государя больше не видел, но Ольга Александровна незадолго до меня с ним разговаривала и ничего тревожного из слов Его Величества не вынесла.

Помню, что государь на следующий день предполагал выехать в Красное Село для обычного смотра прибывшим туда двум очередным армейским кавалерийским полкам.

Так как предполагавшееся немедленное возвращение в Шхеры из-за нездоровья маленького Алексея Николаевича было отложено, по словам великой княгини, на неопределенное время, а мое следующее дежурство при государе приходилось только через неделю, то я тут же решил выехать

В течение минуты он остается молчаливым, как если бы он следил за неясною мыслью. Затем он встает и делает несколько шагов по палубе» (*Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М.: Международные отношения, 1991. С. 152*).

вечером на это свободное время в Лашино на «черствые именины» жены²⁶⁸.

Помню, что вагон 1-го класса, в котором я ехал до Чудова, был до давки переполнен пассажирами. Почти у всех в руках были вечерние газеты, но все были единодушно убеждены, что никакой войны, конечно, не будет, хотя мы и не дадим Австрии себя запугать, как это было в 1908 году.

Такого же убеждения был и я и, приехав в свое Лашино, совсем и забыл про сербский ультиматум.

Рано утром 18 июля, когда я собирался с женой куда-то ехать, но находился еще в кровати, мне постучал наш лакей из местных крестьян и объявил, что экипаж подан быть не может – только что пришло из волости распоряжение немедленно вести всех лошадей на сборный пункт, так как объявлена война!

– Какая война? И с кем? – изумленно спрашивал я. – Это вам напутали – просто назначена пробная мобилизация, как было несколько лет назад.

– Нет, Анатолий Александрович, – отвечал он, – на этот раз взаправду война – кто говорит, с турками, а кто – и с немцами... В телеграмме, с кем воевать, не сказано. Думается, что с турками – с кем же другим – это они все христиан обижают. А только мобилизация самая настоящая,

²⁶⁸ Черствые именины (иноск.) – отмечать прошедшие именины (намек на почерствелое будто угощение, на остатки от него). Именины Ольги отмечают 11 июля (24 июля) в честь равноапостольной княгини Ольги, первой правительницы из русских, принявшей христианство, которая была предвестницей Крещения Руси.

вон и всех запасных из нашей деревни в волость погнали, да и бумага об этом у часовни прибита.

Почта в нашей отдаленной от железной дороги местности приходила только два раза в неделю.

В последних газетах, полученных накануне, было только сказано, что «русское правительство с особенным вниманием следит за развивающимися отношениями между Австрией и Сербией» или что-то вроде этого, не менее расплывчатое.

Правда, переводя этот туманный дипломатический язык на общепринятый, получалось предупреждение, и довольно значительное, но до войны, конечно, еще было далеко.

Справки, наведенные мною сейчас же в волостном правлении, тоже не дали ничего определенного. Распоряжение о настоящей, а не пробной мобилизации действительно пришло, а войны объявлено не было.

Говорили также, что воинский начальник в уездном городе был поставлен в тупик, так как якобы сначала пришла телеграмма лишь о частичной мобилизации, и только через некоторое время сообщили ему по телеграфу же о мобилизации всеобщей.

К вечеру я получил телеграмму из военно-походной канцелярии, уведомлявшую меня, что я назначен дежурным при Его Величестве на 23 июля, и только, ни одного слова не говорилось о войне, мобилизации или о том, что я как окончивший Академию генерального штаба назначаюсь куда-нибудь, как это было при объявлении Японской войны.

Но лошади моего имения с приемного пункта не вернулись – все были признаны годными, а вернувшимся из волости запасным был дан только день срока для приведения в порядок их домашних дел.

20 июля было воскресенье и Ильин день, праздник нашей деревни и крестный ход. Приехавший к нам священник, живший около волостного правления, сообщил мне, что, когда он уезжал из дома, была получена телеграмма из нашего уездного города, что накануне Германия объявила нам внезапно войну и что в деревнях, мимо которых он проезжал, об этом уже узнали; там царит большое воодушевление, и даже многие не мобилизованные вызываются идти добровольцами.

– Все, и старики в том числе, говорят, что надо хорошенько проучить немца, чтоб не совался ни с того ни с сего воевать с Россией. Даже бабы, не так, как было в Японскую войну, совсем не причитают.

Действительно, я сам удивлялся той спокойной уверенности, с которою была принята эта неожиданная весть в моей деревне, и притом еще в продолжавшуюся горячую рабочую пору.

Ко мне тоже явились несколько крестьян из ближних деревень, чтобы объявить об их желании идти добровольцами и спросить, где надо для этого записаться.

И тут больше всего вызывало их негодование, что Германия нападала на нас без всякой причины.

Если бы Россия первая благодаря вызывательству Австрии объявила войну, то, конечно, этих деревенских добровольцев не было бы, как не было бы, хотя и короткого, примирения партий и воодушевления в городах. Наша Родина восприняла тогда нахлынувшее на нее испытание как явную необходимость защиты, но так же явно и искренно войны не желала.

Тем менее желала ее маленькая Сербия. Еще в январе 1914 года, всего за 5 месяцев до начала военных действий,

Пашич имел случай беседовать с нашим государем и указывал ему на то унижительное положение, в которое за последние годы так настойчиво ставил пангерманизм все славянские нации²⁶⁹.

Славянство не только должно было «проглотить» пилюлю аннексии Боснии и Герцеговины, но и с горечью видеть, как затем победоносной в Балканской войне Сербии было запрещено Веной и Берлином воспользоваться плодами своих побед²⁷⁰. Нашему государю как общепризнанному покровителю славянских стран все это было тяжело сознавать, тем не менее он тогда твердо и откровенно сказал Пашичу:

²⁶⁹ Император Николай II принял сербского председателя совета министров Н. Пашича 20 января 1914 г. (Дневники императора Николая II. 1894-1918. Т. II. Ч. 2. М., 2013. С. 6).

²⁷⁰ Речь идет об итогах Второй Балканской войны между Сербией и Болгарией. 10 августа 1913 г. был подписан Бухарестский мирный договор. Болгария потеряла большую часть занятых в ходе Первой Балканской войны территорий, а также передала Румынии Южную Добруджу – около 7 тыс. квадратных километров. Македонию поделили между Сербией и Грецией. Территория Сербии увеличилась с 48,3 до 87,7 тыс. квадратных километров, а население – с 2,9 до 4,4 млн человек. Главный соперник Сербии на Балканском полуострове среди славянских государств Болгария была разбита и задвинута на второй план. Однако радость была недолгой. Разрушение Балканского союза резко ухудшило возможности славян в борьбе с австро-германскими силами в Первую мировую войну.

– Как бы тяжело ни третировали нас наши противники, все же приходится нам терпеть. Россия теперь не может вести войны.

В самой Сербии даже во второй половине июля настолько мало предчувствовали войну, что сам Пашич, находившийся тогда в служебной поездке по стране, решил свернуть для небольшого отдыха на два дня на морские купания в Салоники.

Правда, уже в пути туда до него доходили тревожные известия, но его уверенность, что мир не будет нарушен, была настолько велика, что он спокойно продолжал путь к морю. Только на последней станции он получил взволнованную телеграмму от своего королевича-регента, объявлявшую о полученном ультиматуме и призывавшую его немедленно вернуться в Белград²⁷¹.

²⁷¹ Телеграмма сербского регента королевича Александра Николаю I от 24 июля 1914 г.: «Вчера вечером австро-венгерское правительство передало сербскому правительству ноту относительно покушения в Сараеве. Сербия в сознании своих международных обязательств заявила с первых дней ужасного преступления, что она осуждает это злодеяние и готова открыть следствие на своей территории в том случае, если дело, которое ведется австро-венгерскими властями, докажет соучастие некоторых ее подданных. Но требования, заключенные в ноте австро-венгерского правительства, несовместимы с достоинством Сербии как независимого государства и излишне для нее унижительны. Требуется, между прочим, в категорической форме от нас декларация правительства в официальной газете, приказ короля по армии, в котором мы осуждали бы враждебный дух против Австро-Венгрии и вместе с тем высказали бы себе самим упреки за преступное попустительство по отношению к коварным

Такая же уверенность царя и среди правительственных людей Франции. В том же июле 1914 года, за 2-3 недели до войны, ее министр Бриан уверял сотрудника «*Matin*», что «Германия еще не сошла с ума и что поэтому войны не может быть».

Покорная предупредительность Сербии по отношению к Австрии уже известна. Таким образом, уверения противных сторон, что Сербия «желала войны и серьезно, по указке России, к ней готовилась», явно противоречат действительности.

проискам, далее нам ставят условием присутствие австро-венгерских чиновников в Сербии как для совместного участия с нашими в следствии, так и для наблюдения за выполнением остальных мероприятий, указанных в ноте. Нам дают 48-часовой срок для принятия всего, в противном случае австро-венгерская миссия выедет из Белграда. Мы готовы принять те требования Австро-Венгрии, которые совместимы с положением независимого государства, а также и те, кои Ваше Величество, по ознакомлении с ними, посоветуете нам принять; мы строго накажем всех тех, участие коих в покушении будет доказано. Среди условий находятся и такие, которые требуют перемен в нашем законодательстве, и для сего нам необходимо время. Срок назначен слишком краткий. Австро-венгерская армия сосредоточивается около нашей границы и может нас атаковать по истечении срока. Мы не можем защищаться. Посему молим Ваше Величество оказать нам помощь возможно скорее. Ваше Величество дало нам столько доказательств своего драгоценного благоволения, и мы твердо надеемся, что этот призыв найдет отклик в его славянском и благородном сердце. Я являюсь выразителем чувств сербского народа, который в эти трудные времена молит Ваше Величество принять участие в судьбах Сербии» (Международные отношения 1870-1918 гг. С. 271).

В упрек Австрии необходимо также сказать, что, кроме нее самой, никто из европейских правителей в те именно дни совершенно не предполагал воевать.

Наш государь, как я уже сказал, находился тогда в Шхерах, Вильгельм II отдыхал в норвежских фиордах, Пуанкаре с полным спокойствием отправился с заранее оповещенными ответными визитами в Петербург, Стокгольм, Копенгаген и Христианию.

Сопоставляя эти обстоятельства, невольно приходит на ум, что Австрия очень ловко и, конечно, умышленно выбрала самое подходящее время для объявления своего ультиматума о наказании Сербии.

Она знала, что находившемуся среди открытого моря президенту Французской республики нелегко будет сноситься ни со своей страной, ни со своими союзниками.

Правда, в распоряжении этих последних оставался еще беспроволочный телеграф, но и против этого довольно ненадежного средства были приняты не только Австрией, но и Германией своеобразные меры.

Как показывают теперь архивные исследования, уже 14/27 июля 1914 года в 3 часа дня немецким телеграфным начальством было предписано своим подчиненным «помешать» радиотелеграфным сношениям между Францией и Россией «в форме, не нарушающей мира». Удивительные, жалкие меры, достойные тогдашних удивительных времен!

Итак, европейской войны как будто не хотели, этой войны так скоро не ожидали, ее очень опасались и, опасаясь, стремились переговорами в Гааге не дать ей возможности разыграться; а она все-таки наперекор всем желаниям и опасениям произошла, как произойдет и когда-нибудь

снова, при существовании еще более могущественной Лиги наций, чем нынешняя, и разных конференций по разоружению.

Чтобы избегать ее возникновения на очень долгое время, повторяю, людям необходимо прежде всего разоружиться внутри себя, забыть прежние обиды и научиться довольствоваться малым.

К нашему отчаянию, такие вещи, легко усвояемые ныне каждым порядочным человеком, не даются всей совокупности наций. Даже отдельные народы, поднявшиеся в своих стремлениях порою до высоких человеческих идеалов, не в силах остаться им верными до конца.

Рано или поздно, но и у наиболее стойких цивилизаций мира неминуемо наступает упадок, теряется не только их нравственная сила, но и благородный племенной облик, а затем происходит все то, что за этим упадком следует и чем так богаты наши теперешние жалкие годы.

Культура, конечно, не цивилизация, но и она стремится подчинить себе многих, почти всех, то есть сделать себя доступной массам, а из-за этого, конечно, похвального стремления сама быстро расплывается, становится поверхностной и уже ни на что хорошее, действенное не способной.

Высшая культура – культура на всю жизнь, это опять-таки удел лишь немногих отдельных людей, недоступный длительной сборной жизни народов... Тяжело становится, когда думаешь об этом заколдованном круге, и, пожалуй, только в крепкой религиозной вере находишь облегчение и спокойствие.

Верить в «человечество» – как это заманчиво, но и как расплывчато и непрочно! Нет! Будем лучше с тобою верить

только в отдельных благородных людей: они не принесут разочарований.

Человечество, как сказал еще Огюст Конт, «составляется больше из мертвых, чем из живых». Действительно, много славных людей, но не народов отдали свою жизнь за благо этого человечества, еще больше замучено своими же за старания остаться верными идеалам добра и справедливости. Перед этими немногими невольно преклоняешься. Но даже жертвы и страдания этих великих людей были все же бессильны двинуть человечество вперед.

1/5 людей земного шара, жившая еще недавно в достатке и довольстве и без помутнения разума и совести, живет снова сейчас, в XX веке, в условиях порою намного худших, чем во времена варварства.

Горькая мысль приходит при этом на ум: стоит ли народам возвышаться, чтобы затем так низко падать.

Конечно, благодаря тысячи мелких «случайностей» европейской войны могло бы и не быть, но к тысячи других, таких же ничтожностей и уловок, с удивительной легкостью толкнули людей на взаимное истребление.

Снова спрашиваю себя: значит ли это, что человечеству и впредь будет не под силу бороться хотя бы со своими военными страстями?

Ответ опять как будто напрашивается самый неутешительный. Во всяком случае, до тех пор, пока христианство будет исповедоваться государствами лишь наружно, а также будут иметься государства и не христианские, войны среди них будут существовать, и никакой иной силой их не предотвратить.

Без внутреннего разоружения простое отнятие от людей пушек, ружей, аэропланов, броненосцев и т. п. ни к чему

новому, мирному и благородному, к несчастью, не приведет или приведет лишь временно. В конце концов, не имея усовершенствованного оружия и ядовитых газов, они схватятся за вилы, косы и топоры. Найдется сила (сомнительно), которая отнимет у них и это, они вооружатся, как Каин, камнем или дубиной. Отнимут от них и дубины, у них все же останутся зубы и кулаки...

* * *

Итак, война! Вспоминая то время, когда она началась, я поражен, насколько я, окончивший все же военную академию, плохо тогда разбирался в ее возможностях и ее огромных последствиях. Не только я, но и ученые «знатоки» военного дела, как и люди, посвященные во все тайны политики, финансов и военного министерства, не уступали мне в наивности своих выводов и своих мечтаний...

Впрочем, это бывало всегда в порядке вещей, объясняясь не только горячим патриотизмом, но и своего рода невольным подбадриванием. Никто не верил, что война продолжится более года, а многие убежденно, на основании теорий, примеров и разных денежных расчетов доказывали, что через 6 недель с нею непременно должно быть покончено.

Возможность затянутой, позиционной войны отвергалась совершенно как смешная в наше время. И все ошибались – как в размерах несчастья, так и в сроках.

Война длилась свыше 4 лет. Поглотила в себя 60 миллионов мобилизованного населения, из них 10 миллионов убитых и 30 миллионов раненых; уничтожила бесчисленное количество неповинных людей и на 110 миллиардов

ценностей и заставила рушиться 30 больших и малых престолов!²⁷²

Наш «Великий XX век» был действительно велик по своим непревзойденным преступлениям...

²⁷² В Первую мировую войну было вовлечено 38 государств с населением в 1,5 млрд человек – 87% населения всей планеты. В действующие армии правительства мобилизовали 73 млн человек, из которых было убито около 10 млн и 20 млн ранено. Еще 5 млн погибло от голода и болезней. Уничтожено материальных ценностей на 59 млрд рублей (Россия и СССР в войнах XX века. Историко-статистическое исследование. М., 2005. С. 111).

■ XXIV

Выехал я тогда из своего Лашина на дежурство при государе ночью 21 июля 1914 года. Мучительное, тревожное состояние из-за полной неизвестности меня не покидало.

Первая почтовая станция «Васильково», на которой перепрягали лошадей, находилась в глухом сосновом бору. Она не имела ни почтового отделения, ни телеграфа. Все же кое-какие новости дошли и туда. Знакомый мне ямщик Шоля, всегда очень необщительный, интересовавшийся ранее только своими «конями» и вином, сделался вдруг разговорчив и сообщил мне, что «какой-то проезжающий из Питера говорил ему, что не мы одни деремса теперь с немцами, а что и другие «царства» идут к нам на подмогу».

Кто эти другие, он назвать мне не мог, а только с довольством добавил:

– Ну, теперь как пить дать немцу будет крышка... чаво к нам суешься, коли не зовут!

На одной из следующих станций я нашел только оторванный клочок «Биржевых ведомостей», в котором кратко говорилось о вручении германским послом нам ноты с объявлением войны и что союзная с Германией Австрия продолжает не прерывать с нами сношений.

Это последнее меня особенно удивило и спутало.

Станция Николаевской железной дороги Чудово, куда я прибыл за несколько минут до отхода поезда, походила уже на военный лагерь. Она была переполнена запасными и офицерами. Пробираясь торопливо к своему вагону, я столкнулся со знакомым офицером, кирасиром Его Величества, ехавшим по мобилизационному расписанию за

приемкой лошадей. Не зная точно, где находится государь, и предполагая, что Ее Величество в эти дни уже выехала из Петергофа в Царское Село или даже в Петербург, я спросил его об этом прежде всего.

– Я и сам не знаю, – отвечал он, – знаю только, что у нас в Царском Селе государя нет. Да и вряд ли он останется в Петергофе или переехал в Зимний дворец. Когда я уезжал, то усиленно говорили, что дворец переезжает или даже уже переехал в Москву, так как близость Петербурга к морю, на котором германский флот сильнее нашего, далеко не безопасна. Говорят, что сделано уже распоряжение все ценности из дворцов и Эрмитажа также перевезти на время войны куда-нибудь в более верное место. Я советую вам, поезжайте прямо в Москву. Государь, наверное, там.

Но и на этот раз людская молва о «намерениях двора» была ошибочна. Приехав к себе через Тосно в Гатчинский дворец, я узнал по телефону, что государь продолжал спокойно жить в Петергофе, на самом берегу моря, и предполагал лишь на день выехать в Москву для объявления там, по обычаю, манифеста.

Так как железные дороги ходили по мобилизационному графику, а попасть в дачные поезда можно было тогда только силой, то, чтобы не опоздать на дежурство, я решил выехать в Петергоф накануне, в тот же вечер, что мне и удалось, стоя на подножке вагона со своим чемоданом.

На вокзале в Петергофе я столкнулся с генералом Комаровым, командиром собственного Его Величества полка, – первым человеком, который мог мне сказать что-нибудь более определенное о событиях.

Он довез меня в своей придворной карете до дворца.

– Скажите, как же все это случилось и так неожиданно скоро? – спросил я его. Он развел только руками.

– Никто ничего не понимает, и сам государь не понимает, – отвечал он. – Всю кашу заварил, конечно, Австрия, а вместо нее Германия объявляет нам вдруг войну, а сама Австрия молчит и находится с нами в мире! Да и Вильгельм сам запутался. Его посланник объявил нам войну, а вечером, уже после этого, государь получил телеграмму из Берлина, где Вильгельм указывает, что теперь только от одной России зависит сохранить мир, и заклинает, чтобы наши войска не переходили границу²⁷³. Раньше немцы требовали, чтобы мы демобилизовались, а как демобилизоваться, когда

²⁷³ Речь идет о телеграмме Вильгельма II императору Николаю II от 19 июля (1 августа) 1914 г.: «Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный путь, которым можно избежать войны. Несмотря на то что я требовал ответа сегодня к полудню, я до сих пор не получил от моего посла телеграммы, содержащей ответ твоего правительства. Ввиду этого я был вынужден мобилизовать свою армию. Немедленный, утвердительный, ясный и недвусмысленный ответ твоего правительства – единственный путь, которым можно избежать неисчислимых бедствий. Пока я не получу этого ответа, я, увы, не могу обсуждать твоей телеграммы по существу. Во всяком случае, я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам безусловно воздерживаться от малейшего нарушения наших границ. Вилли». На бланке рукою Николая II написано: «Получена после объявления войны» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 550. Л. 82). На бланке – отправлена из Берлина 1 августа 10.45 вечера, получена в Петергофе 20 июля 1.15 ночи. Посол Германии Ф. Пурталес вручил министру иностранных дел России С. Д. Сазонову ноту об объявлении войны 19 июля (1 августа) в 7.10 вечера.

Австрия первая стала бомбардировать Белград, несмотря на наше предупреждение.

Об этой удивительной по времени ее отослания телеграмме более подробно рассказал мне на следующий день и сам государь. Телеграмма эта пришла поздней ночью, на наше 20 июля, несколько часов спустя после объявления нам войны Германией. Государь находился уже в ванне, чтобы идти спать, и камердинер, зная от телеграфиста, что телеграмма от императора Вильгельма, не желал обождать нескольких минут и принес ее в ванную комнату. Помню, что я тогда высказывал мнение, что все это настолько странно, что единственно можно предположить только два обстоятельства: или Вильгельм II лично не знал, что его правительство через посланника уже поспешило объявить нам войну, или что телеграмма германского императора была послана еще днем, до этого события, и благодаря воцарившейся в Берлине суматохе и переполнению телеграфа пришла к нам так поздно.

Государь показал эту телеграмму также поздно ночью уже находившейся в кровати государыне, не менее его возмущавшейся такому странному перенесению ответственности на Россию.

– Ведь не мы объявили ему войну, а он нам, – говорила она.

Самой телеграммы я не видел, а потому и не могу сказать точно, в котором часу она была отправлена из Потсдама. Впоследствии мне говорили, что кайзер Вильгельм отправил ее спустя 6 часов после объявления нам войны.

Государя я нашел в то памятное по силе впечатлений дежурство сильно побледневшим и хотя чрезвычайно утомленным, но по виду спокойным.

– Вот что случилось, Мордвинов, – сказал он мне при встрече. – Могли ли мы с вами этого ожидать еще несколько дней назад? Но моя совесть спокойна, я сделал правда все возможное, чтобы избежать этого ужаса.

В конце июля вернулась из Англии императрица-мать. Не рыцарское отношение к ней во время ее обратного пути в Берлине волновало тогда живо всех, и для встречи государыни прибыли не только жители Петергофа, но и масса людей из Петербурга и его окрестностей.

Императрица была очень оживлена, с шутливой иронией отзывалась о немилостивом приеме, оказанном ей немецкими придворными, и была очень довольна восторженной встречей в Финляндии.

Финляндские студенты даже просили разрешения спеть перед ней свой особый национальный гимн, который не разрешалось петь в официальных случаях. В те часы и они были против немцев.

С приездом императрицы стало известно, что по просьбе матери государь разрешил великому князю Михаилу Александровичу вернуться на время войны на Родину. Он прибыл как-то незаметно для всех лишь поздней осенью, через север Финляндии в Петроград.

Ему было возвращено и прежнее военное звание. Вскоре он был назначен по инициативе кавказского наместника графа Воронцова-Дашкова командиром формировавшейся тогда из кавказских горцев особой дивизии, более известной под названием «дикий».

Многие, если не большинство, отнеслись с резкой критикой к этому назначению, находя его совсем не подходящим к брату государя. Но, как водится, поговорили, повозмуща-лись и забыли.

Великий князь командовал на фронте этой дивизией довольно долго и успешно и за личное мужество награжден был Георгиевским крестом²⁷⁴.

В марте 1915 года государь все же дал разрешение на состоявшийся три года назад брак Михаила Александровича, и этот бывший до этого не только морганатическим, но и незаконным брак стал, таким образом, и законным, и семьей признанным. Но прав престолонаследия потомству великого князя государь дать не мог, если бы даже этого и желал, так как оно противоречило бы совершенно закону, которому и Его Величество сам присягал.

29 сентября 1915 года была снята с великого князя и высочайшая опека, и я наконец освободился от угнетавшей меня обязанности.

Вскоре затем Михаил Александрович был назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса. Но серьезная болезнь – язва желудка, – которой он, несмотря на полное, как казалось, излечение, не переставал страдать, возвратилась к нему с прежнею силою.

²⁷⁴ Великий князь Михаил Александрович был назначен высочайшим приказом от 23 августа командиром Кавказской туземной конной дивизии, с 4 февраля 1916 г. командовал 2-м кавалерийским корпусом. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 5 марта 1915 г.

Он часто ездил поэтому с фронта в отпуск и в январе 1917 года, за месяц до революции, был назначен на вновь созданную, покойную должность генерала-инспектора кавалерии.

Что произошло в мартовские дни, уже известно. О дальнейшей участи Михаила Александровича я, находясь сначала подолгу в тюрьмах, а затем скрываясь на воле, наводил всеми путями справки. Сведения были многочисленны, но столь противоречивы, что о них мне придется сказать особо в другом месте.

* * *

Почти все мои предки были военными, но я лично с малых лет, восторгаясь отдельными подвигами, относился к самой войне всегда отрицательно; и потому, что я к ней относился отрицательно, я и сделался военным!

Действительно, какая яркая непоследовательность! Но она объяснялась у меня отчасти наивными мечтаниями в дни моего обособленного предоставленного самому себе детства да влиянием старинных, большею частью сентиментальных книг нашего имения, которые эти странные для мальчика моих лет мечтания тогда навеяли.

Из всех призваний призвание священника, монаха, в особенности отшельника в пустыне – этих врачевателей душ и молитвенников за всех – мне поэтому казалось наиболее великим и необходимым.

Но, ставя его в своих детских рассуждениях очень высоко, я находил лично себя для такого поприща совершенно недостойным.

Следующим по важности в моих тогдашних понятиях шло призвание доктора – целителя физических страданий и спасителя человеческих жизней. И оно казалось невероятно трудным. Чтобы стать доктором, надо было, по словам моей милой воспитательницы Софии Эдуардовны Бурхард, очень много резать трупов, а в те годы я больше всего боялся темных комнат и мертвецов.

Подвиг рыцаря, офицера или солдата, защищающего свою родину и всех обиженных, шел непосредственно за этими двумя первыми и представлялся мне не менее тех великим, а вместе с тем легче достижимым и особенно красивым.

Во мне не переставало жить восторженное воспоминание о том первом офицере, которого я увидел на только что тогда отстроенном вокзале в Чудове при моей первой поездке из деревни в столицу.

Он так был не похож на всех остальных в своем красивом гусарском мундире, и так громко звенела его волочившаяся сабля, когда он с важностью прогуливался по платформе, что его облик запомнился мне до сих пор.

В то время шла у нас Турецкая война, и доходившие до нашего «Среднего села» иллюстрированные журналы рисовали мне самые страшные, но и удивительные картины из военных подвигов наших офицеров и солдат, а также и «зверства» турок.

В особенности я ненавидел тогда башибузуков. Это они ни за что ни про что убивают мирных христиан; они одни в моем воображении олицетворяли собою войну в виде какого-то злого дракона из сказки, пожиравшего живых людей...

– Ох, Господи, опять сколько народу-то перебили, – говорила, рассматривая со мной картины, моя няня Екатерина Николаевна Шамичева. – Уж такое это горе эта война... и чего только людям надо. Сидели бы у себя дома, а других бы не трогали – а вот поди ж ты, все дерутся и дерутся... уж котора война на моей памяти. Угомону на них, нехристей, нет. Православным и передохнуть не дают.

– А как же, няня, – спрашивал я, – если бы не было войны, то не было бы и офицеров?

– Ишь что выдумал, – сердилась старушка. – Как так не было бы – затово и афицера дерутся, чтобы войну поскорей изничтожить... афицера завсегда должны быть, чтобы страх у других был, штоб войны не было. Без них нас кажинный, кто хошь, обидит... Они да солдаты наши защитники, царевы слуги... За тово афицерам царем и сабли дадены, да и сам царь затово завсегда в афицерской одежде ходит.

Этих слов было достаточно, чтобы я решил сделаться непременно офицером. Воспитывавшая меня бабушка об этом и слышать не хотела.

Меня с братом вскоре увезли из деревни и отдали в немецкий пансион, где я должен был изучать латынь и приготовляться к поступлению в училище правоведения.

Это были три самых ненавистных года из всей моей жизни, но в конце концов мое упрямство одержало верх, и я был определен в военный корпус. Помогло моему упорству еще одно, немаловажное в моих детских глазах, обстоятельство – мое отвращение к молоку, которое тогда давали по утрам в младших классах правоведения. Помню, что мой брат, поступивший немного раньше меня в более низший класс корпуса, раньше меня надел красивый мундир с

золотым галуном. Это был первый и последний случай, когда я ему позавидовал.

Попасть в корпус из-за большой моей близорукости было все же нелегко. Медицинский осмотр был очень строг, и многим, в особенности из-за глаз, было отказано в приеме. Помогла мне тогда моя прекрасная память. Во время освидетельствования других я успел, подойдя ближе, запомнить все буквы в том порядке, как они были начертаны на таблице для испытания зрения, и безошибочно назвал их затем доктору с дальнего расстояния.

Впоследствии, когда я стал уже молодым корнетом гвардейской кавалерии, мысли, высказанные когда-то моей няней, мне часто приходили на память. В своем главном они были верны – если офицеры и не могли «изничтожить» совсем войну, все-таки в их знании, способностях и мужестве заключалась единственная возможность сделать это неизбежно повторявшееся несчастье менее продолжительным и менее кровавым.

Умело ведя войска в бой, а не на бойню, они своими знаниями спасали тысячи человеческих жизней и, достигнув скорого успеха, заканчивали войну в более короткий срок, чем не подготовленные к военному делу люди.

«Зачем покупать победу ценой крови своих воинов, – говорил один из выдающихся военачальников древности, – когда долг полководца побеждать столько же искусством, как и оружием».

Эти слова также пали на душу и заставили бросить на время любимый полк и пойти в академию. Чтобы быть совершенно искренним, должен сознаться, что как одной из смешных причин моего поступления в корпус была когда-то моя исключительная нелюбовь к молоку, так и тут мое

стремление в военную академию отчасти вызывалось моим нерасположением к офицерам генерального штаба.

Мне, как и большинству строевых офицеров, не нравились ни их самоуверенность, ни их превосходство, которые слишком часто чувствовались в их отношениях к простым строевым офицерам.

Мне хотелось на самом себе испытать, имеют ли они право так гордиться. Академия, расширив до известной степени мои теоретические военные познания и заставив более глубоко о них думать, все же показала мне, что офицерам Генерального штаба возвеличиваться совсем не приходится. Одних знаний, даже высших, в том на % духовном деле, каким является война, еще далеко не достаточно.

Требуется неизмеримо больше другого, что дается людям только свыше и что обнаруживается лишь во время боев, а не в мирной жизни.

Нахлынувшая внезапно мобилизация заставила меня особенно задуматься о своих собственных способностях и возможностях. Разбираясь строго в самом себе, я находил, что, отстав, будучи раньше лишь эскадронным командиром, давно от строя, я гожусь еще для занятия какой-нибудь ответственной должности в одном из больших штабов, но что стать хорошим командиром хотя бы кавалерийского полка (плохим, конечно, мог быть всякий) я вряд ли был бы уже в состоянии.

Но я как окончивший академию числился в запасе офицеров Генерального штаба и был убежден, что, как и во время Японской войны, сейчас же получу какое-нибудь соответствующее назначение.

Мой брат был по призванию более строевым офицером, чем я.

Ко времени объявления войны он был уже давно в отставке, женат и осел в своем имении Виленской губернии, где занимал должность уездного предводителя дворянства. Весть о мобилизации и нападении немцев заставила его бросаться во все стороны и проситься вновь на военную службу. При содействии начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Янушкевича, бывшего товарища его по корпусу, ему это вскоре удалось.

Брат был определен прежним чином ротмистра в свой родной лейб-гвардейский кирасирский Ее Величества полк, которым командовал свой же однополчанин, на 4 года младше брата по выпуску.

Что касается до меня, то по прибытии мое в Петергоф мне было сейчас же объявлено, что по повелению Его Величества я впредь и во время войны должен оставаться в числе тех 3-4 флигель-адъютантов, которые числились в личной свите государя императора.

Остальные, числившиеся в строевых частях, выступали на фронт со своими полками.

О том, что я получил назначение оставаться при государе, моя жена не знала и, предполагая, что я должен буду вскоре выехать тоже на фронт, не утерпела и приехала ко мне неожиданно из деревни, чтобы еще раз проститься и «собрать меня на войну».

Ее приезд совпал с днем, назначенным для отбытия Их Величеств в Москву, где предполагалось объявить манифест к народу о нападении на нас немцев.

Я должен был сопровождать государя в этой поездке и помню, что мне удалось за несколько часов, с большим

трудом и с разрешения командующего императорской главной квартирой, найти себе заместителя в лице Дмитрия Шереметьева. Таким образом, я лично не присутствовал при том всеобщем воодушевлении, которое охватило в тот день Москву²⁷⁵.

По словам возвратившихся оттуда моих сотоварищей по свите, оно не поддавалось описанию.

Моя Ольга пробыла со мной в нашей квартире в Гатчинском дворце только 2 дня и уехала обратно в деревню, чтобы поскорее перевезти всю семью в город и начать работать для раненых. Я же опять возвратился в Петергоф, где мне отвели новое помещение.

Хотя я первое время и не соприкасался непосредственно с фронтом, все же война поглотила меня настолько, что ни о чем другом я не был в состоянии в эти первоначальные дни думать.

С лихорадочным нетерпением я хватался за очередные сообщения из Ставки Верховного главнокомандующего, ловил всякие частные слухи и зарылся в военные карты и планы.

Мои товарищи по свите подтрунивали над моей этой «картоманией», что не укрылось от государя. Его Величество

²⁷⁵ Император Николай II вместе с семьей был в Москве с 4 по 8 августа 1914 г. Подробно о днях пребывания императорской семьи в Москве написал в воспоминаниях товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией и командир Отдельного корпуса жандармов, бывший московский губернатор (1905-1913) В. Ф. Джунковский (*Джунковский В. Ф. Воспоминания М., 1997. Т. 2. С. 389*).

нередко поэтому дарил мне свои карты, в которых он более не нуждался и которые не представляли уже более ни малейшего секрета. К моему глубочайшему горю, и эти драгоценные для меня по воспоминаниям документы, на которых бывали пометки государя, погибли в числе других при разгроме большевиками моей квартиры в Гатчинском дворце.

Всякая война, несмотря на общие им все уже известные законы, мне всегда представлялась загадочной, а разразившаяся тогда почти над всею Европою – загадочной вдвойне.

Я думаю, не у меня одного, а у всех являлась в те годы непреодолимая потребность узнать, во что это выльется.

«Узнать же войну, – как говорил один выдающийся военный мыслитель, – можно только посредством лишь самой войны, изучая ее в глубоком раздумье за книгами и планами... Даже участник войны узнает ее постольку, поскольку он ее изучает».

Этими запомнившимися мне с академии словами и объяснялась, вероятно, моя тогдашняя страсть к военным планам и схемам и отчасти оправдывалось странное до глупости стремление постичь из них то, что может выявиться даже не во время самой войны, а только при ее окончании, да и то в далеком будущем...

В особенности я ожидал с нетерпением наступления субботы, дня, когда являлся с докладом к государю военный министр.

Обыкновенно к этому часу в приемную комнату перед кабинетом Его Величества приходили и другие лица из ближайшей свиты государя, чтобы узнать от него более точные и последние новости с фронта. Одних коротких

сообщений Штаба верховного главнокомандующего, в которых чувствовалось много недоговоренного, как во всех подобных сообщениях, было нам, конечно, недостаточно.

Но и разговор с генералом Сухомлиновым обыкновенно ограничивался общими фразами об известных уже всем ранее событиях, и его сдержанность была нам всем понятна. Нельзя того же сказать о других нечальствующих и полуначальствующих лицах. Как и всякие тайны, так и тайны военные могут представляться полезными и необходимыми или порою ненужными. Но есть и тайны просто смешные. К числу этих последних принадлежала и та таинственность, которой сначала была окутана Ставка тогдашнего верховного главнокомандующего.

В первые дни громадному большинству свиты государя было трудно добиться даже о месте ее нахождения. На все вопросы, обращенные по этому поводу к посвященным в это знание людям, отвечало лишь значительное их молчание, правда, придававшее этим лицам особенный вес в их собственных глазах, но тем не менее казавшееся другим весьма странным.

Тысячи других «мелких сошек», в виде бесчисленных железнодорожных служащих, телеграфистов, почтовых чиновников, фельдъегерей, наконец, прислуги и родственников лиц, уехавших с великим князем на фронт, обладали наравне с нами, как и с немцами, той же тайной и знали, что Ставка в те месяцы была расположена на железнодорожных путях около Баранович.

Кто-то где-то сказал: «Тайна – это ложь». Сказано настолько смело, что кажется притянутым за волосы, и хочется сейчас же возражать. Но немного подумав, нельзя не найти в этом утверждении значительной доли справедливо-

сти, так как только правда в различие от лжи не нуждается в скрывании. В числе бесчисленных причин скрываний всякого рода страх или намеренное желание навести других на неправильные заключения всегда играют одну из самых главных ролей, и в этом отношении ложь прочно соединяется знаком равенства с тайной. Как бы то ни было всякие скрывания, даже вынужденные, вообще неприятны и всегда ложатся хотя бы легкой тенью на достоинство человека. Эта тень становится уже совсем густой, когда хотят что-то скрыть от искренних друзей...

Начальника штаба великого князя генерала Янушкевича я знал хорошо. Он был одного выпуска со мной из академии. Это был тогда очень скромный, милый человек, прекрасный товарищ, ничем особенно талантливым, впрочем, не выделявшийся из начальствующей общей массы. Я думаю, по его характеру ему было весьма трудно работать с великим князем. Его убили большевики, кажется, во время сна, в вагоне²⁷⁶. У Янушкевича ввиду его назначения сразу же оказалось много завистников, а еще больше врагов. Его обвиняли главным образом в неспособности, не затрагивая все же его личных качеств как человека.

О военном министре тогдашних дней генерале Сухомлинове благодаря усиленным нападкам на него так называемых «общественных деятелей» составилось и в других наших широких кругах весьма определенное мнение. Когда большая публика начинает кого-нибудь обвинять, она обвиняет нелюбимого человека уже во всем, не желая

²⁷⁶ В начале 1918 г. Н. Н. Янушкевич был арестован в Могилеве и отправлен в Петроград, но по пути близ станции Оредеж (129 км от Санкт-Петербурга) убит конвоирами.

разбираться и смешивая все в общую кучу. Так было и с генералом Сухомлиновым. Ему ставили в вину и слишком позднюю любовь к молодой, им разведенной женщине, и бросали прямое обвинение в измене Родине²⁷⁷. Все, что было между этими крайностями, разнообразилось также до чрезвычайности.

Генерала Сухомлинова я знал лишь по его военно-литературным трудам, соприкасаясь с ним довольно редко, лишь во время служебных сношений, а потому и лишен возможности судить о нем с исчерпывающей полнотой, столь необходимой в подобных случаях.

Все же я знал его настолько достаточно, чтобы судить о главных чертах его характера. Скажу только, что, по составившемуся у меня личному впечатлению, генерал Сухомлинов все же был намного более на своем месте, чем последовавшие вскоре за ним его преемники. Несмотря на все свои недостатки, он был намного умнее, находчивее, прямодушнее, открытее, а главное, был более военным в душе, чем генералы Поливанов, Шуваев, Беляев, а также Гучков, Савинков, Керенский и Троцкий.

Если бы мне был предоставлен выбор, то из всех перечисленных мной сейчас лиц я, не задумавшись ни на мгновение, остановился бы, безусловно, лишь на одном Сухомлинове. В нем чувствовалось по крайней мере меньше скрытой хитрости, чем у генерала Поливанова, в дни революции он не участвовал бы в разрушении армии. Он

²⁷⁷ Речь идет о третьем браке генерала В. А. Сухомлинова. В 1909 г. он женился на Екатерине Викторовне Бутович, рожденной Гашкевич (Гошкевич), которая была моложе его на 34 года.

был, безусловно, талантливее и обладал намного большим административным опытом, чем его преемники.

Что касается до его «измены», то она существовала, конечно, только в воображении – никаких побудительных причин к измене у людей, находящихся в положении генерала Сухомлинова и с его характером, не бывает. Это можно было знать и заранее, несмотря даже на все «графические схемы», составленные для его обличения его многочисленными обвинителями.

Государь, будучи весьма наблюдательным и вдумчивым, с негодованием отвергал всякую мысль о подобном позорном обвинении, и если согласился, после долгих колебаний, с сильной нравственной болью, на отдачу своего бывшего министра под суд, то единственно из-за крепкого убеждения, что именно на суде и будет выяснена полная невиновность генерала и тем будет положен конец всем толкам и нападкам.

Чем кончился этот долгий суд и не менее долгое заключение Сухомлинова в крепости, уже известно каждому.

Генерал Сухомлинов вырвался из Совдепии и скончался в Берлине, в полном одиночестве. Жена его была уже давно расстреляна большевиками²⁷⁸. Жил он в большой бедности,

²⁷⁸ Генерал В. А. Сухомлинов 13 июня 1915 г. был уволен от должности военного министра, а затем обвинен в ряде должностных преступлений вплоть до государственной измены. 8 марта 1916 г. был уволен от службы, в апреле 1916-го арестован; находясь под следствием, содержался в Петропавловской крепости. С октября 1916 г. под домашним арестом. В дни Февральской революции вновь арестован и в апреле 1917 г. предан суду. Приговоренный Сенатом к лишению всех прав состояния и к

так как издательство вместо обещанной большой суммы за его воспоминания уплатило ему ничтожный гонорар. Его записки вызвали сначала много разговоров, потом о них забыли. В них он подробно говорит о своих обвинителях.

На похоронах бывшего русского министра, оклеветанного молвою, но любившего, быть может, сильнее матери, свою Родину и ее войско, присутствовали всего лишь один или два офицера из улан Его Величества, возложивших полковой венок на гроб своего бывшего однополчанина, да немка, переводчица его мемуаров. Больше никого не было. Лишь в конце службы, как мне передавал свидетель, уланский офицер, появился какой-то неизвестный представительный

пожизненной каторге, находился в заключении до 1 мая 1918 г. После освобождения (в связи с преклонным возрастом) в сентябре 1918 г. эмигрировал. Сухомлинов жил в Берлине, где прозябал в нищете и работал над мемуарами. Его воспоминания были опубликованы на немецком языке в 1924 г., а вскоре в советской России вышло их русскоязычное издание. В феврале 1926 г. замерзший труп Сухомлинова нашел полицейский патруль на скамейке в берлинском парке Тиргартен. Екатерина Сухомлинова после отъезда мужа в эмиграцию нашла себе нового покровителя – грузинского инженера Габаева, за которого вышла замуж в 1919 г. Инженер руководил кооперативной сахарной фабрикой в Петрограде, он также получал значительный доход от импорта, закупая за границей различные необходимые в России товары. В 1920 г. Габаев был арестован и казнен как финский шпион. Екатерина также была арестована и этапирована в Москву, где, видимо, в 1921 г. ЧК ее расстреляла. Однако В. В. Шульгин в своих воспоминаниях писал, что Екатерина Сухомлинова-Габаева умерла «молодой женщиной в Биаррице» (*Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1990. С. 233*).

господин, оказавшийся англичанином, и, возложив молча на гроб громадный пучок белой сирени, сейчас же удалился.

Чуткое внимание родного Сухомлинскому уланского Его Величества полка вряд ли будет служить укором другим. Оно только лишний раз доказывает, насколько душевные движения рыцарской полковой семьи остаются всегда непонятными для «широкой общественности», говорящей громкие фразы, постоянно подозревающей предательство других и никогда не знающей своих собственных предательских слов и поступков.

С именем генерала Сухомлинова связывалось тесно в толках имя покровительствуемого им ранее жандармского подполковника Мясоедова, уличенного в шпионстве и вскоре затем казненного.

Хотя все дело о Мясоедове было большой тайной, тем не менее о нем тогда усиленно и много говорили. За давним временем я уже забыл все подробности, которые рассказывались как об обстоятельствах, способствовавших раскрытию этой измены, так и о соучастниках.

Мне запомнилась, из-за особенно тяжелого впечатления, только одна случайная встреча в Ставке, уже через два года после казни Мясоедова, с одним военным следователем, принимавшим самое живое и непосредственное участие в расследовании всего дела.

Это был еще молодой человек как по своим чинам, так и по наружности, показавшийся мне почему-то более «интеллигентского», чем военного типа. Кажется, он был гражданским юристом, взятым из-за войны на военную службу. Фамилию его я уже теперь забыл.

Но насколько мне смутно вспоминается, он, кажется, носил фамилию Орлова, того бывшего судебного

следователя по особо важным делам Орлова, на шумевшее дело которого о подделке фальшивых документов сейчас (1929 год) привлекло всеобщее внимание.

Я не помню, по какому поводу зашел тогда разговор о Мясоедове. Кажется, этот незнакомый офицер, войдя в комнату и представляясь немногим тогда находившимся в ней лицам свиты, сразу же заговорил о нем, называя себя «тем, кто разоблачил этого шпиона»²⁷⁹...

– Пришлось все-таки порядочно с ним повозиться, – говорил он самодовольно. – Этот негодяй упорно оправдывался и всякими способами отрицал свою вину... еще бы... Но не на таких простых напал! Мне удалось найти ясные доказательства и довести его, как он ни упирался, все-таки до виселицы. Нарочно пошел посмотреть, как его вешали... Вот и его бывшая шашка при мне, отобранная мною при его аресте. Не расстаюсь с нею, постоянно ношу в

²⁷⁹ Речь идет о профессиональном контрразведчике Владимире Григорьевиче Орлове. В 1912 г. был следователем по особо важным делам и с началом Первой мировой войны переведен в контрразведку. Являлся членом Верховной следственной комиссии по делам военного министра В. А. Сухомлинова, полковника С. Н. Мясоедова. Эмигрировал в 1920 г. в Германию, продолжив борьбу с большевизмом. В Берлине был принят на работу разведслужбой Веймарской республики в качестве эксперта. За это время сыграл большую роль в разоблачении так называемой германской ЧК, состоявшей из агентов Коминтерна. В 1929 г. В. Г. Орлов был подвергнут суду за попытку продать компромат на американских сенаторов (William Borah, George Norris) поддерживавших признание СССР (Орлов В. Г. Двойной агент. Записки русского контрразведчика. М., 1998. 349 с.).

воспоминание об исполненном долге. – И он любовно похлопал свое оружие.

Способствовать раскрытию измены своей Родине, в особенности в военное время, конечно, долг всякого офицера, а тем более призванного к тому юриста, но все остальное было для меня уже слишком и невольно говорило о каком-то злобном пристрастии и совсем ненужной хвастливости.

Тяжелое, гнетущее чувство от самодовольных, отрывочных фраз этой встречи осталось у меня до сих пор. Всякую спокойно обдуманную судом и совершенную по правилам смертную казнь я всегда считал, как и почти все мои предки, равной самой злобной выдумке человечества. У государства имеется много способов достойно наказать и навсегда обезвредить самого закоренелого и наиболее опасного преступника, не лишая его жизни. Когда казнят убийцу, совершают одинаковое с ним, быть может, даже более сильное по хладнокровию и тщательности подготовки преступление, не возвращают к жизни убитого, забывают о бывавших ранее так называемых «судебных ошибках», а главное, как доказывает статистика, даже совершенно не устрашают будущих убийц. Большинство убивавших редко вспоминают во время убийства о карающем законе. Но, возмущаясь против смертной казни, не будет ли это означать, что возмущающийся проникнут большей жалостью к убийце, чем к убитому? Ничуть! Моя жалость всегда будет на стороне всякого насильно лишенного жизни и, конечно, неизмеримо сильнее выраженной по отношению к невинной жертве, чем к ее насильнику. Мне постоянно было непонятно существование закона, столь давно определенного Новым Заветом и еще в глубокой древности, да и во время царствования Елизаветы Петровны не применявшегося

русскими властителями. Разница между жестоким языческим временем и нашим якобы просвещенным светом христианской любви тут становится еще более ужасной. Раньше язычники вешали и рубили головы христианам, теперь христиане казнят смертью своих же христиан, привлекая присутствовать при казни священника с крестом Спасителя всего человечества и обставляя позже порою даже краткой церковной службой. Есть ли что-либо более противоречивое в подобных религиозных воззрениях!!! Мне могут сказать, что я сгущаю краски. О нет! Я их сгущаю недостаточно, да и имею право так говорить – я сам был приговорен большевиками к расстрелу и на себе испытал, какой невыносимой мукой сказывается на человеке ежеминутное ожидание неминуемой кровавой расправы...

В душе русского человека издавна лежало отвращение к смертной казни, как и не было чувства злобной мести. Наши древние законы служат тому доказательством.

Невольно вспоминается мне при этом и другая столь же случайная и столь же сильная, но уже по другому впечатлению, встреча.

Это было как-то летом, в нашей деревне, незадолго до войны. Возвращаясь с женой с какой-то дальней прогулки, мы заметили изможденного больного старика, с большим трудом копавшегося в огороде, отнесенном в луга далеко от человеческого жилья.

– Бог в помощь тебе, дедушка, – приветствовала его моя жена. – Что это тут ты такой больной и старый работаешь?.. Молодым бы это дело поручил!

– Ах, ты, золотце мое, барыня, – заговорил он, – кому и работать-то теперь, как не мне... один я остался. Сын был кормилец, так и того о последнем празднике убили, а других

сродственников нет... Сынок мой этот огород-то, спасибо ему, обрядил... Хоть по старости и недужится, а есть все надо. Вот и копаюсь тут.

– Кто ж убил его? – спросил я.

– А у суседа моево, Петра Афанасьева, сын Ванька, золотце ты мое, барин, он, несчастный, и убил. Чай ево сам знаешь... буйный... мы все тут тебе известны.

– Что ж, суд-то уже был?

– Ну какой там суд, золотце мое, по пьяному делу колом убил. Простил я его и начальству не жалился. Так без станowego и похоронили. Да што взаправду и в суде-то евом. В тюрьму аль там в Сибирь Ваньку-то засадили б, а евоным маленьким ребятишкам без отца-то с голодухи помирать?! Тоже ведь христианские души. А сынка-то моево все одно не воротишь. Горевать, так уж пущай я один старый буду. Недолго мне и жить.

* * *

Теперь мне пришлось бы переходить к воспоминаниям о самой войне, большую часть которой я провел вблизи государя и довольно долго на фронте, исполняя его поручения.

Задача, за неимением здесь, на чужбине, моих дневников, чрезвычайно трудная, почти неисполнимая, да и при таких условиях вряд ли кому нужная.

Общий ход военных событий вместе с опубликованными архивными документами известен почти каждому, и только некоторые подробности, сохранившиеся еще в моей памяти, могли бы, пожалуй, заинтересовать будущего исторического романиста, но не историка.

Хотя история пишется людьми, для людей и о людях, она все же не останавливается на переживаниях отдельных, не исторических лиц, и ей безразличны оттенки красок тех картин, которые приходилось видеть невлиятельному современнику.

Даже самый тщательный и строгий суд истории редко склонен выслушивать таких мелких свидетелей...

А все-таки все события складываются даже не из мыслей, а из настроений отдельных лиц. Сколько было пережито, передумано всеми русскими, в том числе и мною, за эти длинные военные годы и в особенности потом!

Внезапное отречение государя, и как единственное, то есть непосредственное следствие этого, позорный конец войны, захват власти в России убийцами и грабителями, полный разгром моей Родины!

Все следовало одно за другим, не давая опомниться!

Сколько несчастий – целая эпоха несчастий, всегда где-то, около каждого народа таящихся, но – настойчиво опять повторяю – вызванных у нас непосредственно к жизни лишь одним отречением!

С этого страшного события я и начал свои записки. Точно в предчувствии, во что оно выльется, оно наполнило меня ужасом, с которым не могло даже сравниться отчаяние от последовавших за тем испытаний.

Все эти несчастья, конечно, были тесно связаны не с моей только судьбой, но с судьбой всякого русского. Они лишь отразились на мне, как я о том написал. Но в своих записках я не смел, конечно, отождествлять свое существование – существование какой-то песчинки в вихре событий – с великой судьбой моей Родины.

Россия, я знаю, будет жить века и выйдет снова на путь добра, света, довольства и справедливости, а моя личная жизнь почти что окончена...

Милое, хотя и сиротливое детство, мечты юности, стремления зрелого возраста, сердечные люди, которые меня окружали, – все мне дорого, всех за все горячо благодарю, но все это уже далеко позади, да и во многом приходится самому каяться...

Хоть и медленно, но надвигается старость. Пора почаще задумываться не над скупом отмеренным земным будущим, а над будущим вечным.

Пора и кончить мои записки...